

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРМАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ВОЛЬФГАНГА ГЁТЕ

WOLFGANG GOETHE

1749—1832

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Е. М. БРАУДО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

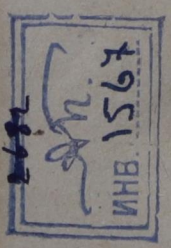
ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

ПОЭЗИЯ и ПРАВДА

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



ПЕРЕВОД Н. А. ХОЛОДКОВСКОГО,
СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ
И ПРИМЕЧАНИЯМИ Е. М. БРАУДО

ПЕТЕРБУРГ — МСМХХIII — МОСКВА

13/1-39

Отпечатано 5150 экз.
в тип. фабр. „Светоч"
Гиз. 4566. Петрооблит
№ 3225. Петербург.

ПОЭЗИЯ и ПРАВДА

Dichtung und Wahrheit

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Aus meinem Leben

1811—1831

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

«ПОЭЗИЯ И ПРАВДА» ГЁТЕ

«Все мои произведения — лишь отрывки одной большой исповеди»[1]), так характеризует свое творчество Гёте; «чтобы понять их надо знать их происхождение, уловить момент их зачатия». В 1808 году, когда Гёте минуло шестьдесят лет, закончилось печатание его большой исповеди, собрания сочинений в двенадцати томах. Однако, поэт ощущал «неполноту и бессвязность этой исповеди», и в том же году у него зародилась мысль написать книгу автобиографического содержания, «которая связала бы воедино эти разрозненные страницы». Первоначально Гёте предполагал ограничиться краткими дополнениями к собранию своих сочинений, но постепенно у него создался план большого художественного произведения, которое он впоследствии «скромно» озаглавил: «Из моей жизни», «Поэзия и правда».

В противоположность многим великим людям, враждебно относившимся ко всяким попыткам проникнуть в тайну их творчества, Гёте чувствовал потребность высказаться открыто о делах своих и помышлениях. Он издал свою переписку с Шиллером и подготовлял к печати обширное собрание писем к Цельтеру, а также следил с большим вниманием за точной записью своих разговоров с Экерманом. Совет, когда-то данный Бенвенуто Челлини будущим составителям автобиографий,—приступать к писанию таковых не позднее сорокалетнего возраста,—Гёте исполнил с опозданием на двадцать лет. Но зато и материал, которым располагал стареющий поэт, был столь обширен и разнообразен, что обработка его потребовала еще двадцати лет. Автобиография, начатая в 1811 году, завершена была Гёте в 1831 году, но только первые три тома ее появились в печати при его жизни[2]). Изложение событий в ней заканчивается 1775 годом, то-есть моментом переселения Гёте в Веймар. Это—повесть его детских и юношеских лет.

Самое название «Поэзия и правда» отнюдь не обозначает противопоставления эпизодов вымышленных событиям, действительно происшедшим в жизни Гёте. Этим заглавием Гёте хотел сказать, что творческой фантазией он дополнил и связал между собою отдельные

[1]) «Поэзия и правда». Книга девятая.

[2]) Более подробные данные читатель найдет в наших примечаниях к отдельным томам «Поэзии и правды».

факты своей биографии, придав рассказам и событиям характер внутренней необходимости. «Назначение этой книги»— говорит сам Гёте—заполнить пробелы в жизни автора, придать законченность иным художественным фрагментам и сохранить для потомства воспоминания о многих затерянных литературных планах». Действительно Гёте подробно рассказывает о своих детских поэтических опытах и в качестве образца приводит очаровательную детскую сказку о «Новом Парисе», правда, написанную только в 1811 году и представляющую собой разработку некоторых детских мотивов. Затем автобиография знакомит нас с годами университетского учения и, далее, с историей первых его крупных литературных работ, вплоть до «Эгмонта» [1]). Однако ж пожелание, высказанное анонимным другом Гёте, автором письма-предисловия к «Поэзии и правде» — ознакомиться из уст самого поэта с предпосылками его художественного творчества, осталось невыполненным. Гёте много говорит о философских теориях своих современников, но о собственных своих эстетических воззрениях он хранит по большей части упорное молчание.

Гёте понимал свою задачу гораздо шире, чем его «анонимный корреспондент». Его автобиография — человеческий документ, исповедь великого человека, которому не чуждо ничто человеческое. Так понимал задачи автобиографии его великий предшественник Руссо, „Исповедь“ которого, весьма вероятно, внушила Гёте первые мысли о написании своей собственной автобиографии [2]). Гёте правдив и откровенен до конца, он не оправдывает себя в глазах современников и беспощадно строг к самому себе, когда рассказывает о поступках, достойных порицания. Во всем его изложении чувствуется уверенность человека, сознавшего свои недостатки, свои заблуждения и, несмотря на ошибки, достигшего к концу жизни глубокой внутренней гармонии. На самого себя Гёте смотрел глазами историка. «Одна из главных задач моей автобиографии,—говорит он,—это—показать связь человека с той исторической обстановкой, среди которой он живет, обнаружить силы, которые враждебны или благоприятны ему, проследить, как постепенно складывается миросозерцание и как художник, поэт или писатель отражает последнее». Гёте сознавал, что эта задача весьма нелегка, и приступил к писанию своей автобиографии лишь после больших подготовительных работ, затянувшихся на несколько лет, с 1808 по 1811 г.

В распоряжении Гёте не было систематического дневника, охватывающего юношеский период его жизни. Поэтому ему приходилось полагаться, главным образом, на свою чрезвычайно отчетливую память, которая только в самых редких случаях изменяла ему. Чрезвычайно наглядно и красочно переданы в «Поэзии и правде» воспоминания далекого

[1]) Почти полным молчанием Гёте обходит своего „Фауста“, первые наброски которого относятся к 1771 году. Вторая часть трагедии еще не была закончена к моменту опубликования «Правды и поэзии». Гёте опасался, что, огласив в печати план обеих частей «Фауста», он понизит интерес к самому произведению как в собственных глазах, так и в глазах читателей.

[2]) С «Confessions» Руссо Гёте ознакомился в 1782 году.

детства, история студенческих годов в Лейпциге и Страсбурге, и все то, что Гёте сообщает о литературной и научной жизни 18-го столетия, имеет величайшую историческую ценность. Но нет ни малейшего сомнения в том, что в описываемый им период он еще далеко не достиг той умственной зрелости, какой отличаются суждения Гёте, автора «Поэзии и правды».

Мы хорошо осведомлены о том, какими материалами пользовался Гёте для отдельных частей «Поэзии и правды». Возможно, например, по записи книг веймарской библиотеки, выданных Гёте на дом, восстановить историю его подготовительных работ для автобиографии. Кроме многочисленных сочинений по истории литературы, Гёте использовал для данной цели и переписку со своей сестрой, а также ряд устных сообщений друзей своей юности и товарищей по университетским занятиям. Но мы не будем останавливаться в нашей статье на вопросе о научных источниках гётевского жизнеописания. В примечаниях к настоящему изданию мы дадим необходимые ссылки на эти источники.

Исторической правде Гёте почти всегда остается верен в своем жизнеописании, и только там, где поэт берет верх над историком, он считает возможным отступить от точного воспроизведения действительности. Это прежде всего относится к романическим эпизодам его автобиографии, в которых с полным блеском проявляется его повествовательный талант. Прелестные женские образы Гретхен и Фредерики Брион — кто может окончательно решить вопрос, принадлежат ли они «Поэзии», или «Правде»?

Но были у Гёте и другие мотивы, в силу которых он умышленно менял историческую перспективу событий или умалчивал о многих фактах своей жизни. К иным чертам своего литературного прошлого, эпохе бурь и натиска, Гёте в старческие годы относился с известной холодностью. Особенно примечательно то, что в «Поэзии и правде» он почти совершенно не касается развития своих религиозных воззрений. Однако нам понятна причина такой сдержанности Гёте в изображении этой стороны его духовной жизни. В «Поэзии и правде» он стремится главным образом ознакомить читателя со своей литературной работой. Многие весьма важные моменты его жизнеописания, например, его обращение к идеалам классицизма и гуманизма от некоторого уклона в сторону пиетизма, остаются мало выясненными в «Поэзии и правде».

Художник изобразитель немецкого прошлого преобладает в авторе «Поэзии и правды». Автобиография Гёте полна таких картин, в которых он воспроизводит конкретные жизненные впечатления с легкостью жанрового живописца. Бесконечной вереницей проходят они перед читателем. С каким великолепным мастерством изображен бытовой уклад старого Франкфурта, с какой живостью зарисованы портреты различных немецких ученых — учителей Гёте по Лейпцигскому университету, как пленительны пейзажи Эльзаса и четки описания памятников старого немецкого зодчества! Поистине удивительна была способность Гёте удерживать в своей памяти картины окружающей жизни и хранить их в неприкосновенности до старческих лет. Вспоминая свои студенче-

ские годы, он подробно касается также научной жизни страны. Необходимо было перо величайшего мастера стиля, чтобы связать этот разнообразный материал в органическое целое.

Всю внешнюю историю эпохи Гёте приводит в непосредственную связь с ходом своего личного развития. Этот технический прием дает ему возможность касаться исторических событий и литературных явлений, когда они приобретают особое значение для него самого, и он в состоянии критически отнестись к ним. Но часто бывает, что Гёте-историк отодвигает на задний план повествование о собственных своих жизненных судьбах. В автобиографии встречаются десятки страниц, где мы совершенно теряем из виду самого поэта. Чувствуется, что автор заполняет этими описаниями пробелы своих личных воспоминаний. Таким образом нарушается непрерывность изложения, и читателю не всегда легко бывает восстановить связь между отдельными биографическими эпизодами, внезапно прерванными такими литературными экскурсами.

Героем «Поэзии и правды» является не весь Гёте, во всей полноте его гения, а только автор «Вертера», «Гёца» и «Эгмонта». К моменту переезда Гёте в Веймар его личность уже окончательно определилась. Поэт обрисован на этих страницах полностью, в дальнейших оставшихся ненаписанными частях автобиографии мы имели бы дело с естествоиспытателем и государственным деятелем. Известно, что Гёте предполагал продолжить свою автобиографию, но боязнь совершить какую-нибудь нескромность по отношению к друзьям, еще оставшимся в живых, помешала ему осуществить этот замысел. Таким образом «Поэзия и правда» осталась грандиозным фрагментом.

Как художественное произведение, автобиография Гёте представляет собою один из наиболее прекрасных образцов его прозы. Язык этого произведения чрезвычайно гибкий и выразительный, и ни в одном из произведений Гёте естественность и простота не соединяются с такой пластической законченностью, как в «Поэзии и правде». Передать спокойную красоту ее стиля, основанную на полном соответствии между предметами изложения и их художественным выражением—задача крайне трудная для переводчика, до самого последнего времени оставшаяся неразрешенной в русской литературе. *Е. Браудо*

Собрание сочинений Гёте в издании «Всемирной Литературы» разбито на ряд отделов. Отделы эти следующие: 1) сочинения автобиографического характера, 2) лирика, 3) драматические произведения в стихах и прозе, 4) художественная проза, 5) сочинения об искусстве (со включением «Путешествия в Италию»), 6) научные трактаты и статьи. Редакционная коллегия издательства отказалась от мысли предпослать полному собранию сочинений Гёте обычный биографический очерк, а решила в первый отдел включить полностью все автобиографические материалы («Из моей жизни» с послесловием редактора, содержащим изложение жизненных судеб Гёте с 1775 года, момента переезда в Веймар, до его кончины, дневники его путешествий, поход во Францию, ежегодные и ежедневные записи и мелкие автобиографические заметки).

ПОЭЗИЯ и ПРАВДА [1])

ПРЕДИСЛОВИЕ

В качестве предисловия к этой работе, которая нуждается в нем, быть может, более, чем какая-либо другая, да послужит здесь письмо одного друга, побудившего меня к такому предприятию, всегда более или менее рискованному.

«В настоящее время мы собрали, дорогой друг, двенадцать томов ваших поэтических произведений [2]) и, перечитывая их, находим много знакомого и много незнакомого; этим собранием воскрешено даже многое забытое. Трудно удержаться от мысли рассматривать эти стоящие перед нами двенадцать томов одного формата, как нечто целое, и хочется создать себе по этому целому образ автора и его таланта. И вот, нельзя отрицать, что для той живости, с которою началась его литературная карьера, и для того долгого времени, которое протекло с тех пор, этих двенадцати томиков как-будто мало. Точно так же нельзя скрыть от себя по отношению к отдельным работам, что поводом к их появлению послужили большею частью особые побуждения, при чем из них выясняются как внешняя обстановка, так и решительные внутренние степени развития, кроме того и известные временные моральные и эстетические правила и убеждения. В целом же эти произведения остаются все-таки без связи, а иногда даже трудно поверить, что они исходят от одного и того же писателя.

Однако, ваши друзья не отказались от дальнейших исследований и, ближе познакомившись с вашею жизнью и вашим образом мыслей, стараются разрешить разные загадки и проблемы; а так как старая любовь к вам и их многолетняя связь с вами помогает им, то они находят некоторую прелесть даже

во встречающихся трудностях. Но все же здесь и там нам была бы приятна помощь, в которой вы, вероятно, не откажете людям с дружеским по отношению к вам образом мыслей.

Итак, первое, о чем мы просим вас, это,—чтобы при новом издании вы привели ваши поэтические сочинения, расположенные по известным внутренним соотношениям, в хронологический порядок и открыли нам в известной связности как те жизненные и душевные состояния, которые дали материал к ним, так и примеры, которые повлияли на вас, а равно и теоретические основания, которым вы следовали. Если вы посвятите эти усилия тесному кругу, то, может быть, из этого возникнет что-нибудь приятное и полезное и для более широкого круга. Писатель до своей глубочайшей старости не должен отказываться от выгод, представляемых беседою, хотя бы издали, с теми, кто питает к нему склонность, и если не каждому дано в известные годы снова выступать с неожиданными, могущественно действующими произведениями, то именно в такое время, когда знания более полны, а сознание особенно ясно, должно быть особенно интересным и живительным занятием обработать в последний раз как материал то, что было сделано раньше; это послужит также еще раз к развитию тех, которые раньше развивались вместе с художником и на его произведениях».

Это дружески выраженное пожелание возбудило во мне охоту последовать ему. Дело в том, что если мы в молодые годы страстно стремимся итти по своему собственному пути и, чтобы не сбиться с дороги, нетерпеливо отклоняем требования других, то в более поздние годы нам чрезвычайно приятно, если чье-нибудь участие может возбудить нас и направить к новой деятельности. Поэтому я немедленно предпринял предварительную работу, составив список крупных и мелких поэтических сочинений моих двенадцати томов и расположив их по годам. Я старался восстановить время и обстоятельства, при которых они были сочинены. Но дело становилось все труднее, ибо понадобились подробные указания и объяснения, чтобы заполнить пробелы между частями, уже опубликованными. Прежде всего отсутствует все то, с чего я начал свои работы, отсутствует многое начатое и неоконченное; даже и внешний вид многого оконченного совершенно исчез, так как оно впоследствии было вполне переработано и вылито в другую форму. Кроме всего этого, мне приходилось подумать и о том, что я сделал в науках и других искусствах, и о том, чем я частью занимался в тишине и что частью опубликовал в таких как-будто совершенно чуждых мне отраслях, один или совокупно с друзьями.

Все это я намеревался мало-по-малу включить, чтобы удовлетворить моих доброжелателей; но эти усилия и соображения вели меня все дальше и дальше. Желая должным образом ответить вышеприведенному хорошо обдуманному требованию и стараясь изобразить по порядку внутренние побуждения и внешние влияния, а также теоретически и практически пройденные мною ступени, я из своей частной жизни невольно передвинулся в обширный мир; выступили образы сотни замечательных людей, более или менее близко влиявших на меня; должны были также быть особо приняты во внимание громадные движения общей политической мировой жизни, которые имели величайшее влияние на меня, как и на всю массу современников. Главная задача биографии, повидимому, состоит именно в том, чтобы обрисовать человека в его отношениях к своему времени и показать, насколько целое было враждебно ему, насколько оно ему благоприятствовало, как он составил себе взгляд на мир и людей и как он отразил его во внешнем мире в качестве художника, поэта, писателя. Но для этого требуется нечто почти недостижимое, именно,—чтобы индивидуум знал себя и свой век: себя, насколько он при всех обстоятельствах остался одним и тем же, а век — как нечто, увлекающее за собою волею-неволею, настолько определяющее и образующее, что можно сказать, каждый, родившийся всего на десять лет раньше или позже, сделался бы совершенно другим по отношению к его собственному образованию и по своему влиянию на окружающее.

Из таких соображений и попыток, из таких воспоминаний и рассуждений возникло предлагаемое повествование, и такая точка зрения на возникновение книги дает возможность лучше всего читать и использовать ее и правильнее всего судить о ней. Что же касается прочего, что еще можно было бы сказать, — особенно о частью поэтической, частью исторической обработке, — то для этого встретится еще много случаев в течение рассказа.

КНИГА ПЕРВАЯ

Кто не страдал, не может быть воспитанным [3]).

Двадцать восьмого августа 1749 года, в полдень, как только пробило двенадцать часов, я появился на свет во Франкфурте на Майне [4]). Звезды находились в счастливом сочетании: солнце стояло в знаке Девы, на высшей точке в этот день; Юпитер и Венера смотрели на него дружелюбно, Меркурий — невраждебно; Сатурн и Марс были равнодушны; лишь луна, которая только-что вступила в фазу полнолуния, обнаруживала силу своего враждебного сияния, тем более, что одновременно наступил ее планетный час. Поэтому она сопротивлялась моему рождению, которое не могло совершиться, пока этот час не прошел.

Эти благоприятные признаки, на высокое значение которых мне впоследствии указывали астрологи, были, вероятно, причиною того, что я остался жив, так как, по неумелости повивальной бабки, я родился почти мертвым и только упорные усилия привели к тому, что я увидел свет. Это обстоятельство, причинившее моим родным большую тревогу, послужило, однако, на пользу моим согражданам, потому что мой дед, городской староста Иоганн Вольфганг Текстор, воспользовался этим поводом, чтобы учредить должность городского акушера и ввести или возобновить обучение повивальных бабок, что, вероятно, послужило на благо многим, родившимся после меня.

Когда мы желаем вспомнить, что случилось с нами в самое раннее время нашей молодости, то нередко приходится смешивать слышанное от других с тем, что мы знаем действительно из собственного наглядного опыта. Итак, не вдаваясь в подробное исследование этого, что было бы все равно бесполезно, я вспоминаю, что мы жили в большом старом доме, который, собственно, состоял из двух домов, при чем разделявшая их стена была пробита. Лестница, в роде тех, какие бывают в башнях, вела к комнатам, находившимся на разной высоте,

и несоответствие этажей выравнивалось ступенями. Для нас, детей — моей младшей сестры [5]) и меня — любимым местопребыванием был просторный нижний этаж дома, где, кроме двери, была большая деревянная решетка, через которую мы непосредственно сообщались с улицей и свободным воздухом. Такую клетку, которою снабжены были многие дома, называли «Geräms». Там сидели женщины со своим шитьем и вязанием; кухарка там отбирала салат; соседки оттуда переговаривались друг с другом, и улицы через это приобретали в хорошее время года южный вид. Здесь люди чувствовали себя свободно, находясь в общении с внешним миром. Через такие Gerämse и дети приходили в соприкосновение со своими соседями; меня очень полюбили три живших напротив нас братья фон Оксенштейн, сыновья умершего городского старосты; они различным образом забавлялись со мной и дразнили меня.

Мои родные охотно рассказывали о разных шалостях, к которым побуждали меня эти вообще серьёзные и уединенно жившие люди. Я приведу здесь одну из этих проделок. В городе как раз была горшечная ярмарка, и у нас не только снабдили кухню на ближайшее время этими товарами, но накупили подобной мелкой посуды и для наших детских игр. Однажды, в прекрасный послеобеденный час, когда все в доме было тихо, я в Geräms'е возился со своими блюдцами и горшечками, и так как ничего интересного у меня не выходило, то я бросил одну посудинку на улицу и очень обрадовался, что она так весело разбилась. Оксенштейны, видя, как это для меня забавно и как радостно я хлопаю в ладоши, крикнули: «Еще!» Я не замедлил швырнуть еще один горшок и на продолжающиеся возгласы «еще!» постепенно выбросил на мостовую все блюдечки, тигельки и чайники. Мои соседи продолжали выказывать свое одобрение, а я очень радовался, что доставляю им удовольствие. Но вскоре мой запас истощился, а они все кричали «еще!» Поэтому я поспешил прямо в кухню и принес глиняные тарелки, которые, разумеется, разбиваясь, доставили еще более веселое зрелище; таким образом я бегал в кухню и обратно, принося одну тарелку за другой, пока мог доставать их по порядку с полки; а так как соседи все еще не удовлетворялись, то я перебросал и перегубил всю посуду, какую мог стащить. Лишь позднее пришел кто-то, чтобы помешать мне и унять меня. Делать было уже нечего: в вознаграждение за такое множество разбитого горшечного товара осталась, по крайней мере, веселая история, которою особенно забавлялись до конца своей жизни произведшие ее шалуны [6]).

Мать моего отца, в доме которой мы собственно помещались, жила в большой комнате, выходившей на задний фасад,

непосредственно возле прихожей нижнего этажа, и мы имели обыкновение распространять свои игры вплоть до ее кресла и даже до ее постели, когда она была больна. Она представляется мне каким-то духом—красивой, худощавой женщиной, всегда чисто одетой во все белое. Она сохранилась в моей памяти кроткою, ласковою, благожелательною.

Мы знали, что улица, на которой стоял наш дом, называется «Оленьим рвом», но так как на ней не было ни рва, ни оленей, то нам хотелось узнать объяснение этого названия. Нам рассказали, что дом наш стоит на месте, находившемся прежде вне города, и что там, где теперь проходит улица, был когда-то ров, в котором содержалось несколько оленей. Этих животных там охраняли и кормили, потому что, по старому обычаю, в сенате ежегодно публично съедался один олень, которого всегда имели под рукою во рву для этого праздника, даже если посторонние герцоги и рыцари мешали городу осуществлять свое право на охоту или когда враги окружали город и держали его в осаде. Это нам очень понравилось, и мы хотели, чтобы и в наше время можно было видеть такую ручную дичь.

С задней стороны дома, особенно из верхнего этажа, был очень приятный вид на почти необозримое пространство соседних садов, которые простирались до городских стен. К сожалению, при превращении находившихся здесь прежде общинных земель в домовые сады, от нашего дома и от еще нескольких других, находившихся около угла улицы, отнято было много места, так как дома Конного Рынка захватили обширные здания, строения и большие сады, а мы были отделены от этого столь близкого рая довольно высокою стеною нашего двора.

Во втором этаже находилась комната, называвшаяся садовою комнатой, так как в ней постарались заменить отсутствие сада несколькими растениями под окном. Там, подрастая, я находил свое любимое местопребывание, хотя и не грустное, но мечтательное. Через упомянутые сады, через городские стены и валы открывался вид на широкую плодоносную равнину — ту, которая простирается до Гехста. Там в летнее время я обыкновенно готовил свои уроки, поджидал гроз и не мог достаточно насмотреться на заходящее солнце, к которому как раз было обращено окно. Но так как я в то же время видел, как соседи гуляют в своих садах и ухаживают за цветами, как там играют дети, веселятся гости, слышал, как там катаются кегельные шары и падают кегли, то все это рано стало возбуждать во мне чувство одиночества и возникающей отсюда неопределенной тоски, которое, соответствуя моей природной серьёзности и каким-то таинственным предчувствиям, вскоре сказалось во мне и еще яснее обнаружилось впоследствии.

Старый, угловатый, во многих местах мрачный характер дома был, впрочем, вообще способен вселить в детские души дрожь и страх. К несчастью, в те времена считалось еще одним из правил воспитания—очень рано отучать детей от страха перед всем воображаемым и невидимым и приучать их к страшному. Поэтому мы, дети, должны были спать одни; когда же это казалось нам невозможным и мы тихонько выбирались из постелей, ища общества слуг и служанок, то нас встречал отец в вывернутом шлафроке и, стало быть, достаточно для нас переодетый, и заставлял нас в испуге бежать обратно в постель. Каждый может представить себе происходившие от этого дурные последствия. Как может избавиться от страха тот, кого ущемляют между двумя страхами. Моя мать, всегда веселая и жизнерадостная и другим желающая того же, нашла гораздо лучший педагогический способ: она сумела достигнуть своей цели наградами. Наступил сезон персиков, обильное угощение которыми она обещала нам на каждое утро, если мы преодолеем ночной страх. Средство удалось, и обе стороны были довольны.

Внутри дома взоры мои более всего привлекались рядом видов Рима, которыми мой отец [7]) украсил приемную залу; это были гравюры некоторых искусных предшественников Пиранези [8]), хорошо понимавших архитектуру и перспективу и обладавших очень отчетливым и ценным резцом. Здесь я ежедневно видел Piazza del Popolo, Колизей, площадь св. Петра, собор св. Петра снаружи и внутри, замок Ангела и многое другое. Эти картины глубоко запечатлелись во мне, и отец, обыкновенно весьма лаконический, много раз снисходил до того, что давал мне описание того или другого предмета. Его любовь к итальянскому языку и ко всему, что относится к этой стране, была очень сильно выражена. Он также несколько раз показывал мне небольшую коллекцию образцов мрамора и разных предметов естественной истории, привезенных им оттуда, а значительную часть своего времени он употреблял на описание своего путешествия, написанное по-итальянски, которое он собственноручно переписывал и редактировал по тетрадям, медленно и аккуратно. В этом ему помогал старый весельчак, учитель итальянского языка, по имени Джовинацци. Старик этот также недурно пел, и моей матери приходилось ежедневно аккомпанировать ему и самой себе на фортепиано; таким образом я узнал и запомнил наизусть Solitario bosco ombroso [9]) прежде, чем стал понимать смысл слов.

Мой отец вообще любил учить и, удаляясь от дел, он охотно передавал другим то, что мог и знал. Так в первые годы своего брака он приучал мою мать к прилежному письму, а также к игре на фортепиано и к пению; при этом она увидела себя

вынужденною приобрести некоторые познания в итальянском языке и некоторое умение говорить на нем.

Обыкновенно мы проводили свои свободные часы у бабушки, в просторной комнате которой было достаточно места для наших игр. Она умела занимать нас всякими мелочами и услаждать разными лакомыми кусками. В один рождественский вечер она увенчала все свои благодеяния тем, что устроила нам представление кукольной комедии и таким образом создала в старом доме новый мир. Это неожиданное зрелище могущественно привлекло к себе юные души; в особенности на мальчика оно произвело очень сильное впечатление, которое отразилось большим и продолжительным влиянием [10]).

Маленькая сцена с ее немым персоналом, которую нам сперва только показали, а потом передали для собственного пользования и драматического оживления, была для нас, детей, тем дороже, что это был последний дар нашей доброй бабушки, которая вскоре после этого, вследствие ухудшения болезни, сначала исчезла из наших глаз, а затем навсегда была отнята у них смертью [11]). Ее кончина имела для нашей семьи тем большее значение, что повлекла за собою полное изменение в положении последней.

Пока жива была бабушка, мой отец остерегался производить в доме хотя бы малейшие изменения или поновления; но было хорошо известно, что он готовился к полной перестройке дома, которая и была теперь немедленно предпринята [12]). Во Франкфурте, как во многих старых городах, при возведении деревянных построек позволяли себе, для выигрыша места, надстройку над улицей не только первого, но и следующих этажей, вследствие чего, конечно, улицы, особенно узкие, получали несколько мрачный и угрожающий вид. Наконец, был проведен закон, согласно которому тот, кто строил новый дом от основания, имел право выступать над фундаментом только первым этажом, а остальные обязан был возводить вертикально. Мой отец, чтобы не терять выдающегося пространства во втором этаже, мало заботясь о внешнем архитектурном виде и стремясь лишь внутри устроить все хорошо и удобно, прибег, как и многие до него, к тому выходу, что верхние части дома поддерживались при постройке подпорками, а нижние, одна за другою, вынимались, и на место их как бы вдвигались новые, так что, когда от старого здания не осталось, собственно, ничего, новый дом мог все-таки считаться переделкою старого. Так как, следовательно, сломка и возобновление происходили постепенно, то отец мой решился не переезжать из дома, чтобы с тем большим удобством надзирать за постройкою и руководить ею, ибо техника постройки ему была хорошо знакома; к тому же он не хотел расставаться с семьею. Эта новая эпоха была для

детей очень неожиданною и странною. Комнаты, где их нередко держали в изрядной тесноте и мучили невеселыми уроками и работами, коридоры, в которых они играли, стены, о чистоте и сохранении которых прежде так усердно заботились, — все это рушилось под ломом каменщика, под топором плотника, и притом от нижних частей к верхним; видеть это все и в то же время как бы висеть в воздухе на балочных подпорках, занимаясь тем или другим уроком или известною работою, — все это вносило такое смущение в юные головы, которое нелегко было уравновесить. Но молодежь мало чувствовала неудобство, потому что ей предоставлено было несколько больше места для игр, чем до сих пор, а также случаев вешаться и качаться на балках и досках.

В первое время отец упорно преследовал свой план; но когда, наконец, была снесена частью и крыша и, несмотря на растянутую сверху вощанку от снятых обоев, дождь стал достигать до наших постелей, то он, хотя и неохотно, решился отдать детей на некоторое время к добрым соседям, которые уже раньше предлагали сделать это, и посылать их в общественную школу.

Этот переход представлял много неприятного. Дети, до тех пор содержавшиеся отдельно в своем доме, в чистоте и благородстве, хотя и в строгости, были вытолкнуты в грубую толпу молодых созданий, и им совершенно неожиданно пришлось сносить всевозможные вещи от пошлых, дурных, даже бесчестных людей, так как у них не было никакого оружия, никаких способностей противиться всему этому.

Собственно, в это время я впервые познакомился со своим родным городом, так как мало-по-малу начал все свободнее, без помех бродить по нему, частью один, частью со своими веселыми сверстниками. Чтобы сколько-нибудь передать впечатление, произведенное на меня серьёзными и почтенными улицами города, я должен несколько забежать вперед с описанием места моего рождения, как оно постепенно развертывалось передо мною в своих различных частях. Всего охотнее прогуливался я по большому мосту через Майн. Его длина, прочность и хороший вид делали его замечательным сооружением; притом он представляет почти единственный оставшийся от старого времени памятник той заботливости, какую светское правительство обязано проявлять по отношению к своим гражданам. Прекрасная река привлекала к себе мои взоры как вверх, так и вниз по течению, а когда на кресте, стоявшем на мосту, золотой петух сверкал на солнце, то я каждый раз испытывал радостное ощущение. Обыкновенно мы тогда проходили через Заксенгаузен и наслаждались переездом через

реку за один крейцер. Так как тогда мы опять попадали на нашу сторону, то прокрадывались на винный рынок и любовались механизмом кранов при выгрузке товаров; особенно же занимало нас прибытие торговых судов, с которых сходили столь разнообразные и иногда странные фигуры. При входе в город мы каждый раз почтительно приветствовали Заальгоф [13]), который, во всяком случае, находился на том месте, где был, по преданию, замок императора Карла Великого и его наследников. Затем мы терялись в старом ремесленном городе и особенно в базарные дни охотно бродили в толпе, собиравшейся вокруг Варфоломеевской церкви. Здесь с давних времен густо теснилась толпа продавцов и разносчиков, которая настолько завладела этим местом, что в новейшее время нелегко было найти пространство для поместительного и приветливого учреждения. Лавки так называемого Фаррэйзена (Pfarreisen) были для нас, детей, особенно замечательны, и мы снесли туда немало грошей, чтобы приобрести себе раскрашенные печатные листы с золочеными изображениями зверей. Но лишь изредка можно было протолкаться сквозь тесную, битком набитую, нечистоплотную рыночную площадь. Так, я припоминаю, что я всегда с ужасом убегал от соседних тесных и отвратительных мясных лавок. Зато Рёмерберг был приятным местом для прогулок. Дорога к новому городу через новую торговую часть была всегда весела и интересна; досадно было только, что около Либфрауенкирхе не было улицы, ведущей прямо к Цейлю, и нам постоянно приходилось делать крюк через Газенгассе или Катеринские ворота. Но что более всего привлекало к себе внимание ребенка — это были многочисленные маленькие городки в городе, крепостцы в крепости, окруженные стенами монастырские участки и оставшиеся еще от прежних веков сооружения, похожие на замки, как Нюрнбергский двор, Компостель, Браунфельс (родовой замок Штальбургов) и многие замки, приспособленные в позднейшие времена для квартир и промышленных помещений. В то время во Франкфурте не было ничего примечательного в архитектурном отношении; все свидетельствовало о давно минувшем времени, очень беспокойном для города и для всей страны. Ворота и башни, затем опять ворота, башни, стены, мосты, валы, рвы, которыми был обнесен новый город, — все это еще очень ясно указывало на то, что необходимость создать в беспокойные времена безопасность для повседневной жизни побудила к этим сооружениям, и площади, и улицы, даже новые, более широкие и красивые, были все обязаны своим происхождением лишь случаю и произволу, а не какому-нибудь упорядочивающему намерению. Таким образом, в мальчике укрепилась некоторая склонность к древностям, которая питалась

и поддерживалась в нем особенно старыми хрониками и гравюрами на дереве, напр. картинами Граве, изображавшими осаду Франкфурта; при этом у него проявлялось еще другое желание — охватить и человеческие отношения в их разнообразии и естественности, независимо от их интереса и красоты. Таким образом одною из наших любимейших прогулок, которую мы старались доставить себе несколько раз в год, была прогулка внутри города вдоль городской стены. Сады, дворы, задние строения простираются вплоть до Цвингера; здесь можно видеть многие тысячи людей в их мелких, замкнутых домашних обстоятельствах. От щегольских и показных садов богачей до фруктовых садов бюргера, заботящегося о своем благополучии, оттуда до фабрик, площадок для беления и подобных учреждений, даже до самого кладбища (так как этот маленький мир лежал тоже внутри города) — мы проходили мимо самого разнообразного и причудливого, с каждым шагом меняющегося зрелища, которым наше детское любопытство не могло достаточно насладиться. Право, даже знаменитый хромой чорт [14]), снимавший по ночам для своего приятеля крыши домов в Мадриде, едва ли доставил ему столько интересного, сколько мы видели здесь под открытым небом, при ярком солнечном свете. Ключи, которые были нужны на этом пути, чтобы пройти через разные башни, лестницы и дверцы, были в руках управляющих, и мы не упускали случая улещивать, как только могли, их подчиненных.

Еще важнее и в другом смысле полезнее для нас была ратуша, так называемый Рёмер [15]). Мы очень охотно блуждали в сводчатых залах ее нижнего этажа. Мы добились доступа в большую, очень простую залу заседаний совета. Стены ее были до некоторой высоты покрыты панелями, а на остальном пространстве были белы, как и своды, и нигде не было никакой живописи и вообще никаких изображений. Только на средней стене вверху можно было прочесть короткую надпись:

Мненье одного —
Все равно, что ничего;
Надо выслушать обоих: того и сего.

По старинному обычаю, для членов этого собрания были вдоль панелей, одною ступенью выше пола, устроены скамьи. Тут нам легко было понять, почему чины нашего сената распределялись по скамьям. От двери на левой руке до противоположного угла, как на первой скамье, сидели старшины, а в самом углу — староста, единственный, перед которым был маленький столик; налево от него до стороны, занятой окнами, сидели господа второй скамьи; вдоль окон простиралась третья

скамья, которую занимали ремесленники; посредине залы стоял стол для протоколиста.

Раз попав в Рёмер, мы часто смешивались с толпою, ожидавшей аудиенции бургомистра. Но наибольший интерес представляло все то, что относилось к избранию и коронованию императора. Мы сумели заручиться благорасположением привратника, чтобы подняться по новой, светлой, размалеванной фресками, императорской лестнице, запиравшейся решеткою. Комната для выборов, украшенная пурпурными обоями и причудливыми завитушками золоченой резьбы, вселяла в нас благоговение. С большим вниманием рассматривали мы створки дверей с причудливыми фигурами маленьких детей или гениев в императорском одеянии, отягощенных имперскими регалиями, и надеялись когда-нибудь увидеть коронацию собственными глазами. Из большой императорской залы можно было выбраться только с большим трудом, и мы считали за истинного нашего друга того, кто мог рассказать нам что-нибудь о деяниях императоров, поясные портреты которых были размещены на некоторой высоте.

О Карле Великом мы узнали много сказочного, но исторический интерес начинался собственно с Рудольфа Габсбургского, который своим мужеством положил конец великой путанице. Карл Четвертый также привлекал к себе наше внимание. Мы уже слышали об его Золотой Булле [16]) и об уголовном уложении, а также и о том, что он не заставил Франкфурт поплатиться за приверженность к его благородному сопернику, Гюнтеру Шварцбургскому [17]). Мы слышали похвалы Максимилиану, как другу человечества и бюргеров, а также пророчество, что он будет последним императором из немецкого дома; последнее, к сожалению, оправдалось, потому что после его смерти выбор колебался только между испанским королем Карлом Пятым и королем французов—Франциском Первым. К тому же с тревогою прибавляли, что и теперь ходит подобное предсказание или, вернее, предзнаменование, ибо очевидно, что на стене остается место только для портрета одного императора,—обстоятельство, хотя, повидимому, и случайное, но беспокоившее умы патриотов.

Делая подобный обход, мы не забывали зайти и в собор и посетить там могилу храброго Гюнтера, уважаемого как друзьями, так и врагами. Замечательный камень, покрывавший ее когда-то, поставлен теперь на хорах. Находившаяся как раз рядом с ним дверь, ведущая в конклав, долгое время оставалась закрытою для нас, пока нам наконец не удалось добиться от высших властей доступа и в это знаменательное место. Но мы лучше бы сделали, если бы рисовали его, как прежде, в своем

воображении, потому что это столь замечательное в немецкой истории место, где собирались самые могущественные князья для столь важного акта, не только не было достойно украшено, но еще и обезображено балками, жердями, лесами и тому подобным дрекольем, которые хотелось убрать куда-нибудь в сторону. Тем более была возбуждена сила нашего воображения и приподнято наше душевное настроение, когда мы вскоре после этого получили разрешение присутствовать при показывании в ратуше Золотой Буллы некоторым знатным иностранцам.

Мальчик с жадностью воспринимал то, что ему не раз рассказывали члены его семьи, а также старшие родственники и знакомые о двух быстро последовавших одна за другою коронациях; не было ни одного франкфуртца известного возраста, который не считал бы оба эти события и всё, что их сопровождало, за важнейший момент своей жизни. Великолепно было коронование Карла Седьмого, при котором в особенности французский посланник давал роскошные празднества с большою щедростью и со вкусом, но тем печальнее для доброго императора были последующие годы, когда он не мог удержать за собою своей резиденции, Мюнхена, и как бы должен был умолять о гостеприимстве свои имперские города.

Хотя коронация Франца Первого была не так блистательна, но она была украшена присутствием императрицы Марии Терезии, красота которой произвела, повидимому, такое же сильное впечатление на мужчин, какое серьёзная, величавая фигура и голубые глаза Карла Седьмого произвели на женщин. Во всяком случае, оба эти рода соперничали друг с другом, чтобы внушить чуткому мальчику самое выгодное представление об обеих этих личностях. Все эти описания и рассказы происходили в веселом и спокойном настроении, так как аахенский мир [18]) в то время положил конец всякой вражде; как о тех празднествах, так же с удовольствием рассказывали и о предшествовавших военных походах, о сражении при Деттингене [19]) и о разных других замечательных событиях минувших лет. Все эти значительные и опасные вещи казались—как это обыкновенно бывает по заключении мира—только предметами для интересной беседы счастливых и беззаботных людей.

После того, как мы около полугода довольствовались исключительно таким патриотически суженным кругозором, подоспело время ярмарок [20]), которые всегда производили во всех детских головах необыкновенное брожение. Постройка множества лавок, создавшая в городе в короткое время новый город, волнение и суета, выгрузка и распаковка товаров—все это возбуждало наше любопытство, неукротимо деятельное с первых моментов

нашего сознания, а также бесконечное стремление к приобретению разных детских вещей, которое подрастающий мальчик старался так или иначе удовлетворить, насколько это позволяли силы его маленького кошелька. В то же время слагалось и представление обо всем том, что мир производит, в чем он нуждается и чем обмениваются между собою обитатели разных частей его.

Эти крупные эпохи, наступавшие весною и осенью, возвещались своеобразными празднествами, которые казались тем более почтенными, что они живо воспроизводили старые времена и то, что от них дошло до нас. В день проводов [21]) весь народ был на ногах и теснился на Фиргассе, к мосту и далее до Заксенгаузена; все окна были заняты, хотя во весь день не происходило ничего особенного. Толпа, казалось, существовала лишь для того, чтобы тесниться, а зрители—чтобы смотреть друг на друга; то, в чем собственно заключался интерес, происходило лишь по наступлении ночи и не столько созерцалось глазами, сколько принималось на веру.

В те старые беспокойные времена, когда каждый по своему усмотрению совершал несправедливости или по желанию осуществлял права, торговые люди, едущие на ярмарки, по произволу подвергались истязаниям и притеснениям со стороны разбойников благородного и неблагородного происхождения, так что владетельные князья и другие могущественные сословия отправляли своих людей во Франкфурт в сопровождении вооруженной силы. Но здесь и имперские города не хотели уронить себя и свою область; они выступали навстречу пришельцам, и тут иногда происходили споры о том, насколько могли приблизиться эти провожатые и могли ли они вступить в самый город. Это происходило не только при торговых и ярмарочных делах, но и тогда, когда приближались к городу высокие особы, в военные и мирные времена, а в особенности в дни выборов, и часто дело доходило до схваток, если какая-нибудь свита, которую город не желал допустить, намеревалась проникнуть туда вместе со своим господином. По этому поводу велось много переговоров, делалось много уступок, хотя всегда с оговорками с обеих сторон, при чем существовала надежда, что этот раздор, продолжающийся целые века, будет наконец улажен и все меры предосторожности, которые давали повод к таким длительным и резким столкновениям, сделаются бесполезными или, по крайней мере, излишними.

Покамест же гражданская кавалерия выезжала в эти дни несколькими отрядами, с начальниками во главе, в различные ворота, и встречала на известных местах по нескольку всадников или гусар имперских чинов, имевших право на такой кон-

вой, и их, вместе с их начальниками, радушно встречали и угощали; задерживались до вечера, а потом въезжали в город, едва видимые ожидающею толпою, при чем многие из гражданских всадников не могли ни править своею лошадью, ни сами держаться на лошади. Наиболее значительные отряды подъезжали к воротам моста, а потому здесь была самая сильная давка. После всех, с наступлением ночи, приезжала с такою же свитою нюрнбергская почтовая карета; по словам молвы, в ней каждый раз должна была, по обычаю, сидеть старуха. При приближении кареты уличные мальчишки поднимали громкий крик, хотя сидевших в карете пассажиров нельзя было различить. Напор толпы, устремлявшейся в это время за каретою через ворота моста, был прямо невероятен и головокружителен, вследствие чего зрители более всего стремились попасть в соседние дома.

Другое, еще более своеобразное празднество, которое занимало публику при свете дня, представлял судный день «дудошников» [22]). Эта церемония напоминала те давние времена, когда значительные торговые города старались если не освободиться от податей, возраставших вместе с торговлей и ремеслами, то хотя бы, по крайней мере, добиться смягчения их. Император, нуждавшийся в этих податях, давал, насколько это от него зависело, эти льготы, но обыкновенно только на год, и их приходилось возобновлять ежегодно. Это происходило посредством символических даров, которые приносились перед наступлением Варфоломеевской ярмарки императорскому старосте, бывшему иногда в то же время верховным сборщиком податей, что происходило, для важности, когда он со старшинами заседал в суде. Когда впоследствии староста не назначался уже императором, а избирался самим городом, он все-таки сохранил за собою эти преимущества, и налоговые льготы городов, а равно и церемонии, которыми депутаты Вормса, Нюрнберга и Альтбамберга отмечали эти древние льготы, сохранились до наших дней. За день до рождества богородицы объявлялся день публичного суда. В большой императорской зале, в огороженном пространстве, сидели старшины, а посредине, одною ступенью выше—староста; уполномоченные сторонами прокураторы помещались ниже, на правой стороне. Актуарий начинал громко читать отложенные до этого дня важные приговоры; прокураторы требовали копий, апеллировали и вообще исполняли то, что находили нужным.

Вдруг странная музыка возвещала как бы возвращение былых веков. То были три «дудошника»: один из них играл на дудке, другой на фаготе, третий на поммере или гобое. На них были голубые, окаймленные золотом плащи, на рукавах прикреплены были ноты, а головы их были покрыты. Ровно

в десять часов выходили они из своей гостиницы в сопровождении посланников и их свиты, составляя предмет удивления местных жителей и иностранцев, и вступали в залу. Судебное производство останавливалось; «дудошники» с сопровождавшими их чинами оставались перед загородкою, а посол входил в нее и останавливался перед старостою. Символические дары, которые точнейшим образом подносились по старинному обычаю, состояли обыкновенно из таких товаров, которыми главным образом торговал данный город. Перец заменял собой все товары; таким образом и здесь посол подносил красиво выточенный деревянный бокал, наполненный перцем. На нем лежала пара перчаток с причудливыми прорезами, с шелковыми каемками и кистями, как знак дарованной и принятой льготы, которым в некоторых случаях пользовался, вероятно, и сам император. Тут же была и белая палочка, которая прежде непременно должна была быть налицо при юридических и судебных актах. К этому присоединялось еще несколько серебряных монет, а город Вормс подносил старую войлочную шляпу, которую он всегда снова выкупал, так что эта шляпа была многие годы свидетельницей подобных церемоний.

Посол держал свою речь, вручал дары, принимал от старосты уверение в продолжении льгот и удалялся из загородки; дудошники играли, шествие уходило тем же порядком, как и пришло, а суд продолжал свои занятия, пока не входил второй и наконец третий посол, потому что они приходили через некоторые промежутки времени один за другим, отчасти чтобы продлить удовольствие публики, отчасти потому, что это были все одни и те же старинные виртуозы, содержание которых за себя и за союзные города взял на себя Нюрнберг и ежегодно посылал их в соответствующие места.

Нас, детей, этот праздник особенно интересовал, так как нам немало льстило видеть своего дедушку на столь почетном месте и так как мы обыкновенно в тот же день скромно посещали его; когда бабушка, бывало, высыпет перец в ящик для пряностей, мы получали бокал, палочку, перчатки или старинную монету. Эти символические церемонии, как бы волшебством вызывающие перед нами древность, нельзя было объяснить, не возвращаясь в предыдущие столетия, не осведомляясь о нравах, обычаях и взглядах наших предков; все это было воскрешаемо перед нами как бы восставшими из гроба дудошниками и депутатами, а также видимыми дарами, которые попали в наши руки.

За такими празднествами почтенной старины следовало в хорошее время года несколько более веселых для нас, детей, праздников вне города, под открытым небом. На правом берегу

Майна вниз по течению, приблизительно в получасовом расстоянии от ворот, находится серный источник, чисто обделанный и окруженный старыми липами. Неподалеку оттуда находится гостиница «Двор добрых людей», бывший госпиталь, построенный ради этого источника. Там, на общественном пастбище, в известный день ежегодно собирались стада рогатого скота из всего соседства, и пастухи со своими девушками устраивали сельский праздник с танцами и пением, с разнообразным весельем и шалостями. На другой стороне города находилось подобное же, но еще более обширное общинное место, также украшенное источником и еще более красивыми липами. Туда в Троицу пригоняли овечьи стада и в то же время выпускали на вольный воздух бедных, побледневших детей, сирот из их стен; лишь позднее пришли к мысли, что таких покинутых созданий, которым придется когда-нибудь пробивать себе дорогу в мире, лучше всего поскорее приводить в соприкосновение с этим миром, вместо того, чтобы оберегать их в печальной обстановке, лучше сейчас же приучать их к службе и терпению, и есть все причины с первых дней детства укреплять их физически и морально. Няньки и служанки, которые сами охотно доставляют себе удовольствие прогулки, не упускали случая с самого раннего нашего детства носить и водить нас в подобные места, так что эти сельские праздники принадлежат к числу первых впечатлений, какие я припоминаю.

Дом наш, между тем, был готов [23]) и притом в довольно короткое время, потому что все было тщательно предусмотрено, подготовлено, и запасена была нужная сумма денег. Мы снова собрались все вместе и чувствовали себя уютно; хорошо обдуманный план, когда он исполнен, заставляет забывать о всех неудобствах, сопряженных со средствами, употребляемыми для достижения этой цели. Дом был достаточно просторен для частного жилища, весь светел, лестница была широка, приемные комнаты приветливы, а вышеупомянутым видом на сады можно было любоваться из нескольких окон. Внутренняя достройка и все, что относится к усовершенствованию и украшению, также были мало-по-малу докончены, и работа эта послужила нам в то же время занятием и развлечением.

Первое, что было приведено в порядок, была библиотека отца, лучшие книги которой, в кожаных или полукожаных переплетах, украшали стены его рабочей комнаты и кабинета. У него имелись прекрасные голландские издания итальянских авторов, которые он ради внешнего единообразия старался приобретать все в формате in quarto; кроме того, было многое, относящееся к римским древностям и к изящной юриспруденции. Были налицо все главнейшие итальянские поэты; осо-

бенно он любил Тассо. Были также новейшие описания путешествий, и он сам доставлял себе удовольствие, исправляя и дополняя Кейслера и Немейца [24]). Равным образом окружил он себя и необходимыми вспомогательными средствами—словарями различных языков, энциклопедическими лексиконами, где можно было наводить всевозможные справки, и многим другим приятным и полезным.

Другая половина этой библиотеки, в аккуратных пергаментных томах с очень красиво выписанными заглавиями, была поставлена в особой мансардной комнате. Пополнение новыми книгами, а также переплет и расстановка их производились моим отцом с большим спокойствием и аккуратностью. Научные данные, сообщавшие особые преимущества тому или другому сочинению, имели на него большое влияние. Его собрание юридических диссертаций ежегодно увеличивалось на несколько томов.

Картины, которые висели в старом доме где попало, были теперь симметрично размещены на стенах приветливой комнаты рядом с кабинетом, все в черных рамах, украшенных золотыми палочками. У моего отца было правило, которое он часто высказывал и даже страстно защищал,—что следует интересоваться современными художниками и поменьше обращать внимание на старых, при оценке которых, по его мнению, многие слишком поддаются предрассудку. Он представлял себе, что к картинам относятся так же, как к рейнвейну: его ценят соответственно старости, тогда как он ежегодно может быть таким же отличным, как и в предыдущем году; по прошествии же некоторого времени всякое новое вино делается старым, столь же ценным и, может быть, еще более вкусным. Это свое мнение он в особенности подтверждал замечанием, что многие старые картины, повидимому, получают большую цену в глазах любителей от того, что они потемнели и побурели, и что гармония тонов таких картин часто особенно восхваляется. Отец уверял, напротив, что он вовсе не боится, что новые картины впоследствии тоже почернеют; но он не мог согласиться с тем, что они от этого выиграют. Следуя этим правилам, он в течение нескольких лет приобретал картины всех франкфуртских художников: Гирта, дубовые и буковые леса и так называмые ландшафты которого были удачно украшены изображениями пасущегося скота; Траутмана, который взял себе за образец Рембрандта и достиг большого искусства в местном освещении и рефлексах, а также в эффектных огненных тонах, так что однажды ему даже заказали написать парную к картине Рембрандта; далее Шютца, который прилежно изображал прирейнские местности в манере Захтлеевена,

равно и Юнкера, который очень чисто рисовал, по примеру голландцев, цветы и плоды, мертвую природу и мирные занятия людей. Охота к собиранию этих картин вновь освежилась и оживилась новым порядком, более удобным местом, а еще более знакомством с одним искусным художником. Это был Зеекатц [25]), ученик Бринкмана, придворный дармштадтский живописец, талант и характер которого подробнее выяснится перед нами в дальнейшем.

Таким же образом продолжалось и усовершенствование прочих комнат сообразно их назначению. Чистота и порядок господствовали во всем; в особенности большие зеркальные стекла окон содействовали полному освещению, которого не доставало в старом доме по многим причинам, а в особенности благодаря большею частью круглым оконным стеклам. Отец был весел, потому что все хорошо удалось ему, и если бы его хорошее расположение духа не прерывалось иногда недостаточным прилежанием и неаккуратностью рабочих, то едва ли можно было бы представить себе более счастливую жизнь, тем более, что много хорошего частью возникало в среде самого семейства, частью притекало извне.

Однако душевное спокойствие мальчика в первый раз испытало глубочайшее потрясение вследствие одного чрезвычайного события. 1 ноября 1755 года произошло лисабонское землетрясение [26]), поразившее необыкновенным ужасом весь мир, привыкший к миру и покою. Большая и великолепная столица, представлявшая в то же время богатый торговый город, неожиданно была поражена ужаснейшим бедствием. Земля колебалась и тряслась, море кипело, корабли сталкивались, дома обрушивались, церкви и башни падали на них, часть королевского дворца была поглощена морем, потрескавшаяся земля как-будто извергала пламя, потому что повсюду развалины дымились и горели. Шестьдесят тысяч человек, еще за минуту перед тем жившие спокойно и уютно, погибли одновременно, и счастливейшими из них следовало назвать тех, которые уже не чувствовали и не сознавали несчастия. Пламя свирепствовало, а среди него неистовствовала толпа ранее скрытых, а теперь вырвавшихся на свободу преступников. Несчастные уцелевшие люди сделались жертвами грабежа, убийства и всяких насилий; так во всем господствовал безграничный произвол стихий.

Еще быстрее, чем известия, распространились по обширным пространствам земли предвестия этого события: во многих местах ощущались более слабые сотрясения; во многих источниках, в особенности целебных, замечена была необыкновенная остановка воды; тем сильнее было действие самых известий, которые быстро распространились сперва в общих чертах, а затем

с ужасными подробностями. Богобоязненные люди стали высказывать свои соображения, философы утешали, духовные лица читали проповеди о господней каре. Все это вместе долгое время приковывало внимание всего мира к этому событию, и умы, взволнованные чужим несчастьем, были тем более взволнованы заботами о своих близких, что со всех сторон и концов света приходили все новые и все более обстоятельные известия о широко распространившемся действии этого взрыва. Может быть, никогда еще демон ужаса так быстро и могущественно не распространял трепет по всей земле.

Мальчик, которому много раз приходилось слышать все это, был немало поражен. Бог, создатель и хранитель неба и земли, которого первые объяснения религии изображали ему столь мудрым и милосердым, оказался вовсе не таким любящим отцом, одинаково погубив и правых, и неправых. Напрасно молодая душа старалась восстановить в себе равновесие лицом к лицу с этими впечатлениями, тем более, что и мудрецы, и ученые писатели не могли согласиться между собою, как следует смотреть на это явление.

Следующее лето доставило еще один случай непосредственно познать гневного бога, о котором так много сообщает ветхий завет. Неожиданно разразилась гроза с градом и, при громе и молнии, ужаснейшим образом перебила новые зеркальные стекла задней, обращенной к западу, стороны дома, повредила новую мебель и испортила несколько ценных книг и других важных вещей. Все это тем более перепугало детей, что потерявшая голову домашняя прислуга увлекла их с собою в темный коридор и там, упав на колени, со страшным плачем и криком старалась умилостивить разгневанное божество. В это время отец, один из всех сохранивший присутствие духа, раскрыл и вынул оконные рамы и спас этим многие стекла, но зато открыл дорогу ливню, разразившемуся вслед за градом, так что, когда все это кончилось, приемные комнаты и лестницы оказались залитыми стоячею и текущею водою.

Все подобные случаи, как ни неприятны они были в общем, все-таки лишь в малой степени прерывали ход и последовательность нашего обучения, намеченные отцом для себя и для детей. Он провел свою молодость в кобургской гимназии, которая занимала одно из первых мест среди немецких учебных заведений. Там он положил прочное основание своему знанию языков и всему, что считалось нужным для ученого воспитания; затем он занимался в Лейпциге юриспруденцией и, наконец, защитил диссертацию в Гиссене. Его диссертация «Electa de aditione hereditatis», составленная серьезно и старательно, до сих пор с одобрением цитируется учеными юристами [27]).

Каждый отец благоговейно лелеет желание осуществить в своих сыновьях то, чего не удалось сделать ему самому, при этом он как-будто желает жить во второй раз и хорошенько использовать опыт первой жизни. Чувствуя свои знания, будучи уверен в своей выдержке и не доверяя тогдашним учителям, отец взял сам на себя обучение своих детей и лишь по необходимости отвел несколько часов особым учителям. В то время вообще начал проявляться педагогический дилетантизм. Главным поводом к этому были, вероятно, педантизм и смутность понятий у учителей официальных школ. Искали чего-то лучшего и забывали при этом, как недостаточно обучение, если оно не ведется людьми специально этого ремесла.

Собственная жизнь моего отца складывалась до тех пор довольно удачно, сообразно его желаниям; он хотел, чтобы и я шел тою же дорогою, только удобнее и дальше. Он тем более ценил мои природные дарования, что сам был не особенно даровит: он все приобрел лишь невыразимым прилежанием, настойчивостью и повторением. Нередко — во время моего детства и впоследствии — серьезно и в шутку он уверял меня, что с моими способностями он вел бы себя совершенно иначе и не тратил бы сил так беспорядочно, как я.

Быстро схватывая, усваивая и удерживая, я вскоре перерос то образование, которое могли мне дать отец и другие учителя, хотя ни в чем не имел основательных знаний. Грамматика мне не нравилась, потому что я смотрел на нее лишь как на произвольный закон; правила ее казались мне смешными, ибо они уничтожались многочисленными исключениями, которые все приходилось заучивать отдельно. Если бы не было рифмованного латинского учебника, то мне пришлось бы плохо, но этот учебник я охотно отбарабанивал и распевал. Географию нам также преподавали для запоминания в подобных стихах, при чем самые нелепые вирши запечатлевались лучше всего, напр.:

Обер-Иссель: от болот,
Много терпит там народ.

Формы и обороты речи я схватывал легко; равным образом я легко усваивал основное понятие каждого предмета. В риторике, в хриях [28]) и т. д. никто не мог превзойти меня, хотя я и грешил нередко разными недостатками языка. Такие сочинения доставляли особенное удовольствие моему отцу, и за них он награждал меня денежными подарками, значительными для мальчика.

В той же самой комнате, где я заучивал наизусть Целлариуса [29]), отец учил мою сестру итальянскому языку. Окончив свой

урок и будучи принужден все-таки сидеть смирно, я учился без книги, прислушиваясь, и ловко усвоил итальянский язык, который казался мне игривым уклонением от латинского.

Подобную же скороспелость в отношении памяти и догадливости обнаруживают и другие дети, которые благодаря этому очень рано прославляются. Поэтому мой отец не мог дождаться того времени, когда я поступлю в университет. Вскоре он объявил мне, что я должен изучить также юриспруденцию в Лейпциге, к которому он питал большое расположение, затем посетить еще один университет и защитить диссертацию. Что касается этого второго университета, то ему было безразлично, какой я изберу; только против Геттингена он что-то имел, к моему сожалению, так как именно к этому университету я питал большое доверие и возлагал на него большие надежды.

Затем он сказал мне, что мне придется еще побывать в Вецларе и Регенсбурге, а также в Вене, а оттуда отправиться в Италию, хотя он неоднократно повторял, что ранее надо повидать Париж, потому что после Италии ничто уже не будет интересно.

Эту сказку о моем будущем юношеском путешествии я охотно заставлял себе повторять, особенно когда дело доходило до рассказов об Италии и наконец до описания Неаполя. Всегдашняя серьезность и сухость отца каждый раз при этом как-будто растаивали, и он оживлялся; таким образом в нас, детях, рождалось страстное желание также побывать в этом раю.

Частные уроки, число которых все умножалось, я разделял с соседями. Это совместное обучение не подвигало меня; учителя были небрежны, а проказы, иногда даже злостные выходки моих сотоварищей вносили беспокойство, досаду и помехи в наши скудные учебные часы. Хрестоматии, которые делают преподавание веселым и разнообразным, не дошли еще до нас. Столь скучный для молодых людей Корнелий Непот, чрезвычайно легкий и через проповеди и преподавание закона божия сделавшийся даже тривиальным новый завет, Целлариус и Пазор [29]) не могли заинтересовать нас; зато нами овладело некоторое неистовство по части рифмования и стихотворства при чтении тогдашних немецких поэтов. Мною эта страсть овладела еще раньше, когда я нашел забавным перейти от риторической обработки задач к поэтической.

Мы, мальчики, сходились по воскресеньям, при чем каждый из нас должен был читать самостоятельно сочиненные им стихи. Здесь я встретился с удивительным явлением, которое долго волновало меня. Каковы бы ни были мои стихотворения, они всегда казались мне самыми лучшими. Но скоро я заметил, что мои сверстники, произведения которых очень хромали, были

такого же мнения о своих стихах. Всего же серьезнее казалось мне то обстоятельство, что один хороший, но совершенно неспособный к таким работам мальчик, которого я вообще очень любил, заказывал для себя стихи у своего домашнего наставника и не только считал их за самые лучшие, но был вполне убежден, что сам сочинил их, как он откровенно утверждал в дружеской беседе со мною. Видя своими глазами такое заблуждение и безумие, я однажды сильно встревожился, нет ли чего-нибудь подобного и со мною, не действительно ли другие стихи лучше моих и не кажусь ли я другим мальчикам таким же сумасшедшим, какими они кажутся мне. Эта мысль сильно и долго беспокоила меня, так как для меня было совершенно невозможно найти истину по какому-нибудь внешнему признаку. Я было перестал даже сочинять стихи, пока, наконец, мое легкомыслие, чувство собственного достоинства и в конце концов одна пробная работа не успокоили меня. Именно учитель и родители, заметив нашу игру, дали нам экспромтом тему, на которую я хорошо ответил и заслужил всеобщую похвалу.

В то время еще не существовало библиотек для детей. У самих взрослых был еще детский склад мыслей, и они находили удобным сами сообщать свое образование потомству. Кроме «Orbis pictus» Амоса Комениуса [30]) ни одно сочинение подобного рода не попало в наши руки; зато мы часто перелистывали большую библию-фолиант с гравюрами работы Мериана. Хроника Готфрида [31]), с гравюрами того же мастера, поучала нас замечательнейшим событиям всемирной истории; к этому присоединялись еще разные сказки, мифология и другие курьезы из Acerra philologica [32]); вскоре я обратил свое внимание на «Метаморфозы» Овидия и в особенности прилежно прочел первые главы их, после чего мой молодой мозг довольно быстро наполнился массою картин и событий, значительными и дивными образами и рассказами, и я никогда не скучал, все время занимаясь усвоением, повторением и воспроизведением этих приобретений.

Более серьезное, нравственное влияние, чем эти иногда грубые и опасные древности, имел на меня «Телемак» Фенелона, с которым я впервые познакомился в переводе Нейкирха [33]) и который даже в такой несовершенной передаче произвел сладостное и благотворное воздействие на мою душу. Что ко всему этому скоро присоединился «Робинзон Крузо» [34]) — разумеется само собою, а также легко себе представить, что дело не обошлось и без острова Фельзенбурга [35]). Кругосветное путешествие лорда Ансона [36]) соединяло достоинство истины с богатою фантазиею сказки, и, мысленно сопровождая этого бравого моряка, мы совершали далекие путешествия по всему свету и пытались пальцами следить за ним по глобусу. Мне представилась еще более

богатая жатва, когда я наткнулся на массу сочинений, которые, правда, в своей современной форме не могли быть названы отличными, но содержание которых невинно знакомило нас со многими заслугами былых времен.

Издательство или, вернее, фабрика тех книг, которые в последующее время сделались известными и даже знаменитыми под именем народных сочинений, народных книг, находилась в самом Франкфурте, и так как они сильно расходились, то они печатались прескверно, неразборчиво, стереотипными буквами на ужаснейшей протекающей бумаге. Мы, дети, имели таким образом счастье ежедневно находить эти ценные остатки средних веков на столике у входной двери букиниста и приобретать их за пару крейцеров. Эйленшпигель, Четверо детей Гаймона, Прекрасная Мелюзина, Император Октавиан, Прекрасная Магелона, Фортунат и все прочее это племя вплоть до Вечного Жида было к нашим услугам, когда нам приходило в голову накупить этих вещей вместо какого-нибудь лакомства [37]). Большое удобство представляло то обстоятельство, что в случае если подобная книжонка была растрепана от чтения или вообще как-нибудь повреждалась, ее всегда можно было приобрести и проглотить снова.

Как иногда какое-нибудь летнее семейное путешествие досаднейшим образом нарушается внезапною грозою и веселое настроение духа превращается в самое отвратительное, так детские болезни неожиданно разражаются в самое лучшее время нашей молодой жизни. Я не избежал этого. Только-что я купил себе Фортуната с его сумкою и волшебною шапочкою, как на меня напало недомогание и началась лихорадка, предвестники оспы. На прививку в те времена у нас все еще смотрели с большим сомнением, и хотя популярные писатели уже рекомендовали ее в общепонятной форме и настоятельно, но немецкие врачи все-таки не решались на операцию, которая как-будто стремилась опередить природу. Поэтому на материк приезжали спекулянты-англичане [38]) и за изрядный гонорар делали прививку детям богатых лиц, свободных от предрассудков. Большинство все еще терпело старое бедствие; болезнь свирепствовала в семьях, убивала и уродовала множество детей, и лишь немногие родители отваживались прибегнуть к средству, вероятная помощь которого была уже многократно подтверждена успехом. Бедствие постигло и наш дом и напало на меня с особенною силою. Все мое тело было усеяно оспинами, лицо было покрыто ими, и так я пролежал несколько дней слепой, сильно страдая. Эти страдания старались смягчить и обещали мне золотые горы, если я буду лежать смирно и не увеличивать зла потиранием и чесанием. Усилием воли я достиг этого;

но, согласно господствующему предрассудку, нас держали как можно теплее и тем еще усиливали беду. Наконец, после некоторого печального периода времени, у меня точно маска спала с лица, при чем оспины не оставили видимых следов на коже; но общий вид мой чрезвычайно изменился. Я сам был доволен, что снова вижу дневной свет и что пятна на лице мало-помалу проходят; но другие были достаточно безжалостны, чтобы напоминать мне о моем прежнем состоянии. В особенности одна очень живая тетушка, которая прежде молилась на меня, еще через несколько лет, увидя меня, редко могла удержаться от восклицания: «Фу, чорт, какой он стал гадкий». Затем она подробно рассказывала, как она раньше любовалась мною, как на нее все обращали внимание, когда она носила меня на руках. Таким образом я рано испытал, как люди иногда заставляют нас очень чувствительно расплачиваться за удовольствие, которое мы им доставляли.

Ни корь, ни ветряная оспа, ни другие мучители юности не пощадили меня, и каждый раз меня уверяли, что то или другое зло, к моему счастию, навсегда миновало; но, к сожалению, за ним опять угрожало что-нибудь другое и надвигалось в свой черед. Все это увеличивало мою наклонность к размышлению, и так как, стремясь удалить от себя муки нетерпения, я уже не раз упражнялся в твердости, то мне казались весьма достойными подражания те добродетели, которыми, как я слышал, славились стоики, тем более, что и христианским учением о смирении рекомендовалось то же самое.

При этом печальном для семьи случае я должен упомянуть также о моем брате, который, будучи на три года моложе меня, также заразился оспой и немало страдал от нее [39]). Он был нежного сложения, тих и замкнут, и между нами никогда не было настоящей дружбы. Да он едва пережил годы детства. Среди нескольких позднее родившихся детей, которые тоже жили недолго, я вспоминаю еще одну очень красивую и милую девочку, которая, однако, тоже вскоре исчезла, так что по прошествии нескольких лет остались только мы вдвоем с сестрою и зато были особенно близки между собою и любили друг друга.

Эти болезни и другие неприятные помехи были вдвойне тягостны по своим последствиям, потому что мой отец, который составил себе, повидимому, особый календарь воспитания и обучения, хотел непосредственно возместить каждое промедление и отягощал выздоравливающего двойными уроками. Хоть исполнять их мне было и не тяжело, но все-таки это было тягостно в том отношении, что задерживало и как бы оттесняло назад мое внутреннее развитие, которое приняло определенное направление.

От этих дидактических и педагогических стеснений мы спасались обыкновенно у деда и бабушки. Их жилище находилось на Фридбергской улице и было, повидимому, когда-то замком: приближаясь к нему, мы видели только большие ворота с зубцами, стоявшие между двумя соседними домами. Войдя туда, мы проходили через узкий корирод в довольно широкий двор, окруженный различными строениями, которые в данное время были все соединены в одну квартиру. Обыкновенно мы сейчас же спешили в сад, который простирался довольно далеко в длину и ширину позади строений и содержался очень хорошо. Дорожки его были большею частью обсажены вьющимся виноградом; часть пространства была отведена под овощи, часть под цветы, и эти растения с весны до осени, сменяясь одни другими, украшали клумбы и гряды. Длинная стена, обращенная к югу, была использована для прекрасной шпалеры персиковых деревьев, запретные плоды которых аппетитно зрели перед нами в течение лета. Но мы охотно избегали этого места, потому что не могли здесь удовлетворить свою страсть к лакомствам, и обращались к противоположной стороне, где нашей жадности свободно открывался необозримый ряд кустов смородины и крыжовника, от начала сбора ягод вплоть до осени. Не менее привлекало нас старое, высокое, широко разветвленное тутовое дерево своими плодами и тем, что листьями его, как нам рассказывали, питались шелковичные черви. В этом мирном уголке мы находили каждый вечер дедушку, который, в приятной заботливости, собственноручно вел более тонкий уход за плодами и цветами, тогда как садовник исполнял более грубую работу. Дедушка никогда не жалел разнообразных усилий, нужных для поддержания и размножения прекрасной культуры гвоздик. Он сам привязывал веерообразные ветви персиковых деревьев к шпалерам, способствуя этим обильному и удобному созреванию плодов. Сортировку луковиц тюльпанов, гиацинтов и родственных им растений, а также заботу о сохранении их он не предоставлял никому другому; и мне до сих пор приятно вспомнить, как прилежно он занимался прививкой разных видов роз. При этом, чтобы защититься от шипов, он надевал те старинные кожаные перчатки, которые на суде дудочников ежегодно подносились ему в тройном количестве, так что у него никогда не было недостатка в них. Он носил постоянно шлафрок, похожий на халат, а на голове — складчатую черную бархатную шапочку, так что представлял нечто среднее между Алкиноем и Лаэртом [40]).

Все эти садовые работы он исполнял так же правильно и точно, как и свои служебные обязанности; до самой смерти он ежедневно составлял список предположений на следующий день

и читал акты. Утром он выезжал в ратушу, по возвращении обедал, после этого дремал в своем большом кресле, и один день проходил как другой. Он мало говорил и не проявлял никакого признака раздражительности; я не помню, чтобы видел его когда-нибудь сердитым. Все, что его окружало, имело старинный характер; в его выложенной панелями комнате я никогда не замечал никакого новшества. Его библиотека, кроме юридических сочинений, содержала лишь старые описания путешествий, мореплаваний и открытий новых стран. Вообще я не помню обстановки, которая в такой степени, как эта, давала бы впечатление ненарушимого мира и вечной несменяемости.

Но что особенно возвышало почтение, которое мы питали к этому достойному старцу, это было убеждение, что он обладает даром пророчества, в особенности в тех вещах, которые касались его самого и его судьбы. Правда, этого он не открывал решительно и подробно никому, кроме бабушки, но мы все знали, что многозначительные сны предупреждают его о том, что должно случиться. Так, например, в то время, когда он был еще одним из младших советников ратуши, он уверял свою супругу, что при первой вакансии получит место на скамье старшин. Когда действительно вскоре после того один из старшин скончался от удара, в день выборов и баллотировки он устроил у себя в доме, в тишине, все приготовления к приему гостей и поздравлений; и решающий золотой шар действительно достался ему. Простой сон, который предвещал ему это, он рассказал своей жене следующим образом. Он видел, что сидит в обыкновенном полном собрании советников, где все шло своим обычном порядком. Вдруг старшина, который затем умер, поднялся с своего места, сошел вниз, с любезным поклоном предложил ему занять покинутое место и вышел в дверь.

Нечто подобное произошло и тогда, когда освободилось место старосты за его смертью. В таких случаях не медлят с замещением этой должности, опасаясь, чтобы император снова не потребовал своего старого права назначить старосту. На этот раз в полночь пришел посланный из суда с известием, что на следующее утро назначено экстренное заседание. Так как у этого посланного почти погасла свечка в фонаре, то он просил дать ему огарок, чтобы он мог продолжать свой путь.— Дайте ему целую свечку,—сказал дед женщинам:—ведь он трудится для меня.— Последствия оправдали эти слова: дед действительно сделался старостою, при чем в особенности замечательно было то обстоятельство, что, хотя его представитель при баллотировке должен был брать шар на третьем и последнем месте, два серебряные шара вышли первыми, а золотой остался лежать для него на дне кошеля.

Совершенно прозаичны, просты, лишены всякого следа чего-либо фантастического или чудесного были и другие его сны, ставшие нам известными. Далее я вспоминаю, что мальчиком я рылся в его книгах и записных календарях и между разными заметками, относившимися к садоводству, нашел следующую запись: «Сегодня ночью приходил ко мне такой-то и сказал...» Имя и откровение были написаны шифром. Или в другой подобной же записи: «Сегодня ночью я видел...» Прочее было опять-таки написано шифром, кроме союзов и других слов, из которых нельзя было ничего понять.

При этом остается замечательным, что лица, которые вообще не обнаруживали никаких признаков способности предвидения, в присутствии дедушки на время получали способность предчувствия по известным признакам событий, в роде болезни или смерти, происходивших одновременно, хотя и на далеком расстоянии. Никто из его детей и внуков не унаследовал этого дара; напротив, они были большею частью крепкие, здоровые, жизнерадостные люди, понимавшие только реальное.

При этом случае я должен вспомнить их с благодарностью за многое доброе, полученное мною от них в моей молодости. Так, например, мы находили занимательное и интересное время-препровождение, посещая замужнюю вторую дочь дедушки, жену москательного торговца Мельбера [41]), квартира и лавка которой находилась на рынке, в самой оживленной и многолюдной части города. Здесь мы с удовольствием смотрели из окон на тесноту и давку, потеряться в которой мы боялись; из многочисленных товаров лавки нас сначала интересовала только лакрица и приготовляемые из нее бурые печатные пряники, но мало-по-малу мы познакомились с бо́льшим количеством предметов, получаемых и продаваемых при подобной торговле. Эта тетка была самая живая из всей семьи. Если моя мать в свои молодые годы любила, чисто одевшись, сидеть за какою-нибудь изящною женскою работою или за чтением книги, то тетка бегала по соседям, занималась с оставленными детьми, ходила за ними, причесывала их и носила на руках, как она делала это долгое время и со мною. Во время общественных торжеств, например, при коронациях, ее невозможно было удержать дома. Уже ребенком она любила ловить бросаемые народу в таких случаях деньги; рассказывали, как однажды она собрала порядочную сумму и с удовольствием рассматривала ее на ладони, при чем кто-то выбил ей деньги из рук, и с трудом приобретенная добыча была сразу вся потеряна. Не менее хвалилась она другим своим подвигом: при въезде императора Карла Седьмого, она, стоя на тумбе и воспользовавшись мгновением, когда народ молчал, громко крикнула «виват» прямо в карету, чем

заставила государя снять перед нею шляпу и вежливо поблагодарить ее за это внимание. В своем дому она также живо возилась со всем, была жизнерадостна и бодра, и мы, дети, были обязаны ей многими веселыми часами.

Более спокойна, соответственно своему природному характеру, была другая тетка, вышедшая замуж за пастора Штарка [42]), состоявшего при Катерининской церкви. Сообразно своему характеру и положению он жил очень уединенно и имел хорошую библиотеку. Здесь я впервые познакомился с Гомером, в прозаическом переводе, находившемся в седьмой части изданного г-ном фон-Лоэн [43]) нового собрания замечательнейших путешествий, под заглавием «Гомерово описание завоевания троянского царства», с гравюрами на французский театральный лад. Картины так испортили мое воображение, что я долгое время не мог себе представить гомеровских героев иначе, как именно в этом виде. Самые события невыразимо понравились мне; я был очень недоволен в этом сочинении только тем, что оно не дает нам никаких сведений о самом завоевании Трои и кончается так отрывисто смертью Гектора. Мой дядя, которому я сообщил это порицание, указал мне на Виргилия, который вполне удовлетворил моим требованиям.

Само собою разумеется, что нам, детям, кроме других уроков, преподавался также постоянно и прогрессивно закон божий. Но церковный протестантизм, который нам передавали, представлял, собственно, только род сухой морали; о вдохновенном преподавании и не думали, и учение это не могло действовать на душу и сердце. Поэтому появились и разные уклонения от официальной церкви, возникли сепаратисты, пиэтисты, гернгутеры, «тихие братья» и разные секты других названий и обозначений. Все они имели целью приблизиться к божеству, в особенности через Христа, более чем это казалось им возможным в форме общепризнанной религии.

Мальчик постоянно слышал разговоры об этих религиозных стремлениях и образе мыслей, так как и духовные лица, и миряне делились на партии за и против. Более или менее обособившиеся находились всегда в меньшинстве; но их образ мыслей привлекал к себе оригинальностью, сердечностью, стойкостью и самостоятельностью. Об этих добродетелях и о проявлениях их рассказывались всевозможные истории. В особенности пользовался известностью ответ одного жестяных дел мастера, которого один из его собратий по цеху думал устыдить вопросом: кто, собственно, его духовник. Весело и с уверенностью в своей правоте жестяник ответил: — «Это очень знатное лицо, — ни более, ни менее как духовник царя Давида.

Эти и подобные вещи должны были произвести впечатление на мальчика и побудить его к подобным же настроениям. Как бы то ни было, он пришел к мысли о непосредственном сближении с великим богом природы, создателем и хранителем неба и земли, чьи прежние проявления гнева давно уже были забыты, благодаря красоте мира и разнообразным благам, заключающимся в нем для нас; но путь к этому был очень странен.

Мальчик вообще держался первого догмата веры. Бог, стоящий в непосредственной связи с природою, признающий и любящий ее как свое создание, этот бог казался ему настоящим богом, который, конечно, может приходить в ближайшее соотношение и с человеком, как со всем прочим, и заботится о нем так же, как и о движении звезд, о временах дня и года, о растениях и животных. Некоторые места евангелия ясно говорили об этом. Этому существу мальчик не мог сообщить видимый образ; поэтому он искал его в его делах и пожелал воздвигнуть ему жертвенник по ветхозаветному образцу. На этом алтаре произведения природы должны были символически изображать собою мир; над ними должен бы гореть огонь и обозначать собою душу человека, стремящуюся вознестись к своему творцу. И вот я выбрал из имевшихся налицо и случайно добавленных предметов естественно-исторической коллекции лучшие ступени развития и образцы; но трудно было решить вопрос, как следовало расположить их друг над другом и распределить. У отца был очень красивый музыкальный пюпитр, покрытый красным лаком и украшенный золотыми цветами; он имел вид четырехсторонней пирамиды с различными ступенями. Его находили очень удобным для квартетов, но в последнее время им очень мало пользовались. Мальчик завладел им и расположил представителей природы по ступеням друг над другом, так что целое получило очень радостный и в то же время довольно внушительный вид. Первое богослужение должно было совершиться рано утром при восходе солнца; молодой жрец только не придумал еще, каким образом он произведет пламя, которое в то же время должно было издавать приятный запах. Наконец ему пришел в голову способ соединить то и другое: у него были курительные свечи, которые хотя и не давали пламени, но, тлея, распространяли очень приятный аромат. Это тихое сгорание и испарение, казалось, еще лучше выражало то, что происходит в душе, чем настоящее пламя. Солнце давно уже взошло, но соседние дома закрывали собою восток. Наконец оно показалось над крышами; тотчас взято было в руки зажигательное стекло и зажжена курительная свечка, стоявшая на вершине в красивой фарфоровой чашечке. Все удалось по желанию, и благоговение было полное. Жертвен-

ник остался как особое украшение той комнаты, где для мальчика отведено было место в новом доме. Каждый видел в этом только нарядную естественно-историческую коллекцию; но мальчик лучше знал то, о чем он умалчивал. Он стремился к повторению этого торжества. К несчастию, когда солнце как следует взошло, фарфоровая чашечка не оказалась под рукою, и мальчик поставил курительные свечки прямо на верхнюю поверхность этажерки. Они были зажжены, и благоговение было так велико, что жрец не заметил, какое повреждение причинила его жертва, а когда заметил, то было уже поздно. Именно, от свечей красный лак и прелестные золотые цветы самым жалким образом выгорели, оставив неизгладимые черные следы. Это привело молодого жреца в крайнее смущение; правда, он сумел прикрыть повреждения пышными дарами природы, но охота к новым жертвоприношениям у него пропала, и он готов был даже принять этот случай за что-то в роде предостережения, как вообще опасны старания приблизиться к богу подобным образом.

КНИГА ВТОРАЯ [44])

Все рассказанное до сих пор свидетельствует о том счастливом и спокойном состоянии, в котором находились страны во время продолжительного мира. Нигде такое прекрасное время не проходит с большею приятностью, чем в городах, которые живут по своим собственным законам, достаточно обширным, чтобы охватить значительную массу горожан, и достаточно хорошо организованным, чтобы обогатить их житье-бытье. Чужестранцы находят выгодным посещать эти города и принуждены приносить доход, чтобы самим получить выгоду. Если эти города и не владеют обширною областью, то тем более они могут обеспечить свое внутреннее благосостояние, так как их внешние связи не обязываю их к участию в дорого стоящих предприятиях.

Так протекли у франкфуртцев несколько счастливых лет в период моего детства. Но едва 28 августа 1756 года мне минуло семь лет, как разразилась та всему миру известная война, которой суждено было иметь большое влияние и на следующие семь лет моей жизни. Фридрих Второй, король прусский, с 60.000-ною армиею вторгся в Саксонию, и вместо предшествующего объявления войны за этим последовал манифест (как говорили, составленный им самим), где излагались причины, побудившие его к такому чудовищному шагу и оправдывающие его. Мир, очутившийся в положении не только зрителя, но и судьи, тотчас же разделился на две партии, и наша семья представляла в малом картину большого целого.

Мой дед, который, в качестве франкфуртского старшины, нес коронационный балдахин над Францем Первым, а от императрицы получил тяжелую золотую цепь с ее портретом, а также некоторые из его зятьев и дочерей—были сторонниками австрийцев. Отец мой, назначенный имперским советником Карлом Седьмым и принимавший душевное участие в судьбе этого несчастного монарха, вместе с небольшою частью семейства склонялся к Пруссии. Скоро наши семейные собрания по воскресеньям, продолжавшиеся непрерывно в течение нескольких лет, были нарушены. Обычные среди родственников по браку несогласия

теперь нашли форму, в которой они могли выразиться. Пошли споры, стычки; присутствующие то угрюмо молчали, то разражались гневом. Дед, прежде веселый, спокойный и покладистый человек, сделался нетерпеливым. Женщины напрасно старались потушить огонь, и после нескольких неприятных сцен отец мой первый покинул общество. С этих пор мы без помехи радовались дома прусским победам, которые обыкновенно возвещались с большим восторгом вышеупомянутою увлекающеюся теткою. Все прочие интересы отступили перед этими, и мы провели остаток года в постоянном возбуждении. Оккупация Дрездена, первоначальная умеренность короля, его медленные, но верные успехи, победа при Ловозице, пленение саксонцев—все это были триумфы для нашей партии. Все, что можно было привести в пользу противной стороны, отрицалось или преуменьшалось; и так как члены семьи, державшиеся противоположных взглядов, поступали так же, то обе стороны не могли встречаться на улице, чтобы не вступать, в ссоры, как в «Ромео и Джульетте»[45]).

Итак, я стал пруссаком или, вернее, сторонником Фрица, ибо какое мне было дело до Пруссии. На души наши влияла только личность великого короля. Я вместе с отцом радовался нашим победам, охотно списывал победные песни и чуть ли не еще охотнее насмешливые песенки против враждебной партии, как бы плоски ни были их вирши.

Как старший внук и крестник, я с детства каждое воскресенье обедал у деда и бабушки; это были мои самые приятные часы во всю неделю. Теперь же каждый кусок останавливался у меня в горле, так как мне приходилось выслушивать самые ужасные клеветы на моего героя. Здесь дул иной ветер, звучал совсем иной тон, чем дома. Моя склонность и самое почтение к дедушке и бабушке стали убывать. У родителей я не смел ничего упомянуть об этом; я воздерживался от этого и по собственному чувству и потому, что мать предостерегла меня. Поэтому мне приходилось уйти в самого себя, и как на шестом году, после лисабонского землетрясения, мне сделалась несколько подозрительною благость божия, так теперь из-за Фридриха Второго я начал сомневаться в справедливости публики. Мой душевный склад от природы был склонен к почтительности, нужно было большое потрясение для того, чтобы поколебать мою веру во что-нибудь почтенное. К несчастию, нам внушали добрые нравы и приличное поведение не ради нас самих, а ради людей; «что скажут люди» повторялось нам постоянно, и я думал, что эти люди, должно быть, настоящие люди, которые умеют все оценить как должно. И вот теперь я испытывал противное. Величайшие и очевиднейшие заслуги порицались или встречались враждебно, величайшие подвиги если не отрицались, то, по крайней мере,

искажались и умалялись, и такая гнусная несправедливость совершалась по отношению к тому единственному человеку, очевидно стоявшему выше своих современников, который ежедневно показывал и доказывал, что он может совершить. И это происходило не со стороны черни, но со стороны отличнейших людей, за каких я все-таки не мог не считать деда, бабушку и дядей. Что могут существовать партии, что и сам он принадлежал к партии, об этом мальчик не имел еще никакого понятия. Поэтому он с тем большею уверенностью считал себя правым и свои взгляды наилучшими, что он и его единомышленники признавали за Мариею Терезиею красоту и другие хорошие качества, а также не ставили императору Францу в вину его страсть к драгоценностям и деньгам. Если же иногда графа Дауна [46]) называли колпаком, то это, по их мнению, было вполне извинительно.

Обдумывая теперь все это точнее, я усматриваю здесь зародыш того неуважения и даже презрения к публике, которое было мне свойственно долгое время моей жизни и которое лишь позднее было уравновешено пониманием и образованием. Как бы то ни было, уже тогда сознание партийной несправедливости было для мальчика очень неприятно и даже вредно, потому что он стал привыкать удаляться от любимых и уважаемых лиц. Постоянно следовавшие друг за другом военные подвиги и события не давали партиям ни отдыху, ни сроку; мы находили раздражающее удовольствие в том, чтобы постоянно освежать и возобновлять воображаемые бедствия и произвольные ссоры; и таким образом мы продолжали мучить друг друга, пока через несколько лет французы не заняли Франкфурта и не внесли в наши дома действительные неудобства.

Хотя большинство из нас видело в этих важных событиях, происходивших где-то далеко, только предмет для страстных разговоров, но были и другие, которые хорошо понимали серьезность времени и опасались, что если Франция примет участие в войне, то театр военных действий распространится и на наши области. Нас, детей, стали более прежнего держать дома и старались различным образом занимать и развлекать. Для этой цели вновь поставили кукольный театр, оставшийся от бабушки, и притом расположили его так, что зрители сидели в моей верхней комнате, а играющие и управляющие лица, как и сам театр, начиная от авансцены, помещались в соседней. Оказывая своим знакомым особую любезность и приглашая в качестве зрителя то того, то другого мальчика, я сначала приобрел себе много друзей; но свойственное детям беспокойство не позволяло им оставаться долгое время терпеливыми зрителями: они мешали игре, и нам пришлось искать более молодой публики, которую

могли, во всяком случае, держать в порядке няньки и служанки. Главную драму, к которой, собственно, была приспособлена кукольная труппа, мы выучили наизусть и первоначально только ее и исполняли; но вскоре это надоело нам, мы переменили гардероб и декорации и рискнули ставить различные пьесы, которые, правда, были слишком велики для такой маленькой сцены. Хотя этими притязаниями мы испортили и в конце концов даже разрушили то, что мы действительно могли бы дать, но все-таки это детское развлечение и занятие различным образом развило и усовершенствовало мой дар изображения, силу фантазии и известную технику, как этого, может быть, не удалось бы достигнуть никаким иным путем в такое короткое время, в таком тесном пространстве и с такою малою затратою сил.

Я рано научился обходиться с циркулем и линейкою, применяя непосредственно на практике все сведения, полученные мною из геометрии, и работы из папки очень забавляли меня. Я не остановился на геометрических телах, ящичках и т. п., но придумывал настоящие воздушные замки, украшенные пилястрами, наружными лестницами и плоскими крышами, однако осуществлял из этого лишь немногое.

Гораздо настойчивее был я, при помощи одного из наших слуг, портного по профессии, в устройстве рабочей комнаты для наших комедий и трагедий, которые мы захотели представлять сами, так как кукол мы переросли. Мои товарищи-актеры устраивали, правда, и у себя подобные сооружения, считая их такими же хорошими, как и мои, но я не удовлетворялся потребностями одного лица, а мог снабдить нескольких из нашей маленькой рати всевозможною утварью и благодаря этому делался все более и более необходимым в нашем маленьком кругу. Что такая игра сопровождалась делением на партии, драками, ссорами и другими неприятностями, легко себе представить. В этих случаях обыкновенно некоторые из играющих держались постоянно моей стороны, а другие были мне враждебны, хотя иногда партии и менялись. Только один мальчик, которого я назову Пиладом [47]), лишь однажды, по побуждению других, покинул меня, и то лишь на минуту; дольше он не мог выдержать вражды со мною, — мы примирились, пролив обильные слезы, и потом долгое время дружно держались вместе.

Этому мальчику и другим дружным со мною детям я доставлял большое удовольствие, рассказывая им сказки. При этом они особенно любили, если я говорил от своего лица, и очень радовались, что со мною, товарищем их игр, случались такие удивительные вещи. В то же время они нисколько не задумывались над тем, как я мог найти время и место для таких приключений, хотя и знали, как я был занят и где я бывал.

Равным образом в этих рассказах предполагались местности, если и не из другого мира, то, во всяком случае, из другой страны, а действие происходило сегодня или вчера. Следовательно, я не столько вводил в заблуждение своих слушателей, сколько они обманывали себя сами. И если бы я, сообразно моей природе, не научился мало-по-малу перерабатывать в художественную форму эти воздушные образы и выдумки, то подобная ложь не осталась бы для меня без дурных последствий [48]).

Если точнее рассмотреть это стремление к фантастическим повествованиям, то в нем можно различить те притязания, с которыми поэт повелительно высказывает даже самые невероятные вещи, требуя при этом от каждого, чтобы он признавал за действительность то, что представлялось автору вымысла так или иначе истинным.

То, что здесь сказано лишь в общих чертах и в виде соображений, может быть, приятнее и нагляднее разъяснится примером или образчиком. Для этого я приведу здесь одну из таких сказок, которая до сих пор прочно держится в моем воображении и памяти потому, что мне неоднократно приходилось повторять ее товарищам моих игр.

НОВЫЙ ПАРИС [49])

Детская сказка.

Недавно, в ночь перед троицей, мне снилось, что я стою перед зеркалом и занимаюсь своим новым летним платьем, которое мои дорогие родители заказали для меня к празднику. Наряд этот состоял, как вы знаете, из башмаков хорошей кожи с большими серебряными пряжками, из тонких бумажных чулок, панталон из атласной материи и камзола из зеленого сукна с золотыми пуговицами. Жилет к нему, из золотой парчи, был выкроен из свадебного жилета моего отца. Я был завит и напудрен, и локоны торчали на моей голове как крылышки. Однако я никак не мог справиться со своим одеванием, постоянно путая отдельные части костюма; притом первое, что я надевал, сейчас же сваливалось с меня, как только я принимался за второе. Я был очень смущен всем этим; вдруг вошел красивый молодой человек и очень приветливо поклонился мне.

— А, добро пожаловать, — сказал я: — мне очень приятно вас видеть.

— А разве вы знаете меня? — возразил, улыбаясь, вошедший.

— Как же, — отвечал я, тоже улыбаясь: — вы — Меркурий, и мне часто приходилось видеть ваше изображение.

— Да, это я,—отвечал гость:—боги послали меня к тебе с важным поручением. Видишь ли ты эти три яблока?—Он протянул руку и показал мне три яблока, которые я едва мог взять в руку и которые были не только удивительно красивы, но и велики. Одно из них было красного, другое желтого, а третье зеленого цвета. Их можно было бы счесть за драгоценные камни, которым была придана форма плодов. Я хотел взять их, но он отдернул руку и сказал:—Тебе следует сперва узнать, что они не для тебя. Ты должен отдать их трем красивейшим молодым людям города, которые затем, каждый по своему жребию, получат жен, каких только можно пожелать. Возьми и хорошенько исполни свое дело,—сказал он прощаясь, и положил яблоки мне в руки, при чем мне показалось, что они сделались еще больше.

Я поднял их вверх, держа против света, и они оказались совершенно прозрачными. Скоро они вытянулись в длину вверх и превратились в трех очень, очень красивых девушек величиною с небольшую куклу, в платьях того же цвета, какого были яблоки. Они медленно выскользнули у меня из пальцев, и когда я хотел их схватить, чтобы удержать хоть одну из них, улетели высоко и далеко, так что мне оставалось только провожать их глазами. Удивленный, я стоял, точно окаменев, на месте, все еще подняв руки вверх и смотря на свои пальцы, как-будто на них было что видеть. Вдруг я увидел, что на концах моих пальцев танцует прелестная девочка, меньше прежних, но очень хорошенькая и веселая; и так как она не улетала как другие, но оставалась и только перепархивала, танцуя, с одного пальца на другой, то я долго смотрел на нее с удивлением. Так как она мне очень понравилась, то мне захотелось, наконец, поймать ее, и я попытался ловко ее схватить, но в то же мгновение почувствовал удар по голове, так что упал, оглушенный, и очнулся только тогда, когда пора уже было одеться и итти в церковь.

Во время обедни и потом за обедом у дедушки картины эти не раз восставали предо мною. После обеда я хотел посетить некоторых друзей, отчасти для того, чтобы показаться им в своем новом платье со шляпою под мышкой и со шпагой сбоку, отчасти потому, что я был должен им визит. Я не застал никого дома, и так как мне сказали, что они разошлись по садам, то я решился последовать за ними и весело провести вечер. Мой путь лежал через Цвингер, и я проходил через местность, которая справедливо называется «дурной оградой», потому что там никогда не бывает вполне безопасно. Я шел медленно и думал о своих трех богинях, а особенно о маленькой нимфе, и по временам поднимал пальцы вверх, в надежде, что

она будет так мила, что снова станет балансировать на них. Продолжая подвигаться вперед с этими мыслями, я увидел слева, в стене, дверцу, которой, как мне помнилось, я прежде не видал. Она казалась низенькою, но арка под нею могла бы пропустить даже очень высокого человека. Арка и боковые стены были очень красиво отделаны лепною работою и скульптурой, но особенно привлекла к себе мое внимание сама дверь. Она была сделана из старого побуревшего дерева и обита широкими, то выдающимися, то углубленными полосами из бронзы в виде ветвей с листьями, среди которых сидели птицы, сделанные так натурально, что я не мог на них надивиться. Что было для меня всего замечательнее, — нигде не видно было ни замочной скважины, ни ручки, ни дверного молотка, и я подумал, что дверь эта открывается только извнутри. Я не ошибся, потому что, когда я подошел поближе, чтобы ощупать украшения, она отворилась, и в ней появился человек в какой-то длинной, широкой и странной одежде. Почтенная борода покрывала его подбородок, так что я готов был принять его за еврея. Но он, точно угадав мою мысль, перекрестился, давая мне знать этим, что он добрый христианин, католик.

— Как вы попали сюда, юноша, и что вы здесь делаете, — сказал он с ласковою улыбкою и приветливым жестом.

— Я любуюсь на работу этой двери, — отвечал я; — ничего подобного я еще не видел, разве лишь мелкими частями в любительских собраниях художественных произведений.

— Мне очень приятно, — сказал он, — что вам нравится такая работа. Внутри дверь еще красивее; войдите, если вам угодно.

Мне при этом стало несколько не по себе: странная одежда привратника, уединенность места и еще что-то, как-будто таившееся в воздухе, удручали меня. Поэтому я медлил под предлогом, что хочу еще хорошенько рассмотреть наружную дверь, и тем временем украдкою заглянул в сад, потому что передо мною открылся сад. Тотчас за дверью я увидел большую тенистую площадку: старые липы, на правильных расстояниях друг от друга, покрывали ее своими перепутавшимися ветвями так, что под ними могло бы прохлаждаться в самые знойные часы дня многочисленное общество. Я уже вступил на порог, и старик все манил меня шаг за шагом далее. Я, собственно, не противился ему, так как слыхал, что принц или султан в подобных случаях никогда не должен спрашивать, не угрожает ли ему опасность. К тому же при мне была шпага, и разве я не справился бы со стариком, если бы он обнаружил какие-либо враждебные намерения?

Итак, я совершенно спокойно вошел; привратник затворил дверь, которая так тихо захлопнулась, что я едва расслышал

это. Затем он показал мне внутреннюю сторону, действительно еще более искусной работы, объяснил мне ее и выказал при этом особенную ласковость. Совершенно успокоенный этим, я позволил повести себя под ветвями вдоль стены, которая шла кругом, и нашел многое, чем можно было полюбоваться. Ниши, украшенные раковинами, кораллами и металлическими ступенями, пускали из тритоновых пастей обильную воду в мраморные бассейны; между ними были расставлены птичьи клетки и решетки, за которыми прыгали белки, бегали морские свинки и разные другие хорошенькие твари. Птицы кричали и пели навстречу нам; особенно забавно болтали скворцы: один все кричал «Парис, Парис», а другой «Нарцис, Нарцис», так ясно, как только может выговорить школьник. При этих криках птиц старик серьезно посматривал на меня, но я делал вид, как-будто ничего не замечаю, да и действительно не имел времени, чтобы обращать на него внимание; я заметил, что мы шли по кругу и что это тенистое пространство представляет, собственно, большое кольцо, охватывающее другое, еще более обширное пространство.

Мы действительно снова пришли к дверце, и старик, повидимому, хотел выпустить меня; но взоры мои направились на золотую решетку, которая, казалось, окружала середину этого удивительного сада и которую я имел возможность достаточно наблюдать во время нашей прогулки, хотя старик старался все время держать меня у стены, т. е. довольно далеко от середины. И вот, когда он подошел к дверце, я с поклоном сказал ему:— Вы были так чрезвычайно любезны со мною, что раньше, чем проститься, я отваживаюсь еще на одну просьбу. Нельзя ли мне поближе рассмотреть золотую решетку, которая, кажется, широким кругом охватывает внутренность сада?

— Очень хорошо,—отвечал он,—но вы должны тогда подчиниться некоторым условиям.

— В чем же они состоят?—поспешно спросил я.

— Вы должны оставить здесь свою шляпу и шпагу и не выпускать моей руки, когда я буду вас сопровождать.

— Согласен от всего сердца,—возразил я и положил шляпу и шпагу на первую попавшуюся каменную скамью.

Тотчас он взял меня правою рукою за мою левую руку, крепко держа ее, и повел меня с некоторым насилием прямо вперед. Когда мы подошли к решетке, мое удивление превратилось в изумление. На высоком мраморном цоколе стояли рядами бесчисленные копья и бердыши, соприкасаясь своими причудливо разукрашенными верхними концами, и образовывали весь круг. Я посмотрел через промежутки и увидел сейчас же позади решетки тихо текущую воду, с обеих сторон обрамлен-

ную мрамором; в прозрачной глубине виднелось множество золотых и серебряных рыб, которые плавали то медленно, то быстро, то по одиночке, то стайками. Я охотно заглянул бы и по ту сторону канала, чтобы узнать, какой вид имеет середина сада, но к большему своему огорчению я увидел, что по ту сторону воды находилась другая решетка, поставленная так искусно, что как-раз против каждого промежутка, принимая в расчет все прочие сооружения, нельзя было ни при каком положении ничего видеть насквозь. Притом и старик мешал мне, все время крепко держа меня, так что я не мог свободно двигаться. Однако мое любопытство возрастало все более и более после всего, что я видел, и я решился спросить, нельзя ли войти внутрь.

— Почему же нет, — возразил старик, — но на новых условиях. — Когда я спросил об этих условиях, то оказалось, что я должен переодеться.

Я был очень доволен этим. Старик повел меня назад к стене в маленькую залу, на стенах которой висели различные одежды, все имевшие более или менее восточный характер. Я быстро переоделся; старик вложил мои напудренные волосы в пеструю сетку, при чем он, к моему ужасу, с силою их вытряс. Посмотревшись в большое зеркало, я нашел себя после этого переодевания очень красивым и понравился сам себе больше, чем в моем стеснительном воскресном платье. Я сделал несколько жестов и прыжков, какие я видел у танцоров в ярмарочном театре. При этом я смотрел в зеркало и случайно увидел в нем отражение находившейся позади меня ниши. На ее белом фоне висели три зеленых веревочки, каждая запутанная так, что издали трудно было разобрать. Я довольно быстро обернулся к старику и спросил его об этой нише и веревочках. Он любезно снял одну из них и показал мне. Это был зеленый шелковый шнурок умеренной толщины, оба конца которого, перевитые дважды прорезанною зеленою кожею, придавали ему такой вид, как-будто это орудие служило для не очень приятного употребления. Это показалось мне угрожающим, и я спросил старика о значении этих шнурков. Он ответил мне совершенно спокойно и добродушно, что они назначены для тех, кто злоупотребит доверием, которое им готовы оказать. Он снова повесил шнурок на место и тотчас потребовал, чтобы я следовал за ним, но на этот раз он оставил мою руку, и я шел свободно рядом с ним.

Мне теперь особенно любопытно было узнать, где находится дверь и мост для перехода за решетку и через канал, так как нигде до сих пор я не мог заметить ничего подобного. Я подробно рассматривал золотую ограду, к которой мы подходили; вдруг

у меня помутилось в глазах: неожиданно копья, дротики, аллебарды, бердыши стали колебаться и трястись, и это странное движение окончилось тем, что все острия наклонились друг против друга, точно два древние полчища, вооруженные пиками, хотели броситься друг на друга. Эта путаница была почти невыносима для глаз, а шум — для ушей, но необыкновенно поразительно было зрелище, когда они, совсем опустившись, покрыли круг канала и образовали великолепнейший мост, какой только можно себе представить. Предо мною открылся чрезвычайно пестрый цветник сада; он был разделен на извилистые клумбы, которые в своей совокупности представляли целый лабиринт украшений; все они были окаймлены зеленою каймою каких-то низких, пушистых растений, каких я еще никогда не видал, все были усажены цветами различного цвета в каждом отделении, также низкими, причем на земле легко было проследить рисунок, по которому они были рассажены. Это прекрасное зрелище в ярком солнечном освещении приковало к себе мои глаза, но я не знал, куда поставить ногу, потому что извивающиеся дорожки были покрыты чистейшим голубым песком, который образовал на земле как бы второе, более темное небо или, вернее, отражение неба в воде. Таким образом, устремив глаза на землю, я шел долгое время рядом со своим провожатым, пока, наконец, не заметил, что посреди этого круга клумб и цветов находится большой круг кипарисов или похожих на тополя деревьев, сквозь которые ничего не было видно, так как нижние ветви выходили как-будто из земли. Мой спутник, хотя и не заставлял меня итти прямо по соседним дорожкам, повел меня, однако, непосредственно в середину их; и как же я был удивлен, когда, войдя в круг высоких деревьев, я увидел перед собою колоннаду портика превосходного садового строения, которое со всех сторон имело одинаковый вид и входы. Еще более, чем это превосходное архитектурное сооружение, пленила меня небесная музыка, которая доносилась из этого здания. То слышалась как-будто лютня, то арфа, то цитра, то еще какое-то бренчанье, не подходившее ни к одному из этих инструментов.

Дверь, к которой мы подошли, открылась вскоре после легкого прикосновения старика, и как же я был удивлен, когда вышедшая навстречу привратница оказалась совершенно похожею на хорошенькую девочку, которая во сне танцовала у меня на пальцах. Она поклонилась мне так же, как-будто мы были уже знакомы, и попросила войти. Старик отстал, и я пошел с нею по сводчатому, отлично украшенному короткому коридору в среднюю залу, чья великолепная высота, как в соборе, при входе обратила на себя мое внимание и повергла меня

в изумление. Но взор мой не мог долго остановиться на этом, отвлеченный еще более очаровательным зрелищем. На ковре, как-раз под серединою купола, сидели треугольником три девушки, одетые в три различные цвета, — одна в красный, другая в желтый и третья в зеленый; кресла их были позолочены, а ковер был настоящая цветочая клумба. В руках у них были три инструмента, звуки которых я различал извне; при моем входе игра остановилась.

— Добро пожаловать! — сказала средняя, именно та, которая сидела лицом к двери, в красном платье: — Садитесь к Алерте и слушайте, если вы любитель такой музыки.

Тут только я заметил, что внизу стояла поперек довольно длинная скамейка, на которой лежала мандолина. Хорошенькая девушка взяла ее, села и привлекла меня к себе рядом. Теперь я рассмотрел и вторую соседку справа от себя; она была одета в желтое платье и имела в руках цитру. Если игравшая на арфе имела видную фигуру, крупные черты лица и величественные движения, то игравшую на цитре можно было назвать легким, прелестным, светлым существом; это была стройная блондинка, тогда как у первой были очень темные волосы. Разнообразие и гармония их музыки не могли меня удержать от того, чтобы я рассмотрел и третью красавицу в зеленом платье, игра которой на лютне показалась мне особенно трогательною и замечательною. Она из всех трех выказывала ко мне наибольшее внимание и с игрою своей обращалась ко мне; только я не мог хорошенько понять ее, потому что она казалась то нежною, то капризною, то просто упрямою, смотря по тому, как изменялись ее лицо и игра; то, казалось, она хотела тронуть меня, то дразнила. Но как бы она ни вела себя, она имела у меня мало успеха, потому что я всецело был занят своею маленькою соседкой, с которой я сидел локоть к локтю; и так как те три дамы были совершенно похожи на сильфид моего сна и имели цвета яблок, то я очень хорошо понимал, что мне не стоило стараться удержать их. Я скорее завладел бы хорошенькой малюткой, если бы не помнил так хорошо того удара, который разбудил меня. Она сперва держалась совершенно спокойно со своею мандолиною; когда же ее повелительницы перестали играть, то они приказали ей исполнить несколько веселых вещиц. Едва она пробренчала с возбуждением несколько плясовых мелодий, как вскочила с места; я сделал то же самое. Она играла и танцовала; увлеченный ею, я следовал по ее стопам, и мы исполнили нечто в роде маленького балета, которым дамы были, повидимому, довольны. Как только танец окончился, они велели малютке угостить меня чем-нибудь хорошим, пока придет время ужина. Я, впро-

чем, совершенно забыл, что на свете существует что-нибудь кроме этого маленького рая.

Алерта тотчас повела меня обратно по коридору, по которому я пришел. С одной стороны его были две хорошо устроенные комнаты; в первой из них, где она жила, она предложила мне апельсины, персики и виноград, и я отведал с большим аппетитом как чужеземных плодов, так и тех, которые должны были появиться только в предстоящие месяцы. Сахарное печенье было в избытке. Она налила также в бокал шлифованного хрусталя пенистого вина, но мне не нужно было питья, так как я достаточно освежился фруктами.

— Теперь будем играть!—сказала она и повела меня в другую комнату. Здесь все имело такой вид, как на рождественской ярмарке, но таких дорогих и изящных вещей я не видал еще ни в одной рождественской лавке. Там были всех сортов куклы, кукольные платья и кукольная утварь, кухни, квартиры, магазины и бесчисленные отдельные игрушки. Она провела меня по всем стеклянным шкафам, в которых хранились эти художественные изделия.

Но первые шкафы она скоро закрыла со словами: — Это не для вас—я хорошо знаю. А вот здесь,—прибавила она,—вы найдете строительные материалы, стены и башни, дома, дворцы, церкви, чтобы составить большой город. Но меня это не занимает; мы выберем что-нибудь другое, одинаково занимательное для нас обоих.

Затем она принесла несколько ящиков, в которых я увидел множество мелких солдатиков, уложенных слоями, и должен был сознаться, что еще никогда не видал ничего столь красивого. Она не дала мне времени подробно рассмотреть их в отдельности, а взяла один ящик под мышку, я же взял другой.

— Мы пойдем на золотой мост,—сказала она:—там лучше всего играть в солдаты; копья указывают направление, в котором можно расставить обе армии друг против друга.

Мы пришли на золотую колеблющуюся почву; я слышал, как подо мной струилась вода и плескались рыбы, когда я стал на колени, чтобы расставить свои ряды. Как я увидел теперь, все это была кавалерия. Она гордо сказала, что у нее королева амазонок предводительствует женским войском; у меня же был Ахилл и прекрасная греческая конница. Оба войска стояли одно против другого, и нельзя было представить себе ничего красивее: то были не плоские оловянные солдатики, как наши, а и лошади и люди были округлены, выпуклы и выработаны до тонкости; трудно было также понять, как они держались в равновесии, потому что подставок у них не было.

Мы оба смотрели с большим самодовольством на наши войска; вдруг она подала знак к атаке. В ящиках наших мы нашли и орудия: это были коробочки с маленькими, хорошо отполированными агатовыми шариками. Ими мы должны были сражаться с некоторого расстояния, при чем, однако, было твердо условлено бросать не сильнее, чем для того, чтобы опрокинуть отдельные фигурки, потому что ни одна не должна была быть повреждена. И вот началась поочередная канонада, и сначала все шло к нашему обоюдному удовольствию. Но когда моя противница заметила, что я целил лучше ее и в конце концов должен был одержать победу, которая зависела от того, у кого останется больше уцелевших на ногах фигур, она подошла поближе, и ее девичье бросание имело тогда желанный успех: она повалила бóльшую часть моих лучших войск. Чем более я протестовал, тем усерднее она бросала. Наконец это рассердило меня, и я объявил, что буду поступать точно так же. И действительно, я не только подошел ближе, но, рассердясь, стал бросать сильнее, и через короткое время несколько ее маленьких женщин-центавров разлетелись в куски. В своем увлечении она этого сразу не заметила; но я окаменел на месте, когда разбитые фигурки сами собою снова сложились—амазонки и лошади—и при этом совершенно ожили; они умчались галопом с золотого моста под липы, и, несясь в карьер взад и вперед, наконец скрылись у стены,—не знаю куда и как. Едва моя прекрасная противница увидела это, как разразилась горьким плачем и воплями; она кричала, что я причинил ей невознаградимую потерю, гораздо большую, чем можно выразить словами. Я же, уже разозленный, радовался, что причинил ей горе, и без оглядки с силою швырнул несколько оставшихся у меня агатовых шариков в ее войско. К несчастью, я попал в королеву, которая до сих пор была исключена из нашей правильной игры. Она разбилась в куски, и ее ближайшие адъютанты также были раздроблены; но вскоре они снова составились и ускакали как и первые; весело прогалопировав вокруг под липами, они скрылись у стены.

Моя противница бранилась и ругалась; а я, расходившись, наклонился, чтобы подобрать несколько агатовых шариков, катавшихся по золотым копьям. В своей ярости я хотел уничтожить все ее войско; но она, не будь плоха, подскочила и дала мне такую оплеуху, что у меня зазвенело в ушах. Так как я всегда слышал, что на удары девочек следует отвечать крепкими поцелуями, то я схватил ее за уши и поцеловал несколько раз. Она подняла такой пронзительный крик, что мне самому стало страшно; я выпустил, ее и это было мое

счастье, потому что через минуту я не знал, что со мною делается. Почва подо мною начали колебаться и грохотать; я скоро заметил, что решетка снова пришла в движение, но не имел времени, чтобы сообразить положение, и не знал, на что опереться, чтобы убежать. Ежеминутно я опасался быть проколотым, потому что бердыши и копья, поднимаясь, уже рвали мое платье; словом, я не знаю, что со мною было, я ничего не видел и не слышал и очнулся от своего остолбенения и ужаса у подножия липы, к которой меня отбросила поднявшаяся решетка.

С моим пробуждением проснулась и моя злость, которая еще сильнее возросла, когда я услышал из-за решетки насмешки и хохот моей противницы, которая, на другой стороне, вероятно, несколько удобнее, чем я, выбралась на землю. Поэтому я вскочил и, увидев вокруг себя разбросанное маленькое войско с его предводителем Ахиллом, отброшенное вместе со мною поднявшеюся решеткою, я схватил прежде всего героя, и бросил его о дерево. Его восстановление и бегство понравились мне вдвойне, потому что к моему злорадству присоединилось самое милое зрелище в мире, и я уже готов был послать вслед за ним всех греков, как вдруг со всех сторон, из камней и стен, из земли и ветвей брызнули шипящие струи воды, и, куда я ни поворачивался, перекрестно хлестали меня. Моя легкая одежда в короткое время совершенно промокла; притом она была уже разорвана, и я не замедлил совершенно сорвать ее с себя. Я сбросил туфли и одну часть одежды за другою; в конце концов я нашел даже в этот жаркий день очень приятным испытать обливание таким дождем. Совершенно нагой, я величественно шел среди этих приятных вод, надеясь продлить удовольствие. Мой гнев охладел, и я не желал ничего более, как примирения с моей маленькой противницей. Но в одно мгновение вода остановилась, и я стоял, весь мокрый, на промокшей почве.

Присутствие старика, который неожиданно появился передо мною, было мне вовсе не приятно; я желал бы если не скрыться, то хоть прикрыться чем-нибудь. Стыдясь, дрожа от холода, стремясь хоть как-нибудь прикрыть свое тело, я представлял чрезвычайно жалкую фигуру, а старик воспользовался этим мгновением, чтобы осыпать меня жестокими упреками. — Что мешает мне, — воскликнул он, — взять один из зеленых шнурков и испытать их, если не на вашей шее, то хоть на вашей спине?

Эта угроза сильно раздражила меня.

— Берегитесь, — воскликнул я, — берегитесь говорить и даже мыслить такие вещи! Иначе вы и ваши повелительницы пропали!

— Кто ты такой, — спросил он сердито, — что смеешь так говорить?

— Я любимец богов, — отвечал я: — от меня зависит, чтобы эти девицы нашли достойных мужей и могли вести счастливую жизнь, или же остались изнывать и стареться в своем волшебном монастыре.

Старик отступил на несколько шагов назад.

— Кто тебе открыл это? — спросил он с боязливым удивлением.

— Три яблока, — отвечал я, — три драгоценности.

— Чего же ты требуешь в награду? — воскликнул он.

— Прежде всего, — возразил я, — то маленькое создание, которое привело меня в такое проклятое состояние.

Старик бросился передо мною на колени, не обращая внимания на все еще сырую и илистую землю; затем он встал не замочившись, ласково взял меня за руку, повел меня в прежнюю залу, проворно одел меня снова, и скоро я был разряжен и завит, как прежде, по-праздничному. Привратник не сказал более ни слова; но, прежде чем выпустить меня через порог, он удержал меня и указал на некоторые предметы у стены через дорогу, а затем назад на дверцу. Я понял его: он хотел, конечно, чтобы я запомнил предметы, по которым я вернее мог бы найти дверцу. Дверь затем незаметно закрылась за мною.

Теперь я заметил то, что находилось против меня. Над высокою стеною свешивались ветви старых ореховых деревьев и отчасти прикрывали карниз, которым она заканчивалась. Ветви доставали до каменной доски, разукрашенную рамку которой я мог легко узнать, но не мог прочесть бывшей на ней надписи. Доска эта покоилась на кронштейне ниши, в которой художественно устроенный источник изливал воду из раковины в большой бассейн, образовавший маленький пруд, и терялся в земле. Источник, надпись, ореховые деревья — все это находилось вертикально одно над другим; мне хотелось нарисовать все это так, как я видел.

Легко себе представить, как я провел этот вечер и несколько следующих дней и как часто я повторял себе эти истории, которым сам едва мог поверить. При каждой возможности я снова ходил к «дурной ограде»; чтобы, по крайней мере, освежить в своей памяти указанные признаки и посмотреть на драгоценную дверцу; но к моему величайшему удивлению я нашел все изменившимся. Ореховые деревья высовывались из-за стены, но стояли не непосредственно рядом одно с другим; доска так же была вделана в стену, но далеко вправо от деревьев, без украшений и с разборчивой надписью. Ниша с источником

находится далеко влево, но источник совсем не похож на тот, который я видел, так что я почти готов верить, что второе приключение, как и первое, было сном; от дверцы же я вообще не нашел ни следа. Единственное, что меня утешает, это—что три упомянутые предмета как-будто постоянно меняют свое место, ибо, повторяя свои посещения, я заметил, что ореховые деревья несколько сближаются и что доска и источник тоже будто приближаются друг к другу. Вероятно, когда все опять совпадет как было, то снова покажется и дверца, и я сделаю все возможное, чтобы возобновить свое приключение. Не знаю, буду ли я в состоянии рассказать вам, что будет далее, или же это будет мне решительно запрещено.

Эта сказка, в истинности которой мои сверстники страстно старались убедиться, имела большой успех. Каждый в отдельности, не рассказывая этого мне или другим, они посещали указанное место, нашли ореховые деревья, доску и источник, но всегда в отдалении одно от другого, как они, наконец, сознались, потому что в такие годы тайны неохотно сохраняются. Тут начались, однако, споры. Один уверял, что предметы не двигаются с места и остаются постоянно на одинаковом расстоянии один от другого. Другой утверждал, что они двигаются и удаляются друг от друга. Третий был согласен со вторым в первом пункте—что предметы двигаются, но ему казалось, что ореховые деревья, доска и источник скорее сближаются. По словам четвертого, дело имело еще более замечательный вид: ореховые деревья были посередине, а доска и источник на сторонах, противоположных тем, которые я указал. Показания относительно дверцы также были разноречивы. Таким образом я рано увидел пример того, как люди могут иметь самые противоречивые мнения и утверждения о самых простых и легко разъяснимых вещах. Так как я упорно отказывался продолжать свою сказку, то меня часто просили повторять первую часть ее. Я остерегался делать в ней большие изменения и, однообразно повторяя рассказ, превратил в умах своих слушателей басню в истину.

Впрочем, вообще говоря, я не был склонен ко лжи и притворству и вовсе не был легкомыслен; напротив того, глубокая серьезность, с которою я уже рано стал смотреть на себя и на мир, выражалась и в моей внешности, и я вел себя с известным достоинством, то ласково, то иногда и насмешливо. Хотя у меня и не было недостатка в добрых избранных друзьях, но все-таки мы находились всегда в меньшинстве сравнительно с теми, которые находили удовольствие в грубых нападениях

на нас и, конечно, нередко весьма неделикатно пробуждали нас от тех сказочных самодовольных грез, в которые мы так охотно погружались, — я своими вымыслами, а мои друзья своим участием. Тут мы опять-таки заметили, что вместо того, чтобы предаваться изнеженности и фантастическим удовольствиям, скорее следует стараться закалить себя, чтобы или переносить неизбежные неприятности, или противодействовать им.

К упражнениям в стоицизме, который я поэтому развивал в себе настолько серьезно, насколько это возможно для мальчика, относилось также перенесение физических страданий. Наши учителя нередко обращались с нами очень неласково и неуклюже, награждая нас ударами и пинками, к которым мы привыкли тем более, что всякое сопротивление или борьба были нам строжайше воспрещены [50]). Очень многие детские игры основаны на состязании в такой выносливости; например, поочередно бьют друг друга двумя пальцами или целою ладонью до полного онемения данной части, или же выдерживают с большею или меньшею твердостью удары, сопряженные с некоторыми играми; или при борьбе и драке не дают ввести себя в заблуждение щипками наполовину побежденного противника; или когда подавляют боль, причиненную, чтобы подразнить, или совершенно равнодушно переносят щипанье и щекотанье, которыми так усердно занимаются друг с другом молодые люди. Вследствие этого мы ставим себя в очень выгодное положение, которое другим не так легко отнять у нас. Но так как я из такого сопротивления боли сделал как бы профессию, то настойчивость других возрастала; и так как эта безобразная жестокость не знает пределов, то и меня умели вывести из границ. Я расскажу один случай из многих. В один из учебных часов учитель не пришел; пока мы, дети, были все вместе, мы занимались вполне прилично; но когда мои друзья, прождав довольно долго, ушли, и я остался с тремя врагами, то эти последние решили помучить меня, осрамить и выгнать. Они оставили меня на минуту в комнате и возвратились с розгами, взятыми из наскоро раздерганной метлы. Я заметил их намерение, и так как конец урочного часа казался близок, то я сразу решился до звонка не защищаться. Тогда они начали безжалостно хлестать меня по ногам и голеням. Я не двигался, но скоро почувствовал, что я просчитался и что при такой боли минуты кажутся очень долгими. Вместе с терпением росла и моя ярость, и при первом ударе часов я схватил одного из мучителей, который менее всего ожидал этого, за волосы на затылке и моментально бросил его на пол, придавив его коленом в спину; другого, слабейшего и помоложе, напавшего на

меня сзади, я притянул за голову под мышку и чуть не задушил его, крепко прижимая к себе. Оставался последний и не самый слабый, а у меня была для защиты только левая рука. Однако я схватил его за платье и, благодаря ловкому повороту с моей стороны, а также его чрезмерной поспешности, наклонил его и толкнул лицом об пол. Они изо всех сил кусались, царапались и лягались; но у меня на уме и во всех движениях была только месть. Находясь теперь в выгодном положении, я несколько раз стукнул их головами друг о друга. Они, наконец, подняли ужасный крик, и вскоре вокруг нас сбежались все домашние. Разбросанные вокруг прутья и мои ноги, с которых я снял чулки, свидетельствовали в мою пользу. Мне только погрозили наказанием и отпустили из дома; но я объявил, что на будущее время при малейшем оскорблении выцарапаю своему обидчику глаза или оборву уши, если не задушу его.

Этот случай,—хотя, как обыкновенно бывает с детскими поступками, его скоро позабыли и даже смеялись над ним,—был, однако, причиною того, что совместные уроки сделались реже и, наконец, прекратились совершенно. Таким образом, я снова был, как прежде, преимущественно прикован к своему дому, где я нашел в лице своей сестры Корнелии, бывшей всего на год моложе меня, подругу, общество которой становилось мне все более и более приятным.

Я все-таки не хочу оставить этого предмета, не рассказав еще несколько историй о разных неприятностях, испытанных мною от моих сверстников; в этих сообщениях о нравах поучительно то, как человек узнает, что случается с другими и чего он может ожидать от жизни, а также, что он может понять из всего, что бы ни случилось, что это случается с ним как со всяким человеком, а не как с каким-нибудь особенным счастливцем или несчастливцем. Если такое знание приносит мало пользы в смысле предотвращения зла, то оно все-таки полезно в том смысле, что ставит нас в возможность выносить или даже преодолевать его.

Здесь уместно сделать еще одно общее замечание, именно, что при воспитании детей из порядочных сословий проявляется большое противоречие. Я говорю о том, что родители и учителя советуют им держаться умеренно, рассудительно, даже разумно, никому не причинять неприятностей из каприза или дерзости и подавлять всякие злобные побуждения, какие могли бы в них возникнуть; а с другой стороны, когда молодые существа следуют этим правилам, им приходится терпеть со стороны других то, за что их самих бранят и что им строго воспрещено. Вследствие этого бедняжки самым жалким образом попа-

дают в тиски между природою и цивилизациею и, смотря по характеру, потерпев некоторое время, делаются или хитрыми, или чрезмерно вспыльчивыми.

Насилие скорее можно подавить насилием; благовоспитанные же дети, склонные к любви и участию, мало способны противиться злой воле. Если я и умел приблизительно отражать выходки своих товарищей, то все же не находился в равных условиях с ними по части разных колкостей и злоречия, потому что в подобных случаях защищающаяся сторона всегда теряет. Такие нападения, если они возбуждали мой гнев, я отражал физическою силою, или они наводили меня на странные размышления, которые не могли остаться без последствий. Между прочими моими преимуществами враги мои ставили мне в вину то, что я гордился отношениями, возникавшими для нашей семьи из сана моего деда, как городского старосты; так как дед был первым между равными, то это не оставалось без влияния и на его родных. Когда я однажды после суда дудочников выразил некоторую гордость тем, что видел своего деда сидящим посреди совета старшин одною ступенью выше других, как бы на троне под портретом императора, то один из мальчиков насмешливо сказал, что мне следовало бы посмотреть, как павлину на свои ноги [51]), на моего деда с отцовской стороны, который был трактирщиком в Вейденгофе [52]) и, конечно, не мог иметь притязаний ни на троны, ни на короны. Я ответил, что ничуть не стыжусь этого, потому что наш родной город тем именно и велик и славен, что в нем все граждане считаются равными и что для каждого его деятельность в своем роде может быть и полезна, и почетна. Я прибавил, что жалею только, что этот добрый человек так давно умер, потому что мне часто хотелось узнать его лично; я много раз рассматривал его портрет, посетил его могилу и рад был, по крайней мере, прочесть надпись на простом памятнике его минувшего существования, которому и я обязан своим бытием. Другой из моих врагов, самый коварный из всех, отвел первого в сторону и шепнул ему что-то на ухо, при чем оба насмешливо посмотрели на меня. Во мне уже начинала кипеть желчь, и я потребовал, чтобы они говорили громко.

— Ну, что же, — сказал первый: — если ты хочешь знать, то он говорит, что тебе долгонько пришлось бы походить и поискать, пока ты нашел бы своего деда.

Я стал грозить им еще более, чтобы они высказались яснее. Тогда они рассказали мне сказку, будто бы подслушанную ими у своих родителей. Мой отец, будто бы, сын одного знатного господина, и тот добрый бюргер (мой дед) согласился внешним образом заступить ему место отца. Они имели бесстыдство

приводить всяческие аргументы, например, что наше состояние все происходит от бабушки, что и прочие побочные родственники, живущие во Фридберге и других местах, также не имеют состояния, и еще разные другие доводы, вес которых заключался только в их злобности. Я слушал их спокойнее, чем они ожидали; они каждую минуту готовились убежать, если бы я сделал попытку вцепиться им в волосы. Но я возразил совершенно спокойно, что и это мне совершенно все равно. Жизнь так прекрасна, что можно считать совершенно безразличным, кому ты обязан ею, в конце концов она происходит от бога, перед которым мы все равны. Видя, что они ничего не могут сделать, они на этот раз оставили эту тему, и мы продолжали играть вместе, что у детей всегда остается испытанным средством примирения.

Эти коварные слова все-таки привили мне нечто в роде нравственной болезни, которая в тишине продолжала развиваться; мне вовсе не было неприятно быть внуком знатного господина, хотя бы это произошло и незаконным путем. Мои исследовательские способности направились по этому пути, моя сила воображения была возбуждена, а моя пытливость раздражена. Я начал исследовать задачи, заданные мне теми сплетниками, находил и изобретал доводы и вероятия. Я мало слыхал о своем деде; только портрет его, вместе с портретом бабушки, висел в приемной комнате старого дома, а после постройки нового оба портрета были перенесены в верхнюю комнату. Моя бабушка должна была быть очень красивою женщиной одних лет со своим мужем. Я вспоминаю также, что видел в ее комнате миниатюрный портрет красивого господина в мундире со звездою и орденами; этот портрет, вместе со многими другими мелкими предметами, исчез во время всеобщего переворота, сопровождавшего постройку дома. Я сопоставлял в своем детском уме эти и разные другие вещи и достаточно рано упражнял тот современный поэтический талант, который причудливым сочетанием важных событий человеческой жизни умеет приобрести себе участие всего культурного мира.

Так как, однако, я не решался никому доверить этих мыслей и не смел расспрашивать даже издалека, то я пустил в ход разные тайные уловки, чтобы по возможности ближе подойти к делу. Я слыхал, например, определенные утверждения, что сыновья часто бывают очень похожи на отцов или дедов. Многие из наших друзей, в особенности друг нашего дома советник Шнейдер [53]), имели деловые сношения со всеми соседними князьями и владетельными лицами, значительное число которых, в лице правителей и их потомства, владели имениями по Рейну

и Майну и в промежутке между ними и, желая выразить особое благоволение к своим верным деловым знакомым, дарили свои портреты. Эти-то портреты, которые я с детства много раз видал на стенах, я теперь рассматривал с удвоенным вниманием, стараясь открыть в них сходство с моим отцом или со мною; но это мне удавалось слишком часто для того, чтобы я мог прийти к какому-нибудь достоверному выводу: то глаза одного, то нос другого указывали мне на некоторую родственность. Таким образом признаки обманчиво заводили меня то туда, то сюда. Хотя я вскоре же пришел к заключению, что сделанный мне упрек — лишь пустая сказка, но впечатление от него все-таки осталось, и я не мог удержаться, чтобы время от времени не рассматривать тайком всех этих господ, портреты которых очень ясно сохранились в моем воображении. Ведь все, что льстит внутреннему самомнению человека, его тайному тщеславию, до такой степени желательно ему, что он даже не расспрашивает, послужит ли это ему к стыду, или к чести.

Но вместо того, чтобы вдаваться в серьезные или даже сурово карающие рассуждения, я лучше отвращу теперь свой взор от тех прекрасных времен, ибо кто может достойно рассказать о полноте жизни детства! Мы не можем смотреть на маленькие создания, проходящие перед нами, иначе, как с удовольствием или даже с восхищением; большею частью они обещают больше, чем могут дать, и кажется, как-будто природа, нередко играющая с нами плутовские шутки, и здесь как-раз поставила себе особую цель, чтобы подшутить над нами. Первые органы, которые она дает детям при рождении их на свет, соответствуют ближайшему непосредственному состоянию этих созданий, которые и пользуются ими весьма ловко и в то же время безыскусно и просто для своих ближайших целей. Дитя, рассматриваемое само по себе, вместе с себе подобными и в тех отношениях, которые соизмеримы с его силами, кажется столь рассудительным, столь разумным, что дальше итти некуда; притом оно так уверенно, весело и ловко, что для него, казалось бы, не нужно никакого дальнейшего развития. Если бы дети продолжали расти таким образом и в том же направлении, то мы имели бы сплошь одних только гениев; но рост состоит не в одном только развитии; различные органические системы, составляющие человека, возникают одна из другой, следуют друг за другом, превращаются друг в друга, вытесняют одна другую, даже пожирают друг друга, так что от многих способностей, от многих проявлений силы через некоторое время не остается почти и следа. Хотя человеческие задатки и следуют в общем известному направлению, но даже и величайшему и опытнейшему знатоку трудно заранее предсказать это направление

дадут без баллотировки. Соответственно своему умственному складу и тому представлению, какое он составил о самом себе, а также в сознании своей доброй воли, он полагал, что заслуживает такого отличия, которое, правда, было и незаконно, и необычно. И вот, когда в его ходатайстве было отказано, он был очень раздосадован и огорчен, и дал клятву никогда не принимать никакого места и, чтобы сделать невозможным принятие его, добыл себе звание имперского советника, которое городской староста и главные старшины носят в качестве особого почетного титула; благодаря этому он сделался равным самым высшим чинам и не мог уже начинать снизу [55]). По той же причине он посватался к старшей дочери городского старосты и тем самым и с этой стороны исключил себя из совета. Таким образом он принадлежал к числу удалившихся от дел лиц, которые никогда не вступают в сообщество между собою; они так же изолированы по отношению друг к другу, как и по отношению к целому, тем более, что в этом обособлении своеобразие характеров всегда развивается больше всего. Мой отец, при своих путешествиях, среди виденного им свободного мира, составил себе, вероятно, представления о более изящном и либеральном образе жизни, чем тот, который был обычен среди его сограждан. Конечно, в этом отношении у него были предшественники и единомышленники.

Известно имя Уффенбаха [56]). Старшина Уффенбах пользовался у нас доброй славой. Он побывал в Италии, в особенности интересовался музыкой, пел приятным тенором, и так как он привез с собою прекрасное собрание музыкальных пьес, то у него давались концерты и оратории. Так как он при этом пел сам и покровительствовал музыкантам, то все это находили не вполне соответственным его достоинству, и приглашенные гости, а также и другие земляки позволяли себе разные шутливые замечания на этот счет.

Далее я вспоминаю некоего барона фон Гекеля [57]), богатого дворянина, женатого, но бездетного. Он жил на Антониевской улице в красивом доме, снабженном всеми принадлежностями благоустроенной жизни. У него были хорошие картины, гравюры, античные произведения и многое другое, как это обыкновенно совмещается у коллекционеров и любителей. По временам он приглашал разных почетных лиц к обеду и был своеобразным почтенным филантропом; он снабжал в своем доме бедняков одеждою, но удерживал у себя их старые лохмотья и давал им еженедельную милостыню лишь при условии, чтобы они каждый раз представлялись ему в чистом и аккуратном виде в дареных платьях. Я лишь смутно помню его, как ласкового, хорошо образованного человека, но зато хорошо помню

его аукцион, на котором я присутствовал с начала до конца и, частью по приказанию моего отца, частью по собственному побуждению, приобрел многое, что теперь находится в моей коллекции.

Еще ранее этого, когда я еще не видал его лично, Иоганн Михаэль фон-Лэн [58]) пользовался довольно большим уважением в литературном мире и во Франкфурте. Не будучи уроженцем Франкфурта, он обосновался в нем и женился на сестре моей бабушки Текстор, рожденной Линдгеймер. Будучи знаком с придворным и государственным миром и восстановив свою принадлежность к благородному сословию, он приобрел через это имя, благодаря которому отваживался вмешиваться в различные перемены, происходившие в церкви и государстве. Он писал дидактический роман «Граф фон Ривера», содержание которого видно из его второго заглавия «или честный человек при дворе». Это сочинение встретило широкий прием, потому что оно требовало нравственности и при дворе, где обыкновенно уживается только ум; таким образом работа эта доставила ему успех и влияние. Второму его сочинению суждено было быть более опасным для него. Он написал, под заглавием «Единственная истинная религия», книгу, которая имела целью содействовать терпимости, особенно между лютеранами и кальвинистами. Вследствие этого он ввязался в спор с богословами; особенно резко выступил против него д-р Беннер в Гиссене. Фон-Лэн возражал; спор сделался резким и принял личный характер; возникшие отсюда неприятности побудили автора принять место президента в Лингене, предложенное ему Фридрихом Вторым, который видел в нем просвещенного человека, склонного к нововведениям, уже зашедшим гораздо далее во Франции, и свободного от предрассудков. Его бывшие земляки, которых он покинул с некоторою досадою, утверждали, что он не будет и не может быть доволен этим перемещением, потому что такое местечко, как Линген, никак не может равняться с Франкфуртом. Мой отец также сомневался, чтобы президент чувствовал себя приятно, и уверял, что добрейшему дяде лучше было бы не связываться с королем, потому что вообще опасно сближаться с ним, каким бы необыкновенным господином вы ни были. Достаточно, мол, было видеть, как знаменитый Вольтер [59]) был арестован во Франкфурте по требованию прусскаго резидента Фрейтага; а ведь он пользовался таким высоким благоволением короля и считался его учителем во французской поэзии. В таких случаях не было недостатка в рассуждениях и примерах, чтобы предостеречь перед жизнью при дворе и у владетельных особ, о которой уроженец Франкфурта едва может составить себе представление.

Здесь я хочу упомянуть лишь имя одного превосходного человека—доктора Орта [60]), так как я не намерен воздвигать здесь памятник достойным франкфуртцам, а упоминаю их лишь настолько, насколько их слава или личность имели на меня некоторое влияние в мои молодые годы. Доктор Орт был богатый человек и принадлежал также к числу тех, которые никогда не принимали участия в городском правлении, хотя по своим знаниям и уму имели бы право на это. Немецкие и в особенности франкфуртские древности обязаны ему весьма многим; он издал «Примечания» к так называемой «франкфуртской реформации», сочинение, в котором собраны статуты имперского города. В свои молодые годы я прилежно изучал исторические главы этого труда.

Фон-Оксенштейн, старший из тех трех братьев, которых я упоминал выше как наших соседей, в течение своей жизни, при своей замкнутности, не проявил себя ничем замечательным; тем замечательнее была его смерть, так как он оставил распоряжение, чтобы его снесли в могилу ремесленники рано утром, в полной тишине, без всяких провожатых и похоронного кортежа. Это было исполнено и произвело в городе, привыкшем к пышным похоронным процессиям, большое впечатление. Все те, кто при подобных случаях получает обычный заработок, поднялись против этого новшества. Но почтенный патриций нашел себе последователей во всех сословиях, и хотя такие случаи называли в насмешку «Оксенлейхами» (бычьими похоронами), но мало-по-малу они одержали верх ко благу многих малосостоятельных семейств, и пышные похороны стали совершаться все реже. Я привожу это обстоятельство потому, что оно указывает на ранние симптомы той наклонности к смирению и равноправию, которое в столь различной форме стало проявляться сверху во второй половине предыдущего столетия и которое повело к таким неожиданным следствиям.

Не было недостатка и в любителях древности. У нас были картинные галлереи, собрания гравюр, а в особенности ревностно разыскивались и выставлялись отечественные достопримечательности. Старые постановления и мандаты имперского города, собрания коих не было сделано, тщательно разыскивались в печатном и письменном виде, распределялись хронологически и почтительно хранились как сокровище отечественных прав и обычаев. Собирались также и портреты франкфуртцев, существовавшие в большом числе, и составили особый отдел галерей.

Таких людей отец мой, повидимому, вообще взял себе за образец. Он обладал всеми качествами, приличествующими хорошему и почтенному гражданину. Построив свой дом, он

привел все части своего имущества в порядок. Превосходное собрание ландкарт, входивших в состав географических листов Шенка и других, считавшихся тогда наилучшими, вышеупомянутые постановления и мандаты, портреты, шкаф со старинным оружием, шкаф с замечательною венецианскою стеклянною посудою, кубки и бокалы, естественно-исторические предметы, работы из слоновой кости, бронза и сотни разных других вещей были отобраны и выставлены, и я не упускал случая при аукционах каждый раз испрашивать поручения для умножения этих коллекций.

Я должен упомянуть еще об одном замечательном семействе, о котором в самой ранней своей молодости слышал много странного и с некоторыми из членов которого пережил много удивительного: это была семья Зенкенбергов. Отец, о котором я знал очень мало, был человек состоятельный. У него было трое сыновей, которых уже в их молодые годы почти все называли чудаками. В замкнутом городе, где никто не должен особенно выдаваться ни в дурном, ни в хорошем смысле, такие вещи не особенно одобряются. Насмешливые прозвища и странные, долго удерживающиеся в памяти сказки большею частью являются плодом таких странностей. Отец жил на углу Заячьей улицы (Хазенгассе), которая получила свое название от домового знака, изображающего одного, если не трех зайцев. Поэтому трех братьев Зенкенбергов называли просто тремя зайцами, прозвище, от которого они долгое время не могли избавиться. Однако, как нередко крупные преимущества обнаруживаются в юности разными причудами и нелепостями, так случилось и в данном случае. Старший из них впоследствии сделался прославленным имперским гофратом фон Зенкенбергом. Второй был принят в магистрат и обнаружил прекрасные таланты, которыми он впоследствии крючкотворским и даже гнусным образом злоупотребил ко вреду если не своего родного города, то, по крайней мере, своих коллег. Третий брат, врач и очень порядочный человек, который, однако, практиковал мало, и то только в знатных домах, до глубокой старости сохранил несколько причудливую внешность. Он всегда был очень изящно одет и показывался на улицу не иначе, как в башмаках, чулках и сильно напудренном парике с локонами, со шляпою под мышкой. Он ходил быстро, но со странными колебаниями, переходя постоянно с одной стороны улицы на другую, так что всегда двигался зигзагом. Насмешники говорили, что этою странною походкою он старается избежать душ умерших, которые по прямой линии стали бы его преследовать, и что он подражает тем, которые боятся крокодила. Но все эти шутки и разные пересуды в конце концов превратились

в почтение перед ним, когда он отдал свой обширный дом с двором, садом и всеми принадлежностями на Эшенгеймеровской улице под медицинский институт, в котором, рядом с госпиталем, назначенным лишь для франкфуртских граждан, были ботанический сад, анатомический театр, химическая лаборатория, обширная библиотека и квартира для директора, так что любая академия не постыдилась бы подобного учреждения [61]).

Другой превосходный человек, который имел на меня большое влияние не столько своею личностью, сколько своими действиями в округе и своими сочинениями, был Карл Фридрих фон Мозер [62]), имя которого часто произносилось в наших местах по причине его деятельности. У него также был основательный нравственный характер, который даже заставил его примкнуть к так называемым «благочестивым», потому что слабости человеческой природы доставляли ему много забот. Как фон Лэн хотел облагородить жизнь при дворе, так Мозер стремился сделать деловую жизнь более добросовестною. Большое число мелких немецких дворов представляло множество господ и слуг, из коих первые требовали безусловного повиновения, а другие большею частью хотели действовать и служить лишь согласно своим убеждениям. Возникали вечные конфликты, быстрые перемены и взрывы, так как следствия чересчур прямолинейных поступков в малом обнаруживаются и вредят гораздо скорее, чем в большом. Многие дома были в долгах, и над ними были назначены императорские долговые комиссии; другие двигались медленнее или быстрее по тому же пути, потому что слуги или бессовестно извлекали выгоды, или добросовестно делали себя неприятными и ненавистными. Мозер пожелал действовать как государственный и деловой человек, и здесь его наследственный талант, выработанный до степени ремесла, доставил ему решительные результаты; но он желал также действовать как человек и гражданин, по возможности меньше жертвуя своим нравственным достоинством. Его сочинения: «Господин и слуга», «Даниил во рву львином», «Реликвии» отлично изображают положение, в котором он часто чувствовал себя если не измученным, то сильно стесненным. Все они указывают на нестерпимость положения, в котором нельзя примириться с известными отношениями и в то же время невозможно избавиться от них. При таком образе мыслей и чувств ему, конечно, не раз приходилось искать другой службы, в которой он умел проявить свое большое искусство. Я вспоминаю, его, как приятного, подвижного и притом деликатного человека.

Уже и тогда имя Клопштока, хотя и издали, сильно влияло на нас. Сначала мы удивлялись, как такой превосходный

человек мог носить столь странное имя; но скоро мы привыкли к этому и более не думали о значении этих слогов. В библиотеке моего отца я находил до сих пор только прежних поэтов, в особенности тех, которые постепенно появлялись и прославлялись в его время. Все они писали рифмованными стихами, и мой отец считал рифму непременным условием для поэтических произведений. Каниц, Гагедорн, Дроллингер, Геллерт, Крейц, Галлер [63]) стояли рядом в прекрасных кожаных переплетах. К ним присоединились «Телемак» Нейкирха, «Освобожденный Иерусалим» Коппена и другие переводы. Все эти томы я в детстве усердно перечитал и отчасти запомнил, вследствие чего меня часто вызывали, чтобы занять гостей. Зато для моего отца настала досадная эпоха, когда с появлением «Мессии» Клопштока сделались предметом всеобщего восхищения такие стихи, которые он даже не считал стихами [64]). Сам он остерегался приобресть это сочинение, но наш друг дома, советник Шнейдер, провел его контрабандой и всучил матери и детям.

На этого занятого делами и мало читавшего человека «Мессия» сейчас же при своем появлении произвел могущественное впечатление. Естественно выраженные и в то же время столь облагороженные чувства, приятный язык, хотя бы его считали только за гармоничную прозу, — до такой степени понравились этому вообще сухому деловому человеку, что он считал первые десять песен (о них, собственно, только и идет речь) за самую великолепную поучительную книгу и ежегодно в тишине перечитывал их в страстную неделю, когда он освобождался от всех дел. Сначала он думал сообщить свои ощущения своему старому другу, но был чрезвычайно поражен, встретив неодолимое отвращение к сочинению такого драгоценного содержания из-за внешней его формы, которая казалась ему безразличною. Как можно было ожидать, разговор об этом предмете не раз возобновлялся, но обе стороны все больше удалялись друг от друга, происходили резкие сцены, и уступчивый Шнейдер согласился, наконец, молчать о своем любимом сочинении, чтобы не потерять одновременно друга юности и хорошего супа по воскресеньям.

Приобрести прозелитов — естественное желание каждого человека; и как был втайне вознагражден наш друг, когда в остальных членах семейства он встретил души, открытые навстречу его святому. Экземпляр, который нужен был ему ежегодно только на одну неделю, был отдан нам на все остальное время. Мать держала его втайне, а мы с сестрою завладевали им, когда могли, чтобы в свободные часы, спрятавшись где-нибудь в уголку, выучить наизусть выдающиеся места, и особенно

старались как можно скорее запомнить самые нежные и самые сильные из них.

Сон Порции мы декламировали поочереди, а дикую, отчаянную беседу между Сатаною и Адрамелехом, брошенными в Мертвое море, поделили между собою. Первая роль, как более сильная, выпала на мою долю, а другую, более жалобную, взяла на себя сестра. Взаимные страшные, но благозвучные проклятия сами собою текли из наших уст, и мы пользовались каждым случаем приветствовать друг друга этими адскими речами.

Был как-то субботний вечер зимою. Отец всегда брился при огне с вечера, чтобы рано утром с удобством одеться в церковь. Мы сидели на скамеечке за печкой и довольно тихо бормотали наши обычные проклятия, пока цирульник намыливал воду. Адрамелех должен был схватить Сатану железными руками; сестра с силою вцепилась в меня и продекламировала, хотя и довольно тихо, но с возрастающею страстностью:

— «О помоги! Умоляю, молюсь тебе, если ты хочешь,
Злое чудовище, гнусный, отверженный, черный преступник!
О помоги! Я страдаю от вечной и мстительной смерти!
Раньше тебя ненавидеть я мог горячо и свирепо,—
Ныне того не могу,—для меня это—страшное горе [65])!»

До этого места все шло сносно; но затем она громко выкрикнула страшным голосом следующие слова:

«О, как я сокрушен!»

Добрейший брадобрей испугался и вылил весь тазик с мыльною водою отцу на грудь. Произошла большая суматоха, и сделано было строгое расследование, в особенности в виду возможного несчастия, если бы началось уже бритье. Чтобы избежать всякого подозрения в шалости, мы признались в своих дьявольских ролях. Несчастье, причиненное гекзаметрами, было слишком очевидно, чтобы они не были снова осуждены и изгнаны.

Так-то дети и народ превращают великое и возвышенное в игру, даже в потеху; да и как они могли бы иначе выдерживать и выносить это!

КНИГА ТРЕТЬЯ[66])

Новый год в те времена проходил в городе весьма оживленно, вследствие всеобщего обмена личных благопожеланий. Кто в другое время неохотно выходил из дома, надевал свое лучшее платье, желая хоть на минуту оказать привет и вежливость своим покровителям и друзьям. Для нас, детей, особенно приятным удовольствием было празднование этого дня в доме дедушки. Рано утром собирались там внучата, чтобы слушать музыку барабанов, гобоев и кларнетов, труб и рожков, устраиваемую военными и гражданскими властями и частными лицами. Запечатанные и надписанные пакеты раздавались детьми подчиненным поздравителям, и по мере того, как подвигался день, возрастало число почтенных лиц. Прежде всего появлялись близкие и родственники, затем низшие городские чиновники; сами члены совета не могли не посетить своего старосту, и известное число их получали вечером угощение в комнатах, которые почти не отпирались весь год. Торты, бисквиты, марципаны—все это было весьма привлекательно для детей; к этому присоединялось еще то, что староста и бургомистр ежегодно получали из некоторых учреждений немного серебряной утвари, которая затем дарилась по известным степеням внукам и крестникам; словом, в этот праздник у малых также не было недостатка в том, что возвеличивало его для великих мира сего.

Наступил новый 1759 год, для нас детей желанный и приятный как предыдущие, но для старших грозный и полный ожиданий. Прохождения французских войск были, правда, нам привычны,—они случались не раз и часто, но чаще всего в последние дни предыдущего года. По старому обычаю имперского города сторож главной башни трубил при каждом приближении войск, и в этот новый год он не переставал трубить, что было признаком движения больших войсковых масс с разных сторон. Действительно, войска прошли в этот день большими массами через город, и народ сбежался смотреть на их прохождение. Раньше они обычно проходили мелкими партиями, а теперь

массы эти все увеличивались, чему никто не мог или не хотел препятствовать. Словом, 2-го января пришла колонна через Заксенгаузен, через мост и Фаргассе до караула констаблей, разогнала эту небольшую команду, заняла караул, спустилась по Цейлю, и после небольшого сопротивления главный караул также должен был сдаться. В одно мгновение мирные улицы представили военное зрелище. На них останавливались и располагались бивуаком войска до правильного размещения их по квартирам.

Эта неожиданная, много лет неслыханная тягость была чрезвычайно обременительна для уютно живших бюргеров, и ни для кого она не была тяжелее, чем для моего отца, которому пришлось допустить в свой только что устроенный дом чужих военных обитателей, уступить им свои нарядные и большею частью стоявшие запертыми парадные комнаты и представить чужому произволу то, чем он привык так точно распоряжаться. Он, без того уже расположенный в пользу пруссаков, должен был выдерживать в своих комнатах осаду французов,—это было самое горестное, что могло встретиться ему при его образе мыслей. Если бы он был способен легче отнестить к событиям, то он мог бы избавить себя и нас от многих неприятных часов, так как он хорошо говорил по-французски и умел в жизни вести себя с достоинством и приятностью. Дело в том, что у нас поместили королевского лейтенанта, который хотя и был лицом военным, но был призван только улаживать разные гражданские дела, споры между солдатами и гражданами, долговые дела и ссоры. То был граф Торан из Грасса в Провансе [67]) неподалеку от Антиба, высокая, сухая, строгая фигура, с лицом, сильно обезображенным оспою, с черными огненными глазами, с достойною и сдержанною осанкою. Самое прибытие его произвело благоприятное впечатление на обитателей дома. Шел разговор о различных комнатах, которые частью должны были быть уступлены, частью остаться для семейства, и когда граф услышал о картинной галерее, то сейчас же попросил позволения, хотя была уже ночь, посмотреть картины, наскоро, при свечах. Он чрезвычайно доволен был этими вещами, весьма любезно отнесся к сопровождавшему его отцу, а когда узнал, что бо́льшая часть художников еще находится в живых, живет во Франкфурте и его окрестностях, то выразил свое живейшее желание поскорее познакомиться с ними и сделать им заказы.

Но это сближение на почве искусства не могло изменить настроение моего отца и сломить его характер. Он покорился неизбежности, но держался в пассивном отдалении, и все чрезвычайное, что с ним происходило, было ему невыносимо до последних мелочей.

Между тем граф Торан вел себя образцово. Он не позволил себе даже прибить по стенам ландкарты, чтобы не испортить новые обои. Его люди были ловки, тихи и аккуратны; но конечно, так как у него не было покоя весь день и даже часть ночи, так как приходил один жалобщик за другим, приводили и уводили арестантов, допускались все офицеры и адъютанты, так как граф, кроме того, ежедневно держал открытый стол, то в небольшом доме, расчитанном лишь на одно семейство и имевшем лишь одну лестницу, проходившую через все этажи и не запиравшуюся, происходило постоянное движение как в пчелином улье, хотя все шло планомерно, серьезно и строго.

К счастью, нашелся, в качестве посредника между раздосадованным, все более страдавшим от ипохондрии хозяином дома и хотя доброжелательным, но весьма серьезным и аккуратным военным гостем, приятный переводчик — красивый, хорошо упитанный, веселый человек, франкфуртский гражданин, который хорошо говорил по-французски, умел ко всему приспособиться и превращал в шутку многие мелкие неприятности. Моя мать побудила его разъяснить графу ее положение при состоянии духа отца, и он так умно изобразил все дело, разъяснил условия нового, еще не вполне устроенного дома, естественную сдержанность хозяина, его занятия воспитанием своей семьи и все прочее, что только можно было сказать, что граф, который со своей стороны полагал свою высшую гордость в величайшей справедливости, неподкупности и полном чести поведении, решился держаться, как квартирант, безукоризненно, и действительно в течение нескольких лет, которые он провел у нас, сдержал все это ненарушимо.

Моя мать имела некоторые познания в итальянском языке, который вообще не был совершенно чужд ни одному члену нашей семьи; теперь она решилась тотчас учиться по-французски, для чего переводчик, у которого она в эти бурные годы крестила ребенка и который теперь, как родственник, вдвойне чувствовал расположение к нашему дому, уделял своей куме каждую свободную минуту, тем более, что он жил как-раз напротив. Прежде всего он научил ее тем фразам, с которыми она могла бы лично обратиться к графу, что удалось ему наилучшим образом. Граф был польщен тем трудом, которого не побоялась хозяйка дома в ее годы, и так как в его характере были черты веселого остроумия и он охотно выказывал некоторую суховатую галантность, то отсюда развились наилучшие отношения, и союзные кумовья могли достигнуть чего хотели.

Как сказано, если бы было возможно развеселить отца, то это изменение в нашей жизни было бы не очень тягостно.

Граф высказывал строжайшее бескорыстие и отклонял даже те подношения, какие следовали ему по его положению; малейшее, что могло иметь вид подкупа, отвергалось с гневом или даже с карою; людям его строжайше приказано было не причинять ни малейших издержек хозяину дома. Напротив, детям уделялось много из дессерта. По этому поводу я должен упомянуть, чтобы дать представление о невинных воззрениях того времени, что мать однажды чрезвычайно огорчила нас, выбросив мороженое, которое нам прислали, потому что ей казалось невозможным, чтобы желудок в состоянии был вынести настоящий лед, хотя бы и наскозь просахаренный.

Кроме этих лакомств, которые мы постепенно научились хорошо принимать и переносить, нам, детям, было также весьма приятно отчасти освободиться от аккуратных уроков и строгого надзора. Дурное расположение духа отца все возрастало, и он никак не мирился с неизбежностью. Как мучил он самого себя, мать и кума, советников, всех своих друзей, чтобы только избавиться от графа! Напрасно ему доказывали, что присутствие такого человека в доме при данных условиях есть сущее благодеяние, что в случае переселения графа последует вечная смена офицеров или простых людей. Ни один из этих аргументов не действовал на него; настоящее положение казалось ему столь невыносимым, что досада мешала ему замечать возможные худшие последствия.

Таким образом была парализована его деятельность, которую он прежде привык главным образом обращать на нас. Исполнения того, что нам задавалось, он уже не требовал с прежнею точностью, и мы старались, насколько было возможно, удовлетворять свое любопытство к военным и другим общественным делам не только у себя дома, но и на улицах, и это было тем легче, что дверь дома, не запертая ни днем, ни ночью, занята была часовыми, которые не обращали внимания на беготню беспокойных детей туда и сюда.

Многочисленные дела, которые решались перед судом королевского лейтенанта, получали особый интерес вследствие того, что он до известной степени старался сопровождать свои решения остроумными и веселыми оборотами. Все, что он приказывал, было строго справедливо, а способ, каким он выражал это, был прихотлив и пикантен: он взял себе, повидимому, за образец герцога Оссунья [68]). Не проходило почти ни одного дня, чтобы переводчик не рассказал того или другого анекдота для увеселения нашей матери и нас. Этот славный человек собрал даже маленькую коллекцию таких Соломоновых решений, но я помню только общее впечатление и не удержал в памяти в частности ни одного из них.

Мало-по-малу мы все знакомились со странным характером графа. Этот человек совершенно ясно сознавал свои особенности, и так как бывали периоды, когда на него нападали дурное расположение духа, ипохондрия или, что называется, злой демон, то в такие часы, которые иной раз растягивались на целые дни, он уходил в свою комнату, не допускал никого, кроме своего камердинера, и даже в самых настоятельных случаях никому не давал аудиенции. Но как только злой дух уходил от него, он становился опять кротким, веселым и деятельным. Из слов его камердинера Сен-Жана, маленького сухощавого человечка, бодрого и добродушного, можно было заключить, что в былые годы, поддавшись подобному настроению, граф сделался виновником большого несчастья и решился вперед серьезно остерегаться от повторения подобного случая при своем видном положении.

Уже в первые дни пребывания графа у нас к нему были приглашены все франкфуртские живописцы, как-то: Гирт, Шютц, Траутман, Нотнагель, Юнкер. Они показали ему свои готовые картины, и граф приобрел те, которые они согласились продать. Ему была уступлена моя хорошенькая, светлая комната наверху в мансарде, и она немедленно же была превращена в кабинет и ателье, потому что он намерен был засадить надолго за работу всех художников, а в особенности Зеекатца из Дармштадта [69]), кисть которого с ее наивными и естественными изображениями особенно понравилась графу. Поэтому он выписал из Грасса, где его старший брат владел, как кажется, прекрасным домом, все размеры комнат и кабинетов, обсудил с художниками разделение стен и назначил величину крупных масляных картин, предположенных для них, при чем картины не должны были быть в рамах, а предполагалось укрепить их, вместо обоев, на стенах. Работа ревностно пошла вперед.

Зеекатц взял на себя сельские сцены, в которых старики и дети, написанные непосредственно с натуры, удались ему великолепно; юноши вышли не так хорошо, — они были большею частью слишком худощавы; а женщины не удались в противоположном отношении. Дело в том, что у него была жена, маленькая, толстая особа, добрая, но неприятная в том отношении, что только сама одна хотела служить ему моделью, ни за что не допуская более красивых натурщиц. К тому же он был принужден увеличить размеры своих фигур. Его деревья были довольно правдивы, но имели слишком бедную листву. Он был учеником Бринкмана, кисти которого довольно хорошо удавались станковые картины.

Шютц, живописец ландшафтов, справился, может быть, лучше всех со своей задачей. Он вполне овладел рейнскими

пейзажами и солнечным колоритом, оживляющим их в хорошее время года. Он был привычен работать в крупном масштабе, не оставляя и тогда отделки и выдержки. Он доставил очень приятные картины.

Траутман написал в манере Рембрандта некоторые чудеса воскресенья по Новому Завету и зажег несколько пожаров в деревнях и сельских мельницах. Насколько я мог убедиться из набросков комнат, ему был уделен также особый кабинет. Гирт написал несколько красивых дубовых и буковых лесов; его стада были достойны похвалы. Юнкер, привыкший подражать детальнейшему рисунку голландцев, наименее подходил к этому обойному стилю, но и он согласился за хорошую плату украсить несколько отделений цветами и фруктами.

Так как я знал всех этих людей с моего раннего детства и часто посещал их в мастерских, да и граф вообще полюбил меня, то я присутствовал при заданиях, обсуждениях и заказах, а также и при сдаче картин и осмеливался открыто высказывать свое мнение, в особенности, когда представлялись эскизы и наброски. У любителей картин, а в особенности на аукционах, которые я усердно посещал, я уже ранее приобрел себе славу своим умением тотчас же определить сюжет какой-либо исторической картины, был ли он взят из библейской или светской истории, или из мифологии; и если не всегда угадывал смысл аллегорических картин, то редко кто-нибудь из присутствующих умел сделать это лучше меня. Нередко также я подавал мысль художнику представить тот или другой предмет. Всеми этими преимуществами я пользовался теперь с охотою и любовью. Я вспоминаю также, что однажды я составил обстоятельную статью, в которой описывал двенадцать картин для изображения жизни Иосифа; некоторые из них были исполнены.

После этих подвигов, во всяком случае похвальных для мальчика, я должен упомянуть и о маленьком посрамлении, испытанном мною в этом кругу художников. Именно, я был хорошо знаком со всеми картинами, которые мало-по-малу приносились в упомянутую комнату. Мое молодое любопытство не оставляло ничего нерассмотренным и неисследованным. Однажды я нашел за печкою черный ящик; я не преминул посмотреть, что там спрятано, и, не долго думая, открыл задвижку. Содержавшаяся там картина была, правда, не такого сорта, что могла бы быть выставлена открыто, и хотя я постарался сейчас же опять задвинуть ящик, но не мог справиться с этим достаточно быстро. Вошел граф и застал меня.

— Кто позволил вам открыть этот ящик? — спросил он со своею миной королевского лейтенанта. Я не мог ничего на это ответить, и он тотчас же серьезно назначил наказа-

ние: — Извольте в течение восьми дней не входить в эту комнату.

Я поклонился и вышел вон. Этот приказ я исполнил самым пунктуальным образом, к досаде добрейшего Зеекатца, который работал как-раз в этой комнате. Дело в том, что он любил, чтобы я был при нем, а я из мелкого коварства дошел до того, что ставил Зеекатцу на порог кофе, который я обыкновенно приносил, так что ему приходилось вставать из-за работы и самому брать кофе. Это ему так не нравилось, что он готов был рассердиться на меня.

Здесь надобно, однако, указать и объяснить подробнее, как я в подобных случаях более или менее удобно устраивался с французским языком, которому ведь я не учился. В данном случае мне помогли природные способности, благодаря которым я легко мог схватить звук и оттенок языка, его подвижность, акцент, тон и другие внешние особенности. Многие слова были мне известны из латинского языка, итальянский помог еще более, а прислушиваясь к слугам и солдатам, часовым и посетителям, я в короткое время нахватался настолько, что мог если не вмешиваться в разговор, то, по крайней мере, понимать и задавать отдельные вопросы и ответы.

Но все это представляло лишь мало пользы сравнительно с тем, что доставлял мне театр [70].) От дедушки я получил даровой билет, которым ежедневно пользовался, к неудовольствию моего отца, при помощи матери. Я сидел в партере перед чужою сценою и тем более присматривался к движениям, мимике и оттенку речи, что я очень мало или ничего не понимал из слов, и, следовательно, меня могли интересовать только игра жестов и тон речи. Менее всего я понимал в комедии, потому что актеры говорили весьма быстро, и разговор относился к предметам обыденной жизни, выражения которой мне были совершенно незнакомы. Трагедии давались реже и были мне во всех отношениях понятнее, благодаря размеренному шагу, ритму александрийского стиха и общему характеру выражений. Через некоторое время я взял Расина, которого нашел в библиотеке своего отца, и стал декламировать по-театральному его пьесы с большою живостью, насколько мне позволяли мой слух и столь тесно с ним связанный орган речи, хотя я еще и не мог понимать речи в полной связи. Я даже выучил целые отрывки наизусть и декламировал их как ученый попугай; это было для меня тем легче, что и раньше я заучивал наизусть почти непонятные для ребенка места из библии и привык декламировать их в тоне протестантских проповедников. Стихотворные французские комедии были в то время очень любимы; пьесы Детуша, Мариво, Ла-Шоссе часто ставились, и я до сих

пор вспоминаю некоторые характерные фигуры; из пьес Мольера у меня мало осталось в памяти. Более всего произвела на меня впечатление «Гипермнестра» Лемиерра, которая, в качестве новой пьесы, была тщательно поставлена и дана несколько раз. Очень милое впечатление оставили во мне Devin de Village, Rose et Colas, Annette et Lubin[71]). Я до сих пор еще живо представляю себе юношей и девушек в лентах и движения их. Через короткое время во мне зашевелилось желание самому побывать на сцене, к чему мне представлялись различные случаи. Так как я не всегда имел терпение выслушивать целые пьесы до конца и много времени проводил в коридорах, а в хорошее время года и перед дверьми театра, где я играл в разные игры с другими детьми моего возраста, то к нам присоединился красивый, веселый мальчик, принадлежавший к театру, которого я иногда видел в различных маленьких ролях. Со мною он мог лучше объясниться, чем с другими, так как я сумел пустить в ход свое знание французского языка; и он тем более привязался ко мне, что поблизости не было ни при театре, ни вне его другого мальчика его национальности и его возраста. Мы часто гуляли вместе и вне театрального времени, и даже во время представлений он редко оставлял меня в покое. Это был милейший маленький хвастунишка; он болтал очень мило и непрерывно и рассказывал так много о своих приключениях, ссорах и причудах, что чрезвычайно забавлял меня. В четыре недели я научился от него языку и способу выражения более, чем можно себе представить, так что ни кто не знал, как это я вдруг, точно по вдохновению, приобрел знание чужого языка.

Уже с первых дней нашего знакомства он увлек меня за собою в театр и водил меня особенно в фойе, где актеры и актрисы находились во время антрактов и переодевались. Помещение было мало благоприятно и неудобно, потому что театр был втиснут в концертный зал, так что для актеров за сценою не было особых отделений. В довольно большой комнате, которая прежде служила для игры, теперь большею частью собирались представители обоего пола и, повидимому, очень мало стеснялись как друг друга, так и нас, детей, если при надевании или перемене частей одежды не все обходилось очень прилично. Я не видал еще ничего подобного, но при повторных посещениях скоро привык и находил все это вполне естественным.

Через короткое время наши отношения приобрели особый интерес. Молодой Дерон (так назову я этого мальчика, с которым я все время поддерживал знакомство)[72]), если оставить в стороне его хвастовство, был мальчиком доброго нрава и хоро-

шего поведения. Он познакомил меня со своею сестрою, которая была на несколько лет старше нас и была очень милою девушкой хорошего роста, правильного сложения, смуглянка, с черными волосами и глазами; во всем ее поведении было что-то тихое и даже грустное. Я всячески старался понравиться ей, но не мог привлечь к себе ее внимания. Молодые девушки всегда считают себя гораздо более развитыми, чем юные мальчики, и, обращая свои взоры к молодым людям, по отношению к мальчику, выражающему к ним свою первую склонность, держат себя как тетушки. С младшим братом их я не имел никаких отношений.

Иногда, когда их мать была на репетициях или в гостях, мы сходились в их квартире для игр или для беседы. Я никогда не приходил без того, чтобы не принести красавице цветы, фрукты или еще что-нибудь; она всегда благосклонно принимала это и очень вежливо благодарила, но никогда я не видел, чтобы ее печальный взор просветлел, и вообще не замечал никаких признаков, чтобы она обратила на меня внимание. Наконец я, повидимому, открыл ее тайну. Мальчик показал мне за постелью своей матери, украшенною изящными шелковыми занавесями, картину пастелью, портрет молодого человека, и заметил при этом с хитрой миной, что это, собственно, не папаша, но все равно что папаша; в то время как он расхваливал этого господина и по-своему рассказывал все подробно и хвастливо, мне показалось, что дочь принадлежит отцу, а двое других детей—другу дома. Этим я объяснил себе грустный вид девушки и тем более привязался к ней.

Склонность к этой девушке помогала мне переносить хвастовство ее брата, который не всегда держался в границах. Мне часто приходилось выдерживать пространные рассказы о его великих подвигах, например как он не раз уже дрался на дуэлях, правда, без желания повредить другому; все это было всегда лишь ради чести. Всегда он умел обезоружить своего противника, и затем прощал его; он, будто бы, так хорошо фехтует, что однажды сам попал в большое затруднение, забросив шпагу своего противника на высокое дерево, откуда ее трудно было достать.

Посещение театра очень облегчалось мне тем, что даровой билет от городского старосты открывал мне дорогу ко всем местам, следовательно и для сидения на просцениуме. Этот последний, по французскому обычаю, был очень глубок и снабжен сидениями по обеим сторонам, которые, будучи ограждены низким барьером, поднимались несколькими рядами друг над другом и притом так, что передние сидения были лишь немного

выше уровня сцены[73]). Эти места считались особенно почетными; ими пользовались обыкновенно только офицеры, хотя близость сцены отнимала не то чтобы всякую иллюзию, но, до некоторой степени, всякое удовольствие. Здесь я испытал и видел собственными глазами также и тот обычай или то злоупотребление, на которое так сильно жалуется Вольтер. Когда при переполненном театре, например, при прохождении новых войск, высокопоставленные офицеры стремились занять эти почетные места, обыкновенно уже занятые, то ставилось еще несколько рядов скамеек и стульев на самую сцену, и героям героиням ничего не оставалось, как на весьма умеренном пространстве, среди мундиров и орденов, открывать свои тайны. При мне «Гипермнестра» исполнялась при подобной обстановке.

Занавес между актами не опускался. Я упомяну еще об одном странном обычае, который очень бросался в глаза, так как мне, доброму немецкому мальчику, противохудожественность его была прямо невыносима. Именно на театр смотрели как на величайшую святыню, и какое-либо нарушение порядка в нем должно было немедленно повлечь за собою кару как величайшее преступление против ее величества публики. Поэтому при всех комедиях совершенно открыто по обе стороны заднего занавеса стояли два гренадера с ружьями к ноге и были свидетелями всего, что происходило в недрах семейства. Занавес, как сказано, между действиями не опускался, и при начале музыки эти два гренадера сменялись двумя другими так, что последние прямо выходили из кулис по направлению к первым, а те столь же мерным шагом уходили. Так как этот порядок был точно нарочно устроен, чтобы уничтожить все, что в театре называется иллюзиею, то тем удивительнее, что все это происходило именно в такое время, когда по принципам и по примеру Дидро от сцены требовалась самая естественная естественность и полнейшая иллюзия выдавалась за главную цель театрального искусства. Впрочем, трагедия была освобождена от такого военно-полицейского надзора, и герои древности имели право сами охранять себя; однако упомянутые гренадеры стояли совсем близко за кулисами.

Я должен еще упомянуть здесь, что видел «Отца семейства» Дидро[74]) и «Философов» Палиссо[75]), и хорошо помню из последней пьесы фигуру философа, который ходит на четвереньках и грызет сырой кочан салата.

Все это сценическое разнообразие не всегда могло, однако, удержать нас, детей, в здании театра. В хорошую погоду мы играли перед ним и по близости и делали всяческие глупости, которые в особенности по воскресным и праздничным дням вовсе не подходили к нашей внешности, так как я и мне

подобные являлись тогда в наряде, как я изобразил себя в вышеприведенной сказке, со шляпою под мышкой и с маленькою шпагой, рукоятка которой была украшена большим шелковым бантом. Однажды, когда мы долго возились подобным образом и к нам примешался Дерон, ему вздумалось уверять меня, что я его обидел и должен дать ему удовлетворение. Я, правда, не понимал, что дало ему повод к этому, но согласился на вызов и хотел уже обнажить шпагу. Он, однако, стал уверять, что в таких случаях принято уходить в более уединенные места, где удобнее совершать такие дела. Мы поэтому забрались за какие-то амбары и стали в соответствующую позитуру. Поединок произошел несколько таетральным образом; шпаги звенели, удары сменялись ударами; но во время фехтования конец его шпаги запутался в банте моей рукоятки, который был проколот. Тут он сказал, что вполне удовлетворен, обнял меня — тоже совсем по-театральному — и мы пошли в ближайшую кофейную, чтобы за стаканом миндального молока оправиться от своего душевного волнения и еще более закрепить наш старый дружеский союз.

Позволю себе рассказать по этому случаю еще одно приключение, которое со мною случилось также в театре, хотя несколько позднее. Я совершенно спокойно сидел с одним из моих приятелей в партере, и мы с удовольствием смотрели на танец соло, исполняемый с ловкостью и грацией хорошеньким мальчиком нашего возраста, сыном проезжего французского танцмейстера. По обычаю танцоров, он был одет в узкий камзол из красного шелка, который, переходя в короткую юбочку с фижмами, ниспадал до колен, в роде того, как у скороходов. Вместе со всею публикою мы аплодировали этому начинающему артисту, как вдруг, не знаю почему, мне вздумалось сделать морализующее замечание. Я сказал своему спутнику:— Как красиво разряжен был этот мальчик и как ему все это шло; бог знает, в какой истрепанной куртке он будет спать в эту ночь.

Все уже встали с мест, и только толпа не давала нам двинуться вперед. Женщина, которая сидела рядом со мной и теперь стояла тут же, случайно оказалась матерью молодого артиста и почувствовала себя очень обиженною моим замечанием. К моему несчастью, она достаточно хорошо знала немецкий язык, чтобы понять меня, и говорила на нем как-раз настолько, что могла браниться. Она обрушилась на меня: кто я такой, чтобы иметь причины сомневаться в семейном положении и благосостоянии этого молодого человека. Во всяком случае она может содержать его не хуже, чем содержат меня, а его таланты, может быть, готовят ему такое счастье,

о каком я не могу и мечтать. Этот выговор она держала мне в толпе и обратила на меня внимание окружающих, которые удивлялись, что за бесчинство я мог учинить. Так как я не мог ни извиниться, ни уйти от нее, то я действительно смутился, и, как только она на мгновение остановилась, я сказал, не подумав: «Ну, к чему весь этот шум? Сегодня в порфире, а завтра в могиле[76])». При этих словах женщина как-будто онемела. Она посмотрела на меня и при первой возможности удалилась. Я больше не думал о своих словах и вспомнил их лишь через некоторое время, когда этот мальчик перестал показываться и очень опасно заболел; умер ли он—я не знаю.

Подобные предсказания несвоевременно или даже некстати сказанным словом пользовались вниманием уже у древних, и во всяком случае весьма замечательно, что формы веры и суеверия у всех народов и во все времена остались одни и те же.

Итак, с первого же дня оккупации нашего города не было недостатка в постоянных развлечениях, особенно для детей и молодых людей. Театры и балы, парады и прохождения войск привлекали наше внимание то туда, то сюда. В особенности все усиливались последние, и солдатская жизнь казалась нам очень веселою и приятною.

Пребывание королевского лейтенанта в нашем доме имело для нас ту выгоду, что мы могли видеть лицом к лицу постепенно всех знатных лиц французской армии, и в особенности первейших из них, имена которых уже донесла до нас молва. С лестниц и возвышений мы с удобством видели, как бы с галереи, как проходил мимо нас генералитет. Прежде всего я вспоминаю принца Субиза[77]), красивого, общительного господина, всего же яснее маршала Брольо[78]), молодого, проворного человека небольшого роста, но хорошо сложенного, живого и бросающего вокруг умные взгляды.

Он часто приходил к королевскому лейтенанту, и, как видно, речь шла о важных вещах. Едва мы привыкли к нашему новому положению в первую четверть года постоя, как вдруг распространилась смутная весть, что союзники перешли в наступление и что герцог Фердинанд Брауншвейгский идет, чтобы прогнать французов с Майна. Об этих последних мы были не особенно высокого мнения, так как они не могли похвалиться особым военным счастьем, а со времени битвы при Росбахе мы готовы были даже презирать их. На герцога Фердинанда возлагали большие надежды, и все сторонники Пруссии с нетерпением ожидали освобождения от господствовавшего до сих пор гнета. Мой отец стал несколько веселее, а мать была озабо-

чена. Она была достаточно умна, чтобы понимать, что теперешнее небольшое зло может смениться другим, гораздо большим, так как было совершенно ясно, что французы намерены были не итти навстречу герцогу, но выжидать нападения близ города. Поражение французов, бегство, защита города хотя бы для того, чтобы прикрыть отступление и удержать за собой мост, бомбардировка, грабеж—все это волновало возбужденное воображение и озабочивало обе партии. Моя мать, которая могла переносить все, только не тревогу, передала через переводчика страх свой графу, на что получила обычный в таких случаях ответ, что ей следует быть совершенно спокойной, что бояться нечего, что она должна вообще держаться тихо и ни с кем не говорить об этом деле.

Через город прошло некоторое число войск; мы узнали, что они остановятся при Бергене [79]). Приход и уход войск, верховая езда и беготня все усиливались, и наш дом днем и ночью был в волнении. В это время я особенно часто видел маршала Брольо, который был всегда весел, все с теми же манерами и жестами, и впоследствии мне приятно было встретить в истории хвалебное упоминание о человеке, чей образ произвел на меня столь хорошее и прочное впечатление.

Наконец, после беспокойной страстной недели наступила страстная пятница 1759 года. Полная тишина предвещала близкую бурю. Нам, детям, запрещено было выходить из дома; отец не находил покоя и вышел на улицу. Я поднялся в самый верхний этаж, откуда, правда, нельзя было видеть местность, но был хорошо слышен гром пушек и массовый ружейный огонь. Через несколько часов обнаружились первые признаки битвы в виде ряда повозок, в которых мимо нас медленно везли тяжело обезображенных раненых в разных положениях, чтобы поместить их в монастырь при Либфрауенкирхе, превращенный в лазарет. Жители несли пиво, вино, хлеб, деньги тем, кто еще мог принять что-нибудь. Когда через некоторое время в повозках оказались пленные и раненые немцы, то сострадание не знало границ; казалось, каждый готов был лишиться всего своего движимого имущества, чтобы помочь своим несчастным землякам.

Пленники были доказательством неблагоприятного для союзников исхода битвы. Отец мой, в своей партийности будучи уверен в их победе, имел порывистую смелость пойти навстречу ожидаемым победителям, не подумав о том, что разбитая сторона в бегстве своем первая встретилась бы ему. Сперва он пошел в свой сад у Фридбергских ворот, где все оказалось пустынно и спокойно; затем он рискнул пройти на Борнгеймерский луг, где он увидел вскоре отдельных отставших солдат и

обозных служителей. Они забавлялись стрельбою в пограничные каменные столбы, так что отскакивающие пули свистали вокруг головы любопытного путника. Он счел поэтому за лучшее пойти назад, а из расспросов узнал, что мог бы понять из звука выстрелов, а именно — что у французов дела обстоят хорошо и об уходе их нечего и думать. Возвратясь в досаде домой, при виде раненых и пленных земляков он совершенно вышел из себя. Он также послал провозимым раненым различные пожертвования, но хотел, чтобы они достались только немцам, что не всегда было возможно, так как судьба перемешала друзей и врагов.

Наша мать и мы, дети, заранее положившись на слово графа, провели день довольно спокойно и были очень обрадованы; мать была вдвойне утешена, так как утром, спросив уколом иглы оракул своей «шкатулки с драгоценностями» [80]), получила утешительный ответ о настоящем и будущем. Мы желали и отцу такой уверенности и такого настроения, ласкались к нему как только могли, просили его поесть чего-нибудь, так как он целый день ничего не ел; но он отклонял все наши ласки и предложения пищи и ушел в свою комнату. Это, однако, не помешало нам радоваться, — дело было решено. Королевский лейтенант, который провел этот день, против своего обыкновения, на коне, наконец возвратился; его присутствие в доме было нужнее, чем когда-нибудь. Мы бросились к нему навстречу, целовали ему руки и выражали свою радость. Это, повидимому, очень понравилось ему. «Отлично», сказал он ласковее обыкновенного: «я также рад за вас, милые дети».

Он тотчас приказал послать нам сластей, сладкого вина и вообще самых лучших вещей и отправился в свою комнату, уже окруженный толпою просителей, пристававших к нему с разными требованиями.

Мы получили превосходное угощение, жалели доброго отца, который не хотел принять участия в нем, и приставали к матери, чтобы она позвала его. Она, однако, будучи благоразумнее нас, хорошо знала, как неприятны были бы ему подобные подарки. Она приготовила все-таки кое-что к ужину и послала бы это к нему в комнату, но он не терпел подобного беспорядка даже в крайних случаях. Убрав подальше присланные сладости, она попыталась убедить его сойти в столовую. Наконец он согласился, но неохотно, и мы не подозревали, какую беду мы накликали на него и на себя. Лестница проходила открыто через весь дом мимо всех приемных комнат. Спускаясь, отец непременно должен был пройти мимо комнаты графа. Приемная его была так полна народа, что граф решился, чтобы сразу покончить побольше дел, выйти, и это,

к несчастью, случилось как раз в ту минуту, когда проходил отец.

Граф весело пошел ему навстречу, поклонился ему и сказал:—Мы можем поздравить друг друга, что опасное дело прошло так счастливо.

— Ничего подобного, — возразил гневно мой отец: — я желал бы, чтобы вас прогнали ко всем чертям, даже если бы и мне пришлось уйти вместе с вами.

Граф с минуту молчал, но затем рассвирепел. — За это вы поплатитесь! — закричал он. — Я не допущу, чтобы вы безнаказанно оскорбляли правое дело и меня.

Отец, между тем, спокойно спустился, подсел к нам, повидимому, несколько развеселился и начал есть. Мы радовались этому, не зная, каким образом он отвел себе душу. Но вскоре затем мать вызвали, и мы с большим удовольствием выболтали, какими сладостями попотчевал нас граф. Мать не возвращалась. Наконец, вошел переводчик. По его знаку нас услали спать; было уже поздно, и мы охотно повиновались. После спокойно проведенной ночи мы узнали о сильном волнении, которое вчера вечером потрясло наш дом. Королевский лейтенант сейчас же приказал отвести отца на гауптвахту. Подчиненные хорошо знали, что ему никогда нельзя противоречить, но заслужили большую нашу благодарность, замедлив с исполнением приказания. Их сумел побудить к этому наш кум-переводчик, которого никогда не покидало присутствие духа. Боспорядок и без того был так велик, что промедление само по себе было незаметно и извинительно. Он вызвал мою мать и как бы поручил ее адъютанту, чтобы она попросила и уговорила графа хоть несколько отсрочить арест. Сам же он быстро поспешил к графу, который, отличаясь большим самообладанием, тотчас скрылся в своей комнате и пожелал лучше на время приостановить спешные дела, чем срывать свое внезапно возбужденное раздражение на ком-нибудь невинном и постановить какое-нибудь решение, вредящее его достоинству.

Как произошел и велся разговор с графом, об этом нам неоднократно рассказывал толстяк кум, который ставил себе в немалую заслугу счастливый исход этого дела, так что я могу хорошо воспроизвести этот разговор по памяти.

Переводчик решился открыть кабинет и войти, что было строжайше воспрещено.

— Что вам угодно, — гневно крикнул ему граф. — Прочь отсюда! Сюда никто не имеет права входить, кроме Сен-Жана?

— Считайте меня на минуту за Сен-Жана, — возразил переводчик.

— Для этого нужно иметь очень сильное воображение. Два таких, как он, не составят одного такого, как вы. Удалитесь!

— Граф, вы получили от неба один великий дар, к которому я и взываю.

— Вы хотите польстить мне! Не надейтесь на удачу.

— Этот дар состоит в том, граф, что вы даже в минуты раздражения и гнева умеете выслушать представления других.

— Хорошо, хорошо! Речь идет именно о представлениях, которых я наслушался довольно. Я очень хорошо знаю, как нас здесь не любят и как косятся на нас эти бюргеры.

— Не все!

— Очень многие! Да что тут! Эти города хотят быть имперскими городами. Они видели, как избирали и короновали их императора, а когда он, подвергшись несправедливому нападению, рискует потерять свои земли и подпасть под власть узурпатора, когда он, к счастью, находит верных союзников, которые жертвуют для него своими деньгами и кровью,— тогда они не желают нести тягостей для того, чтобы враг империи был сломлен!

— Конечно, вы знаете давно эти взгляды и терпели их как мудрец. Но это взгляды немногих! Так думают лишь немногие, ослепленные блестящими качествами врага, которого вы сами уважаете как необыкновенного человека. Лишь немногие, и вы знаете это!

— Ну, да! Слишком долго я знал это и терпел, иначе этот господин не посмел бы произносить такие оскорбления мне в лицо в самую важную минуту. Сколько бы их ни было, пусть они увидят, как в лице его будет наказан их дерзкий представитель, и пусть заметят, что им угрожает.

— Я прошу только отсрочки, граф!

— В некоторых случаях нельзя действовать достаточно быстро».

— Лишь небольшой отсрочки.

— Сосед, вы хотите соблазнить меня сделать ложный шаг, но это вам не удастся.

— Я не хочу ни соблазнить вас на ложный шаг, ни удержать от такового. Ваше решение справедливо и прилично для француза, для королевского лейтенанта; но подумайте также и о том, что вы — граф Торан.

— Ему здесь говорить нечего.

— Но следовало бы выслушать и этого славного человека.

— Что же он сказал бы?

— Он сказал бы: господин королевский лейтенант! Вы так долго и так много терпели от стольких темных, угрюмых, неловких людей, если они только не чересчур вам досаждали! Последний из них превзошел, правда, всякую меру; но побо-

рите себя, господин королевский лейтенант, и все будут хвалить и славить вас за это.

— Вы знаете, что я часто терплю ваши фарсы; но не злоупотребляйте моим расположением! Неужели эти люди совершенно ослепли? Если бы мы проиграли сражение, — какова была бы их судьба в настоящую минуту? Мы бились бы вплоть до самых городских ворот, мы заперли бы город, защищались бы, держались бы, чтобы прикрыть наше отступление через мост. Вы думаете, враг сидел бы сложа руки? Он стал бы бросать гранаты и все возможное, чтобы зажечь город. Этот домовладелец, — чего он хочет? В этих самых комнатах теперь рвались бы бомба за бомбой, в этих комнатах, проклятые пекинские обои которых я щадил, стесняясь развесить свои ландкарты, — эти люди лежали бы здесь на коленях целый день.

— Сколь многие испытали это!

— Они должны были бы благословлять нас, приветствовать генералов с почетом и радостью, а к усталым рядовым выйти навстречу с угощением. Вместо этого, яд этой партийной ненависти портит мне лучшие, счастливейшие минуты моей жизни, достигнутые столькими усилиями и заботами.

— Да, таков дух партий; но вы только усилите его наказанием этого человека. Его сторонники станут кричать о вас как о тиране, как о варваре, а на него будут смотреть как на мученика, пострадавшего за правое дело. Даже люди других мнений, которые теперь являются его противниками, будут видеть в нем только одного из сограждан, будут жалеть его и, отдавая вам справедливость, будут находить, что вы все-таки поступили слишком жестоко.

— Я довольно слушал вас, — уходите!

— Выслушайте еще одно! Подумайте, что это — самое ужасное, что могло бы случиться с этим человеком, с этою семьею. Вы не имели причины радоваться расположению главы дома, но хозяйка дома шла навстречу всем вашим желаниям, а дети смотрели на вас как на своего дядю. Теперь вы одним ударом навсегда разрушите мир и счастье этого жилища. Я мог бы сказать, что бомба, попавшая в дом, не могла бы произвести в нем бóльших опустошений. Я часто удивлялся вашему самообладанию, граф; доставьте мне теперь случай молиться на вас. Как достоин тот воин, который даже в доме врага считает себя дружеским гостем; а здесь нет врага, — есть только заблуждающийся. Поборите себя, и это доставит вам вечную славу.

— Это было бы удивительно — сказал граф с улыбкой.

—Было бы лишь совершенно естественно,—возразил переводчик. — Я не послал его жену и детей к вашим ногам, потому что знаю, как досадны для вас такие сцены. Но я могу

представить вам, как эта жена и дети будут благодарить вас; я могу представить вам, как они всю жизнь будут вспоминать о дне битвы при Бергене и о вашем великодушии в этот день, как они будут рассказывать об этом своим детям и детям детей; деяние такого рода не может быть забыто!

— Не старайтесь задеть моей слабой струнки, господин переводчик. Я не имею обыкновения думать о славе в потомстве; она не для меня, а для других. Я забочусь только о том, чтобы правильно поступить сейчас, не изменить своему долгу, ни в чем не нарушить свою честь. Мы довольно потратили слов; идите теперь, и пусть эти неблагодарные благодарят меня за то, что я щажу их!

Переводчик, пораженный и взволнованный этим неожиданно счастливым исходом, не мог удержаться от слез и хотел целовать руки графа, но граф отстранил его и сказал строго и серьезно: — Вы знаете, что я терпеть не могу ничего подобного.— С этими словами он вышел в приемную, чтобы заняться накопившимися делами и выслушать просьбы столь многих ожидающих людей. Таким образом дело было улажено, и на следующее утро мы праздновали остатками вчерашних сластей минование бедствия, угрозу которого мы благополучно проспали.

Действительно ли переводчик говорил так мудро, или он лишь расписал эту сцену, как люди часто делают после хорошего и удачного поступка, я разбирать не стану; по крайней мере, при повторении своего рассказа он никогда не вариировал его. Как бы то ни было, день этот он считал за самый беспокойный и, в то же время, за самый славный во всей своей жизни.

Впрочем, насколько граф чуждался всяких лживых церемоний, никогда не принимал не принадлежащего ему титула и как он в веселые часы был остроумен, покажет следующий маленький случай.

Один знатный господин, принадлежавший, однако, к числу одиноких франкфуртских чудаков, счел себя в праве пожаловаться на свой постой. Он явился лично, и переводчик предложил ему свои услуги; но он не счел их нужными. Он подошел к графу с вежливым поклоном и сказал:—Ваше превосходительство! — Граф ответил ему таким же поклоном и тоже титуловал его превосходительством.

Смущенный этою честью и думая, что он употребил недостаточно высокий тутул, проситель поклонился еще ниже и сказал:—Монсеньёр!

—Милостивый государь, — сказал граф серьезно: — не будем продолжать в этом духе, а то мы, пожалуй, дойдем до титула величества.

Проситель был чрезвычайно смущен и не мог произнести ни слова. Переводчик, стоявший в некотором отдалении и бывший

свидетелем всей этой сцены, был настолько злораден, что не трогался с места. Наконец, граф, развеселившись, спросил:—Ну, например, как зовут вас, милостивый государь?

— Шпангенберг, — был ответ.

— А меня зовут Торан,—сказал граф.—Шпангенберг, чего желаете вы от Торана? Но сядемте; сейчас мы решим это дело.

Таким образом дело было тотчас же решено к большому удовольствию того, кто называл себя Шпангенбергом, а история эта в тот же вечер не только была рассказана в нашем семейном кругу злорадным переводчиком, но и представлена им со всеми подробностями и с разными ужимками.

После такой путаницы, беспокойства и стеснений вскоре возобновилось прежнее спокойствие и легкомыслие, с которым в особенности молодость живет изо дня в день, если положение сколько-нибудь сносно. Моя страсть к французскому театру возрастала с каждым представлением; я не пропускал ни одного вечера, хотя я каждый раз, подсаживаясь после спектакля за ужин к нашему семейству, должен был довольствоваться какими-нибудь остатками и выслушивать упреки отца, говорившего, что театр ни к чему не служит и не может ни к чему повести. В таких случаях я обыкновенно призывал на помощь всевозможные аргументы, которые пускаются в ход защитниками спены, когда они попадают в трудное положение, подобное моему. Порок в счастьи и добродетель в несчастии в конце концов приводятся в равновесие поэтическою справедливостью. Я с живостью приводил прекрасные примеры наказания проступков, как «Мисс Сара Сампсон»[81]) и «Лондонский купец». Но нередко мне приходилось терпеть поражение, если на афише стояли «Проделки Скапена» и т. п., и мне можно было поставить в упрек, что публика находит удовольствие в обманах интригующих слуг и в радости распущенных молодых людей, при успехе их глупостей. Обе стороны напрасно старались убедить друг друга, но отец мой вскоре примирился с театром, увидев, что я делал невероятно быстрые успехи во французском языке.

Люди так уже созданы, что каждый, видя, что что-нибудь делается, хочет и сам приняться за это, есть у него способности к тому или нет. Я вскоре проделал весь курс французской сцены; многие пьесы ставились уже во второй или в третий раз; от самой серьезной трагедии до легкомысленнейшего водевиля — все прошло перед моими глазами и душою, и как еще ребенком я решался подражать Теренцию, так теперь, отроком, я тем живее чувствовал побуждение по мере сил и умения повторять французские формы. В то время давались некоторые полу-мифологические, полу-аллегорические пьесы во вкусе Пирона[82]); они имели отчасти оттенок пародий и очень нравились

Эти представления меня особенно привлекали: мне нравились золотые крылышки веселого Меркурия, громовая стрела замаскированного Юпитера, изящная Даная или какая-нибудь другая красавица, посещаемая богами, если это не была пастушка или охотница, к которой они нисходили. Так как подобные элементы часто звучали у меня в голове из «Метаморфоз» Овидия и из «Pantheon mythicum» Помея[83]), то я вскоре сам сочинил в своей фантазии подобную пьеску, о которой могу только сказать, что действие происходило в сельской обстановке, но в ней не было недостатка ни в принцах, ни в богачах. В особенности Меркурия я представил себе так живо, что мог бы поклясться, что видел его своими глазами.

Копию этой пьесы, чисто переписанную мною самим, я показал своему другу Дерону, который принял ее с особою важностью и истинно меценатскою миною, бегло просмотрел рукопись, указал мне некоторые ошибки языка, нашел некоторые речи чересчур длинными и наконец обещал на досуге хорошенько рассмотреть и оценить мое произведение. На мой скромный вопрос, может ли эта вещь быть поставлена на сцене, он ответил, что в этом нет ничего невозможного. В театре де очень многое зависит от протекции, и он от всего сердца готов покровительствовать мне; я должен только держать это дело втайне; он однажды сам удивил дирекцию пьесою, приготовленною им самим, и пьеса эта наверное была бы поставлена, если бы не узнали слишком рано, кто ее автор. Я обещал ему всячески хранить молчание и в мечтах своих уже видел заглавие своей пьесы, напечатанное большими буквами, на всех углах улиц и площадей.

Как ни легкомыслен был мой приятель, но случай разыграть роль учителя казался ему слишком удобным. Он внимательно прочел пьесу и, сев со мною, чтобы изменить кое-какие мелочи, в течение разговора он так перевернул всю пьесу, что в ней не осталось камня на камне. Он вычеркивал, прибавлял, исключал одно лицо, включал другое — словом, поступал самым произвольным образом, так что у меня волосы стали дыбом. Мое предвзятое мнение, что он понимает это дело, придало ему смелости; уже не раз он много рассказывал мне о трех единствах Аристотеля[84]), о правильности французской сцены, о правдоподобии, о гармонии стихов и обо всем, что с этим связано, так что мне приходилось считать его не только осведомленным, но и основательным ценителем. Он бранил англичан и презирал немцев; словом, он тянул всю ту драматическую канитель, повторение которой я так часто слышал в моей жизни.

Как мальчик в басне, я взял домой свое растрепанное детище и попробовал восстановить его,—но напрасно. Так как я все-таки

не хотел отказаться от него, то я велел нашему писцу сделать чистую копию моего первого манускрипта с небольшими изменениями, которую затем я представил своему отцу и достиг этим, по крайней мере, того, что после спектаклей он некоторое время оставлял меня в покое за ужином.

Эта неудачная попытка заставила меня задуматься, и мне захотелось ознакомиться из первых источников с теми теориями, с теми законами, на которые все ссылались и которые сделались для меня подозрительными, в особенности вследствие безобразного поступка моего претенциозного учителя; то было для меня нетрудно, хотя и утомительно. Прежде всего я прочел статью Корнеля о трех единствах и понял, в каком виде представляли себе это; но для чего все это требовалось,—оставалось для меня неясным. Хуже же всего было то, что я пришел в еще большее смущение, когда познакомился со спорами о «Сиде» и прочел предисловия, в которых Корнель и Расин принуждены были защищаться против критиков и публики. Здесь я видел, по крайней мере, совершенно ясно, что ни один человек не знал, чего он хотел; что такая пьеса, как «Сид», производившая превосходное впечатление, по повелению всемогущего кардинала была объявлена дурною; что Расин, кумир французов моего времени, который сделался теперь и моим кумиром (так как я ближе познакомился с ним, когда старшина фон-Эленшлегер поставил на нашей детской сцене «Британника», при чем мне досталась роль Нерона)—что Расин, говорю я, уже в свое время не мог поладить с любителями и художественными судьями. Все это привело меня в большее, чем когда-либо, смущение, и, помучившись изрядное время со всеми этими речами и противоречиями, пустословием прошлого столетия, я выбросил за топором и топорище и отшвырнул весь этот мусор с тем большею решимостью, что как-будто заметил, что и сами авторы, создававшие превосходные вещи, начиная говорить об этих вещах, стараясь защититься, оправдаться, представить все в красивом виде,—не всегда умели попасть в цель. Я поспешил поэтому вернуться к живой действительности, еще усерднее посещал театр, читал добросовестнее и без пропусков, так что я в это время имел терпение проштудировать всего Расина и Мольера и бóльшую часть Корнеля.

Королевский лейтенант продолжал все еще жить в нашем доме. Он ни в чем не изменил своего поведения, в особенности по отношению к нам; но можно было заметить (а кум-переводчик сумел сделать это еще более ясным для нас), что он исполнял свою должность уже не с прежнею веселостью, не с прежним рвением, хотя все с тою же справедливостью и постоянством. Его характер и образ действий, обличавшие скорее испанца, чем француза, его причуды, имевшие все-таки иногда

влияние на дело, его непоколебимость ни при каких обстоятельствах, его раздражительность по отношению ко всему, что касалось его личности или характера,—все это вместе приводило его иногда к столкновениям с начальством. К тому же он был ранен на дуэли, поводом к которой послужила ссора в театре, и королевскому лейтенанту ставили в вину, что он сам, будучи старшим начальником полиции, совершил запрещенное деяние. Все это могло, как сказано, содействовать тому, что он стал жить более замкнуто и поступать, может быть, менее энергично.

Между тем значительное число заказанных им картин было уже доставлено. Граф Торан в часы досуга рассматривал их, причем приказывал развешивать их в вышеупомянутой верхней комнате ряд за рядом, то широкими, то узкими полосами, а если недоставало места, то и друг над другом, а затем они снимались и свертывались. Картины эти изучались все снова и снова; граф любовался по нескольку раз местами, которые считались наиболее удавшимися, но не было недостатка и в пожеланиях, с его стороны, чтобы то или другое было сделано иначе.

Отсюда возникла новая и весьма причудливая затея. Так как у одного художника выходили лучше всего фигуры, у другого средний фон, у третьего деревья, у четвертого цветы, то графу пришло на ум, нельзя ли соединить эти таланты в картинах и таким образом создать совершенные произведения. Начало было тотчас же положено тем, что, для примера, к готовому ландшафту были пририсованы красивые стада. Так как, однако, для этого не всегда было достаточно места, и живописец животных не заботился о том, будет ли немножко больше и меньше овец,—то в конце концов самый обширный ландшафт становился тесным. Затем живописцу, рисовавшему людей, приходилось еще прибавить пастухов и нескольких прохожих; эти в свою очередь отнимали друг у друга воздух, и можно было удивляться, как они все не задыхаются в самой открытой местности. Никогда нельзя было предвидеть, что выйдет из вещи, и когда она была готова, то не удовлетворяла. Живописцы сердились. При первых заказах они выиграли, при доделках—проиграли, хотя и на этот раз граф заплатил весьма щедро. Так как части, обработанные несколькими художниками на одной картине, при всем затраченном труде не давали хорошего эффекта, то каждый в конце концов думал, что его работа портится и уничтожается работами других; поэтому художники готовы были перессориться и сделаться непримиримыми врагами. Такие изменения или, вернее, дополнения производились в такие ателье, где я часто оставался наедине с художниками; мне было интересно выискивать тот или другой из этюдов, особенно животных, ту или другую частность, ту или другую группу и предлагать ее для

изображения вблизи или вдали; и часто моим советам следовали, по убеждению или из благосклонности.

Участники этой работы были в очень плохом настроении, особенно Зеекатц—ипохондрик и замкнутый человек. Между друзьями он, правда, был лучшим членом общества и отличался несравненною веселостью; но при работе он желал быть один, сосредоточен и вполне свободен. И вот после того, как он разрешил трудные задачи, выполнил их с величайшим прилежанием и свойственною ему горячею любовью—ему приходилось по нескольку раз ездить из Дармштадта во Франкфурт, чтобы изменить что-нибудь в своих собственных картинах, или украсить чужие, или даже допустить постороннее лицо, при его содействии, пестрить его картины своими дополнениями. Его досада возрастала, его сопротивление усиливалось, и нам стоило больших трудов склонить к желаниям графа и этого кума (он также сделался нашим кумом). Я до сих пор еще вспоминаю, как однажды уже готовы были ящики для упаковки всех картин в том порядке, в котором, по прибытии их на место назначения, обойщик тотчас мог бы их прикрепить, и вдруг потребовалась какая-то маленькая, но необходимая дополнительная работа, а Зеекатца накак нельзя было заставить приехать. Он сделал, правда напоследок, все, что мог, живо изобразив на фанерах дверей четыре стихии в виде мальчиков и детей, выполнив с величайшим старанием не только фигуры, но и все мелочи. Все это было сдано, оплачено, и он думал уже, что навсегда разделался со всею этою работою; а теперь его опять требовали, чтобы дополнить несколькими мазками кисти некоторые картины, размеры которых оказались слишком малыми. По его словам, это мог бы сделать другой, он же сам взялся уже за новую работу; словом, он не хотел ехать. Отсылка картин должна была произойти немедленно; они должны были еще обсохнуть; всякое промедление было губительно; граф, в отчаянии, хотел уже доставить его военною силою. Мы все желали, чтобы картины были отправлены, и не знали, что делать, если бы кум-переводчик не сел в карету и не привез упрямца с женою и детьми. Граф любезно принял его, хорошо угостил и наконец, щедро заплатив, вновь отпустил.

После отсылки картин в доме водворился полный мир. Верхняя комната в мансарде была очищена и возвращена мне, а отец мой при виде уносимых ящиков не мог удержаться от пожелания послать вслед за ними и графа. Как ни совпадали вкусы графа с его собственными, как ни должен был он радоваться, что его принцицу заботиться о современных художниках так щедро последовал богатый человек, как ни лестно ему кыло, что его собрание картин послужило поводом доставить

значительный доход нескольким отличным художникам в такое трудное время, но при всем том он чувствовал такое отвращение к иностранцу, вселившемуся в его дом, что ни одно из его действий ему не нравидось. Хорошо, что дают работу художникам, но не следует унижать их до расписывания обоев; должно довольствоваться тем, что каждый сделал по своему убеждению и по своим способностям, хотя бы и не все сделанное без исключения понравилось, и нечего из-за всего торговаться и вечно находить недостатки. Словом, несмотря на все либеральные усилия графа, согласие никак не могло установиться. Мой отец посещал комнату с картинами только в то время, когда граф находился за столом, и я помню, что только один раз, когда Зеекатц превзошел самого себя, и желание видеть его картины привлекло весь дом, мой отец и граф, встретившись, выразили одинаковое одобрение этим художественным произведениям, обнаружив единодушие, к которому они иначе не могли прийти.

Едва только пакеты и ящики были увезены из дома, как возобновились давно уже начатые, но прерванные старания удалить и графа. Убеждениями отец старался повлиять на чувство справедливости, просьбами—на снисходительность, влиянием—на благосклонность и, наконец, добился того, что квартирная комиссия решила переселить графа и на будущее время освободить наш дом от постоя во внимание к тому бремени, которое мы непрерывно несли в течение нескольких лет днем и ночью. Но чтобы для этого освобождения был видимый предлог, решено было именно первый этаж, где жил королевский лейтенант, отдать в наем и через это сделать новый постой невозможным. Граф, который, расставшись со своими любимыми картинами, не находил уже особого интереса в нашем доме и который без того уже надеялся вскоре быть отозванным и перемещенным, без сопротивления согласился переехать на другую хорошую квартиру и растался с нами мирно и по доброй воле. Он вскоре после того покинул и город и получил, одно за другим, разные назначения, хотя, по слухам, не был ими доволен. Он имел, однако, удовольствие благополучно доставить в замок своего брата картины, над которыми он так прилежно хлопотал, писал несколько раз, посылал мерки и заказывал вышеназванным художникам различные дополнительные работы. Наконец, мы перестали получать о нем какие бы то ни было известия, и только через несколько лет нас уверяли, что он умер в Вест-Индии губернатором одной из французских колоний. [85]).

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ [86])

Как ни много неудобств принес нам французский постой, но мы так к нему привыкли, что чуть не скучали о нем, и нам, детям, дом казался мертвым. Впрочем, нам и не было суждено вполне восстановить наше семейное единство. Мы вошли уже в соглашение с новыми жильцами; начались чистка и подметание, скобление и натирание полов, штукатурка и окраска — и дом был вполне возобновлен. К нам переехали директор канцелярии Мориц с семейством—почтенные друзья моих родителей. Мориц не был уроженцем Франкфурта; как хороший юрист и делец, он хлопотал по правовым делам многих мелких князей, графов и других господ. Я всегда видел его веселым, приветливым и усердно занятым своими бумагами. Его жена и дети, кроткие, тихие и приветливые, не увеличили, правда, нашего домашнего общества, так как предпочитали держаться в своем кругу, но у нас снова водворились тишина и мир, какими мы давно не пользовались. Я жил снова в своей верхней комнате, где мне иногда мерещились призраки многочисленных картин, и я старался прогонять их работами и занятиями.

Легационный советник Мориц [87]), брат директора канцелярии, также часто стал бывать теперь в нашем доме. Это был уже более светский человек, видный собою и притом приятного, покладистого характера. Он также хлопотал по делам лиц разных сословий и часто приходил в соприкосновение с моим отцом по поводу конкурсов и императорских комиссий. Оба они действовали очень дружно и стояли сообща на стороне кредиторов, но, к своей досаде, обыкновенно убеждались, что большинство депутатов в таких случаях большею частью склоняется в пользу должников. Легационный советник охотно делился своими знаниями, был любителем математики, и так как последняя никогда не требовалась при его теперешней деятельности, то он доставлял себе удовольствие, развивая мои познания в этом отношении. Благодаря этому я приобрел возможность точнее, чем до сих пор, вырабатывать мои архитектони-

ческие чертежи и лучше использовать преподавание учителя рисования, который теперь также ежедневно занимался со мною по часу.

Этот добрый старик был, однако, только наполовину художник. Нам приходилось проводить черты и соединять их, из чего затем должны были составляться глаза и носы, губы и уши, наконец целые лица и головы; но при этом мы не думали ни о естественной, ни о художественной форме. Мы мучились некоторое время над этими qui pro quo человеческого образа и полагали, что достигли уже очень многого, когда нам дали перерисовывать так называемые «аффекты» Лёбрена [88]). Но и эти карикатуры не подвинули нас вперед. Мы перескочили к ландшафтам, к изображению деревьев и ко всяким вещам, которые при обычном преподавании предлагаются без всякой последовательности и методы. Наконец мы остановились на точном подражании и на чистоте штрихов, не слишком заботясь о достоинстве оригинала и о вкусе.

В этом отношенни отец был всегда образцом для нас. Он никогда не рисовал, но, когда дети его стали заниматься этим искусством, он не захотел отстать, а напротив, даже в свои годы показать им пример, как они должны поступать в молодости. Он скопировал несколько голов Пьяцетты [89]), по его известным листам в восьмую долю небольшого размера, английским карандашом на лучшей голландской бумаге. При этом он соблюдал не только величайшую чистоту в контурах, но точнейшим образом подражал и штриховке оригинала, но без нажима и очень легко, так как, желая избегнуть жесткости, он не вносил в свои листки никакой твердости; все они были очень нежны и однообразны. Его упорное, неутомимое прилежание зашло так далеко, что он перерисовал все номера обширной коллекции, тогда как мы, дети, перескакивали от одной головы к другой и выбирали только то, что нам нравилось.

Около этого времени было приведено в исполнение и еще одно давно уже обсуждавшееся предположение—обучать нас музыке; и, пожалуй, следует упомянуть о последнем поводе к этому. Что мы должны были учиться игре на фортепиано, было решено; но все еще спорили о выборе учителя. Наконец, я как-то вошел в комнату одного из моих сверстников как-раз в то время, когда он брал урок на фортепиано, и нашел в лице его учителя милейшего человека. Для каждого пальца правой и левой руки у него были особые прозвища, которыми он самым забавным образом и обозначал их по мере надобности. Черные и белые клавиши также имели образные наименования, и даже самые тоны фигурировали под своими осо-

быми именами. Апликатура и такт становились очень легкими и наглядными, ученик был все время в веселом настроении, и все шло наилучшим образом.

Как только я пришел домой, то сейчас же пристал к родителям, чтобы они, наконец, взялись за дело серьезно и пригласили этого несравненного человека в учителя фортепианной игры. Родители не сразу согласились и стали наводить справки, при чем не узнали об учителе ничего худого, но и ничего особенно хорошего. Я тем временем рассказал сестре все его забавные названия; мы насилу могли дождаться начала уроков и добились того, что этот человек был приглашен [90]).

Началось с чтения нот, и так как при этом не оказалось никаких шуток, то мы утешали себя надеждою, что когда мы перейдем к клавиатуре и дело дойдет до пальцев, то шутки начнутся. Однако, ни объяснение клавиш, ни постановка пальцев не давали повода ни к какому уподоблению. Как сухи были ноты со своими черточками на пяти линейках и между ними; столь же сухими оказались и черные и белые клавиши, и не было ни звука ни о мальчике-с-пальчиком, ни об указунчике, ни о золотом пальчике, а лицо учителя не изменяло своего выражения при сухом преподавании, как ранее не изменялось при шутках. Моя сестра горько упрекала меня, что я ее обманул, и была серьезно уверена, что я все это выдумал. Я сам был ошеломлен и учился мало, хотя учитель весьма серьезно приступил к делу; я все еще ждал, что прежние шутки появятся, и со дня на день утешал сестру. Но шуток не было, и я никогда не мог бы объяснить себе эту загадку, если бы ее не разрешил случай.

Однажды, посреди урока, вошел один из моих сверстников, и тут разом открылись все трубы юмористического фонтана. Мальчики-с-пальчик и указунчики, копуны и счетчики, как он называл отдельные пальцы, факи и гаки, как он именовал ноты f и g, фики и гики—имена для нот fis и gis,—все это мигом появилось в самых причудливых позах. Мой молодой друг хохотал до упаду, видя, как весело можно учиться. Он поклялся, что не даст покоя своим родителям, пока они не возьмут ему такого превосходного учителя.

Таким образом, согласно принципам новой науки о воспитании, мне достаточно рано был открыт путь к двум искусствам, просто наудачу, без всякого расчета на то, что природный талант подвинет меня в этих направлениях. Отец мой говорил, что рисовать должен учится каждый, и особенно чтил за это императора Максимилиана, который издал особое повеление на этот счет [91]). Он направлял меня в эту сторону серьезнее, чем к музыке, тогда как сестре, напротив, особенно

рекомендовал музыку, и сестра во внеучебные часы проводила значительную часть дня за фортепиано.

Чем больше меня, таким образом, заставляли заниматься, тем более искал занятий я и сам, и употреблял даже свободные часы на всяческие причудливые работы. Уже с детства я чувствовал влечение к исследованию предметов природы. Нередко считают за признак жестокости тот факт, что дети разбирают на части, раздирают, расщипывают предметы, которыми они долгое время играли или пользовались так или иначе; но в этом выражается и любопытство, желание узнать, как эти вещи устроены, что в них находится внутри. Я помню, что ребенком я расщипывал цветы, чтобы посмотреть, как лепестки прикрепляются к чашечке, или ощипывал птицу, чтобы узнать, как прикреплены перья крыла. Детям нельзя ставить это в вину, так как и естествоиспытатели часто находят, что они могут больше узнать путем разделения и разъединения, чем соединением и сопоставлением, больше убиванием, чем оживлением.

Заряженный магнит, очень красиво зашитый в красную материю, также однажды должен был испытать действие такой моей страсти к исследованию. Та таинственная притягательная сила, которую магнит не только обнаруживал по отношению к прикладываемым к нему железным палочкам, но которая кроме того могла возрастать и с каждым днем удерживать все большие тяжести — это таинственное свойство так увлекало и изумляло меня, что я долгое время довольствовался лишь рассматриванием и дивился этому действию. Наконец, я подумал, что достигну лучшего объяснения, если сниму внешнюю оболочку. Это было сделано, но ничего не уяснило: обнаженная арматура не научила меня ничему. Я снял и ее, и у меня остался в руках только голый магнит, с которым я неустанно производил разные опыты при помощи опилков и швейных иголок; из опытов этих, однако, мой юный ум не извлек никаких выгод, кроме ознакомления с разными фактами. Я не сумел снова сложить прибор; части растерялись, и вместе с аппаратом я потерял и интересное явление.

Не более удачны были и мои опыты с постройкою электрической машины. Один из друзей нашего дома, чья молодость совпала с тем временем, когда электричество занимало все умы, не раз рассказывал нам, что он мальчиком желал иметь такую машину, разузнал главные условия для постройки ее и с помощью старого веретена и нескольких аптечных банок получил кое-какие результаты. Так как он повторял это охотно и часто и вообще объяснил нам электричество, то мы, дети, нашли это весьма понятным и долго возились со старым веретеном и

аптечными банками, но не могли произвести ни малейшего действия. Мы не переставали, однако, верить в электричество и были очень довольны, когда на ярмарке среди разных редкостей, чудес и фокусов увидели и электрическую машину [92]), которая производила разные штуки, в те времена уже довольно разнообразные как и фокусы с магнитом.

Недоверие к общественным школам возрастало с каждым днем. Семьи искали домашних учителей, и так как не всем это было по средствам, то для этого соединялось по нескольку семейств. Но дети редко ладили друг с другом, молодой учитель не имел достаточного авторитета, и часто после нескольких ссор происходил неприятный разрыв. Поэтому неудивительно, что стали думать о других учреждениях, более постоянных и выгодных.

К мысли об устройстве пансионов пришли вследствие ощущавшейся всеми необходимости в живом преподавании французского языка. Мой отец воспитал одного молодого человека, который сделался у него слугою, камердинером, секретарем,— словом, человеком на все руки. Этот человек, по имени Пфейль, хорошо говорил по-французски и основательно знал этот язык. Когда он женился и его покровителям пришлось подумать о создании положения для него, то им пришла в голову мысль побудить его основать пансион, который бы мало-по-малу расширился до степени небольшого учебного заведения, где преподавалось бы все необходимое, включительно даже до латинского и греческого языков. Широко распространенные торговые связи Франкфурта давали возможность отдавать в это заведение молодых французов и англичан, чтобы они обучались там немецкому языку и вообще получали образование. Пфейль, человек в своих лучших годах, притом удивительно энергичный и деятельный, как нельзя лучше подходил для всего этого. Так как он никогда не мог быть достаточно занят, то, встретив необходимость держать для своих воспитанников учителя музыки, он сам принялся за музыку и с таким усердием стал заниматься игрою на фортепиано, что, хотя до этого он никогда не прикасался к клавишам, вскоре стал очень бойко и хорошо играть. Он, повидимому, усвоил себе правило моего отца—что лучше всего можно подбодрить и возбудить молодых людей, если сам в зрелые годы сделаешься учеником и в таком возрасте, когда новые умения приобретаются уже с трудом, попытаешься посредством усердия и упорства соперничать с младшими, по природе своей поставленными в более благоприятные условия.

Склонность к фортепианной игре заставила Пфейля подумать о самых инструментах и, стараясь приобрести лучшие из

них, он вступил в сношение с фабрикою Фридерици в Гере [93]), чьи инструменты пользовались обширною славою. Пфейль взял несколько этих инструментов на комиссию и имел удовольствие располагать в своей квартире не одним, а несколькими фортепиано, упражняться и играть на них.

Живость этого человека развила и в нашем доме стремление к музыке. Отец мой продолжал оставаться в хороших отношениях с Пфейлем, если не считать некоторых спорных пунктов. Для нас также было приобретено фортепиано Фридерици, которого я, оставаясь при своем клавире [94]), мало касался, но которое доставило тем более мучений моей сестре: чтобы надлежащим образом почтить новый инструмент, она была принуждена ежедневно затрачивать лишнее время для упражнений на нем, при чем отец и Пфейль поочередно присутствовали, первый в роли надзирателя, а второй образца и ободряющего друга дома.

Одна из любительских прихотей моего отца доставляла нам, детям, немало неудобств: то было шелководство, от распространения которого отец ожидал больших выгод. Его побудили к этому некоторые знакомства в Ганау, где очень старательно воспитывали шелковичных червей. Оттуда ему своевременно прислали яйца и, как только тутовые деревья пустили достаточно листвы, червям дали вылупиться и заботливо следили за едва видимыми созданиями. В мансардной комнате были поставлены столы и этажерки с досками, чтобы дать червям больше пространства и пищи; они росли быстро и после последнего линяния стали так прожорливы, что мы едва успевали доставлять им достаточно листьев для корма; их надо было кормить днем и ночью, так как именно важно, чтобы они не нуждались в пище в тот момент, когда в них должно произойти великое и чудесное изменение. Когда погода была благоприятна, то на это занятие можно было, конечно, смотреть как на веселое развлечение; но когда наступали холода, и тутовые деревья от них страдали, то дело становилось очень трудным. Еще неприятнее было, если в последний период выпадал дождь, так как эти создания не выносят сырости; тогда приходилось тщательно обтирать и обсушивать мокрые листья, что не всегда могло происходить с достаточною точностью; поэтому или, может быть, по другим причинам, среди выводка развивались различные болезни, от которых бедные твари гибли тысячами. Развивающаяся при этом гниль распространяла отвратительный запах, и так как надо было убирать мертвых и больных червей и отделять здоровых, чтобы спасти хоть нескольких, то это становилось очень трудным и противным занятием, за которым мы, дети, провели немало неприятных часов.

Проведя лучшие весенние и летние недели одного года в уходе за шелковичными червями, мы затем должны были помогать отцу в другом занятии, правда, более простом, но не менее затруднительном. Именно римские виды, которые в старом доме висели много лет на стенах в черных рамах, сильно пожелтели от света, копоти и пыли и немало были также обезображены мухами. Если такая нечистота была недопустима в новом доме, то в то же время картины эти приобрели особую цену в глазах отца вследствие того, что он так долго жил вдали от изображенных на них местностей. Вначале такие изображения служат нам для того, чтобы освежить и оживить недавно воспринятые впечатления; они кажутся нам ничтожными сравнительно с последними и являются лишь как бы грустным суррогатом; но когда воспоминания об оригиналах их бледнеют все более и более, то изображения незаметно заступают их место и становятся нам так же дороги, как и первые; то, чем мы сначала пренебрегали, приобретает теперь наше внимание и любовь. Так это бывает со всеми изображениями, особенно с портретами. Никто не удовлетворяется изображением присутствующего лица, но зато как приятен каждый набросок с отсутствующего или умершего.

Словом, чувствуя, что до сих пор он поступал с этими гравюрами слишком небрежно, отец мой пожелал насколько возможно восстановить их. Как известно, это возможно посредством беления; и вот эта операция, всегда несколько опасная для крупных листов, была предпринята при довольно неблагоприятных местных условиях. Большие листы закопченных гравюр, смоченные и выставленные на солнце, стояли в кровельных желобках перед мансардными окнами, прислоненные к стене, и подвергались при этом разным опасностям. Главное затруднение заключалось в том, что бумага никогда не должна была высыхать, а всегда поддерживаться влажною. Забота об этом была возложена на меня и мою сестру, при чем вследствие скуки, нетерпения и напряжения внимания, не допускавшего никакой рассеянности, желанный досуг превратился для нас в величайшее мучение. Но все-таки дело это было выдержано, и переплетчик, который наклеил каждый лист на толстую бумагу, сделал все возможное, чтобы подравнять и подклеить разорванные по нашей небрежности края. Все листы были соединены в один том и на этот раз спасены.

Как-будто для того, чтобы никакие возможности жизни и обучения не остались чужды нам, детям, в это время объявился еще и учитель английского языка[95]), который сулил в течение четырех недель обучить этому языку всякого, не слишком неспособного к языкам, настолько, чтобы он мог далее совершен-

ствоваться самостоятельно. Он брал умеренную плату, число учащихся на одном уроке было для него безразлично. Отец мой сразу же решился сделать опыт и вместе со мною и моею сестрою взял урок у проворного учителя. Уроки пошли аккуратно, в репетициях не было недостатка; в течение четырех недель некоторые другие занятия были приостановлены. Мы расстались с учителем, довольные друг другом. Так как он еще остался в городе и получил много уроков, то от времени до времени заходил к нам, чтобы последить за нами и помочь нам, будучи благодарен нам за то, что мы в числе первых оказали ему доверие, и гордясь тем, что мог указать на нас другим как на образец.

Вследствие этого у моего отца явилась новая забота, чтобы английский язык стал как следует в ряду других занятий языками. Я должен признаться, что мне становилось все тягостнее брать темы для своих работ то из одной, то из другой грамматики или хрестоматии, то из одного, то из другого автора, и таким образом раздроблять по урокам свои занятия разными предметами. Поэтому я пришел к мысли делать все это за раз и придумал роман, в котором шесть или семь братьев и сестер, удаленных друг от друга и рассеянных по свету, поочередно сообщали друг другу известия о своем положении и своих ощущениях [96]). Старший брат дает на хорошем немецком языке отчет обо всех предметах и событиях своего путешествия. Сестра женским слогом, с многочисленными точками, в коротких предложениях —приблизительно в том роде, как впоследствии был написан «Зигварт»,—отвечает то ему, то другим членам семьи все, что она может рассказать частью о домашних обстоятельствах, частью о своих сердечных делах. Один из братьев занимается богословием и пишет выдержанной латынью, присоединяя иногда постскриптум по-гречески. Другому брату, служащему при торговле в Гамбурге, выпала на долю, конечно, английская корреспонденция, а младшему, живущему в Марселе,— французская. Для итальянского языка нашелся музыкант, совершающий свое первое путешествие по свету; а самый младший брат, нечто в роде наивно-нахального птенца, не владея другими языками, избрал немецко-еврейский жаргон, своими ужасными каракулями приводит в ужас прочих и смешит своею выдумкою родителей.

Для этой причудливой формы я приискал содержание, изучив географию тех местностей, где жили мои герои, и придумал разные человеческие дела, соответствующие характеру действующих лиц и их занятиям, для оживления сухого описания местностей. Вследствие всего этого тетради моих упражнений сделались значительно объемистее; отец был более доволен,

а мне стало более заметно, чего мне недоставало по части сведений и умения.

Как вообще подобные занятия, раз начавшись, не имеют ни конца ни предела, так случилось и здесь. Стараясь усвоить причудливый немецко-еврейский жаргон и научиться писать на нем так же хорошо, как и читать, я вскоре нашел, что мне недоставало знания еврейского языка: я мог извлечь из жаргона и сколько-нибудь усвоить только новое, испорченное и искаженное. Поэтому я заявил моему отцу о необходимости для меня учиться по-еврейски и живо добился его согласия, имея в виду еще другую высшую цель. Повсюду я слышал, что для понимания как ветхого, так и нового завета нужно знание основных языков. Новый завет я читал совершенно свободно, ибо так называемые евангелия и послания, чтобы упражняться и по воскресеньям, после церкви перечитывались, переводились и до некоторой степени объяснялись. Так же хотелось мне поступить и с Ветхим Заветом, который давно уже особенно привлекал меня своею оригинальностью.

Отец, который не любил делать что-либо наполовину, решил пригласить для частных уроков ректора нашей гимназии доктора Альбрехта; предполагалось, что он еженедельно будет давать мне уроки, пока я не усвою главнейшего из этого столь простого языка; отец надеялся, что если дело пойдет не так скоро, как с английским языком, то хоть в двойной срок цель будет достигнута.

Ректор Альбрехт представлял одну из оригинальнейших фигур в мире — маленького роста, не толстый, но широкотелый, некрасиво сложенный, хотя не горбатый—словом, Эзоп в стихаре и парике [97]). Его семидесятилетнее лицо постоянно саркастически улыбалось, при чем глаза всегда оставались большими и, хотя были красны, но всегда светились умом. Он жил в старом монастыре «босоногих» монахов, где помещалась гимназия. Еще ребенком я неоднократно посещал его, сопровождая родителей, с трепетным удовольствием проходя по длинным, темным коридорам, по прерывчатому, богатому углами помещению. Не запугивая меня, он каждый раз экзаменовал меня, хвалил и ободрял. Однажды, на публичном переходном экзамене, раздавая серебряные praemia virtutis et diligentiae [98]), он увидел меня стоящим недалеко от кафедры в качестве постороннего зрителя. Я, вероятно, очень завистливо смотрел на мешечек, из которого он вынимал медали; вдруг он поманил меня, спустился на одну ступеньку и подал мне такой серебряный кружок. Радость моя была велика, хотя другие находили, что награждение мальчика, не принадлежащего к школе, совершенно не в порядке вещей. Старик, впрочем, мало обращал внимания на это; он

вообще разыгрывал чудака, что иногда бросалось в глаза. Как учитель, он пользовался хорошею репутациею и знал свое дело, хотя по старости не мог уже исполнять его вполне хорошо. Но, пожалуй, еще более, чем физическая слабость, стесняли его внешние обстоятельства; как я знал уже ранее, он не был в ладу ни с консисторией, ни со школьным начальством, ни с духовенством, ни с учителями. Своему характеру, склонному подмечать ошибки и недостатки и относиться ко всему сатирически, он давал полную свободу как в программных сочинениях, так и в публичных речах и подобно Лукиану [99]), почти единственному писателю, которого он читал, он приправлял едкими добавлениями все, что он говорил и писал.

К счастью для тех, кем он был недоволен, он никогда прямо не переходил к делу, а только взвинчивал порицаемые им недостатки ссылками, намеками, классическими местами и библейскими изречениями. При этом его устное изложение (он всегда читал свои речи по рукописи) было неприятно, непонятно и кроме того часто прерывалось кашлем, а иногда глухим, сотрясавшим его живот смехом, которым он предвещал и сопровождал едкие места. Когда я начал заниматься с этим странным человеком, он оказался кротким и добродушным. Я ходил к нему ежедневно вечером около шести часов и чувствовал всегда тайное удовольствие, когда дверь со звонком закрывалась за мною и мне приходилось итти по длинному, темному монастырскому коридору. Мы сидели в его библиотеке за столом, обитым клеенкою; растрепанный Лукиан всегда лежал у него под рукою.

Несмотря на все его благоволение, я не без затруднения приступил к делу, потому что мой учитель не мог подавить некоторых насмешливых замечаний, на что, мол, мне собственно нужен еврейский язык. Я умолчал о своих намерениях относительно жаргона и заговорил о лучшем понимании библейского текста. Он засмеялся и сказал, что я должен быть доволен, если выучусь хоть читать. Это тайно раздражило меня, и я напрег все свое внимание, когда дело дошло до букв. Я нашел алфавит, приблизительно похожий на греческий, все его начертания понятными, а названия его большею частью не были мне чужды. Все это я быстро понял и запомнил и думал, что теперь мы приступим к чтению. Что строки читаются по-еврейски от правой руки к левой, я уже знал. Но тут вдруг выступило на сцену целое полчище мелких буквочек и значков, точек и черточек всякого рода, которые собственно должны были представлять собою гласные, что меня очень удивило, тем более, что гласные были, очевидно, и в главном алфавите, и прочие повидимому были скрыты под чужими наименованиями. Наука говорила также, что иудейский народ во время своего

процветания действительно пользовался только этими первыми знаками и не знал никакого другого способа читать и писать. Я очень охотно пошел бы по этому древнему пути, который казался мне более удобным, но учитель мой объявил с некоторою строгостью, что я должен следовать грамматике в том виде, как она общепринята и составлена. По его словам выходило, что чтение без точек и черточек представляет очень трудную задачу и доступно только ученым и очень опытным людям. Я должен был, следовательно, примириться с заучиванием и этих мелких значков; но дело для меня все более и более запутывалось. То некоторые из первых крупных основных знаков теряли всякое значение на данном месте, чтобы их маленькие заместители не стояли напрасно; то они должны были означать слабое, то более или менее густое придыхание, то служить лишь опорою или дополнением. Наконец, когда, казалось, все было хорошо замечено, некоторые из крупных или мелких представителей оказывались беззвучными, так что глазу всегда было много работы, а губам иногда очень мало.

Когда мне приходилось с запинками выговаривать на чуждом, странном диалекте то, чего содержание было мне уже известно, при чем мне немало рекомендовалось несколько гнусавое и гортанное произношение как нечто недостижимое, то я некоторым образом уклонялся от самого дела и по-детски забавлялся странными именами этой кучи знаков. Тут были императоры, короли, герцоги, и все они, господствуя здесь и там в качестве ударений, немало занимали меня. Но я был вознагражден за это тем, что при чтении, переводе, повторении и заучивании наизусть содержание книги восставало передо мною тем живее, а это-то и было, собственно, то, объяснения чего я желал от своего старого учителя. Уже ранее мне бросались в глаза противоречия предания с действительностью и возможностью, и я ставил своего домашнего учителя в немалое затруднение вопросами, как это солнце остановилось в Гибеоне, а луна — в долине Аялонской, а также о других невероятностях и несообразностях. Все это снова воскресло, когда я, чтобы овладеть еврейским языком, занялся исключительно ветхим заветом и читал его уже не в переводе Лютера, а в буквальном параллельном переложении Себастиана Шмида, которое мне тотчас доставил мой отец. Здесь, к сожалению, в наших занятиях начали обнаруживаться пробелы по части упражнений в языке. Чтение, изложение, грамматика, письмо и произношение слов редко продолжались полные полчаса, потому что я тотчас же начинал расспрашивать о смысле и, хотя мы сидели еще над первою книгою Моисея, заговаривал уже о разных вещах, которые меня интересовали в дальнейших книгах. Сначала добрый старик

старался отвлечь меня от подобных отступлений, но наконец они, повидимому, начали забавлять и его самого. Он не выходил из своего обычного покашливания и смеха, и хотя он весьма остерегался сообщать мне сведения, которые могли бы его компрометировать, моя настойчивость не уменьшалась. Так как мне еще более хотелось выразить свои сомнения, чем получить разрешение их, то я становился все живее и смелее, что, казалось мне, оправдывалось его поведением. Впрочем, я не мог ничего от него добиться; он только хохотал, трясся животом и по временам восклицал: «Вот дурачок! Вот забавный мальчишка!»

Однако, моя детская живость, стремившаяся изучить библию во всех направлениях, вероятно, показалась ему все же довольно серьезною и достойною некоторой поддержки. Поэтому через некоторое время он указал мне на большое английское сочинение о библии, находившееся в его библиотеке,—издание, в котором было дано понятное и разумное объяснение трудных и сомнительных мест. Перевод имел даже преимущества перед оригиналом, благодаря большим трудам немецких богословов. Здесь были приведены различные мнения, и в конце была сделана попытка сводки их, при чем были соблюдены по возможности и достоинства книги, основы религии и доводы человеческого разума [100]). Каждый раз, когда я по окончании урока обращался к учителю со своими вопросами и сомнениями, он указывал мне на книжную полку; я доставал том, он позволял мне читать, а сам перелистывал своего Лукиана, и, когда я делал свои замечания о книге, он отвечал на мои догадки только своим обычным смехом. В долгие летние дни он часто оставлял меня одного за этим чтением, но только спустя довольно долгое время он позволил мне брать том за томом с собою домой.

Как бы ни изворачивался человек, что бы он ни предпринимал, всегда он вернется на тот путь, который ему предначертала природа. Так случилось и со мною в данном случае. Мои усилия по изучению языка и по постижению самого содержания священного писания окончились тем, что в моем воображении получилось более живое представление о прекрасной и прославленной стране, ее окрестностях и соседних странах, а также о народах и событиях, которые в течение столетий прославили этот кусочек земли. Этому небольшому пространству, согласно библии, суждено было видеть происхождение и рост человеческого рода; отсюда дошли до нас первые и единственные известия первородной истории. Перед нашим воображением восстает это место в своей простоте и понятности и, в то же время, в своем разнообразии и пригодности к удиви-

тельнейшим странствиям и переселениям. Здесь между четырьмя поименованными в библии реками было выделено из всей впоследствии обитаемой земли небольшое прекрасное пространство для юного человека; здесь должен был он развить свои первые способности; здесь должен был в тоже время выпасть на его долю жребий, сужденный всему его потомству; здесь, стремясь к познанию, он должен был утратить свой покой. Рай был потерян; люди размножались и ухудшались; Элогим [101]), не привыкший еще к греховности этого рода, потерял терпение и уничтожил его до основания. Лишь немногие спаслись от всемирного потопа, и едва сбежало ужасное наводнение, как перед глазами спасенных счастливцев снова открылась знакомая отечественная почва.

Две реки из четырех—Евфрат и Тигр—текли еще в своем русле. Имя первой из них сохранилось; имя второй определялось, повидимому, ее течением. Точные следы рая не могли быть определены после такого большого переворота. Возобновленный род человеческий вторично начал отсюда свою жизнь; он нашел возможность различным образом питаться и работать, а главным образом он собрал вокруг себя большие стада прирученных тварей и расселился с ними во все стороны.

Такой образ жизни, а равно увеличение числа племен вскоре принудили народы удалиться друг от друга. Но они не могли сразу решиться навсегда покинуть своих родственников и друзей; им пришло на ум построить высокую башню, которая издали могла бы указывать им обратный путь. Но этот опыт, как и первое стремление, потерпел неудачу: им не суждено было быть одновременно счастливыми и умными, многочисленными и согласными. Элогим сбил их с толку, постройка прекратилась, люди рассеялись: мир был населен, но разрознен. Однако, наши взоры, наше участие продолжают быть прикованными к этим местам. Наконец отсюда снова выходит прародитель, который настолько счастлив, что налагает на свое потомство особый характер и через это соединяет его на вечные времена в великую нацию, сохраняющуюся при всех переменах счастия и места.

Не без божественного указания Авраам переселяется от Евфрата к западу. Пустыня не была неодолимым препятствием для его похода; он достигает Иордана, переходит реку и распространяется в прекрасных южных частях Палестины. Эта страна уже ранее была занята и довольно населена. Не слишком высокие, но каменистые и бесплодные горы были прорезаны многочисленными обводненными долинами, благоприятными для земледелия. Города, местечки, отдельные поселения были рассеяны по этой поверхности на склонах большой долины, воды которой собирались в Иордан. Страна была населена и обработана, но мир был еще достаточно велик, и люди были не

настолько заботливы, удручены потребностями и деятельны, чтобы тотчас же стремиться овладеть всеми окрестностями. Между отдельными владениями простирались большие пространства, в которых свободно могли передвигаться пасущиеся стада. В таких пространствах остановился Авраам, а с ним и брат его Лот; но они не могли долго оставаться в таких местах. Именно это устройство страны, население которой то прибывает, то убывает и произведения которой никогда не находятся в равновесии с потребностью, внезапно приносит с собою голод, и пришелец страдает вместе с туземцем, у которого он своим случайным присутствием отнял часть пищи. Оба халдейские брата направляются в Египет, и таким образом определяется та сцена, на которой в течение нескольких тысячелетий будут разыгрываться важнейшие мировые события. Мы видим, как земля населяется от Тигра до Евфрата, от Евфрата до Нила, и как по этому пространству переселяется туда и сюда знакомый, любимый богами и сделавшийся уже дорогим для нас муж со своими стадами и имуществом и в короткое время обильно размножается. Братья возвращаются, но, умудренные перенесенными бедствиями, они решаются разлучиться. Оба остаются, правда, в полуденном Ханаане; но в то время, как Авраам остается в Хевроне близ дубравы Мамврийской, Лот переходит в Сиддимскую долину, которая — если наше воображение достаточно сильно — дает подземный исток Иордану, при чем на месте нынешнего Мертвого моря находится сухое место, и представляет, повидимому, как бы второй рай, тем более, что обитатели этой страны, славящиеся своею изнеженностью и порочностью, заставляют заключить о привольной и роскошной жизни. Лот живет между ними, но обособленно.

Но Хеврон и Мамврийская дубрава являются перед нами как важнейшие места, где господь говорит с Авраамом и обещает ему всю страну, насколько его взгляд хватит по направлению всех четырех стран света. От этих тихих областей, от этих пастушеских народов, которые поставлены в возможность общения с небожителями, принимают их в качестве гостей и ведут с ними неоднократные беседы, — мы принуждены снова обратить взор свой к востоку и подумать об устройстве жизни соседнего мира, которое в целом, вероятно, подобно устройству Ханаана.

Семьи держатся вместе; они соединяются, и образ жизни племен определяется местностью, которую они заняли или занимают. В горах, посылающих свои воды в Тигр, мы находим воинственные народы, которые уже с этого раннего времени указывают на будущих завоевателей и властителей мира и дают нам предварительный пример будущих великих дел в виде

похода, громадного для тех времен. Кедор Лаомор, царь Эламский, оказывает уже могущественное влияние на союзников; он царствует долгое время; уже за двенадцать лет до прибытия Авраама он обложил данью все народы вплоть до Иордана. Наконец они отпали, и союзники готовятся к войне. Мы неожиданно находим их на том пути, по которому, вероятно, и Авраам прибыл в Ханаан. Народы по левую сторону нижнего течения Иордана усмирены. Кедор Лаомор направляется к югу, к народам пустыни, а затем, повернув к северу, разбивает амалекитян и, победив аморитян, приходит в Ханаан; здесь он нападает на царей Сиддимской долины, разбивает и рассеивает их и с большою добычею идет вверх по Иордану, простирая свое победное шествие вплоть до Ливана.

Между пленниками, ограбленными и уведенными вместе с их имуществом, находится и Лот, разделяющий судьбу страны, гостем которой он был. Авраам узнает это, и здесь мы знакомимся с праотцем, как с воином и героем. Он собирает своих слуг, делит их на отряды, нападает на тяжело движущийся обоз, приводит в смятение победителей, которые не ожидали врага в тылу у себя, и освобождает своего брата с его имуществом, а также многое из имущества побежденных царей. Благодаря этому короткому походу Авраам одновременно делается властителем страны. Местные жители смотрят на него, как на защитника, спасителя и, благодаря его бескорыстию, как на царя. Цари долины встречают его с благодарностью, а Мельхиседек, царь и священник, благословляет его.

Предсказания о бесчисленном потомстве возобновляются и даже ширятся. От вод Евфрата до египетской реки Аврааму обещана вся земля, но дело с его непосредственным наследником обстоит неблагополучно. Ему восемьдесят лет, и у него все еще нет сына. Сарра, менее доверяя богам, чем он, приходит в нетерпение; по восточному обычаю она хочет получить потомство от своей служанки. Но едва Агарь сошлась с хозяином дома, едва появилась надежда на сына, как в доме начинается раздор. Госпожа относится к той, кому сама покровительствовала довольно дурно, и Агарь убегает, ища лучшего житья у других орд. Не без указания свыше она возвращается и рождает Измаила.

Аврааму теперь девяносто девять лет, а обещания многочисленного потомства все еще повторяются, так что наконец оба супруга находят их смешными. И все-таки Сарра в конце концов забеременела и родила сына, которому дали имя Исаак.

История основывается преимущественно на закономерном размножении человеческого рода. Нам приходится проследить наиболее значительные мировые события вплоть до семейных тайн, и таким образом браки праотцев также дают нам повод

к особым соображениям. Все имеет такой вид, как-будто боги, желая руководить судьбою людей, желали дать здесь как бы образец семейных событий. Авраам, долгие годы живший в бездетном браке с красавицей женою, за которую многие сватались, на сотом году своей жизни оказывается мужем двух жен и отцом двух сыновей, и в этот момент его домашний мир нарушается. Невозможно согласить между собою двух жен и двух сыновей от разных матерей. Та сторона, которой менее покровительствуют законы, обычаи и общественное мнение, должна уступить. Авраам должен пожертвовать своею любовью к Агари и Измаилу; оба удаляются, и Агарь вынуждена возвратиться против воли на тот путь, который она было избрала при своем добровольном бегстве; сперва он как-будто ведет к гибели ее и ребенка, но ангел божий, который в первый раз направил ее назад, спасает ее и на этот раз, чтобы Измаил сделался также родоначальником великого народа и чтобы самое невероятное из всех обещаний исполнилось даже свыше своих границ.

Двое старых родителей и один поздно рожденный сын; здесь, казалось бы, можно было ожидать семейного спокойствия, земного счастья; ничуть не бывало; небожители готовят праотцу еще тягчайшее испытание, но об этом мы не можем говорить без различных предварительных соображений.

Если должна была возникнуть естественная всеобщая религия и из нее развиться особое откровение, то страны, среди которых обитало до сих пор наше воображение, населявшие их люди и образ их жизни были наиболее подходящими для этого; по крайней мере, мы не видим, чтобы где-нибудь в мире обнаружилось нечто столь же благоприятное и светлое. Уже для естественной религии — если допустить, что она прежде всего возникла в человеческой душе — нужно много нежности в душевном настроении, потому что религия эта основывается на убеждении во всеобщем промысле, который руководит мировым порядком. Особая религия, сообщенная богами через откровение тому или другому народу, влечет за собою веру в провидение, которое, как божественное существо, благоприятствует отдельным людям, семействам, племенам и народам. Трудно произвести эту веру в провидение из души самого человека; она требует предания, происхождения, поручительства из древнейших времен. Прекрасно поэтому, что еврейское предание изображает уже самых первых людей, верящих в это особое провидение, как героев веры, которые столь же слепо исполняют все веления высшего существа, свою зависимость от коего они признают, как и не перестают ожидать, без всяких сомнений, позднего исполнения его обещаний.

Если в основе религии особого откровения лежит понятие о том, что боги могут более благоприятствовать одному человеку, чем другому, то в значительной степени она возникает также из различия положений разных людей. Первые люди казались близко родственными между собою, но их занятия вскоре разделили их. Свободнее всех был охотник; из него выработался воин и властелин. Та часть людей, которая возделывала нивы, была прикована к земле, строила жилища и амбары для хранения приобретенного, могла быть довольно высокого мнения о себе потому, что ее состояние обещало прочность и безопасность. С другой стороны, уделом пастуха было, повидимому, наименее стесненное состояние и неограниченное владение. Размножение стад было безгранично, а питавшее их пространство распространялось во все стороны. Эти три сословия сначала, повидимому, смотрели друг на друга с раздражением и презрением; как для пастуха горожанин был чудовищем, так и горожанин сторонился от пастуха. Охотники скрываются от наших глаз в горы и снова появляются лишь в виде завоевателей.

Прародители принадлежали к пастушескому сословию. Их образ жизни в море пустынь и лугов сообщал их уму широту и свободу; небесный свод со своими ночными звездами, под которым они жили, внушал чувствам их возвышенность, и в большей степени, нежели деятельный, подвижный охотник или живущий в безопасности, в прочном доме, заботливый земледелец, нуждались они в непоколебимой вере, что бог стоит на их стороне, посещает их, принимает в них участие, ведет и спасает их.

Переходя к исторической последовательности, мы должны выдвинуть еще одно соображение. Как ни человечна, прекрасна и светла кажется нам религия праотцев, все же через нее проходят черты дикости и жестокости, из которой выходит человек и в которую он может снова погружаться.

Что ненависть примиряется кровью, смертью побежденного врага, — это естественно; что на поле битвы между рядами убитых заключался мир — это можно себе представить; а что посредством убитых подобным же образом животных думали закрепить союз — это вытекает из предыдущего. Равным образом нечего удивляться и тому представлению, что убитыми жертвами можно призвать с неба, примирить и склонить на свою сторону богов, на которых всегда смотрели, как на партию, как на противников или союзников. Но если мы остановимся на жертвоприношениях и рассмотрим способ, каким они совершались в те древние времена, то мы встречаемся со странным, для нас отвратительным обычаем, который, вероятно, также имеет свое начало в войне, а именно: приносимые в жертву животные, сколько бы их ни было,

разрубались каждое вдоль пополам, половины клались по сторонам, а в образовавшемся проходе между ними находились те, которые желали заключить союз с божеством.

Странною и вещею чертою проходит через этот прекрасный мир еще одна ужасная особенность: что все посвященное, обетованное должно было умереть; вероятно, это был также военные обычай, перенесенный в мирное состояние. Жителям города, сильно защищающегося, грозят подобным обетом; город погибает, взятый штурмом или иначе; не оставляют ничего живым, в особенности мужчин, и нередко женщины, дети, даже домашний скот разделяют ту же участь. Поспешно и суеверно, в определенной или неопределенной форме обещаются подобные жертвы; и вот те, кого хотели бы пощадить, даже близкие родные и собственные дети, погибают как искупительные жертвы подобного безумия.

В кротком, истинно праотеческом характере Авраама подобный варварский способ обожания не мог возникнуть; но боги, которые нередко, чтобы испытать нас, как бы обнаруживают свойства, охотно приписываемые им людьми, повелевают ему нечто чудовищное. Он должен принести в жертву своего сына в залог нового союза; следуя обычаю, он должен не только заколоть его и сжечь, но разрубить его пополам и между его дымящимися внутренностями ожидать от благосклонных богов нового обетования. Немедленно и слепо Авраам готовится исполнить повеление; но боги удовлетворяются его повиновением. Теперь испытания Авраама миновали, далее итти уже некуда. Но Сарра умирает, и это дает повод к прообразу вступления Авраама во владене Ханааном. Ему нужна гробница, и здесь впервые он ищет собственности на этой земле. Вероятно, уже ранее он выискал для себя двойную пещеру близ дубравы Мамврийской: он покупает ее вместе с прилежащею пашнею, и правовая форма, которую он при этом соблюдает, показывает, как важно для него это владение. Оно и было важно, может быть, в большей степени, чем он сам думал, потому что здесь было суждено покоиться ему самому, его сыновьям и внукам, и на этом главным образом основывались ближайшие притязания на всю страну и постоянное стремление его потомства собираться здесь.

С этих пор происходят, сменяя друг друга, разнообразные семейные сцены. Авраам все еще держится в строгом обособлении от местных жителей, и если Измаил, сын египтянки, женился на дочери этой страны, то Исаак должен сочетаться браком с единокровною, равною ему.

Авраам посылает своего слугу в Месопотамию, к родственникам, которых он там оставил. Умный Елеазар приходит

неузнанным и, чтобы привезти домой хорошую невесту, испытывает услужливость девушек у колодца. Он просит напиться, и Ревекка, без особой просьбы, поит и его верблюдов. Он одаряет ее, сватается за нее и не получает отказа. Таким образом он приводит ее в дом своего господина, и она обручается Исааку. И им также приходится долгое время ожидать потомства. Лишь через несколько лет испытания Ревекка получает благословение небес, и тот же раздор, который возник при двойном браке Авраама при двух матерях, возникает здесь при одной. Два мальчика противоположного характера борются уже под сердцем матери. Они являются на свет, старший—живой и сильный, а младший—нежный и умный; первый становится любимцем отца, а второй—матери. Исав спокоен и равнодушно относится к первенству, дарованному ему судьбою; Иаков не забывает, что его брат оттесняет его назад. Пользуясь всяким случаем приобрести желаемую выгоду, он выторговывает у своего брата право первенства и перехватывает у него благословение отца. Исав приходит в ярость и грозит брату смертью; Иаков убегает, чтобы попытать счастья в стране своих предков.

Здесь в первый раз появляется в такой благородной семье член, который не задумывается умом и хитростью достичь выгод, не принадлежащих ему по природе и по положению. Довольно часто уже было замечено и высказано, что священное писание выставляет нам прародителей и других покровительствуемых богом людей вовсе не в виде образцов добродетели. Они—тоже люди с самыми разл:чными характерами, с разнообразными недостатками и пороками; но у всех этих людей, любимых богом, непременно должно быть одно главное качество: непоколебимая вера в то, что бог особенно заботится о них и их родственниках.

Общая естественная религия, собственно, не нуждается в вере, ибо убеждение, что великое, производительное, упорядочивающее и руководящее существо как бы скрывается за природою, чтобы сделаться нам более понятным,—это убеждение само собою напрашивается каждому, и если он даже иногда теряет нить этого убеждения, ведущего его через всю жизнь, то он сейчас же и везде может ее снова найти. Совершенно иначе обстоит дело с особою религиею, которая возвещает нам, что это великое существо решительно и преимущественно заботится об отдельном человеке, племени, народе, отдельной стране. Эта религия основывается на вере, которая должна быть непоколебима, если не хотят, чтобы она разрушилась до основания. Всякое сомнение в такой религии убийственно. К убеждению можно вернуться, но не к вере. Отсюда происхо-

дят те бесконечные испытания, та медленность в исполнении повторных обетований, которыми яснее всего освещается твердость веры праотцев.

С этою верою Иаков пускается и в свое путешествие, и если он не приобрел нашего расположения за свою хитрость и обманы, то вполне заслуживает его за свою постоянную и неизменную любовь к Рахили, за которую он сам сейчас же сватается, как Елеазар посватался за Ревекку для его отца. На нем впервые должно было сбыться обещание бесчисленного потомства; ему суждено было видеть вокруг себя много сыновей, но и испытать немало страданий из-за них и их матерей.

Семь лет служил он ради своей возлюбленной без нетерпения и колебания. Его тесть, равный ему по хитрости и настроенный так же, как он, считая всякое средство позволительным для достижения цели, обманывает его так же, как Иаков обманул своего брата: Иаков находит в своих объятиях супругу, которую он не любит. Правда, чтобы примириться с ним, Лаван вскоре отдает ему и его возлюбленную, но под условием дальнейшей семилетней службы; таким образом возникает неприятность за неприятностью. Нелюбимая жена плодовита, а у любимой нет детей. Подобно Сарре, Рахиль хочет приобрести сына от рабыни, но другая жена отнимает от нее и эту выгоду: она также приводит к мужу свою служанку. И вот добрейший праотец оказывается несчастнейшим из мужей: четыре жены, дети от трех, и из них ни одного от любимой жены. Наконец и эта осчастливлена: рождается Иосиф, запоздавшее дитя страстной любви. Четырнадцать лет службы Иакова миновали, но Лаван не хочет терять своего первейшего и вернейшего слугу: они заключают новые условия и делят между собою стада. Лаван удерживает за собою белых овец, а пятнистых—как бы отброс,—уступает Иакову. Но последний умеет соблюсти свою выгоду, и как посредством плохого кушанья он приобрел первенство, а посредством переодевания благословение отца, так теперь посредством искусства и симпатии он умеет присвоить себе бо́льшую и лучшую часть стад и становится также и в этом отношении истинно достойным прародителем израильского народа и образцом для своего потомства. Лаван и его близкие замечают если не самую уловку, то ее результат. Происходит ссора; Иаков бежит со всеми своими и уходит от преследующего его Лавана, благодаря отчасти счастью, отчасти хитрости. Теперь Рахиль должна подарить ему еще одного сына; но она умирает в родах, и дитя печали, Вениамин, переживает ее. Еще бо́льшее горе суждено испытать старику отцу при кажущейся потере его сына Иосифа.

Может быть спросят, зачем я снова подробно рассказываю здесь все эти общеизвестные, столько раз повторенные и изложенные истории. Я отвечу на это, что никаким иным образом, мне не удалось бы представить, как, при моей рассеянной жизни, при моем разрозненном учении, мой дух, мои чувства все же сосредоточивались на тихой деятельности; никак иначе не мог я изобразить то спокойствие, которое окружало меня во время бурных и неожиданных событий во внешнем мире. Когда вечно деятельная сила воображения (о которой свидетельствует вышеприведенная сказка) заводила меня то туда, то сюда,—когда смесь басни и истории, мифологии и религии угрожала сбить меня с толку, то я охотно укрывался в те восточные страны, погружался в первые книги Моисея и находил там, среди разбредшихся пастушеских племен, одновременно величайшее уединение и самое обширное общество.

Эти семейные столкновения, пока не потерялись в истории израильского народа, показывают нам в заключение еще одну фигуру, в особенности интересную для молодости с ее надеждами и фантазиями—это Иосиф, дитя страстной супружеской любви. Он является перед нами спокойным и светлым и сам себе предсказывает преимущества, которые возвысят его над всем семейством. Низвергнутый в бедствие своими братьями, он остается стойким и праведным в рабстве, противостоит опасным искушениям, спасается посредством предсказания и по заслугам достигает высших почестей. Он оказывает помощь и пользу сперва великому царству, а затем своим родным. Своим спокойствием и величием он уподобляется праотцу Аврааму, а тихостью и преданностью—своему деду Исааку. Унаследованные от отца деловые способности он применяет в широких размерах: он умеет приобретать уже не стада для своего тестя или для себя, а народы со всеми их владениями для царя. Эта естественная повесть в высшей степени привлекательна; она лишь кажется чрезмерно короткою, и невольно рождается желание развить ее в подробностях.

Такая разработка библейских характеров и событий, данных лишь в общих чертах, была уже не новостью у немцев. Лица ветхого и нового завета получили благодаря Клопштоку нежную и прочувствованную характеристику, которая была очень по душе мальчику и многим из его современников. О работах Бодмера в этом роде ему было известно мало или ничего, но «Даниил во рву львином» имел большое влияние на молодую душу. Здесь благомыслящий деловой человек и придворный через злоключения достигает высоких почестей, и благочестие, которое угрожало погубить его, рано или поздно сделалось для него щитом и оружием. Мне давно хотелось обрабо-

тать историю Иосифа [102]), но я никак не мог справиться с формою, в особенности потому, что мне не был знаком род стиха, который подходил бы к такой работе. Я старался обособить и подробнее обрисовать характеры и, вставив разные инциденты и эпизоды, превратить старую простую историю в новое и самостоятельное произведение. Я не сообразил,—чего, впрочем, молодость и не может сообразить,—что для этого необходимо содержание, а это последнее может возникнуть только из наблюдения и опыта. Как бы то ни было, я уяснил себе все события до малейших подробностей и точнейшим образом рассказал их сам себе по порядку.

Было одно обстоятельство, которое весьма облегчало мне работу и грозило сделать это сочинение, да и вообще мое авторство слишком обширным. В доме моего отца жил в качестве воспитанника молодой человек, одаренный большими способностями, но вследствие переутомления и самомнения несколько помешавшийся [103]). Он спокойно жил в нашей семье, тихий и замкнутый, и, если его предоставляли самому себе, всегда был доволен и угодлив. Он переписывал свои учебные тетради с большою заботливостью и приобрел быстрый и разборчивый почерк. Охотнее всего он занимался письмом и был очень доволен, когда ему давали что-нибудь переписывать, а еще более—если ему диктовали, потому что он тогда как бы переносился в свои счастливые академические годы. Для моего отца, который не мог писать быстро и немецкий почерк которого был мелок и неровен—не могло быть ничего желательнее, и он имел обыкновение, при устройстве своих и чужих дел, ежедневно по нескольку часов диктовать этому молодому человеку. Я также нашел очень удобным в свободное время закреплять чужою рукою на бумаге все, что мне мимолетно приходило в голову, и мой дар изобретения и подражания возрастал вместе с легкостью схватывания и сохранения.

Такого большого сочинения, как эта библейская, прозаико-эпическая поэма, я еще никогда не предпринимал. Это было спокойное время, и ничто не отвлекало моего воображения от Палестины и Египта. Итак, моя рукопись разбухала ежедневно по мере того, как поэма по частям, рассказываемым мною самому себе, ложилась на бумагу; лишь немногие листы приходилось время от времени переписывать [104]).

Когда сочинение было готово (оно действительно осуществилось к моему собственному удивлению), я вспомнил, что от предыдущих лет у меня еще остались разные стихотворения, которые и теперь казались мне недурными, и что, если их переписать в одинаковом формате с «Иосифом», то они могли бы составить вместе с ним порядочный том in quarto [105]), которому можно было

бы дать название «Смешанные стихотворения». Эта мысль нравилась мне тем более, что этим я подражал бы известным и знаменитым авторам. Я написал изрядное число анакреонтических стихотворений [106]), которые хорошо удавались мне, благодаря простоте размера и легкости содержания. Но эти стихотворения я не мог поместить, потому что они были без рифм, а мне хотелось прежде всего сделать что нибудь приятное отцу. Тем более уместными казались мне здесь духовные оды, которые я усердно пробовал сочинять в подражание «Страшному суду» Элиаса Шлегеля [107]). Одна такая ода, в память сошествия Христа во ад, вызвала большое одобрение у моих родителей и друзей и имела счастье еще несколько лет нравиться мне самому. Я прилежно изучал также так называемые тексты к воскресной церковной музыке, которые всегда можно было иметь в печатном виде; правда, они были очень слабы, и я мог вполне надеяться, что мои тексты, которых я изготовил несколько по данному образцу, в такой же мере заслуживали быть положенными на музыку и исполненными в назидание общины. Эти тексты и многое подобное я уже в течение более чем года списывал собственноручно, потому что эти частные упражнения освобождали меня от уроков учителя чистописания. Наконец, все это было проредактировано, приведено в порядок, и нетрудно было уговорить названного молодого человека, любителя переписки, переписать все начисто. Затем я поспешил к переплетчику, и когда вскоре я вручил аккуратный том своему отцу, то он с особенным удовольствием выразил мне свое одобрение и надежду, что я каждый год буду давать по такому тому; он был уверен в этом тем более, что я сделал все это в так называемые свободные часы.

Мою склонность к этим богословским или, вернее, библейским занятиям увеличило еще одно обстоятельство. Умер старший министерский пастор, Иоганн Филипп Фрезениус — кроткий человек, красивой и приятной наружности, чтимый своими прихожанами и всем городом, как образцовый священник и хороший проповедник. Только обособившиеся «благочестивые» не хвалили его, так как он выступил против гернгутеров, большинство же прославляли его и чуть не причисляли к святым за то, что он обратил к вере одного смертельно раненого неверующего генерала. Преемником его был Плитт, высокий, красивый, почтенный мужчина, который, однако, принес со своей кафедры (он был профессором в Марбурге) скорее дар поучения, чем назидания [108]). Он тотчас объявил нечто в роде религиозного курса, которому он хотел посвятить свои проповеди в известной методической связи. Уже до этого, когда меня заставляли ходить в церковь, я заметил обычные подразделения проповедей и мог

иногда похвастать довольно подробным повторением их. Так как теперь в приходе много говорили за и против нового старшего пастора и многие не ожидали ничего особенного от его обещанных дидактических проповедей,—то я решился тщательно записывать за ним. Это удалось мне тем лучше, что я уже и прежде делал небольшие опыты этого рода, выискав очень удобное для слушания, но скрытое местечко. Я был очень внимателен и проворен; как только произносилось «аминь», я спешил домой и тратил часа два на то, чтобы продиктовать закрепленное мною на бумаге и в памяти, и еще до обеда успевал представить проповедь в письменном виде. Мой отец очень гордился этой удачей, и друг дома, присутствовавший за обедом, должен был разделять его радость. Последний и без того был расположен ко мне. При своих частых посещениях его ради снятия восковых оттисков для моего собрания гербов я до такой степени усвоил его «Мессию», что мог декламировать ему большие отрывки этой поэмы, чем трогал старика до слез.

В следующее воскресенье я продолжал работу с тем же усердием, и так как меня занимал самый механизм ее, то я не думал о том, что я записывал и закреплял. Первую четверть года эти занятия продолжались приблизительно равномерно; но так как в конце концов мне стало казаться, что я не получаю ни особого разъяснения самой библии, ни более свободного взгляда на догматы, то я нашел, что небольшое удовлетворение моего тщеславия покупается слишком дорогою ценою и что не стоит продолжать это дело с таким же рвением. Прежние длинные проповеди, занимавшие по нескольку листов, стали делаться все более тощими, и я совсем бы бросил эту работу, если бы мой отец, любивший, чтобы каждая задача была исполнена, не заставил меня уговорами и обещаниями потерпеть до последнего воскресенья, троицы, хотя я наконец, записывал на маленьких листках почти только текст, пропозицию и подразделение проповеди.

В смысле доведения дела до конца мой отец отличался особенным упорством. То, что раз было предпринято, должно было быть исполнено, хотя бы оно оказалось неудобным, скучным, неприятным, даже бесполезным: выходило, что исполнение представляло единственную цель, а настойчивость—единственную добродетель. Если в длинные зимние вечера мы начинали читать в семейном кругу какую нибудь книгу, то мы должны были ее дочитать, хотя бы все мы приходили от нее в отчаяние, и отец первый начинал иногда зевать. Я вспоминаю одну такую зиму, когда мы должны были одолеть «Историю пап» Боуера [109]). Это было нечто ужасное, так как в церковных делах не было ничего или почти ничего занимательного для детей и молодых

людей. Впрочем, несмотря на все мое невнимание и отвращение, от этого чтения во мне все-таки удержалось кое-что, на что позднее я мог опереться в некоторых случаях.

При всех этих посторонних занятиях и работах, которые следовали друг за другом так быстро, что я едва успевал сообразить, насколько они были пригодны и полезны, отец мой не терял из виду своей главной цели. Он старался направить мою память и способности к схватыванию и комбинированию на юридические темы и дал мне поэтому маленькую книжку в виде катехизиса,—сочинение Гоппе [110]), составленное согласно форме и содержанию «Институций». Я вскоре выучил наизусть вопросы и ответы и мог одинаково хорошо изобразить как вопрошателя (катехета), так и отвечающего (катехумена). Как при тогдашнем преподавании закона божия одно из главных упражнений состояло в том, чтобы уметь быстро находить те или другие места в библии, так и здесь требовалось подобное же знакомство с «Corpus Iuris» [111]), в котором я вскоре вполне ориентировался. Отец мой пожелал итти дальше и дал мне «Маленького Струве», но здесь дело пошло не так быстро. Форма книги была не так благоприятна для начинающего, чтобы он мог в ней разобраться сам, а способ преподавания моего отца был не настолько вразумителен, чтобы быть мне полезным.

Не только вследствие военного положения, при котором мы жили, но и по условиям самой гражданской жизни, а также из чтения историй и романов было совершенно ясно, что бывает много случаев, когда законы безмолвствуют и не могут прийти на помощь отдельному лицу, которому тогда приходится самому выбираться из затруднения. Мы уже подросли и по старому обычаю должны были, между прочим, учиться фехтованию и верховой езде [112]), чтобы при случае уметь защищать свою шкуру и не иметь ученического вида верхом на лошади. Что касается фехтования, то это упражнение было нам очень приятно, мы давно уже добыли себе рапиры в виде палок из орехового дерева и аккуратно сплетенные из ивовых прутьев корзинки для защиты рук. Теперь нам пришлось обратиться к настоящим стальным клинкам, и мы производили ими изрядный шум.

В нашем городе было два учителя фехтования: один—старый, серьезный немец, обучавший строго и основательно, другой—француз, который старался достигнуть успеха нападением и отскакиванием, легкими, быстрыми ударами, сопровождая их всегда различными восклицаниями. Мнения о том, кто из них лучше, разделились. Маленькое общество, в котором мне приходилось брать уроки, было поручено французу, и мы вскоре приучились то итти вперед, то отступать, нападать и отскакивать, всегда издавая при этом обычные выкрики. Некоторые же из

наших знакомых обратились к немецкому фехтовальщику и поступали как-раз наоборот. Эти различные способы производить столь важные упражнения и убеждение каждого, что его учитель лучше другого, привели к настоящим распрям между молодыми людьми приблизительно одинакового возраста, и дело чуть не дошло до превращения уроков фехтования в настоящее сражение, потому что мы не только спорили, спорили на словах, но действовали и клинками. Наконец, чтобы решить дело, мы устроили состязание между обоими учителями, результат которого я не буду подробно описывать. Немец стоял в своей позиции как стена, соблюдал свою выгоду, и несколько раз ему удавалось, выбивая или вырывая оружие из рук, обезоружить своего противника. Последний, однако, утверждал, что дело не в этом, и продолжал своею подвижностью утомлять противника. Он нанес немцу несколько ударов, которые, однако, в серьезном бою отправили бы его самого на тот свет. В общем вопрос был не решен, и дело не улучшилось, только некоторые—в том числе я—перешли к своему земляку. Но я усвоил уже слишком многое от первого учителя, и прошло довольно много времени, пока новый отучил меня от этого; и вообще он был менее доволен ренегатами, чем теми, которых он учил с самого начала.

С верховою ездою дело шло еще хуже. Случайно нас послали на арену осенью, и я должен был начать свое ученье в холодное и сырое время года. Педантическое обучение этому прекрасному искусству было мне в высшей степени противно. Первым и последним делом было здесь крепкое сидение на коне, но никто не мог объяснить, в чем, собственно, состоит это крепкое сидение, которое всего важнее: мы скользили на лошади, без стрямян, туда и сюда. Впрочем, обучение состояло, повидимому, лишь в плутовстве и в издевательстве над учениками. Забудешь ли надеть или снять подгубную цепочку, уронишь ли хлыст или шляпу—всякое упущение, всякое несчастье оплачивалось деньгами, да над вами еще и смеялись. Это приводило меня в самое скверное настроение, в особенности при невыносимых свойствах самого места упражнений. Отвратительное, большое, то сырое, то пыльное помещение, холод, запах гнили—все это вместе было мне противно в высшей степени. Так как конюший к тому же всегда давал лучших лошадей другим, которые подкупали его, быт может, завтраками или другими подарками, а может быть и своею ловкостью, а мне всегда самых плохих и вообще как-будто считал меня хуже всех, то приходилось проводить весьма неприятные часы за занятием, которое, собственно, должно было бы быть самым веселым в мире. Впечатления этого времени и этих обстоятельств сохранились во мне так живо, что я впоследствии старательно избегал манежей и оставался в них

разве на несколько минут, хотя страстно полюбил и привык смело ездить верхом, по целым дням и неделям почти не сходя с коня. Впрочем, часто так бывает, что начало преподавания законченного искусства происходит мучительным и отталкивающим образом. Видя как это тягостно и вредно, в новейшее время поставили правилом воспитания, чтобы молодым людям все преподавалось в легком, веселом и приятном виде; отсюда, однако, опять-таки возникали другие недостатки и вредные последствия.

С приближением весны у нас стало опять спокойнее. Если я прежде старался ознакомиться с общим видом нашего города, его духовных и светских, общественных и частных зданий, и находил особенное удовольствие в наблюдении всего старинного, тогда еще господствовавшего, то теперь мои старания были направлены к тому, чтобы воскресить перед собою личности былых времен с помощью Лерснеровой хроники и других книг и тетрадей, находившихся в отделе отцовской библиотеки, относящемся к Франкфурту. Это мне, повидимому, вполне удалось благодаря большому вниманию, которое я обратил на особенности времен и нравов и на выдающиеся индивидуальности.

Среди остатков древности меня с детства интересовал череп государственного преступника, выставленный на постовой башне. Как свидетельствовали пустые железные прутья, этот череп, один из трех или четырех, уцелел с 1616 года несмотря на все губительные влияния времени и погоды. Каждый раз при возвращении из Заксенгаузена башня и череп на ней бросались в глаза. Еще мальчиком я просил рассказать мне историю этих мятежников, Феттмильха и его товарищей,—как они, будучи недовольны правительством города, восстали против него, затеяли мятеж, разграбили еврейский квартал и учинили ужасные побоища, но в конце концов были взяты в плен и императорскими уполномоченными приговорены к смертной казни[113]). Когда я узнал из старой книги того времени, снабженной гравюрами на дереве, что хотя эти люди были осуждены на смерть, но в то же время были отставлены и многие члены городского совета за то, что в городе было много беспорядка и совершались разные непозволительные вещи,—когда я ближе познакомился с подробностями всего происшедшего, то я пожалел этих несчастных, на которых следовало смотреть как на жертв ради лучшего будущего государственного устройства. Дело в том, что с того времени начался такой порядок, что старый знатный дом Лимпургов, возникший из клуба дом Фрауенштейнов, юристы, купцы и ремесленники составили правительство, которое, будучи пополняемо сложною баллотировкою на венецианский лад и ограниченное

гражданскими коллегиями, было призвано охранять права, не получив особенной свободы творить несправедливости.

К числу таинственных вещей, поражавших мальчика, а затем, пожалуй, и юношу, принадлежал в особенности еврейский квартал, называемый, собственно, еврейской улицей [114]), потому что он состоит почти из одной только улицы, которая в былые времена находилась как бы ущемленная в тисках между городской стеной и рвом. Теснота, грязь, давка, акцент неприятного языка,—все это вместе производило отталкивающее впечатление, даже если туда только мимоходом заглянешь, бывало, через ворота. Долгое время я не решался войти туда один и неохотно возвращался туда с тех пор, как однажды я насилу ушел от приставаний многочисленных лиц, неутомимо лезших с торговыми предложениями и требованиями. При этом в детском уме моем мрачно носились старые сказки о жестокости евреев по отношению к христианским детям, ужасные картины которой мы видели в хронике Готфрида. Хотя в новейшее время мнение о них изменилось к лучшему, однако большая издевательская и позорящая их картина, которая была еще видна под мостовою башнею на арке, оскорбительным образом резко свидетельствовала против них; притом она была не делом какой-нибудь частной воли, а была поставлена официальным учреждением.

Однако, евреи оставались все-таки избранным божьим народом, и, как бы то ни было, жили среди нас как воспоминание древнейших времен. Кроме того, они были тоже люди,—деятельные, услужливые, и нельзя было даже отказать в уважении тому упорству, с которым они держались своих обычаев. Притом девушки их были красивы и не противились, когда христианский юноша, встречаясь с ними в субботу на «Рыбацком поле», был к ним внимателен и ласков. Мне было чрезвычайно интересно узнать их обряды. Я не успокоился, пока несколько раз не посетил их синагогу, присутствовал при обрезании, при свадьбе и составил себе представление о празднике кущей. Везде меня радушно принимали, угощали и приглашали приходить еще, так как меня вводили к ним или рекомендовали влиятельные лица.

Таким образом я, как юный обитатель большого города, бросался туда и сюда, от одного предмета к другому, и посреди гражданского покоя и безопасности не было недостатка в самых ужасных явлениях. То наш домашний мир нарушался пожаром поблизости или по соседству, то город приходил на несколько недель в беспокойство, вследствие открытия крупного преступления, за которым наступали розыск и наказание. Нам приходилось быть свидетелями различных экзекуций, и здесь стоит упомянуть, что однажды я присутствовал и при

сожжении книги. Это было издание одного французского комического романа, который не касался политики, но нападал на религию и нравы. Было действительно нечто ужасное в этом зрелище казни безжизненного предмета. Связки книги трещали на огне и перемешивались вилами, чтобы пламя лучше пожирало их. Вскоре обгоревшие листы стали разлетаться вокруг, и толпа жадно их хватала. Мы также не успокоились, пока не поймали экземпляр, и таким образом многие доставили себе запрещенное удовольствие. Да, если автор был заинтересован в популяризации своего произведения, то он сам не мог бы лучше устроить это.

Но и более мирные побуждения приводили меня по временам в город. Отец мой рано приучил меня исполнять для него разные мелкие поручения В особенности часто он поручал мне торопить ремесленников, которые обыкновенно слишком долго задерживали исполнение его заказов, так как он желал, чтобы все было сработано особенно аккуратно, а уплачивая деньги, немедленно сбавлял цену. Вследствие этого я перебывал почти во всех мастерских, и так как мне прирождено было стремление входить в положение других людей, испытывать всевозможные условия человеческого существования и с удовольствием принимать участие в них, то я провел при исполнении таких поручений много приятных часов, изучил образ действий каждого ремесленика, познакомился с радостью и горем, тяжелыми и светлыми сторонами, составляющими необходимые условия того или другого образа жизни. Таким образом я сблизился с этим деятельным классом, стоящим между высшими и низшими сословиями, ибо если на одной стороне стоят люди, занимающиеся простым и грубым производством, а на другой те, которые желают пользоваться чем-либо уже обработанным, то ремесленник своим умом и руками посредствует между ними, давая им возможность получить нечто друг от друга, и каждый по-своему удовлетворяет своим желаниям. Семейная жизнь при каждом роде ремесла, получающего от него свой особый вид и окраску, также была предметом моего безмолвного наблюдения, и таким образом во мне укрепилось представление о равенстве если не всех людей, то всех человеческих состояний, при чем голый факт существования казался мне главным условием, а все прочее—безразличным и случайным.

Хотя мой отец не легко позволял себе расходы на какое-нибудь минутное удовольствие (например, я не помню, чтобы на общих прогулках или в каком-нибудь увеселительном месте мы чем-нибудь угощались), но, с другой стороны, он не скупился на приобретение таких вещей, которые имели внутреннюю ценность и хороший внешний вид. Никто не желал мира

более, чем он, хотя в последнее время он не испытывал от войны ни малейшего неудобства. Поэтому он обещал моей матери, как только будет объявлено о заключении мира, подарить ей золотую табакерку, украшенную брильянтами. В надежде на это счастливое событие в течение нескольких лет производилась работа над этим подарком. Сама табакерка, довольно большой величины, изготовлялась в Ганау, потому что с тамошними золотых дел мастерами, как и с шелководами, отец находился в хороших отношениях. Было сделано несколько рисунков к ней: крышка была украшена корзинкою с цветами, над которою парил голубь с оливковою ветвью; для брильянтов были оставлены места частью на голубе, частью на цветах, частью на том месте, где обыкновенно открывается табакерка. Имя ювелира, которому был поручен весь заказ вместе с драгоценными камнями, было Лаутензак. Это был ловкий и бодрый человек, который, как и многие талантливые художники, реже исполнял необходимое, чем что-нибудь произвольное, доставлявшее ему удовольствие. Брильянты в том распределении, в котором они должны были быть вставлены на крышке, были, правда, вскоре прикреплены черным воском, что было очень красиво; но ювелир все не снимал их, чтобы вделать в золото. Сначала отец мой оставлял это дело в таком положении; но когда надежды на мир стали все более оживляться, и, наконец, пошли уже определенные слухи об условиях мира, в особенности о возведении эрцгерцога Иосифа в сан римского короля, нетерпение моего отца стало все возрастать, и мне пришлось раза по два еженедельно, а под конец почти ежедневно посещать медлительного мастера. Благодаря моим неотступным приставаниям и уговорам работа подвигалась вперед, хоть и медленно; и так как она была такого рода, что ее приходилось то начинать, то опять откладывать в сторону, всегда находилось что-нибудь мешавшее ей и заставлявшее медлить с нею.

Главною причиною этого замедления была, однако, работа, которую мастер предпринял за свой собственный страх. Всем было известно, что император Франц питал большую склонность к драгоценным камням, особенно к цветным. Лаутензак затратил большую сумму (превосходившую, как впоследствии оказалось, все его состояние) на приобретение таких благородных камней и начал составлять из них цветочный букет, в котором каждый камень благоприятно выступал бы по своей форме и цвету и целое составило бы художественное произведение, достойное хранения в сокровищнице императора. По своей обычной рассеянности он несколько лет тянул эту работу, а теперь спешил закончить ее и составить букет, потому что в надежде на скорое заключение мира ожидали прибытия императора во

Франкфурт для коронования его сына. Ювелир искусно пользовался моею любовью к изучению таких предметов, чтобы отвлечь меня от моих напоминаний и намерений. Он старался познакомить меня с этими камнями, обращал мое внимание на их свойства и достоинства, так что я, в конце концов, знал наизусть весь букет и мог бы не хуже его самого продемонстрировать эту вещь покупателю. Я и теперь еще хорошо помню его и скажу, что видал более дорогие выставочные и роскошные вещи, но не видал более прелестной. Кроме того, у него было еще прекрасное собрание бронз и других художественных вещей, которыми он охотно занимался, и я проводил у него по нескольку часов не без пользы. Наконец, когда действительно был назначен окончательно конгресс в Губертсбурге, он из любви ко мне исполнил и все оставшееся, и голубь с цветами был вручен моей матери в самый день заключения мира [115]).

Много подобных поручений получал я также при исполнении картин, заказанных художникам. Отец мой твердо держался мнения, мало кем не разделявшегося, что картина, написанная на дереве, имеет большое преимущество перед картинами, написанными на холсте. Поэтому он очень заботился о приобретении хороших дубовых досок различной формы, хорошо зная, что легкомысленные художники слишком полагались в этом отношении на столяров. Он разыскивал самые старые, толстые доски; столяр должен был аккуратнейшим образом склеивать, обстругивать и отделывать их; после этого они годами хранились в верхней комнате, чтобы хорошенько высохнуть. Одна такая драгоценная доска была вверена живописцу Юнкеру, который должен был изобразить на ней со свойственным ему искусством и вкусом красивый цветочный горшок с лучшими цветами, нарисованными с натуры. Дело было весною, и я не упускал случая по нескольку раз в неделю приносить ему красивейшие цветы, какие только мог достать; он тотчас же присоединял их к прежним и мало-по-малу точнейшим и тщательнейшим образом составлял целое из этих элементов. Случайно я как-то поймал мышь, которую и принес ему; художнику захотелось изобразить хорошенькое животное, и он действительно очень точно нарисовал ее гложущею колос у основания горшка. Затем было принесено и нарисовано еще несколько подобных невинных предметов природы, — бабочек и жуков,—и в конце концов составилась очень ценная по воспроизведению и исполнению картина. Поэтому я немало удивился, когда добряк однажды, незадолго перед тем, как картина должна была быть сдана, подробно объяснил мне, что она ему не нравится; что в отдельности все вышло хорошо, но целое плохо скомпановано, потому что оно возникло понемножку и

он с самого начала сделал ту ошибку, что не набросал по крайней мере общего плана для распределения света, теней и красок, по которому и можно было бы распределить отдельные цветы. Он обстоятельно разобрал всю картину, возникавшую перед моими глазами в течение полугода и в некоторых своих частях нравившуюся мне и, к великому моему огорчению, вполне убедил меня. Изображение мыши он также считал за неудачную мысль, потому что—говорил он—многие находят что то страшное в этом животном и не следует его изображать там, где имеется в виду возбудить удовольствие. И вот, как обыкновенно бывает, когда люди находят, что они излечились от предрассудка и считают себя очень поумневшими, я преисполнился презрения к этому художественному произведению и совершенно согласился с художником, когда он велел приготовить другую доску той же величины и по своему вкусу нарисовал на ней сосуд лучшей формы с более искусно изображенным букетом, а также сумел изящно и удачно выбрать и распределить вокруг маленькие живые существа. Эту картину он написал также с большим старанием, но, конечно, по той, которая была написана раньше, или по памяти, которая ему, при его долгой и прилежной практике очень помогала. Наконец, обе картины были готовы, и мы отдавали решительное предпочтение второй, которая была действительно более искусна и более бросалась в глаза. Отец, к удивлению своему, получил две картины вместо одной, и ему предоставлен был выбор. Он одобрил наше мнение и его основание, а в особенности добросовестность и труд, но, посмотрев на обе картины в течение нескольких дней, решил выбрать первую, не вдаваясь в объяснения своего выбора. Художник с досадою взял свою вторую, предпочтенную им самим картину обратно и не мог удержаться, чтобы не выразить мне своего мнения, что на решение отца наверное оказала влияние хорошая дубовая доска, на которой была нарисована первая картина.

Так как я здесь снова касаюсь живописи, то в памяти моей восстает одно крупное учреждение, в котором я провел много времени, так как оно, а в особенности заведующее им лицо очень привлекало меня. Это была большая фабрика клеенок, основанная живописцем Нотнагелем, искусным художником, который, однако, по своему таланту и образу мыслей был склонен более к фабричному делу, чем к искусству. На большом пространстве, занятом дворами и садами, выделывались все сорта клеенок, от самых грубых, наносимых лопатками и употребляемых для обозных повозок и т. п., до обоев, которые печатались особыми формами, и далее до самых тончайших, на на которых были изображены то китайские и фантастические,

то натуральные цветы или ландшафты, рисованные кистью искусных работников. Это бесконечное разнообразие очень занимало меня. Занятия такого множества людей, начиная от самых простых рабочих до таких, которым нельзя было отказать в художественном достоинстве, были для меня в высшей степени привлекательны. Я перезнакомился со множеством работающих в ряде комнат молодых и старых людей, а иногда и собственноручно принимал участие в работе. Торговля этими товарами шла чрезвычайно бойко. Кто строил дом или меблировал здание, желал быть обеспеченным на всю жизнь, а эти клеенчетые обои были прямо неизносимы. У Нотнагеля было много дела с руководительством всей этой фабрикацией, и он сидел в своей конторе, окруженный факторами и приказчиками. В свободное время он занимался своею художественною коллекцией, состоявшей преимущественно из гравюр, которыми он тогда тоже торговал, равно как и имевшимися у него картинами. В то же время он сам любил гравирование, приготовлял офорты и до глубокой старости занимался этой отраслью искусства.

Так как его квартира находилась близь Эшенгеймских ворот, то при моих посещениях его мне приходилось выходить за город к участкам земли, принадлежавшим моему отцу у городских ворот. Это был большой сад, которым пользовались, как лугом, и в котором отец мой устроил древесный питомник, хотя участок был отдан в аренду. Еще более заботился он об очень хорошо содержимом винограднике перед Фридбергскими воротами, где между рядами виноградных кустов были тщательно рассажены ряды спаржи. В хорошее время года не проходило почти ни одного дня, чтобы отец мой не ходил туда; мы сопровождали его и таким образом получали наслаждение и радость, начиная от первых произведений весны и до последних даров осени. Мы научились тогда обращаться с садовыми работами, и так как эти работы ежегодно повторялись, то они стали, наконец, нам хорошо знакомы и привычны. После разнообразных плодов лета и осени, сбор винограда, в конце концов, был наиболее весел и приятен. Без сомнения, как сам виноград придает более свободный характер местам и странам, где он растет, так и дни сбора винограда, заканчивая лето и открывая зимнюю пору, распространяют необыкновенную веселость. Веселье и ликование охватывают всю страну. Днем из всех углов и концов слышатся возгласы и выстрелы, а ночью здесь и там ракеты и римские свечи дают знать, что люди еще не спят, веселятся и хотят продлить этот праздник, как можно дольше. Дальнейшие работы с прессом и брожение в погребе доставляли нам и дома веселое занятие, и таким образом мы не замечали, как проходила зима[116]).

Весною 1763 года мы тем более наслаждались этими сельскими занятиями, что 15 февраля этого года было для нас праздничным днем вследствие заключения Губертсбурского мира, при счастливых последствиях которого протекла большая часть моей жизни. Но раньше чем итти далее, я считаю своим долгом упомянуть еще о нескольких людях, имевших большое влияние на меня в моей юности.

Фон Оленшлагер [117]), член дома Фрауенштейнов, старшина и тесть вышеупомянутого доктора Орта, был красивый, приятный мужчина сангвинического нрава. В своем праздничном наряде бургомистра он мог бы сойти за самого почтенного французского прелата. Окончив университет, он вращался в придворных и государственных делах и совершил несколько путешествий с этой целью. Он особенно ценил меня и часто говорил со мною о вещах, которые его интересовали. Я был около него, когда он писал свое «Объяснение Золотой Буллы»; он-то и объяснил мне с большою отчетливостью значение и достоинство этого документа. Мое воображение тем сильнее унесло меня в те дикие и беспокойные времена, что я не мог не изобразить того, что он мне рассказывал из истории, в виде чего-то, как бы совершающегося теперь, живописуя характеры и события, иногда даже мимически, чему он очень радовался и одобрением своим поощрял меня к повторению.

С детства я имел странную привычку постоянно заучивать наизусть начала книг и отделов разных сочинений—сперва пяти книг Моисея, затем Энеиды и Метаморфоз. Так поступил я и с Золотою Буллой и часто смешил своего покровителя, совершенно серьезно и неожиданно восклицая: «Omne regnum in se devisum desolabitur: nam pinceres ejus facti sunt socii forum» [118]). Умный учитель мой смеясь покачивал головою и говорил серьезно: «Какие это должны быть времена, если сам император на большом имперском собрании бросал в лицо своим князьям подобные слова».

Фон Оленшлагер был очень приятен в обращении. У него бывало мало гостей, но он очень любил умную беседу и от времени побуждал нас, молодых людей, разыгрывать драматические представления, ибо считалось, что такого рода упражнения особенно полезны для молодежи. Мы играли «Канута» Шлегеля [119]), при чем мне досталась роль короля, моей сестре — роль Эльфриды, а роль Ульфо — младшему сыну хозяина дома. Затем мы отважились разыграть «Британника», так как, кроме драматического таланта, нам надо было упражняться и в декламации. Я получил роль Нерона, моя сестра — Агриппины, а младший сын — Британника. Нас хвалили более, чем мы заслуживали, а мы думали, что заслуживали еще больших похвал.

Таким образом, я обязан этому семейству многими удовольствиями и ускорением моего развития.

Упомяну еще фон Рейнека [120]), происходившего из старинного благородного дома. Это был дельный, честный, но упрямый брюнет, на лице которого я редко видел улыбку. У него было семейное горе: один из друзей дома увез его единственную дочь. Он возбудил против своего зятя жестокое судебное преследование, и так как суды, по своей формалистике, не удовлетворяли его мстительности ни в смысле быстроты, ни в смысле строгости, то он нападал на судей и начинал ссоры за ссорами, процессы за процессами. Он совершенно уединился в своем доме и в прилегавшем к нему саду и жил в просторной, но мрачной комнате, в которую много лет не проникала ни кисть маляра, ни метла служанки. Меня он очень любил и особенно рекомендовал мне своего младшего сына. Он часто принимал за своим столом своих старых друзей, умевших с ним ладить, а также лиц, управлявших его делами, и никогда не забывал при этом пригласить также меня. Стол у него был очень хороший, а вино еще лучше, но гостям очень досаждала большая печь, дымившая из многочисленных щелей. Один из наиболее близких к хозяину гостей отважился однажды обратить внимание на это, спросив его, как он может выносить такое неудобство всю зиму. Хозяин отвечал на это, как второй Тимон или Геаутонтиморуменос [121]): «Дал бы бог, чтобы это было наибольшее зло из тех, что меня терзают». Лишь через долгое время он согласился снова допустить к себе на глаза дочь и внука, зять же никогда не смел показаться ему.

На этого прекрасного, хотя и несчастного человека мое присутствие действовало весьма благоприятно; он охотно говорил со мною и, объясняя мне разные житейские и политические события, как бы облегчал и отводил свою душу. Немногие старые друзья, еще собиравшиеся у него, часто обращались ко мне, когда надо было смягчить его раздражение и уговорить его принять участие в каком-либо развлечении. И действительно он иногда выезжал вместе с нами и осматривал местность, которой он не видал многие годы. Он вспоминал прежних владельцев, рассказывал об их характерах и обстоятельствах, при чем судил всегда строго, но часто бывал весел и остроумен. Мы пытались после этого снова ввести его в общество других людей, но это чуть не ввело нас в неприятности.

Тех же лет, как и он, если не старше, был некто фон Малапарт [122]), богатый человек, имевший дом на Конном рынке и получавший большие доходы от солеварен. Он также жил очень уединенно, но летом проводил много времени в своем саду у Бокенгеймерских ворот, где у него была прекрасная культура

гвоздик. Фон Рейнек был также любитель гвоздик; во время цветения их мы сделали несколько попыток устроить взаимное посещение обоих этих людей. Мы приступили к этой задаче и продолжали наши старания до тех пор, пока Рейнек не решился выехать туда в один воскресный вечер. Взаимные приветствия обоих стариков были весьма лаконичны и даже ограничились почти пантомимою; почти дипломатическим шагом они прохаживались вдоль гвоздичных клумб. Культура была действительно необыкновенно хороша; особые формы и краски отдельных цветов, преимущества и редкость тех или других из них повели, наконец, к своего рода разговору, который протекал, казалось, вполне дружественно; мы тем более радовались этому, что видели в соседней беседке поданные на стол самый дорогой рейнвейн в шлифованных бутылках, прекрасные фрукты и другие хорошие вещи. Вдруг, к несчастью, Рейнек заметил красивую гвоздику, головка которой несколько повисла; поэтому он очень нежно провел указательным и средним пальцем по стеблю, вверх до цветка и приподнял цветок, чтобы хорошенько рассмотреть его. Но и это нежное прикосновение раздражило хозяина. Малапарт вежливо, но довольно сухо напомнил о правиле «Oculis non manibus» [123]). Рейнек сейчас же выпустил цветок, но вспылил и сказал со своею обычною сухостью и серьезностью, что знатоку и любителю, конечно, позволительно подобным образом прикасаться к цветку и рассматривать его; затем он повторил то же движение и еще раз взял цветок двумя пальцами. Гости с обеих сторон (у Малапарта был еще один гость) были в большом смущении. Они начали выпускать то того, то другого зайчика (наша обычная поговорка для тех случаев, когда нужно замять разговор или обратить его на другой предмет),— но ничто не удавалось; старики замолчали, и мы ежеминутно боялись, что Рейнек еще раз повторит свой прием,— тогда всем нам пришлось бы плохо. Гости, однако, развели их, заняв их в разных местах, и мы нашли, что умнее всего будет поскорее убраться; таким образом прекрасное угощение осталось нетронутым у нас за спиною.

Придворный советник Гюсген [124]), который не был уроженцем Франкфурта, исповедывал реформатскую религию и потому не мог занимать никакой официальной должности. Он не имел даже права быть адвокатом, но совершенно свободно занимался адвакатурою под чужим именем, пользуясь, как превосходный юрист, большим доверием во Франкфурте и в имперских судах. Ему было уже шестьдесят лет, когда я начал брать уроки чистописания с его сыном и стал вхож в его дом. Он имел крупную фигуру, был высок, но не худощав, и широкоплеч, но не толст. Лицо его, не только обезображенное оспою, но и

лишенное одного глаза, с первого взгляда неприятно поражало. На плешивой голове он носил совершенно белую шапочку в форме колокола, сверху завязанную ленточкою. Его шлафроки из коломянки или дамаста всегда были безукоризненно чисты. Он жил в ряде светлых комнат в нижнем этаже вдоль аллеи, и веселость этого помещения соответствовала окружавшей его чистоте. Величайший порядок, в котором он держал свои бумаги, книги, ландкарты, производил приятное впечатление. Его сын, Генрих Себастиан, который впоследствии приобрел известность разными сочинениями по части искусств, мало обещал в молодости. Добродушный, но неловкий, не грубый, но грубоватый, без особенной склонности к учению, он предпочитал избегать общества отца, имея возможность получать от матери все, что ему было нужно. Я, напротив, все более сближался со стариком по мере того, как узнавал его. Так как он занимался лишь крупными юридическими делами, то имел достаточно времени для других занятий и развлечений. Мне не нужно было долго с ним жить и слушать его поучения, чтобы заметить, что он находится в оппозиции с богом и миром. Одною из его любимых книг была «Agrippa de vanitate scientiarum» [125]), он особенно рекомендовал ее мне и тем на некоторое время привел мой молодой мозг в изрядное смятение. В радостном настроении юности я был склонен к известному оптимизму и более или менее вновь примирился с богом или богами; именно в течение нескольких лет я убедился, что зло в мире многим уравновешивается, что от несчастий можно оправиться, а от опасностей можно спастись и что люди не всегда в них ломают себе шею. Я смотрел снисходительно также на дела и занятия людей и находил в них много похвального, чем старый учитель мой был вовсе недоволен. Однажды, когда он достаточно расписал мне мир в безобразном виде, я заметил, что он собирается закончить свою речь особым козырем. Как он обыкновенно делал в подобных случаях, он сильно зажмурил свой слепой левый глаз, пристально посмотрел на меня другим глазом и промолвил гнусавым голосом: «Я нахожу недостатки в самом боге».

Мой ментор-мизантроп был также математиком, но его практическая натура увлекла его в сторону механики, хотя сам он не работал. По его указаниям были, впрочем, изготовлены удивительные для того времени часы, которые кроме часов и дней указывали также движение солнца и луны. Утром в воскресенье, в десять часов, он заводил их сам, тем аккуратнее, что он никогда не ходил в церковь. Гостей или общества я никогда у него не видел. Чтобы он одевался или выходил из дома, это я в течение десятка лет видел раза два.

Разговоры с этими людьми были не лишены значения; каждый из них влиял на меня по-своему. К каждому из них я относился не только не менее, но, пожалуй, более внимательно, чем их собственные дети, и каждый из них старался еще увеличить свое благорасположение ко мне, как к собственному сыну, желая создать в моем лице свой собственный нравственный образ. Оленшлагер хотел сделать меня придворным, Рейнек — деловым дипломатом. Оба, в особенности последний, старались внушить мне отвращение к поэзии и писательству. Гуйсген хотел сделать из меня Тимона, подобного ему, но в то же время дельного ученого юриста: он говорил, что юриспруденция необходимое ремесло, чтобы хорошо защищать себя и свое против человеческой сволочи, помогать угнетенным и всегда быть в состоянии задать трепку мошеннику; последнее, впрочем, по его мнению было не всегда выполнимо и не всегда рекомендовалось.

Если я охотно водил знакомство с этими людьми, чтобы пользоваться их советами и указаниями, то более молодые люди, лишь немного превосходившие меня годами, возбуждали меня к непосредственному соревнованию. Из них я прежде всего назову братьев Шлоссеров и Гризбаха [126]). Так как я, однако, впоследствии вступил с ними в более тесную дружбу, продолжавшуюся многие годы, то здесь я скажу только, что они тогда славились превосходным знанием языков и другими сведениями, полезными для начала ученой карьеры, и что каждый ожидал от них чего-нибудь необыкновенного для государства или церкви.

Что касается меня самого, то я также мечтал совершить что-то необыкновенное, но в чем оно будет состоять — было мне неясно. Но как вообще более думают о награде, которую желали бы получить, чем о заслугах, необходимых для этой награды, то я не отрицаю, что, мечтая о желанном счастьи, я всего привлекательнее представлял его себе в виде лаврового венка, сплетаемого, чтобы украсить чело поэта.

КНИГА ПЯТАЯ [127])

На всякую птицу есть своя приманка, и каждый человек по-своему может быть руководим и увлекаем. Природа, воспитание, окружающая среда, привычки ограждали меня от всего грубого, и хотя я часто приходил в соприкосновение с низшими классами народа, особенно с ремесленниками, но особенно не сближался с ними. Во мне, правда, было довольно смелости, чтобы предпринять что-нибудь необыкновенное, пожалуй, даже опасное, и иногда мне даже хотелось этого, но у меня не было точки приложения, чтобы схватиться за препятствие и овладеть им.

И все-таки я совершенно неожиданным образом запутался в некоторые отношения, которые если не поставили меня в очень опасное положение, то привели на некоторое время в смятение и затруднение. В юношеском возрасте я продолжал свои дружеские отношения с тем мальчиком, которого выше называл Пиладом. Правда, мы виделись реже, потому что наши родители находились не в особенно хороших отношениях между собою, но когда мы встречались, то каждый раз старая дружба радостно вспыхивала между нами. Однажды мы встретились в аллеях между внутренними и внешними Санкт-Галленскими воротами, представляющими очень приятное место для прогулок. Едва мы поздоровались, он сказал мне: — С твоими стихами продолжается все та же история. Я читал некоторым приятелям те стихи, что ты недавно дал мне, но никто не верит, что ты сочинил их сам.

— Ну, и пусть их,—отвечал я,—мы будем сочинять их и забавляться ими, а другие пусть думают и говорят о них, что хотят.

— Вот как раз идет неверующий, — сказал мой приятель.

— Не будем об этом говорить,—сказал я,—людей, ведь, не уверишь.

— Ни за что,—отвечал мой друг,—я этого так не оставлю.

После короткого разговора о посторонних предметах мой чрезвычайно расположенный ко мне юный друг не захотел

отказаться от своего намерения и несколько обиженным тоном сказал подошедшему: — Вот мой друг, написавший те прекрасные стихи, о которых вы не верите, что они принадлежат ему.

— Пусть он не обижается,—отвечал тот,—ведь к чести ему служит, если мы находим, что для сочинения таких стихов нужно гораздо более учености, чем он может иметь в такие молодые годы.

Я ответил какой то-безразличной фразой, но приятель мой продолжал: — Вам нетрудно будет убедиться. Дайте ему какую-нибудь тему, и он экспромтом напишет вам стихотворение.

Я согласился, мы условились, и подошедший спросил меня, возьмусь ли я изложить в стихах любовное послание, которое стыдливая молодая девушка пишет юноше, чтобы открыть ему свою любовь.

— Нет ничего легче,—возразил я,—были бы только письменные принадлежности».

Тот вынул свой карманный календарь, в котором было много белых листков, и я уселся на скамью, чтобы писать. Собеседники мои между тем прогуливались поблизости, не выпуская меня из глаз. Я тотчас же представил себе положение и подумал, как было бы хорошо, если бы действительно какая-нибудь хорошенькая девушка почувствовала склонность ко мне и пожелала бы выразить мне это в прозе или в стихах. Затем, не останавливаясь, я начал объяснение в любви размером, который представлял нечто среднее между неправильными народными стихами и мадригалом [128]), стараясь придать ему возможную наивность. Когда я прочел эти стишки моим собеседникам, то скептик пришел в изумление, а мой друг—в восторг. Первому я должен был отдать это стихотворение и не мог отказать в этом, тем более, что оно было написано в его календаре, и мне приятно было видеть в его руках доказательство моего таланта. Он простился со мною, неоднократно уверив меня в своем удивлении и расположении, а также в желании видеться со мною почаще; мы сговорились съездить вместе за город.

Наша прогулка осуществилась, при чем к нам присоединились еще несколько подобных нам молодых людей. Все это были юноши среднего или, если угодно, даже низшего сословия, но люди неглупые и прошедшие курс школы, следовательно имевшие некоторые сведения и известное образование. В большом, богатом городе бывают разные заработки. Молодые люди эти пробивались тем, что писали для адвокатов или давали домашние уроки детям низших классов, сообщая им несколько больше знаний, чем это делается в обычных школах. С подростками, готовившимися к конфирмации, они репетировали закон божий. Они имели также разные дела с маклерами и купцами, а по

вечерам, особенно в воскресные и праздничные дни, устраивали скромные пирушки.

Расхваливая по дороге мое любовное послание, они признались, что сделали из него веселое употребление: списав его измененным почерком и с кое-какими частными вставками, они подсунули его одному высокомнящему о себе молодому человеку, убежденному, что одна девица, за которою он издали ухаживал, до крайности влюблена в него и ищет случая познакомиться с ним поближе. При этом они сообщили мне, что он ничего так не желал бы, как ответить ей тоже в стихах, но ни у него, ни у них нет никакой способности к этому, а потому они настоятельно просили меня составить желаемый ответ.

Мистификации всегда были и будут любимым развлечением праздных или не очень умных людей. Некоторые невинные злостности, самодовольное злорадство—составляют наслаждение для тех, которые не занимаются ни самим собою, ни бывают в состоянии произвести что-либо полезное. Ни один возраст не свободен от подобного зуда. Мы в наши детские годы не раз подводили друг друга; многие игры основываются на таких мистификациях и поддеваниях; предлагаемая шутка, как мне казалось, не шла далее чего-либо подобного. Я согласился; они сообщили мне кое-какие частности, которые должны были содержаться в письме, и мы принесли его домой уже готовым.

Через некоторое время друг мой настоятельно просил меня принять участие в вечерней пирушке их общества. Ее на этот раз устраивал вышеназванный влюбленный юноша, который желал отблагодарить друга, оказавшегося таким отличным любовным секретарем.

Мы собрались довольно поздно; угощение было самое простое, вино сносное; что же касается разговора, то он вертелся почти исключительно на подтрунивании над устроителем обеда, не очень далеким человеком, который после повторного прочтения письма чуть ли не был готов поверить, что он сам его написал.

По своему природному добродушию я не находил особенного удовольствия в такой злостной игре, а повторение все одной и той же темы вскоре стало мне противно. Поистине вечер этот был бы мне пренеприятен, если бы одно неожиданное явление вновь не оживило меня. При нашем прибытии стол был уже чисто и аккуратно накрыт и поставлено достаточно вина; мы уселись и остались одни, не нуждаясь в прислуге. Но когда в конце концов не хватило вина, один из нас позвал служанку; но вместо нее вошла девушка необыкновенной, а для этой среды даже невероятной красоты [129]).

— У нас нет вина,—сказал один из нас.—Если бы ты принесла парочку бутылок, было бы очень хорошо.

— Пожалуйста, Гретхен, — сказал другой, — тут всего ведь два шага.

— Отчего же нет, — сказала она, взяла со стола две пустых бутылки и поспешно вышла. Ее фигура сзади была чуть ли еще не грациознее. Чепчик очень мило сидел на маленькой головке, которая стройною шейкою прелестно соединялась с верхней частью спины и плечиками. Все в ней казалось изысканным, и всею фигуркою можно было любоваться тем спокойнее, что внимание не привлекалось и не приковывалось только тихими, простодушными глазами и миловидным ротиком.

Я упрекнул приятелей, что они посылают такую молоденькую девушку одну ночью; они посмеялись надо мною, и я вскоре утешился, так как она сейчас же воротилась: хозяин кабачка жил через улицу, напротив.

— Присядь за это также к нам, — сказал один из нас.

Она села, но, к сожалению, не около меня. Она выпила стакан за наше здоровье и вскоре ушла, посоветовав нам не оставаться слишком долго и вообще не так шуметь, потому что мать ложится уже в постель. Это была не ее мать, а мать хозяев дома.

С того момента образ этой девушки повсюду преследовал меня; это было первое немимолетное впечатление, произведенное на меня женским существом, и так как я не мог найти предлога посетить ее на дому и не искал его, то я стал ходить ради нее в церковь и вскоре высмотрел, где она сидела; таким образом я мог досыта насмотреться на нее во время долгой протестантской службы. При выходе я не решался заговорить с нею, а еще менее проводить ее, и был уже счастлив, если мне казалось, что она заметила меня и кивнула на мой поклон. Но мне суждено было недолго ждать счастья сблизиться с нею. Того влюбленного, поэтическим секретарем которого я сделался, уверили, что письмо, написанное от его имени, действительно передано его девице, и потому он с величайшим нетерпением ждал скорого ответа. Этот ответ опять-таки должен был написать я, и плутовская компания настоятельно просила меня через Пилада пустить в ход все мое остроумие и искусство, чтобы стихотворение вышло поизящнее и как можно лучше.

В надежде снова увидеть свою красавицу я тотчас принялся за дело, представляя себе все, что было бы мне приятно, если бы ко мне писала Гретхен. Мне казалось, как-будто я написал все так согласно с ее образом, существом, характером, нравом, что я не мог удержаться от желания, чтобы все это действительно так и было; я приходил в восторг от одной только мысли, что она могла бы написать мне что-либо подобное. Так я мистифицировал самого себя, воображая что подшучиваю над другим

и мне суждено было много радости и много неприятностей. После вторичного напоминания я исполнил желаемое, обещал притти и явился в назначенный час. Из молодых людей только один был дома; Гретхен сидела у окна и пряла; мать то приходила, то уходила. Молодой человек попросил, чтобы я прочел ему письмо; я исполнил это и читал не без растроганности, искоса поглядывая из-за листа на красавицу, и так как мне казалось, что я замечаю в ней некоторое волнение и легкий румянец на ее щеках, то постарался как можно лучше и живее выразить то, что я желал бы услышать от нее. Мой приятель, который часто прерывал меня похвалами, в конце концов попросил меня сделать некоторые изменения. Изменения эти касались нескольких мест, которые действительно более подходили к положению Гретхен, чем той девицы—барышни из хорошего дома, богатого, известного и уважаемого в городе. Объяснив мне желаемое изменение и дав мне письменные принадлежности, молодой человек отлучился по делу на короткое время, а я остался на скамье за большим столом и попробовал сделать исправления грифелем на большой аспидной доске, занимавшей почти весь стол. Грифель всегда лежал на окне, потому что на этой доске часто производились расчеты, делались разные заметки; приходящие и уходящие писали друг другу записки.

Некоторое время я писал разные вещи, стирал и наконец нетерпеливо воскликнул: — Ничего не выходит. — Тем лучше,— сказала милая девушка серьезным тоном: — я желала бы, чтобы ничего не вышло. Вам не следовало бы заниматься такими дрязгами.

Она встала из-за прялки, подошла к столу и прочла мне умно и ласково выговор.

— Дело это кажется невинною шуткою; это шутка, но не невинная. Я видела уже много случаев, когда наши молодые люди из-за таких проделок попадали в большие затруднения.

— Но что же мне делать,—возразил я,—письмо написано, и они уверены, что я его изменю.

— Положитесь на меня,—сказала она,—и не изменяйте ничего; возьмите письмо обратно, спрячьте его, уйдите и попытайтесь уладить дело через вашего друга. Я тоже могу кое-что сказать вам по этому поводу. Вы видите, что я бедная девушка и завишу от этих родственников, которые, правда, не делают ничего дурного, но ради своего удовольствия и прибыли проделывают разные рискованные штуки. Я воспротивилась им и не переписала первого письма, как они меня ни упрашивали; они сами скопировали его, изменив почерк, и, раз это сделано, пусть поступают с ним как хотят. А вы, молодой человек, из хорошего дома, богатый, независимый, зачем вы позволяете пользоваться вами

как орудием в деле, из которого наверное не может выйти ничего хорошего, а может быть много неприятного для вас.

Я был рад слышать, что она говорила так последовательнно; вообще она обыкновенно вставляла в разговор только немного слов. Моя склонность к ней возросла невероятно; я не мог владеть собою и возразил: — Я не так независим, как вы думаете, и к чему мне быть богатым, если я не имею самого дорогого, чего я мог бы пожелать.

Она взяла набросок поэтического послания, положила его перед собою и прочла его вполголоса мило и грациозно.

— Очень хорошо, — сказала она, остановившись на одном наивном месте:—жаль только, что это не предназначено для лучшего, настоящего употребления.

— Это было бы очень желательно,—воскликнул я.—Как счастлив был бы тот, кто получил бы подобное уверение в любви от девушки, которую он бесконечно любит.

— Для этого, конечно, нужно многое,—возразила она,—но, ведь, многое и возможно.

— Например,—продолжал я,—если бы кто-нибудь, кто вас знает, ценит, чтит, обожает, положил бы перед вами такой листок и настоятельно, сердечно, дружески просил бы вас,—что бы вы сделали.

Я пододвинул ближе к ней листок, который она было придвинула ко мне. Она улыбнулась, подумала с минуту, взяла перо и подписалась. Я обезумел от восторга, вскочил и хотел обнять ее.

— Не надо целовать,—сказала она,—это так пошло; но любить, если возможно.

Я взял листок и спрятал его.

— Никто его не получит,—сказал я,—и дело покончено. Вы спасли меня.

— Так довершите же свое спасение,—воскликнула она;—уходите поскорее, пока не пришли другие и не привели вас в затруднение и смущение.

Я не мог оторваться от нее, но она так ласково упрашивала меня, взяв обеими руками мою правую руку и любовно пожимая ее, что у меня чуть не выступили слезы; мне казалось, что и ее глаза влажны; я прижал свое лицо к ее рукам и выбежал вон. В жизни моей я не испытывал подобного волнения.

Первая любовь неиспорченной юности принимает всегда духовный смысл. Природа как-будто хочет, чтобы один пол чувственно познал в другом доброе и прекрасное. Таким образом, и для меня при виде этой девушки и вследствие любви моей к ней открылся новый мир прекрасного и хорошего. Я сто раз перечитал свое поэтическое послание, целовал его, прижимал

его к сердцу и радовался этому милому признанию. Но чем более возрастал мой восторг, тем больнее мне было, что я не мог непосредственно посещать ее, видеть ее, говорить с ней; я боялся упреков ее родственников и их навязчивости. Добряка Пилада, который мог бы уладить это дело, я не мог встретить.

Поэтому в ближайшее воскресенье я отправился в Нидеррад, куда обыкновенно ходила это компания, и действительно нашел их там. Я был очень удивлен, когда они не только не встретили меня с раздражением и не отвернулись, а даже приняли меня с радостью. В особенности младший из них был очень приветлив; он взял меня за руку и сказал:

— Вы сыграли с нами недавно плутовскую штуку, и мы были изрядно сердиты на вас; но ваш уход, при чем вы унесли поэтическое послание, навел нас на хорошую мысль, которая, пожалуй, иначе никогда не пришла бы нам в голову. Для примирения вы можете сегодня угостить нас, и тогда вы узнаете, что мы предполагаем сделать и что наверное доставит удовольствие и вам.

Эта речь привела меня в немалое смущение, потому что у меня было с собою приблизительно лишь столько денег, чтобы расплатиться за самого себя и за одного из приятелей; но я вовсе не готовился угощать целое общество, да еще такое, которое не всегда умело во-время удержаться в известных границах. Это предложение тем более удивило меня, что до сих пор они честно держались правила, чтобы каждый платил за себя.

Они посмеялись над моим смущением, и младший продолжал:
— Сядем только в беседку, и тогда вы узнаете подробности.

Мы уселись, и он сказал: — Когда вы недавно унесли любовное послание, мы еще раз обсудили все дело и заметили, что мы совершенно напрасно, к досаде для других и с опасностью для себя, злоупотребляем талантом, которым могли бы воспользоваться для своей выгоды. Вот посмотрите: у меня есть заказ на свадебное и похоронное стихотворение. Второе должно быть готово немедленно, а на первое есть еще восемь дней времени. Если вы напишете их,—что для вас легко,—то вы можете угостить нас два раза, и мы надолго останемся вашими должниками.

Это предложение понравилось мне во всех отношениях; уже с детства я смотрел с некоторою завистью на стихотворения «на случай», каких тогда появлялось по нескольку каждую неделю, а при особо видных свадьбах даже дюжинами; я полагал, что мог бы сочинять подобные вещи не хуже или, пожалуй, еще и лучше. Теперь мне представлялся случай показать себя, а в особенности напечатать свои сочинения. Я не отказался. Меня познакомили с характером данных лиц и с семейными обстоятельствами; я отошел в сторону, сделал набросок и написал несколько

строф. Но так как я вскоре вернулся к компании и не стеснялся пить вино, то стихотворение застряло, и я не мог сдать его в этот вечер.

Мне сказали, что есть еще время до завтрашнего вечера и что гонорара, который мы получим за похоронное стихотворение, будет достаточно, чтобы повеселиться еще один вечер. — Приходите. Гретхен тоже должна угощаться с нами, потому что она-то и навела нас на эту мысль.

Радость моя была невыразима. На обратном пути я сложил в уме недостающие строфы, записал все еще до отхода ко сну и на следующее утро аккуратно переписал их начисто. День показался мне бесконечно длинным, и едва стемнело, я уже был в маленькой, темной квартире подле милейшей девушки.

Молодые люди, с которыми я таким образом все более сближался, были не то чтобы пошляками, но, во всяком случае, обыкновенными людьми. Их трудолюбие было достойно похвалы, и я с удовольствием прислушивался, как они рассказывали о разных средствах и путях, которыми можно что-нибудь заработать. Охотнее всего рассказывали они о людях, которые теперь богаты, но начали с ничего. Некоторые сделались необходимыми в качестве приказчиков у своих хозяев и, наконец, возвысились до положения их зятьев; другие, начав с мелочной торговли серными нитками, так расширили и усовершенствовали свое дело, что теперь являлись богатыми купцами и негоциантами. В особенности, по их мнению, надежно и доходно для проворных молодых людей занятие в качестве посыльных и маклеров и хлопоты по разным деловым поручениям состоятельных, но непрактичных людей. Все мы охотно слушали эти рассказы, и каждый мотал их себе на ус, считая, что и он не хуже людей и может не только пробить себе дорогу, но, пожалуй, достигнуть и какой-нибудь чрезвычайной удачи. Никто, однако, не относился к этим разговорам серьезнее, чем Пилад, который в конце концов признался, что он чрезвычайно влюблен в одну девушку и уже обручился с нею. Состояние его родителей не позволяло ему поступить в университет, но у него был очень хороший почерк, он хорошо знал счетную часть и новые языки и желал попытать разные возможности в надежде устроить свое семейное счастье. Родственники хвалили его за это, хотя и не одобряли его поспешного обручения с девушкою, прибавляя при этом, что считают его за славного и доброго юношу, но не находят его достаточно деятельным и предприимчивым, чтобы совершить что-нибудь чрезвычайное. Когда же он, для оправдания своих поступков, стал подробно рассказывать, что́ он надеется сделать и с чего собирается начать, то и другие

пришли в возбуждение и стали говорить, что́ они могут сделать и делают уже теперь, чем занимаются, насколько они уже преуспели и что́ видят для себя впереди. Дело дошло и до меня, и я должен был описать им свой образ жизни и виды на будущее. В то время, как я обдумывал свой ответ, Пилад сказал: — Я прошу исключить только одно, дабы мы не остались слишком позади него: пусть он не принимает в расчет своих внешних преимуществ. Пусть он лучше расскажет нам сказку, как поступил бы он, если бы в данный момент был как мы, предоставлен самому себе.

Гретхен, которая до сих пор пряла, встала и подсела к нам, как она обыкновенно делала, у конца стола. Мы опорожнили уже несколько бутылок, и я весело начал рассказывать свою гипотетическую биографию. — Прежде всего,—сказал я,—я предлагаю вам свои услуги, чтобы вы и впредь доставляли мне те заказы, начало которым вы уже положили. Если вы направите ко мне доход со всех стихотворений «на случай» и мы не будем прокучивать все заработанное, то это уже составит кое-что. Но вместе с тем прошу не прогневаться, если я буду вмешиваться и в ваше ремесло. — Затем я указал, что я отметил для себя из их рода занятий и к чему я считал себя также способным. Каждый из них ценил свою работу на деньги, и я просил их содействовать также успеху моих дел.

Гретхен выслушала все это очень внимательно; она приняла при этом положение, которое очень к ней шло, слушала ли она или говорила. Сложив и скрестив руки, она оперлась локтями на край стола; так она могла сидеть долгое время, двигая только головою, чего она никогда не делала без особого повода или смысла. По временам она вставляла свое словечко и помогала нам, если мы запутывались, в наших рассуждениях, потом опять умолкала и сидела спокойно, как обыкновенно. Я не сводил с нее глаз, и само собою разумеется, что задумал и рассказал свои планы не без отношения к ней; любовь к ней придавала всему, что я говорил, вид правды и возможности, и я сам себя на время обманывал, воображая себя одиноким и беспомощным, каким я и должен был быть согласно моей сказке. При этом я чувствовал себя счастливым, благодаря надежде обладать ею. Пилад закончил свое признание свадьбою, и для других собеседников также возник вопрос, насколько это событие входит в наши планы.

— Я в этом нисколько не сомневаюсь,—сказал я, —потому что каждому из нас нужна жена, которая хранила бы наш дом и давала нам вообще возможность пользоваться тем, что мы собрали такими разнообразными путями во внешнем мире.

Я нарисовал изображение супруги, какую я желал себе, и было бы, конечно, странно, если бы это не был совершенный портрет Гретхен.

Похоронное стихотворение было съедено, но в приятной близости стояло перед нами свадебное. Я поборол в себе всякий страх и тревогу и, имея много знакомых, сумел скрыть от своих свои настоящие вечерние развлечения. Видеть милую девушку и быть около нее вскоре сделалось необходимою потребностью моего существования. Приятели мои также привыкли ко мне, и мы сходились почти ежедневно, как-будто иначе и быть не могло. Пилад также привел свою красавицу, и эта парочка провела с нами не один вечер. В качестве жениха и невесты, хотя еще только едва в зародыше, они не скрывали взаимной нежности; Гретхен же искусно вела себя так, что держала меня в некотором отдалении. Она никому не подавала руки, и мне тоже; она не терпела никакого прикосновения к ней; иногда она только садилась рядом со мною, в особенности, если я писал или читал вслух: тогда она доверчиво клала руку ко мне на плечо и смотрела в книгу или на бумагу; если же я пытался позволить себе подобную вольность по отношению к ней, то она уклонялась и не скоро возвращалась. Она часто принимала такое положение, при чем все ее жесты и движения были весьма однообразны, но всегда кстати, красивы и грациозны. Но я никогда не видал, чтобы она обнаруживала подобную доверчивость к кому-либо, кроме меня.

К числу самых невиных и в то время интересных увеселений, которые я предпринимал в обществе различных молодых людей, принадлежала прогулка на рыночной барке в Гехст. Усевшись там, мы рассматривали набившихся в барку странных пассажиров и заводили с тем или с другими из них разговор с шутками или поддразниванием, как нам подсказывало наше веселье или резвость. В Гехсте мы выходили, и в то же время приходила рыночная барка из Майнца. В одной гостинице был хороший стол, здесь обедала лучшая приезжая и отъезжающая публика, после чего те и другие продолжали свой путь, потому что обе барки возвращались. Мы тогда каждый раз, пообедав, отправлялись обратно во Франкфурт, совершив таким образом в большом обществе самое дешевое плавание, какое только возможно.

Однажды я совершил эту поезду с родственниками Гретхен: за столом к нам присоединился молодой человек, повидимому несколько старше нас. Мои спутники знали его, и он попросил их познакомить его со мною. В его внешности было нечто приятное, хотя в остальном он не представлял ничего особенного. Приехав из Майнца, он теперь возвратился с нами во Франк-

фурт и по дороге разговаривал со мною о разных вещах, относящихся ко внутренней жизни городов, к должностям и местам службы, при чем он показался мне весьма осведомленным. Расставаясь со мною, он вежливо попрощался, прибавив, что он желал бы, чтобы я составил себе хорошее мнение о нем, потому что он надеется при случае на мою рекомендацию. Я не знал, что сказать на это, но родственники Гретхен разъяснили мне это через несколько дней. Они отозвались о нем хорошо и просили замолвить за него словечко у моего деда, так как теперь открывалось как-раз место средней руки, которое приятель их охотно бы занял. Я сперва стал отговариваться тем, что никогда не вмешиваюсь в подобные дела, но они приставали до тех пор, пока я не согласился. Я действительно заметил, что при таких раздачах мест, на которые, к сожалению, часто смотрят как на дело благотворительности, не бесполезно бывает замолвить словечко перед какой-нибудь бабушкой или тетушкой. Я уже настолько подрос, что мог приписать и себе некоторое влияние.

Поэтому в угоду своим приятелям, которые обещали мне всяческую признательность за подобную услугу, я превозмог свою внучатную робость и взял на себя передачу врученной мне письменной просьбы.

Однажды, в воскресенье, после обеда, когда дед, в виду приближения осени, занимался в своем саду, и я всячески старался помочь ему, я после некоторой нерешимости, обратился к нему с моим ходатайством и с прошением. Он просмотрел бумагу и спросил, знаю ли я этого молодого человека. Я рассказал ему в общих чертах все, что мог, и он отнесся к этому спокойно. — Если за ним есть заслуги и вообще отзывы о нем хороши, то для тебя и твоих знакомых, я окажу ему содействие. — Больше он ничего не сказал, и я долгое время не знал ничего об этом деле.

С некоторого времени я стал замечать, что Гретхен более не пряла, а занималась шитьем и притом очень тонкой работой, что меня удивило тем более, что дни уже стали убывать и приближалась зима. Я об этом недолго думал, меня беспокоило только, что я, против обыкновения, не застал ее утром дома и без настойчивых расспросов не мог узнать, куда она ушла. В один день я сделал, однако, удивительное открытие. Моя сестра, приготовляясь к балу, просила меня достать ей у одной хозяйки галантерейного магазина так называемых итальянских цветов. Это были мелкие и изящные цветы, изготовляемые в монастырях. В особенности мирты, карликовые розы и тому подобные выходили очень красиво и натурально. В угоду ей я исполнил это и пошел в лавку, в которой уже

не раз бывал вместе с нею. Едва я вошел и раскланялся с хозяйкой, как увидел сидящую у окна молоденькую и хорошенькую девушку в кружевном чепчике и в шелковой мантилье, очень хорошо сложенную. Я легко мог предположить в ней помощницу хозяйки, потому что она занималась прикреплением лент и перьев на шляпу. Модистка показала мне длинный ящик с разнообразными цветами; я стал их рассматривать и, выбирая, все взглядывал на девушку у окна; но как велико было мое удивление, когда я заметил в ней необыкновенное сходство с Гретхен, а в конце концов убедился, что это сама Гретхен и есть. У меня не осталось в этом никакого сомнения, когда она подмигнула мне и дала знать, чтобы я не выдавал нашего знакомства. Своим выбором и критикою я довел модистку до отчаяния более, чем это могла сделать какая-нибудь барышня. Я действительно ничего не мог выбрать, так как был до крайности смущен, и притом с упоением медлил, потому что находился близ девушки, переодеванье которой раздражало меня, но которая в то же время, в этом наряде казалась мне милее, чем когда-либо. Наконец, модистка потеряла всякое терпение и вручила мне целую картонку с цветами, чтобы я показал их сестре, и она сама сделала бы выбор. Таким образом она как бы выгнала меня из магазина, послав предварительно картонку со служанкой.

Едва я пришел домой, как меня позвал отец и открыл мне, что тепер известно, что эрцгерцог Иосиф избирается римским королем и должен быть коронован. Такого значительного события не следует ожидать без подготовки и дать ему пройти, только разинув рты и дивясь на него. Потому он намерен просмотреть вместе со мною дневники выборов и коронаций последних двух коронований, а также последние выборные капитуляции, чтобы отметить, какие новые условия будут присоединены в настоящем случае. Дневники были развернуты, и мы занимались ими до глубокой ночи, при чем между важнейшими предметами священной Римской империи передо мною носился образ хорошенькой девушки, то в ее старом домашнем платье, то в новом костюме. В этот вечер было уже невозможно увидеть ее, и я провел бессонную, беспокойную ночь. На следующий день вчерашние занятия ревностно продолжались, и только к вечеру получил я возможность посетить свою красавицу, которую я нашел опять в ее обычном домашнем платье. Она улыбнулась, увидев меня, но я не решился сказать что-либо в присутствии других.

Когда все общество снова уселось спокойно, она сказала: — Нехорошо, что вы скрываете от нашего друга то, что мы порешили в эти дни.

Продолжая, она рассказала, что после нашего недавнего разговора о том, как каждый из нас составит себе положение в свете, между ними зашла также речь о том, как женское существо может развить свои таланты и труды и с выгодою употребить свое время. Один из родственников предложил ей попытать счастье у модистки, которая теперь как-раз нуждается в помощнице. Они пришли к соглашению с этой женщиной: Гретхен будет ходить к ней ежедневно за хорошее вознаграждение; только там надо, ради приличия, несколько принаряжаться, но наряд этот Гретхен будет оставлять каждый раз на месте, потому что он не подходил бы к ее обычному образу жизни. Я был в общем успокоен этим объяснением, хотя мне и не особенно нравилось, что хорошенькая девушка будет сидеть в публичном магазине, где иногда собирается галантный мир. Но я не подал вида неудовольствия и старался скрыть свою ревнивую тревогу. Младший родственник не оставил мне много времени для этого, тотчас выступив с новым заказом стихотворения «на случай», сообщил мне данные о лицах и просил приступить к написанию стихотворения. Он уже несколько раз говорил со мною о способе исполнения таких задач, и так как я в этих случаях был очень словоохотлив, то он легко добился от меня того, что я подробно объяснил ему риторическую сторону этого дела, дал ему общее понятие о нем и привел соответствующие примеры из своих и чужих работ. Этот молодой человек был не глуп, но без всякого следа поэтической жилки; притом он так входил во все мелочи и добивался объяснения каждой из них, что я, наконец, громко заметил: — Вы как-будто хотите перенять мое ремесло и отбить у меня заказы.

— Не стану отрицать этого,—сказал он, смеясь,—ведь это не нанесет вам никакого ущерба. Пока я буду учиться, вы поступите уже в университет. А до тех пор позвольте мне извлечь из вас некоторую пользу.

— Согласен от всего сердца,—возразил я и предложил ему самому составить план, выбрать размер, сообразно характеру предмета, и все, что еще могло показаться нужным. Он серьезно принялся за дело, но оно не ладилось: в конце концов мне пришлось столько поправлять, что легче и лучше было бы сразу сделать все самому. Но это обучение и упражнение, это сообщение сведения, эта взаимная работа доставили нам хорошее развлечение; Гретхен принимала в этом участие и подавала иногда хорошие мысли, так что мы все были довольны, пожалуй даже счастливы. Днем она работала у модистки, а по вечерам мы обыкновенно сходились, и наше довольство не нарушалось и тем, что заказы на «случайные» стихотворения, наконец, почти

прекратились. Неприятно подействовало на нас только то, что однажды нам вернули стихотворение с протестом, потому что оно не понравилось заказчику. Мы, впрочем, утешились, потому что считали его как-раз за лучшую из наших работ и могли сказать, что заказчик плохой знаток этого дела. Родственник, который все-таки хотел научиться этому, стал ставить теперь фиктивные задачи, при разрешении которых мы, правда, получали порядочное развлечение, но так как они не приносили никакого дохода, то наши маленькие пирушки сделались гораздо более скромными.

Дело с великим государственно-правовым событием, выбором и коронованием римского короля, принимало все более серьезный вид. Собрание курфюрстов, предполагавшееся вначале в октябре 1763 года [130]) в Аугсбурге, перенесено было во Франкфурт [131]), и в конце этого года, а также в начале следующего начались приготовления к этому важному делу. Начало этому было положено невиданным еще шествием. Один из чинов нашей канцелярии на коне, сопровождаемый четырьмя трубачами и пешею стражею, громким и ясным голосом прочел на всех углах города пространный эдикт, уведомлявший о предстоящем торжестве и внушавший гражданам достойное и приличное случаю поведение. В совете велись важные прения, и через некоторое время явился имперский квартирмейстер, посланный наследственным маршалом, чтобы по старому обычаю устроить и назначить квартиры для посланника и его свиты. Наш дом находился в курпфальцском округе, и нам приходилось принять новый, хотя и приятный постой. Средний этаж, который занимал когда-то граф Торан, был уступлен курпфальцскому кавалеру, а верхний этаж занял барон фон Кенигсталь, уполномоченный Нюрнберга. Таким образом, мы были еще более стеснены, чем во французские времена. Это послужило мне новым предлогом проводить время вне дома, и большую часть дня я находился на улице, смотря на то, что можно было видеть публично.

Мы достойным осмотра нашли перемены и переустройства комнат в доме ратуши; затем состоялось прибытие посланников, одного за другим и их первый торжественный общий въезд 6-го февраля; потом мы любовались прибытием императорских комиссаров и их въездом в Ремер, происшедшим с большою помпою. Почтенная личность князя фон Лихтенштейна произвела хорошее впечатление; но знатоки утверждали, что великолепные ливреи уже были ранее в употреблении при другом случае и что эти выборы и коронование едва ли сравняются по блеску с торжествами Карла Седьмого. Мы, молодежь, довольны были тем, что видели своими глазами; нам все казалось хорошо, и многое приводило нас в изумление.

Собрание избирательного конвента было, наконец, назначено на 3 марта. Город пришел в движение, вследствие новых формальностей, и взаимные церемониальные визиты посланников держали нас все время на ногах. Мы должны были замечать все с точностью, не как простые зеваки, но так, чтобы дома мы могли дать надлежащий отчет обо всем, даже изготовить иногда тот или другой протокол, о чем уговорились мой отец и господин фон Кенигсталь, частью для нашего упражнения, частью для своего собственного осведомления. И действительно, это послужило мне на пользу, так как я мог представить довольно живой дневник всей внешней стороны выборов и коронования.

Из депутатов, произведших на меня наиболее устойчивое впечатление, упомяну прежде всего о первом посланнике курфюрста майнцского, барона фон Эрталя, впоследствии курфюрста. Не представляя ничего особенного по своей фигуре, он мне очень понравился в своем таларе, украшенном кружевами. Второй посланник, барон фон Грошлаг, был хорошо сложенный, свободный в обращении, но с большим достоинством ведущий себя светский человек; он производил вообще очень приятное впечатление. Князь Эстергази, богемский посланник, был небольшого роста, но хорошо сложен, живой, и в то же время важный и достойный, без гордости и холодности. Но образ и достоинство этих превосходных личностей как бы исчезали перед всеобщим предподчтением, которое оказывалось бранденбургскому посланнику барону фон Плото. Этот человек, отличавшийся известной бережливостью как в своем собственном костюме, так и в ливреях и экипажах, прославился в Семилетней войне в качестве дипломатического героя. Когда в Регенсбурге нотариус Априль в сопровождении нескольких свидетелей вздумал насмешливо выразиться перед ним относительно опалы, объявленной его королю, то он лаконически ответил: «Как! Он еще издевается», и сбросил или велел сбросить его с лестницы. Мы принимали первую версию, потому что она нам более нравилась, и считали такой подвиг вполне вероятным со стороны этого маленького, коренастого человека с огненными черными глазами, быстро бегавшими туда и сюда. Все взоры были направлены на него, особенно когда он выходил из экипажа. Каждый раз возникало нечто в роде радостного перешептывания, и дело чуть не доходило до аплодисментов, криков «виват» или «браво». Так высоко стоял король и все, что было ему предано телом и душою, во мнении толпы, среди которой, кроме франкфуртцев, находились немцы из разных областей.

С одной стороны, все эти вещи доставляли мне много удовольствия, потому что все происходившее, каково бы оно ни было,

всегда содержало в себе известное значение, указывало на некоторые внутренние связи, и эти символические церемонии на время снова живо представляли Германскую империю, почти погребенную, под бесчисленными пергаментами, бумагами и книгами. С другой стороны, я не мог не почувствовать тайного неудовольствия, когда мне приходилось дома списывать для отца самое делопроизводительство, и при этом заметил, что здесь столкнулись различные силы, находившиеся в равновесии и согласные между собою только в том отношении, что каждый старался проявить свое влияние в сохранении и расширении своих привилегий и в большем обеспечении своей независимости. Ко всему этому теперь относились еще внимательнее прежнего, так как начинали побаиваться Иосифа Второго, его порывистости и его предполагаемых планов.

Для моего деда и для других родственных нам членов городского совета, дома которых я посещал, время также было нелегкое, потому что у них было много дела с приемом знатных гостей, угощением их, поднесением подарков. Притом магистрату в целом и в частности приходилось постоянно защищаться, сопротивляться и протестовать, потому что при этих случаях каждый старался что-нибудь урвать у него или навязать ему, и лишь немногие из тех, к кому он обращается, соглашаются защищать его или помочь ему. Словом, перед моими глазами живо предстало все, что я читал в Лерснеровой хронике о подобных случаях при таких же обстоятельствах, дивясь терпению и выдержке добрейших тогдашних членов совета.

Много неприятностей происходит также от постепенного переполнения города нужными и ненужными лицами. Напрасно город напоминал гостиницам о предписаниях Золотой Буллы, правда, уже устаревших. Не только уполномоченные и их спутники, но и многие сановники и иные лица, приехавшие из любопытства или по частным делам, пользуются протекциею, и вопрос, кто имеет право на даровое помещение и кто должен сам нанимать квартиру, не всегда решается сразу. Беспорядок растет, и те, которые должны что-нибудь сделать или несут какую-нибудь ответственность, начинают чувствовать себя неприятно.

Даже мы, молодые люди, видевшие все это, не всегда находили полное удовлетворение для наших глаз и нашего воображения. Испанские плащи и большие украшенные перьями шляпы посланников и еще кое-что другое здесь и там придавали зрелищу настоящий старинный вид, но многое было, напротив, наполовину ново или даже современно, так что повсюду перед нами была пестрая, не удовлетворяющая нас, иногда даже безвкусная смесь. Поэтому мы очень рады были узнать, что

делаются большие приготовления к приезду императора и будущего короля, что коллегиальные занятия курфюрстов, в основе которых лежала избирательная капитуляция, усердно идут вперед и что день избрания назначен на 27 марта. Теперь шла речь о доставке государственных регалий из Аахена и Нюрнберга и ожидался въезд курфюрста майнцского, между тем как пререкания с его посольством по поводу квартир все еще продолжались.

Я, между тем, энергично продолжал свою канцелярскую работу на дому и заметил при этом разные мелочные указания, которые приходили с разных сторон и должны были быть приняты во внимание в новой капитуляции. Каждое сословие желало, чтобы в этом документе были соблюдены его права и увеличено его значение. Однако, весьма многие из таких замечаний и пожеланий были отклонены; многое осталось в прежнем положении; во всяком случае, впрочем, авторы этих замечений получили серьезные уверения, что таким отклонением ничего не предрешается в будущем.

Имперское маршальское управление завалено было между тем многими и трудными занятиями; масса приезжих все возрастала и становилось все труднее разместить их. Не было согласия относительно границ участков для различных курфюрстов. Магистрат хотел отвратить от горожан тяготы, нести которые они не были обязаны. Таким образом ежечасно днем и ночью возникали жалобы, хлопоты, споры и неприятности.

Въезд курфюрста майнцского состоялся 21 марта [132]). На этот раз началось с канонады, которая оглушала нас в течение долгого времени. Эта торжественность была важна в ряду церемоний; все люди, выступление которых мы видели до сих пор, как бы высоко они ни стояли, были все-таки лишь подчиненными; теперь же явился на сцену суверен, самостоятельный князь, первый после императора, сопровождаемый большою свитою, достойною его. О пышности этого въезда я мог бы рассказать здесь многое, если бы я не намерен был позднее вернуться к этому и притом по такому поводу, которого никто не угадал бы.

Именно в тот же день прибыл Лафатер проездом домой на обратном пути из Берлина и был свидетелем этого торжества. Хотя для него такие светские внешние события не имели ни малейшаго значения, тем не менее эта процессия со всем, что ее сопровождало, вероятно, произвела явственное впечатление на его воображение, потому что через несколько лет, когда этот превосходный, но своеобразный человек сообщил мне поэтическую парафразу (кажется, «Откровение св. Иоанна»), то опи-

сание въезда антихриста оказалось точным снимком въезда курфюрста майнцского во Франкфурт,—шаг за шагом, образ за образом, подробность за подробностью, так что были не забыты даже султаны на головах буланых лошдей. Об этом можно будет сказать больше, когда я дойду до эпохи того причудливого рода поэзии, когда надеялись сделать мифы ветхого и нового завета более понятными уму и чувству, совершенно переделывая их на современный лад и надевая на них простую или пышную одежду из нынешней жизни. Там мы поговорим также и о том, как этот способ обработки мало, по-малу приобрел популярность; здесь же я замечу только, что Лафатер и его подражатели довели его до крайности [133]), при чем один из них изобразил въезд царей-волхвов в Вифлеем в таких современных красках, что князья и владетельные лица, посещавшие Лафатера, легко могли быть узнаны в этом описании.

Итак, пусть покамест курфюрст Эммерих Иосиф вступил в Компостель, так сказать, инкогнито, а мы вернемся к Гретхен, которую я заметил в толпе и давке вместе с Пиладом и его красавицей (эти три лица теперь казались неразлучными). Встретившись и поздоровавшись, мы тотчас условились провести этот вечер вместе, и я своевременно явился.

Наша обычная компания была вся налицо, и каждый имел что рассказать, выразить, отметить, так как одному особенно бросилось в глаза одно, другому другое.

— Ваши речи,—сказала, наконец, Гретхен,—сбивают меня с толку, пожалуй, еще более, чем самые события этих дней. Я никак не могу собрать мыслей относительно того, что я видела, и охотно послушала бы, если бы мне рассказали, в чем дело.

Я ответил, что мне нетрудно будет оказать ей эту услугу, пусть она только скажет, что, собственно, ее интересует. Она исполнила это, и, когда я стал объяснять ей разные вещи, оказалось, что лучше всего было бы рассказать ей все по порядку. Я довольно удачно сравнил эти торжества и функции с театральным зрелищем, при котором занавес опускается когда угодно, между тем как актеры продолжают играть; затем занавес опять подымается, и зритель может до некоторой степени снова принять участие в этих действиях. Так как я был очень словоохотлив, когда мне давали свободу говорить, то я рассказал все от начала до сегодняшнего дня и не преминул воспользоваться тут же лежащим грифелем и большою аспидною доской, чтобы сделать свое изложение более наглядным. Так как слушатели не мешали мне, вставляя лишь немногие вопросы и поправки, то я, ко всеобщему удовольствию, довел

рассказ свой до конца, весьма ободряемый постоянным вниманием Гретхен. Она поблагодарила меня и позавидовала, по ее выражению, тем, которые осведомлены о делах этого мира и знают, как совершается то или другое и каково значение всего этого. Она сказала, что желала бы быть мальчиком и весьма ласково выразила, что обязана мне уже многими разъяснениями. — Если бы я была мальчиком,—сказала она,—то мы вместе научились бы чему-нибудь дельному в университете.

Разговор продолжался в том же роде; она выразила намерение учиться французскому языку, необходимость которого она хорошо поняла в лавке модистки. Я спросил ее, почему она более не ходит туда, потому что в последнее время, когда вечера у меня редко бывали свободны, я несколько раз проходил из-за нее мимо этой лавки днем, чтобы хоть на минутку увидеть ее. Она объяснила мне, что не хочет там показываться в это беспокойное время; когда город снова придет в прежнее состояние, она думает снова вернуться туда.

Затем зашла речь о предстоящем дне избрания. Я сумел подробно рассказать, что и как будет происходить, и подкрепил свое объяснение подробными чертежами на доске, так как вполне ясно представлял себе место конклава с его алтарем, тронами, креслами и другими сидениями. Мы своевременно расстались с особо приятным чувством.

Для молодой парочки, созданной от природы сколько-нибудь гармонично, ничто не может лучше послужить к сближению, как если девушка любознательна, а юноша охотно сообщает знания. Вследствие этого возникает серьезная и приятная связь: она видит в нем творца ее духовного мира, а он в ней — существо, которое обязано своим усовершенствованием не природе, случаю или одностороннему желанию, а их обоюдной готовности. Это взаимодействие так сладостно, что мы не должны удивляться, если со времен старого и нового Абеляра [134]) из такого сближения двух существ возникали сильнейшие страсти и столько же счастья, сколько и несчастья.

Уже на следующий день в городе было большое движение вследствие визитов и ответных визитов, которые теперь совершались с величайшими церемониями. Но что меня в особенности интересовало как франкфуртского гражданина и навело меня на многие мысли, было принесение присяги относительно безопасности, в чем принимали участие совет, военные власти и граждане не через представителей, но лично и массами; сперва приносили присягу в большой зале Ремера магистрат и штабные офицеры, затем на большой площади, Ремерберге, все граждане по своим сословиям, степеням и кварталам и, наконец, остальные военные. Здесь можно было одним взглядом окинуть всю

общественную организацию, собравшуюся для почетной цели,— чтобы облегчить главе и членам империи безопасность и ненарушимое спокойствие при предстоящем великом деле. Затем прибыли лично представители курфюршеств Трира и Кёльна. Накануне дня избрания все иностранцы были удалены из города; ворота были закрыты, евреи заперты в их квартале, и франкфуртские граждане могли гордиться, что они одни останутся свидетелями такого великаго торжества.

До сих пор все происходившее имело приблизительно вид современности; высокие и высшие особы переезжали с места на место только в экипажах; но теперь они должны были показаться, по старому обычаю, верхом на конях. Стечение народа и давка были черезвычайны. В Ремере, который я знал так же хорошо, как мышь свой амбар, я сумел протискаться до главного входа, перед которым курфюрсты и посланники, подъехав в великолепных каретах и предварительно собравшись наверху, должны были садиться на коней. Красивые, хорошо выезженные кони были обвешены богато вышитыми чепраками и всевозможным образом разукрашены. Курфюрст Эммерих Иосиф, красивый, приятный мужчина, имел очень хороший вид на коне. Двух других я помню не так ясно; помню только вообще, что красные, подбитые горностаем мантии князей, которые до тех пор мы привыкли видеть только на картинах, под открытым небом производили очень романтическое впечатление. Посланники отсуствующих светских курфюрстов в их златотканных, вышитых золотом испанских костюмах, богато украшенных кружевными галунами, также ласкали наши взоры; в особенности великолепно развевались большие перья на старинных шляпах с приподнятыми полями. Но что нам вовсе при этом не понравилось, это—короткие панталоны современного стиля, белые шелковые чулки и модные башмаки. Мы предпочли бы, ради последовательности в костюме, полусапожки с какой угодно позолотой, сандалии или что-нибудь в этом роде.

Поведением своим посланник фон Плото опять-таки отличался от всех прочих. Он выказал себя живым и веселым и, повидимому не был проникнут особым благоговением ко всей церемонии. Когда его предшественник, довольно старый человек, не сразу мог сесть на лошадь и ему пришлось ждать некоторое время у главного входа, то он не мог удержаться от смеха, пока ему не подвели коня, на которого он очень ловко вскочил и снова был предметом восхищения, как достойный посланник Фридриха Второго.

Тут занавес вновь опустился для нас. Я, правда, попытался протесниться в церковь, но там оказалось больше неудобств,

чем удовольствия. Избиратели укрылись в святое святых, где длинные церемонии заступили место серьезного обсуждения выборов. После долгого ожидания, давки и тесноты народ, наконец, услышал имя Иосифа Второго, превозглашенного римским императором.

Наплыв приезжих в город становился все сильнее. Все ходили и ездили в парадных платьях, так что наконец только совсем золотые одежды обращали на себя внимание. Император и король поместились уже в графском Шенборнском замке и были там по обычаю приветствованы и радушно приняты; город же отпраздновал эту важную эпоху духовными торжествами всех религий, торжественными церковными службами и проповедями, при чем со светской стороны te deum сопровождался непрерывною пушечной пальбой.

Если смотреть на все эти публичные торжества от начала до этого момента как на обдуманное художественное произведение, то в нем не нашлось бы много недостатков. Все было хорошо подготовлено; публичные выступления вначале имели скромный характер и становились постепенно все значительнее; зрители возрастали в числе, особы—в достоинстве, все окружающее и они сами — в великолепии, и таким образом все возрастало с каждым днем, так что наконец и подготовленный, спокойный взгляд приходил в смущение.

Въезд курфюрста майнцского, от подробного описания которого выше мы отказались, был достаточно великолепен и внушителен, чтобы в воображении даже самого достойного человека создать картину прибытия великого ожидаемого властелина мира. Мы также были немало ослеплены им. Но когда стало известно, что император и будущий король приближается к городу, то ожидание наше достигло высшей степени напряжения. На некотором расстоянии от Заксенгаузена был поставлен шатер, в котором ожидал весь магистрат, чтобы засвидетельствовать верховному главе империи соответствующее почтение и предложить ему ключи города. Дальше на прекрасной, обширной равнине стоял другой великолепный шатер, куда собрались все курфюрсты и посланники избирателей для приема их величеств, между тем как свита их расположилась вдоль всей дороги, чтобы мало-по-малу, когда до нее дойдет очередь, снова тронуться по направлению к городу и надлежащим образом вступить в процессию. Император подъехал к шатру, вошел в него, и после почтительного приема курфюрсты и посланники откланялись, чтобы, соответственно церемониалу, открыть путь верховному властителю.

Мы, оставшиеся в городе, чтобы среди стен и улиц еще более налюбоваться этим великолепием, чем это возможно было

в открытом поле, некоторое время забавлялись шпалерами горожан, стоявшими вдоль улиц, наплывом народа, разными случающимися при этом выходками и неловкостями, пока звон колоколов и гром пушек не возвестили нам непосредственное приближение государя. Что в особенности было при этом случае приятно сердцу франкфуртца, это — что в присутствии стольких суверенов и их представителей имперский город Франкфурт сам являлся маленьким сувереном. Его шталмейстер открывал процессию; за ним следовали верховые лошади с гербовыми чепраками, на которых очень эффектно вырисовывался белый орел на красном поле, за ними—слуги и чиновники, литаврщики и барабанщики, депутаты совета в сопровождении пеших слуг в ливреях. Потом шли три отряда гражданской кавалерии на очень хороших лошадях, те самые, которых мы смолоду знали как участников при «проводах» и других публичных событиях. Мы рады были чувствовать эту честь и стотысячную долю суверенности, которая теперь являлась в полном своем блеске. Затем шаг за шагом тянулись свиты наследного имперского маршала и отряженных шестью светскими курфюрстами посланников-избирателей. Ни в одной из них не было менее двадцати слуг и двух придворных карет, а в некоторых еще больше. Свиты духовных курфюрстов были еще многочисленнее; их слугам и домашним чиновникам, казалось, не было числа; курфюршества Кельнское и Трирское имели слишком двадцать придворных карет, и столько же было у одного майнцского курфюршества. Конные и пешие слуги были чрезвычайно пышно одеты; духовные и светские господа в экипажах были также очень нарядны, богаты и почтенного вида, разукрашенные всякими орденскими знаками. Свита его императорского величества превосходила, разумеется, все прочие. Берейторы, лошади, ведомые под уздцы, сбруя, чепраки, покрывала — привлекли всеобщее внимание; шестнадцать парадных карет шестерней с имперскими камергерами, тайными советниками, оберкамергерами, обергофмейстерами, оберштальмейстерами великолепно замыкали этот отдел процессии, который, несмотря на свою пышность и протяжение, составлял лишь первую ее часть.

С этих пор ряды становились все теснее, при чем важность и великолепие все возрастали. Среди избранной свиты их собственных домашних служащих, большею частью пеших, лишь немногих верхом, появились посланники-избиратели и сами курфюрсты в восходящем порядке каждый в своей великолепной придворной карете. Непосредственно позади курфюрстов десять императорских скороходов, сорок один лакей и восемь гайдуков возвестили приближение самих их величеств. Великолепнейшая

придворная карета, снабженная даже сзади цельным зеркальным стеклом, разукрашенная живописью, лакированной резьбой и позолотой, сверху и внутри, обтянутая красным вышитым бархатом, дала нам возможность совершенно удобно рассмотреть давно ожидаемых властелинов — императора и короля — во всей их пышности. Процессия шла длинным, кружным путем, частью по необходимости, чтобы она могла вполне развернуться, частью для того, чтобы показать ее большему числу людей. Она тянулась от Заксенгаузена через мост, через Фаргассе, потом по Цейлю и поворачивала во внутренний город через Катеринин-ские ворота, находившиеся прежде на окраине, а со времени расширения города превратившиеся в свободный проход. Здесь, по счастью, вспомнили, что внешнее великолепие мира с течением времени все разрасталось в ширину и вышину. Сняли мерку и нашли, что через эти ворота, через которые въехало и выехало столько князей и императоров, теперешняя императорская карета не пройдет, не задев за них своей резьбой и другими украшениями. Посоветовались, и для избежания неудобного обхода, решили снять мостовую, чтобы устроить легкий спуск и подъем. С этою же целью сняли на улицах все навесы магазинов и лавок, чтобы ни корона, ни орлы, ни гении ни за что не задели и не были бы повреждены.

Как ни направляли свои взоры на этот дорогой сосуд с драгоценным содержимым и на высоких особ, мы не могли все-таки не смотреть на великолепных лошадей, сбрую и ее позументные украшения; особенно же бросились нам в глаза удивительные фигуры кучера и форейтора верхом на конях. В своих длинных черных с желтым бархатных кафтанах и головных уборах с султанами из перьев, по императорскому придворному обычаю, они казались существами другой нации, даже как бы другого мира. Затем пошла такая толпа, что составные части ее трудно было разобрать. Швейцарская гвардия по обеим сторонам кареты, наследный маршал, держащий поднятый саксонский меч в правой руке, фелдьмаршалы верхом позади кареты как предводители императорской гвардии, множество императорских пажей и, наконец, сама лейб-гвардия в черных бархатных кафтанах, все швы которых были богато обшиты золотыми галунами, а под кафтанами были надеты красные полукафтаны и камзолы цвета желтой кожи, также раззолоченные, — вот что предстало нашим глазам. Все смотрели, показывали, объясняли, при чем голова кружилась от всего этого, и на столь же роскошно одетую лейб-гвардию самих курфюрстов почти не обращали внимания. Может быть, мы отошли бы даже от окна, если бы не хотели посмотреть еще наш магистрат, ехавший в конце процессии в пятнадцати параконных каретах, в особенности же

на последнюю карету советского писца с ключами города на красной бархатной подушке. Что наша городская гренадерская рота прикрывала конец шествия, также показалось нам довольно почетным, и, как немцы и франкфуртцы, мы были вдвойне довольны этим почетным днем.

Мы занимали место в доме, где шествие, возвращаясь из собора, снова должно было пройти мимо нас. Церковная служба, музыка, церемонии и торжества, речи и ответы на них, доклады и чтение в церкви, хор и конклав заняли столько времени, пока дошло до присяги избирательной капитуляции — все это заняло столько времени, что мы успели прекрасно позавтракать и осушить несколько бутылок вина за здоровье старого и нового государя. При этом разговор зашел, как бывает в подобных случаях, о былых временах, при чем некоторые пожилые особы отдавали предпочтение прошлому перед настоящим, по крайней мере в смысле общего интереса и увлечения совершающимся, которые тогда преобладали. При короновании Франца Первого все не было еще так подготовлено, как теперь; мир еще не был окончательно заключен, Франция, курфюршества Бранденбургское и Пфальцское противились избранию; войска будущего императора стояли под Гейдельбергом, где находилась его главная квартира, а государственные регалии на пути из Аахена чуть не были захвачены властями Пфальца. Но переговоры все же шли, и с обеих сторон делались уступки. Сама Мария Терезия, хотя и находилась в интересном положении, прибыла, чтобы видеть коронование своего супруга, когда оно, наконец, было решено. Она приехала в Ашаффенбург и села на яхту, чтобы следовать во Франкфурт. Франц, выехав из Гейдельберга, хотел встретить свою супругу, но опоздал: она уже уехала. Он сел инкогнито в небольшую лодку, поспешил за нею, догнал ее корабль, и любящая чета радовалась неожиданной встрече. Известие об этом тотчас распространилось, и весь мир принял участие в этой нежной супружеской чете, щедро благословенной детьми и настолько неразлучной со времени своего бракосочетания, что однажды на пути из Вены во Флоренцию им пришлось вместе выдержать карантин на венецианской границе. Мария Терезия была принята в городе с восторгом; она остановилась в гостинице «Римский Император», а для приема ее супруга был воздвигнут большой шатер на Борнгеймерском лугу. Там из духовных курфюрстов оказался только майнцский, а из уполномоченных светских курфюрстов—только представители Саксонии, Богемии и Ганновера. Начался въезд, и если он не сопровождался полным великолепием, то с избытком возмещался присутствием прекрасной государыни. Она стояла на балконе хорошо расположенного дома и приветство-

вала своего супруга крикам «виват» и аплодисментами; народ с величайшим энтузиазмом подхватил ее привет. Так как и великие мира сего тоже люди, то бюргер, любя их, представлял их как равных себе, и тем более имел на это основание, когда видел в них любящих супругов, нежных родителей, дружных родственников, верных друзей. Им желали тогда всего наилучшего и пророчили им это, а сегодня видели исполнение этих желаний на их первенце, к которому все питали расположение из за его прекрасной юношеской наружности и на которого возлагали величайшие надежды, в виду обнаруживаемых им высоких качеств.

Мы совсем погрузились в прошедшее и будущее, как вдруг некоторые друзья вновь возвратили нас к настоящему. Это были люди из числа тех, которые особенно ценят новости и спешат первыми возвестить их. Они сообщили нам прекрасную черту человечности тех высоких особ, которые только-что прошли мимо нас с величайшею пышностью. Именно, было условлено, что по дороге, между Гейзенштаммом и упомянутым большим шатром, император и король встретятся в лесу ландграфа дармштадтского. Этот старый, уже приближающийся к могиле князь хотел еще раз повидать государя, которому он прежде служил [135]). Оба они желали вспомнить тот день, когда ландграф привез в Гейдельберг декрет курфюрстов, избиравший Франца в императоры, и ответил на полученные им драгоценные подарки уверениями в ненарушимой привязанности. Высокие особы стояли в еловом лесу, при чем ландграф, ослабевший от старости, прислонился к стволу ели, чтобы иметь возможность продолжать разговор, который трогательно велся обеими сторонами. Место это было впоследствии отмечено скромным памятником, и мы, молодые люди, несколько раз ходили к нему.

Так мы провели несколько часов в воспоминаниях о старом и в обсуждении нового, после чего процессия еще раз прошла мимо нас, хотя уже в сокращенном и более компактном виде, при чем мы могли ближе наблюдать подробности, отметить их и запечатлеть в памяти на будущее время.

Затем прибыли и государственные регалии. Но чтобы и теперь не было недостатка в обычных неприятностях, они должны были провести половину дня до глубокой ночи в открытом поле вследствие территориальных и сопроводительных пререканий между курфюршеством Майнцским и нашим городом. Наш город уступил; майнцы провожали регалии до шлагбаума, и на этот раз дело было покончено.

Все эти дни я не мог опомниться. Дома я должен был многое записывать и списывать; нужно было также, да и хотелось все видеть. Так прошел март, вторая половина которого была для

нас так богата празднествами. О том, как они закончились и что предстояло в день коронования, я обещал Грехтен составить верный и подробный отчет. Великий день приближался; я больше думал о том, *как* я расскажу ей все это, чем о том, *что* именно я расскажу; я наскоро обработал все, что видел своими глазами и что почерпнул из канцелярской работы для этой ближайшей и единственной цели. Наконец, однажды довольно поздно вечером я пошел к ней на квартиру и заранее уже тешил себя мыслью, что мой отчет на этот раз будет гораздо лучше первого, неподготовленного. Но часто и для нас, и для наших слушателей неожиданный повод приносит более удовольствия, чем может принести самая серьезная подготовка. Я встретил то же самое общество, но между ними было и несколько незнакомых лиц. Они сели играть; только Грехтен и младший из родственников сели со мною у аспидной доски. Милая девушка прелестно выразила свое удовольствие, что она, не будучи уроженкою Франкфурта, в день избрания пользовалась таким же положением, как и гражданки, и могла наслаждаться зрелищем. Она очень признательно поблагодарила меня за то, что я сумел о ней позаботиться и был столь внимателен, что своевременно устроил ей через Пилада доступ повсюду посредством билетов, указаний, приятелей и протекции. Она охотно выслушала рассказ о государственных сокровищах. Я обещал ей, что, по возможности, мы с нею вместе увидим их. Узнав, что молодой король примерял новые одежды и короны, она сделала несколько шуточных замечаний. Я знал место, откуда ей придется смотреть на торжества коронации, и обратил ее внимание на все предстоящее, в особенности на то, что удобно будет видеть с ее места.

Так мы забыли о времени: было уже за полночь, и оказалось, что я, как на грех, не взял с собою ключа от квартиры. Я никак не мог попасть домой незамеченным. Я сообщил ей свое затруднение. Она сказала, что это, пожалуй, самое лучшее: все общество останется вместе. Ее родственники и гости уже возымели эту мысль: последние не знали, где им приютиться на ночь. Дело было вскоре решено; Грехтен, видя, что свечи догорают, принесла и зажгла большую медную семейную лампу с фитилем и маслом и ушла варить кофе.

Кофе на несколько часов подбодрил нас; но мало-по-малу игра стала становиться вялою, разговор не клеился; мать заснула в большом кресле; гости, устав от путешествия, клевали носами. Пилад и его красавица сидели в уголку; она положила голову на его плечо и спала; скоро заснул и он. Младший родственник, сидевший за столом у доски против нас, сложил на столе руки и спал, положив на них лицо. Я сидел у окна за столом,

а Гретхен рядом со мною; мы тихо разговаривали; наконец сон одолел и ее, она склонила головку на мое плечо и тотчас же задремала. Так я один сидел и не спал в самом странном положении, пока ласковый брат смерти не успокоил и меня. Я заснул и проснулся, когда уже было совсем светло. Гретхен стояла перед зеркалом и поправляла свой чепчик; она была милее, чем когда-либо и, прощаясь, сердечно пожала мне руку. Я прокрался кружным путем к нашему дому; со стороны малого Оленьяго Рва отец мой устроил в стене маленькое окошечко, не без возражений со стороны соседей; этой стороны мы избегали, когда, возвращаясь домой, не хотели быть замеченными им. Моя мать, чье посредничество было всегда в нашу пользу, постаралась объяснить мое отсутствие утром за чаем раннею прогулкой, и, таким образом, я не испытал никаких неприятных последствий от этой невинной ночи.

Вообще этот бесконечно разнообразный мир, окружавший меня, в целом произвел на меня лишь очень простое впечатление. У меня не было к нему другого интереса, как подмечать внешнюю сторону предметов, не было другого дела, как то, которое возложили на меня мой отец и фон Кенигсталь, благодаря чему я, правда, ознакомился с внутренним ходом вещей; у меня ни к кому не было склонности, кроме Гретхен, и никакого другого намерения, кроме того, чтобы хорошенько рассмотреть и усвоить все, чтобы потом все повторить и объяснить ей. Иногда, во время прохождения процессии, я даже вполголоса описывал ее самому себе, чтобы закрепить все подробности и чтобы моя красавица похвалила меня за мое внимание и точность; одобрение и благодарность других я считал лишь за дополнение.

Правда, я был представлен многим высоким и знатным особам; но отчасти никто не имел времени, чтобы заниматься другими, отчасти старики не сразу умеют заговорить с молодым человеком и испытать его. Я, с своей стороны, тоже не особенно умел показать себя приятным людям; обыкновенно я приобретал их благосклонность, но не одобрение. Если я чем-нибудь занимался, то вполне уяснял себе это, но не спрашивал, интересно ли это для других. Я был большею частью или чрезмерно жив, или слишком тих и казался или навязчивым, или неподатливым, смотря по тому, привлекали ли меня люди или отталкивали: таким образом меня считали подающим большие надежды, но чудаковатым.

Наконец наступил день коронации — 3 апреля 1764 года; погода была благоприятна, и все население пришло в движение. Мне, вместе с несколькими родственниками и знакомыми, отведено было хорошее место в самом Ремере, в одном из верхних этажей, откуда мы вполне могли обозреть все. Рано утром

мы отправились на место и рассмотрели сверху, как бы с высоты птичьего полета, те устройства, которые днем раньше мы видели в непосредственной близости. Перед нами был вновь воздвигнутый фонтан с двумя большими чанами справа и слева, в которые двухглавый орел на подставке должен был изливать из своих двух клювов в одну сторону белое, а в другую — красное вино. Тут же лежала большая куча насыпанного овса, а рядом — большое досчатое строение, в котором уже в течение нескольких дней жарился на угольях, на громадном вертеле, целый жирный бык. Все доступы от Ремера до этого места и от других улиц, ведших к Ремеру, были с обеих сторон загорожены и охраняемы стражею. Большая площадь мало-по-малу наполнялась народом; волнение и давка все усиливались, потому что толпа всегда стремилась попасть туда, где появлялось что-нибудь новое или ожидалось нечто особенное.

При всем том господствовала известная тишина, и когда зазвучал набатный колокол, то весь народ был как-будто объят трепетом и изумлением. Что теперь прежде всего привлекло внимание всей толпы, которую можно было обозреть сверху на площади, — это была процессия с государственными регалиями, несомыми к собору представителями Аахена и Нюрнберга. Эти регалии, как охраняемая святыня, лежали на переднем месте в карете, а депутаты почтительно сидели перед ними на заднем месте.

Вот три курфюрста вошли в собор. После передачи регалий курфюрсту майнцскому корона и меч тотчас были отнесены в императорскую квартиру. Прочие установленные дела и церемонии происходили, между тем, между главными действующими лицами и зрителями в церкви, как мы, осведомленные заранее, знали это.

Перед нашими глазами посланники проехали в Ремер, из которого низшие офицерские чины пронесли балдахин в императорскую квартиру. Тотчас наследный маршал, граф фон Паппенгейм, сел на коня. Это был очень красивый господин стройного сложения, к которому очень шли испанский наряд, богатый камзол, золотой плащ, высокая шляпа с перьями и распущенные длинные волосы. Он поехал, и при звоне всех колоколов за ним последовала к императорской квартире кавалькада посланников, с еще большим великолепием, чем в день избрания.

Хотелось мне присутствовать и там, но в этот день, чтобы все видеть, надо было бы разделиться на части. Мы рассказывали друг другу, что должно было там происходить. Вот теперь, — говорили мы, — император надевает знаки своего

родового достоинства, — новую одежду, изготовленную по образцу древнего Каролингского костюма. Вот наследственные чины берут имперские регалии и садятся на коней. Император в парадной одежде и король в испанском костюме также садятся на коней, и вот уже перед нами показывается голова начинающейся бесконечной процессии.

Глаза наши были уже утомлены множеством богато одетых слуг прочих чиновников и гордо выступающей рати; а когда показались посланники-избиратели, наследственные сановники и, наконец, под богато вышитым балдахином, несомым двенадцатью старшинами и городскими советниками, сам император в его романтическом костюме, а по левую руку и несколько позади его сын в испанской одежде, оба медленно едущие на великолепно украшенных конях, глаза сами себе не верили. Хотелось хоть на мгновение задержать волшебным заклинанием эту чудную картину; но все это великолепие неудержимо прошло, и место его заняла волнующаяся толпа народа.

Тут давка возобновилась; предстояло открыть другой проход от рынка к Ремеру и настлать мостки, по которым должна была пройти процессия, возвращаясь из собора.

Что происходило в соборе, бесконечные церемонии, подготовлявшие и сопровождавшие помазание, коронование, рыцарский удар, все это мы охотно выслушали от тех, которые пожертвовали многим другим, чтобы присутствовать в церкви.

Мы, сидя на своих местах, съели между тем скромный завтрак, потому что в этот торжественный день нашей жизни мы должны были удовольствоваться холодными кушаньями. За то из всех семейных погребов было принесено самое лучшее и старое вино, так что, по крайней мере, в этом отношении этот старинный праздник был отпразднован по-старинному.

Самою интересною вещью на площади был теперь уже готовый помост, покрытый красным, желтым и белым сукном, и мы могли любоваться тем, как император, на которого мы с восторгом смотрели, когда он ехал сперва в карете, а потом верхом на коне, шел теперь пешком; и — странное дело — последнему мы радовались больше всего, ибо нам казалось, что этот способ выступать перед народом был и самым естественным, и самым достойным.

Старики, которые присутствовали при короновании Франца Первого, рассказывали, что красавица Мария Терезия смотрела на это торжество из балконного окна дома Фрауенштейнов, тотчас рядом с Ремером. Когда ее супруг в своем оригинальном одеянии вышел из собора и явился, так сказать, в виде призрака Карла Великаго, он как бы в шутку поднял вверх обе руки,

показывая ей державу, скипетр и удивительные перчатки, на что она разразилась долгим смехом. Это очень понравилось всему присутствующему народу, который таким образом удостоился своими глазами видеть добрые и простые супружеские отношения высочайшей четы. Когда же императрица, приветствуя своего супруга, взмахнула платком и сама громко крикнула ему «виват», то энтузиазм и восторг народа достиг крайних пределов, и радостным крикам не было конца.

Вот колокольный звон и появление головы длинной процессии, медленно идущей по пестрому помосту, возвестили, что все уже сделано. Внимание было напряжено более, чем когда-либо, в особенности среди нас, которым процессия была видна яснее прежнего, потому что она теперь направлялась прямо к нам.

Мы видели всю ее, равно как и всю переполненную народом площадь — как на рисунке. В конце концов вся эта роскошь стеснилась в одно место; посланники, наследственные чины, император и король под балдахином, три духовных курфюрста, присоединившиеся к ним, старшины и советники в черных платьях, вышитый золотом балдахин — все это казалось одною массою, которая двигалась одною волею в великолепной гармонии и, выступая из храма при звоне колоколов, сияла перед нами, как святыня.

Политически-религиозные торжества имеют бесконечную прелесть. Мы видим здесь перед собою земное величие, окруженное всеми символами своего могущества; преклоняясь перед величием небесным, оно уясняет нам общность того и другого, потому что и отдельная личность может осуществлять свое родство с божеством только через подчинение и поклонение ему.

Ликование, загремевшее на рыночной площади, распространилось и на большую площадь; неистовый «виват» раздался из тысяч и тысяч глоток и, конечно, от сердца, ибо действительно этот великий праздник должен был послужить залогом прочного мира, которым Германия была осчастливлена на многие годы.

За несколько дней перед тем публично было объявлено, что ни помост, ни орел над фонтаном не будут отданы народу, как прежде бывало, и что их нельзя трогать. Это было сделано для предотвращения несчастий, неизбежных, если бы народ устремился на эти предметы. Но, чтобы принести какую-нибудь жертву духу толпы, сзади процессии шли особые лица, которые снимали сукно с помоста, свертывали его в свитки и бросали в воздух. Вследствие этого не произошло, правда, никакого

несчастия, но возникло смешное замешательство: сукно развертывалось в воздухе и, падая, покрывало большее или меньшее число людей. Те, которым удавалось схватить сукно за концы, тянули их к себе, придавливали попавших под него к земле, распутывали и пугали их, пока те не вырывались, продрав или прорезав сукно, и каждый уносил какой-нибудь обрывок этой ткани, освященной стопами их величеств.

Я недолго смотрел на эту дикую потеху, но поспешил спуститься по разным лесенкам и переходам на большую лестницу Ремера, где должна была пройти и знатная, и великолепная толпа, на которую мы любовались издали. Давка была невелика, потому что входы в ратушу хорошо охранялись, и мне удалось пробраться непосредственно до железных перил. Главные действующие лица прошли теперь мимо меня, тогда как свита осталась в нижних сводчатых коридорах, и я мог рассмотреть их со всех сторон на трех поворотах лестницы и наконец совсем близко.

Наконец поднялись и их величества. Отец и сын были одеты одинаково, как Менехмы [136]). Великолепно было облачение императора из пурпурного атласа, богато украшенного жемчугом и драгоценными каменьями; его корона, скипетр и держава также поражали взор: все было ново, но со вкусом подражало старому. В этом своем одеянии он шел вполне непринужденно, и на его простом и величественном лице можно было прочесть выражение императора и отца.

Молодой король, напротив, с трудом нес на себе просторные одежды и регалии Карла Великого, как маскарадный костюм, и, от времени до времени взглядывая на отца, не мог удержаться от улыбки. Корона, под которой пришлось много подложить, высилась на его голове, как нависшая крыша. Мантия и нагрудник, как ни хорошо были они прилажены и нашиты, также не производили выгодного впечатления. Скипетр и держава были изумительны, но нельзя было отрицать, что впечатление было бы благоприятнее, если бы они украшали более мощную и соответствующую костюму фигуру.

Едва двери большой залы закрылись за этими особами, я поспешил на свое прежнее место, которое мне удалось отстоять не без труда, так как оно было уже занято другими. Я занял свое место у окна как-раз во-время, потому что теперь должно было произойти самое замечательное из всего, что можно было видеть публично.

Весь народ смотрел на Ремер, и повторяющиеся крики «виват» давали понять, что император и король в своем облачении показались народу в балконном окне большой залы. Но не они одни составляли зрелище: перед их глазами также должно было

разыграться странное зрелище. Красивый, стройный наследный маршал вскочил перед толпою на коня. Он снял свой меч; в правой руке у него была серебряная мера с ручкою, а в левой— жестяная лопаточка. Он проехал к большой куче овса, сунул в него лопаточку, насыпал полную мерку с верхом, снял лишнее и величественно уехал. Императорская конюшня теперь была снабжена овсом. Затем выехал туда же наследственный камергер за тазиком, рукомойником и полотенцем. Более забавен для толпы был наследственный стольник, который приехал за куском жареного быка. Он также проехал с серебряным блюдом за загородку к досчатой кухне и вскоре выехал с покрытым блюдом, направляясь к Ремеру. Очередь дошла до наследственного виночерпия, который проехал к фонтану за вином. Теперь императорский стол был обеспечен, и все взоры обратились на наследственного казначея, который должен был разбрасывать деньги.

Он также сел на красивого коня, у коего по обе стороны седла вместо кобур для пистолетов были прикреплены два великолепных кошелька с вышитым на них гербом курфиршества Пфальцского. Едва только он поехал, как опустил руки в эти кошельки и щедро стал сыпать направо и налево золотые и серебряные монеты, весело сверкавшие в воздухе, как металлический дождь. Тотчас же тысячи рук замелькали в воздухе, ловя эти дары; когда же монеты падали вниз, то толпа бросалась на землю и боролась из-за упавших денег. Так как это движение с обеих сторон все время повторялось по мере того, как казначей ехал вперед, то зрелище это представлялось весьма забавным. Когда в заключение он бросил и самые кошельки, то свалка дошла до наибольшего напряжения; каждому хотелось завладеть еще и этим высшим призом.

Их величества ушли с балкона. Теперь надо было еще раз принести жертву черни, которая в таких случаях предпочитает силою расхватать дары, чем принять их спокойно и с благодарностью.

В более суровые и грубые времена господствовал обычай отдавать на произвол народа овес, как только наследственный маршал возьмет свою часть, фонтан и кухню, как только виночерпий и стольник исполнят свое дело. Но на этот раз, для избежания несчастий, во всем соблюдали, по возможности, порядок и меру. Однако старые злорадные шутки проявились и здесь. Едва кто-нибудь набирал мешок овса, другой прорезывал ему дыру в мешке, и т. п. Из-за жареного быка произошла, как и прежде, более серьезная свалка. Его можно было взять только целиком. Как обыкновенно, образовались две враждебные партии, цехи мясников и погребщиков, которые

требовали, чтобы огромное жаркое досталось одной из них. Мясники полагали, что наибольшие права на быка принадлежат им, потому что они доставили на кухню целого быка; погребщики же основывали свои притязания на том, что кухня была выстроена рядом с местопребыванием их цеха, и на том, что и в прошлый раз победа осталась за ними, в знак чего из решетчатого верхнего окна дома их цеховых собраний до сих пор выставлялись рога отданного им быка. У обоих многочисленных цехов было помногу крепких и сильных сочленов: кто одержал на этот раз победу, я уже не помню.

Как обыкновенно, торжества этого рода заканчиваются чем-нибудь опасным и страшным, — так и теперь настал поистине страшный момент, когда сама деревянная кухня отдана была в жертву народу. Крыша ее тотчас же была усеяна людьми, неизвестно как взобравшимися на нее; толпа срывала и кидала доски, так что, особенно издали, казалось, что каждая из них убьет несколько человек из теснящихся вокруг. В одно мгновение крыша была снята; лишь отдельные люди висели на стропилах и балках, чтобы и их вырвать из соединения; несколько человек качались еще наверху, когда столбы внизу были уже подпилены и весь остов сарая закачался и грозил обрушиться. Нервные люди отворачивались, и каждый ожидал большого несчастья; однако, не слышно было ни о каких увечьях и, несмотря на поспешность и насильственность, все обошлось благополучно.

Всем было известно, что император и король уйдут из кабинета, в который они вошли с балкона, и будут обедать в большой зале Ремера. Уже за день тому назад можно было любоваться приготовлениями к этому, и теперь я страстно желал по возможности заглянуть туда. Привычными путями я пробрался снова на большую лестницу, прямо против которой находится дверь в залу. Здесь я глазел на знатных особ, которые сегодня оказались слугами главы государства. Мимо меня прошли сорок четыре графа, все великолепно одетые, неся кушанья из кухни, так что контраст их высокого положения с их действиями мог положительно сбить с толку мальчика. Давка была не особенно велика, но, по причине малого пространства, весьма заметна. Дверь в залу охранялась часовыми, но относящиеся к делу лица часто входили и выходили. Я заметил одного пфальцского придворного официанта и обратился к нему: не может ли он ввести меня.

Он, не долго думая и видя, что я очень прилично одет, дал мне один из серебряных сосудов, бывших у него в руках, и я попал в святилище. Пфальцский буфет стоял налево, сейчас у двери, и в несколько шагов я очутился на его возвышении по ту сторону загородки.

На другом конце залы, непосредственно у окон, на возвышении нескольких ступеней трона, сидели под балдахинами император и король в своих облачениях; позади них, на некотором расстоянии, лежали на золотых подушках короны и скипетры. Три духовные курфюрста, со своими буфетами позади, занимали места на отдельных эстрадах: курфюрст майнцкий против их величеств, трирский—справа, и кёльнский—слева. Эта верхняя часть залы имела достойный и отрадный вид, давая понять, что духовенство желало насколько возможно держать сторону государя. Наоборот, великолепно разукрашенные, но пустые буфеты и столы всех светских курфюрстов указывали на недостанок согласия, постепенно возникший в течение веков между ними и главою империи. Посланники их уже удалились, чтобы обедать в одной из соседних комнат; через это большая часть залы получила как бы призрачный вид, точно великолепное угощение было приготовлено для множества невидимых гостей. Особенно печальный вид имел большой незянятый стол посредине, где стояло много пустых кувертов: все, имевшие право сидеть здесь, ради приличия, чтобы не утратить никакой доли своего почета в этот день величайшего торжества, отсутствовали, хотя и находились в городе.

Как мои годы, так и давка не давали мне возможности особенно предаться размышлениям. Я постарался по возможности заметить все и, когда подали десерт и посланники снова вошли, чтобы оказать вежливость, я постарался выбраться на волю. У добрых соседей я закусил после полудневного поста, чтобы приготовиться к вечерней иллюминации.

Этот блестящий вечер я предполагал провести весьма приятно, потому что условился с Гретхен, Пиладом и их родственниками сойтись где-нибудь к ночи. Уже город был освещен во всех углах и концах, когда я встретил своих любезных друзей.

Я взял Гретхен под руку, мы пошли от квартала к кварталу и чувствовали себя очень счастливыми. Родственники сперва шли с нами, но потом затерялись в толпе народа. Перед домами некоторых посланников, где была устроена великолепная иллюминация (особенно отличалось курфюршество Пфальцское), было светло, как днем. Чтобы не быть узнанным, я несколько закутался, что Гретхен нашла недурным. Мы любовались разными блестящими фигурами и феерическими транспарантами, которыми посланники старались перещеголять друг друга.

Иллюминация у графа Эстергази превосходила все прочее. Наше маленькое общество было в восторге от ее идеи и исполнения, и мы хотели уже погрузиться в рассмотрение

подробностей, когда нам снова встретились родственники и заговорили о великолепном освещении, которым бранденбургский посланник разукрасил свою квартиру. Мы не поленились пройти длинный путь от Конного рынка до Заальгофа, но нашли, что над нами только злостным образом подшутили.

Заальгоф со стороны Майна представляет правильное и внушительное здание, часть же его, обращенная к городу, очень стара, неправильна и невзрачна. Маленькие окна различной формы и величины, расположенные не по одной линии и на неравных расстояниях, несиметричные ворота и двери и занятый преимущественно мелкими лавченками нижний этаж — все это составляет беспорядочный вид, на который никто не смотрит. Иллюминация следовала здесь случайно неправильной, бессвязной архетиктуре; каждое окно, каждая дверь, каждое отверстие были окружены лампочками, как это делается и в хорошо построенных домах; но здесь некрасивый и крайне безобразный фасад выставлялся вследствие этого в самом ярком свете. Может быть, это было и забавно, как шутка паяца, но не безопасно, ибо каждый мог заподозрить здесь нечто предвзятое; не даром и раньше говорили о внешнем поведении Плото, всеми, впрочем, весьма уважаемого, и так как к нему вообще все были расположены, то одобряли его и как шутника, который подобно своему королю терпеть не мог никаких церемоний. Во всяком случае, все охотно возвращались к фееричному царству Эстергази.

Высокий посланник, чтобы достойно почтить этот день, совершенно пренебрег своею невыгодно расположенною квартирою и вместо того велел украсить большую липовую эспланаду Конного рынка спереди разноцветно освещенным порталом, а позади него еще более великолепною галереею. Все очертания были обозначены лампочками. Между деревьями стояли сияющие пирамиды и шары на прозрачных пьедесталах; от дерева к дереву тянулись яркие гирлянды с висячими фонариками. Во многих местах раздавали народу хлеб и колбасы; не было недостатка и в вине. Мы с наслаждением прогуливались, группами по четыре, туда и сюда, и я рядом с Гретхен воображал себя в тех счастливых полях Элизиума, где можно срывать с деревьев хрустальные сосуды, которые тотчас наполняются желаемым вином, и стряхивать плоды, которые превращаются в любое желаемое кушанье. В конце концов мы и действительно почувствовали потребность в еде и, руководимые Пиладом, очутились в очень порядочной столовой. Там не было других гостей, так как все гуляли по улицам; тем привольнее было нам, и мы провели большую часть ночи в чувствах дружбы, любви и взаимного расположения, самым веселым и счастливым

образом. Я проводил Гретхен до ее дверей, и она поцеловала меня в лоб. Это был первый и последний раз, что она оказала мне такую ласку: к сожалению, мне не суждено было более видеть ее.

На следующее утро я лежал еще в постели, когда вошла моя мать, встревоженная и испуганная. На лице ее всегда легко выражалось всякое беспокойство, испытываемое ею.

— Вставай,—сказала она,—и приготовься к неприятностям. Выяснилось, что ты посещаешь очень дурное общество и замешан в очень опасные и скверные поступки. Отец вне себя, и мы насилу добились от него, чтобы он разобрал это дело при посредстве третьего лица. Оставайся пока в своей комнате и жди, что будет. К тебе придет советник Шнейдер с поручением от отца и от властей; дело уже началось и может принять очень дурной оборот.

Я хорошо понимал, что делу этому придавали гораздо худшее значение, чем оно имело в действительности; но все-таки я был немало обеспокоен, не желая, чтобы было открыто даже то, что соответствовало истинному положению дел.

Старый мой друг по «Мессии» наконец вошел со слезами на глазах.

Он взял меня за руку и сказал:

— Мне душевно жаль, что я прихожу к вам по такому поводу. Я никак не думал, что вы можете впасть в такое заблуждение. Но чего не может сделать дурное общество и дурной пример? Шаг за шагом молодой неопытный человек может быть доведен до преступлений.

— Я не знаю за собою никакого преступления,—возразил я,—а равно и не сознаю, чтобы я посещал дурное общество.

— Теперь нет речи об оправданиях,—перебил он меня,—а только о следствии и об откровенном сознании с вашей стороны.

— Что же вы желаете знать?—спросил я.

Он уселся, вынул лист бумаги и начал распрашивать меня.

— Не рекомендовали ли вы такого-то вашему дедушке, как клиента на такую-то должность?

Я отвечал:—Да.

— Где вы познакомились с ним?

— На прогулках.

— В каком обществе?

Я запнулся, не желая выдавать своих друзей.

— Умолчание вам не поможет,—продолжал он,—потому что все уже достаточно известно.

— Что же именно известно?—спросил я.

— Что вас свели с этим человеком другие, подобные ему, а именно такие-то —.

Здесь он назвал имена трех лиц, которых я до того никогда не видал и не знал, о чем я сейчас же заявил своему вопрошателю.

— Вы утверждаете,—продолжал он,—что не знаете этих людей, а между тем имели частые свидания с ними.

— Ни малейших,—возразил я,—как я уже сказал; кроме первого, я не знаю ни одного из них, да и первого я не встречал никогда ни в одном доме.

— Вы не бывали часто на такой-то улице?

— Никогда,—возразил я.

Это было не совсем согласно с правдой. Однажды я проводил Пилада к его возлюбленной, которая жила на этой улице, но мы только вошли через заднюю дверь и оставались в садовой беседке: поэтому я позволил себе это отрицание. Добрый старик задал мне еще несколько вопросов, на которые я каждый раз отвечал отрицательно, потому что мне действительно не было ничего известно о том, что он желал знать.

Наконец он, повидимому, рассердился и сказал:

— Вы плохо вознаграждаете меня за мое доверие и добрую волю. Я пришел, чтобы спасти вас. Вы не можете отрицать, что для этих людей или их соучастников вы писали письма, составляли сочинения и таким образом помогали им в их скверных проделках. Я пришел спасти вас; дело идет не о меньшем, как о поддельных подписях, фальшивых завещаниях, подложных долговых росписках и подобных вещах. Я пришел не только, как друг дома, но от имени и по приказанию властей, которые, во внимание к вашему семейству и вашей молодости, желали бы пощадить вас и нескольких других молодых людей, которые были завлечены подобно вам.

Мне бросилось в глаза, что среди названных им лиц не было как-раз тех, с которыми я водил компанию. Обстоятельства не совпадали, хотя и соприкасались, и я все еще мог надеяться пощадить своих молодых друзей. Но мой старик становился все настойчивее. Я не мог отрицать, что часто приходил домой поздно ночью, что я достал себе особый ключ от дома, что меня неоднократно видели в увеселительных местах с лицами низшего сословия и подозрительного вида, что в дело замешаны девушки; словом, казалось, все было открыто, кроме имен. Это придавало мне мужества стойко хранить молчание.

— Не заставьте меня уйти от вас,—сказал мой добрый друг.— Дело не терпит отлагательства; сейчас же за мною придут другие, которые не оставят вам столько простора. Не ухудшайте своим упорством дела, которое и без того плохо.

Тут я особенно живо представил себе Гретхен и ее добрых родственников, мысленно я видел, как их арестуют, допрашивают, позорят, наказывают. В то же время, как молния, пронизала меня мысль, что родственники, хотя и вели себя по отношению ко мне вполне порядочно, все-таки могли запутатьсл в некрасивые дела, особенно старший из них, который мне никогда не нравился, всегда приходил домой позднее других и рассказывал мало приятного. Я все еще воздерживался от признания.

— За собою лично,—сказал я,—я не чувствую ничего дурного и с этой стороны могу быть вполне спокоен; но возможно, что те лица, с которыми я водил компанию, провинились в каких-нибуд дерзких или противозаконных поступках. Пусть их ищут, найдут, уличат и накажут, я же до сих пор ни в чем не могу упрекнуть их и не желаю погрешить против тех, которые относились ко мне дружески.

Он не дал мне продолжать и воскликнул с некоторым волнением:

— Да, их найдут. Эти негодяи собирались в трех домах.

Он назвал улицы, обозначил дома; к несчастью, между ними оказался тот, в который я ходил.

— Первое гнездо уже обнаружено,—продолжал он,—а в эту минуту добираются и до обоих других. В течение нескольких часов все будет выяснено. Избавьте себя чистосердечным признанием от судебного следствия, очных ставок и всяких других отвратительных вещей.

Дом был назван и обозначен. Теперь я считал всякое молчание излишним; напротив, в виду невинного характера наших собраний, я мог надеяться, что признанием принесу им еще больше пользы, чем себе.

— Сядьте,—воскликнул я и отозвал старика от двери:—я все расскажу вам, чтобы облегчить и свое, и ваше сердце; прошу только одного: не сомневаться теперь в моей правдивости.

Я рассказал своему другу весь ход дела. Сперва я говорил совершенно спокойно и свободно; но чем более я вспоминал и представлял себе отдельных лиц, предметы и события и принужден был рассказывать о разных невинных радостях, разных веселых удовольствиях, как перед уголовным судом, тем более возрастало во мне болезненное чувство, так что, наконец, я разразился слезами и отдался необузданному отчаянию. Друг дома, думая, что именно теперь я готов открыть ему главную тайну (он считал мое горе за признак того, что я собираюсь против воли признаться ему в чем-то чудовищном), всячески старался успокоить меня, потому что ему важно было только мое признание. Это ему удалось только отчасти, но, во всяком случае, настолько, что я кое-как мог продолжать свою историю.

Он был доволен невинным характером случившегося, но все еще немного сомневался и предложил мне новые вопросы, которые снова взволновали меня и привели в отчаяние и ярость.

Я заверил, наконец, что мне больше нечего сказать; я хорошо знаю, что мне нечего бояться, потому что я ни в чем не виноват, принадлежу к хорошему дому и имею хорошую репутацию, но, может быть, другие обвиняемые столь же невинны, хотя их и не считают таковыми и не расположены в их пользу.

Я прибавил также, что если их не пощадят подобно мне, не отнесутся снисходительно к их глупостям и не простят их ошибок, если с ними будет поступлено хоть сколько-нибудь жестоко и несправедливо, то я наложу на себя руки, и никто мне в этом не помешает.

Мой друг постарался утешить меня и тут, но я не доверял ему и находился, когда он ушел, в ужаснейшем состоянии. Я упрекал себя в том, что рассказал все дело и вывел на свет божий все его обстоятельства. Я предвидел, что детские поступки, юношеские привязанности и доверчивость будут истолкованы совершенно иначе и что, может быть, я запутал в это дело доброго Пилада и причинил ему большое несчастье. Все эти мысли теснились одна за другою в моей душе, обостряли, усиливали мое горе, так что я, не зная куда деваться от отчаяния, бросился во всю длину на пол и оросил его слезами.

Не знаю, сколько времени я так лежал, когда вошла моя сестра, ужаснулась моему виду и сделала все возможное, чтобы поднять меня. Она рассказала мне, что чиновник магистрата внизу у отца ожидал возвращения друга дома, и, после того как они некоторое время посидели там запершись, оба вышли разговаривая с довольным видом и даже со смехом, и ей показалось, что она расслышала слова: «Ничего, дело не имеет никакого значения».

— Конечно,—вспылил я,—дело не имеет никакого значения—для меня, для нас, потому что я не сделал ничего преступного, да если бы и сделал, то меня сумели бы выручить. Но они! они!—воскликнул я:—Кто им поможет! [137]).

Сестра попыталась утешить меня аргументами, что если захотят спасти более привилегированных участников, то должны будут несколько прикрыть и проступки низших. Все это нисколько не помогло.

Как только она ушла, я снова предался своему горю и все время вызывал в своем воображении картины то своей любви и страсти, то настоящих и возможных бедствий. Я рассказывал себе сказку за сказкой, усматривал несчастье за несчастьем и в особенности несчастными представлял себе самого себя и Гретхен.

Наш друг дома посоветовал мне оставаться в своей комнате и не говорить о моем деле ни с кем, кроме домашних. Я был вполне согласен с этим, потому что охотнее всего оставался один.

От времени до времени посещали меня мать и сестра и всячески старались, как только могли, утешить меня; уже на второй день они пришли с предложением полного прощения со стороны отца, который теперь лучше ознакомился с делом. Я принял это с благодарностью, но упорно отклонил предложение пойти вместе с ним осмотреть государственные регалии, которые теперь показывались любопытным, и сказал, что не хочу знать ничего ни о Римской империи, ни обо всем мире, пока не узнаю, чем окончилось для моих несчастных знакомых те отвратительные дрязги, которые не будут иметь для меня никаких последствий. Они на этот счет не могли ничего сказать и оставили меня одного. Но в следующие дни было сделано еще несколько попыток извлечь меня из дома и побудить принять участие в публичных торжествах. Напрасно. Ни большой парадный день, ни все, что произошло при различных повышениях, ни публичный обед императора и короля,—ничто не могло меня тронуть.

Пусть курфюрст пфальцский сделал визит обоим государям, пусть они посетили курфюрста, пусть произошел съезд к последнему заседанию курфюрстов,—ничто не могло вызвать меня из моего горестного уединения. Я не обратил внимания ни на звон колоколов при благодарственном празднестве, ни на поездку императора и не сделал ни шагу из своей комнаты. Последняя канонада, как оглушительна она ни была, также не поразила меня, и как рассеялся пороховой дым и умолк гром пушек, так и все это великолепие исчезло из моей души.

Мне не хотелось теперь ничего другого, как все время пережевывать свое горе и тысячекратно разнообразить его игрою воображения.

Вся моя изобретательность, вся моя поэзия и риторика сосредоточились на этом больном пункте и угрожали именно этою своею жизненною силою погрузить тело и душу в неизлечимую болезнь. В таком печальном состоянии ничто не представлялось мне желательным, достойным достижения. Правда, иногда меня охватывало бесконечное стремление узнать, что делается с моими бедными друзьями и моею возлюбленною, что оказалось при ближайшем исследовании, насколько они замешаны в преступление или оказались невинными. И это я подробно расписывал себе в различнейших видах, при чем они неизменно оказывались невинными и глубоко несчастными. То желал я освободиться от этой неизвестности и писал резкие угрожающие

письма нашему другу дома, чтобы он не скрывал от меня дальнейшего хода дела; то я снова разрывал эти письма, боясь узнать свое несчастье в полном объеме и лишиться фантастического утешения, которое попеременно то мучило, то подкрепляло меня.

Так проводил я дни и ночи в величайшей тревоге, то в бешенстве, то в утомлении, так что, наконец, почувствовал себя счастливым, когда наступила довольно сильная физическая болезнь, так что пришлось позвать врача и подумать о том, как бы меня успокоить.

В надежде достигнуть этого, меня свято уверяли, что все, более или менее замешанные в этом обвинении, пользуются самым деликатным обхождением, что мои ближайшие друзья, почти совершенно невинные, отпущены с легким выговором, а Гретхен уехала из города и возвратилась на свою родину. Последнее известие от меня скрывали долее всего, и оно мне не особенно понравилось, потому что я не мог видеть в этом добровольного отъезда, а лишь постыдное изгнание. Мое телесное и душевное состояние от этого не улучшилось: мне стало только еще хуже, и я долгое время, сам себя терзая, сочинял причудливый роман с печальными событиями и неизбежно трагической катастрофой.

Перевел с немецкого
Н. А. Холодковский

ПРИМЕЧАНИЯ К «ПОЭЗИИ И ПРАВДЕ» ГЁТЕ

Когда шестидесятилетний Гёте в 1809 году начал писать свою автобиографию, он не имел в своем распоряжении дневника, потому что стал вести таковой лишь после переезда в Веймар, то-есть с того момента, на котором обрывается его повествование. В отдельных случаях он пользовался беглыми заметками о своих путешествиях, а в иных—перепиской со своими друзьями и близкими. Некоторый материал он почерпнул из рассказов тетки Иоганны Марии, а также из писем к нему Беттины фон Арним, рожденной Брентано, записавшей со слов матери Гёте многие эпизоды его детских годов. Переписка Гёте с Беттиной фон Арним в 1834 году была опубликована отдельным томом под заглавием «Переписка Гёте с ребенком».

К странице 11.

1) Заглавие «Правда и поэзия» («Wahrheit und Dichtung») предложено было Гёте его секретарем Римером. Гёте принял совет своего секретаря, но изменил первоначальную редакцию, переставив слова для избежания столкновения двух «d» в немецком тексте. Первый том автобиографии вышел в свет в 1811 году в издании книгопродавца Котта, Тюбинген. По смерти Гёте восстановлена была первая редакция названия автобиографии, и она печаталась до 50-х годов под заглавием «Правды и поэзии».

2) Полное собрание сочинений Гёте, вышедшее в свет между 1806 и 1808 годом, состояло из 12 томов. Тринадцатым томом издано было в 1810 году «Сродство душ».

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. КНИГА ПЕРВАЯ.

К странице 15.

3) Эпиграф, помещенный под заглавием книги, взят из греческого автора Менандра.

4) Крещение Гёте, согласно «Франкфуртским Известиям», состоялось в пятницу 29 августа 1749 года. Рождение Гёте было очень тяжелым для его восемнадцатилетней матери. Вследствие неумелого обращения акушерки дитя появилось на свет посиневшим, почти без всяких признаков жизни.

К странице 16.

5) Младшая сестра Гёте, Корнелия, родившаяся 7 декабря 1750 года.

6) Об этом эпизоде Беттина фон Арним рассказывает в своей книге «Переписка Гёте с ребенком» (1834) со слов матери Гёте следующее: «Кухня в доме Гёте выходила на улицу. Однажды в воскресенье утром, когда все были в церкви, маленький Вольфганг забрался туда и стал швырять посуду из окна к великой радости соседских мальчиков, которые всячески его поощряли к этому. Мать, возвратившись из церкви, была неприятно удивлена, увидев гибель большого количества посуды. Мальчик только-что кончил свою работу и так радостно хохотал вместе с соседями на улице, что раздосадованная мать в конце концов только могла присоединится к их смеху».

К странице 18.

7) Отец Гёте предпринял в 1740 году путешествие в Италию.

8) Знаменитый итальянский художник Джамбаттиста Пиранези составил в 1756 году роскошный альбом старинных римских построек и памятников с их описанием.

9) Ария Метастазио, итальянского поэта и либреттиста (1698—1782).

К странице 19.

10) Кукольный театр еще поныне хранится во франкфуртском доме Гёте. Игрушка эта была подарена детям бабушкой на рождество 1753 г. Все, что рассказывается в „Годах учения Вильгельма Мейстера» о кукольном театре, основано на собственных воспоминаниях детства Гёте.

11) Бабушка Гёте скончалась в марте 1754 года, 86 лет от роду.

12) Постройка дома была начата в 1755 году. Во франкфуртской городской библиотеке хранится сочинение восьмилетнего Гёте, описывающее на немецком и латинском языках закладку дома.

К странице 21.

13) Заальгоф первоначально было зданием судебных учреждений, а затем королевским дворцом.

К странице 22.

14) Намек на роман Лесажа „Хромой бес".

15) Франкфуртская ратуша. Происхождение названия «Ремер» не выяснено.

К странице 23.

16) „Золотая булла" была обнародована Карлом IV на рейхстагах в Нюрнберге и Меце в 1356 году. Судебник Карла V, устанавливал порядок уголовного судопроизводства и для Франкфурта.

17) Гюнтер фон Шварцбург, избранный некоторыми курфюрстами в 1349 году, в противовес Карлу IV, императором, умер 18 июня того же года во Франкфурте, отказавшись перед смертью от своих притязаний на императорскую корону.

К странице 24.

18) Аахенским миром закончилась 17 октября 1747 года австрийская война за престолонаследие.

19) В сражении при Деттингене 27 июня 1743 года союзные австрийцы и англичане разбили французов, поддерживавших Карла VII.

20) Франкфуртская ярмарка причислялась к семи чудесам Германии. Чудеса эти—хор в кельнском соборе, часы в Страсбурге, орган в Ульме, механические изделия Нюрнберга, здания Аугсбурга, библиотека в Майнце.

К странице 25.

21) «День проводов» всегда совпадал с четвергом после 1-го сентября, а осенняя ярмарка начиналась 8-го сентября.

К странице 26.

22) Судный день «дудошников» получил свое название от того, что ни один публичный акт в Германии не обходился без участия трубачей и «дудошников». При участии музыкантов проходила также и церемония освобождения от податей значительных торговых городов.

К странице 28.

23) Постройка дома закончилась осенью 1755 года.

К странице 29.

24) Кейслер и Немейц—популярные в XVIII веке авторы путеводителей. Советник Гёте жаловался на большое количество опечаток у Немейца и пытался, на основании собственного опыта, исправить приводимые им данные и древние надписи.

К странице 30.

25) Зеекатц является автором пастушеской сцены, изображающей семью Гёте и написанной в 1762 году. Картина эта хранится теперь в веймарском национальном музее Гёте.

26) Лисабонское землетрясение, происшедшее 1-го ноября 1755 года, произвело глубочайшее впечатление на весь культурный мир. Беттина фон Арним в своей книге «Переписка Гёте с ребенком» рассказывает следующее о впечатлении, произведенном этой катастрофой на Гёте: «Маленький Вольфганг не имел после этого события ни одной спокойной минуты! Бушующее море, которое в мгновение поглотило корабли и затем выступило из берегов, чтобы затопить огромный королевский дворец, разрушить высокие башни, море огня, объявшее город, тучи демонов, восставшие из недр земли—все это произвело на мальчика глубочайшее впечатление». Гёте воспользовался для своей автобиографии этим описанием, несколько смягчив его пафос.

К странице 31.

27) Отец Гёте стал изучать право под руководством своего друга юности, юриста Зенкенберга; в начале 30-х годов он поступил в Лейпцигский университет, затем работал при имперском суде в Вецларе и только после этого в 1738 году защитил свою диссертацию в Гиссене.

К странице 32.

28) «Хрия»—сочинение на заданное философское изречение, в заранее указанных рамках.

К страницам 32 и 33.

29) Целлариус (Келлер)—автор латинской грамматики и латинско-немецкого словаря. Пазор—автор греко-латинскаго словаря к новому завету.

К странице 34.

30) «Orbis pictus», «Живописный мир» знаменитого педагога Комениуса (1657)—энциклопедия для наглядного обучения детей. Комениус—латинизованная славянская фамилия Коменский.

31) «Хроника» Готфрида—одно из известнейших исторических сочинений XVII столетия. По этой книге так же, как и по библии, Гёте научился читать. Книга эта несомненно повлияла и на выработку его прозаического стиля. Автором «Хроники» является Иоганн Филипп Абелин (Готфрид—псевдоним.).

К странице 34.

32) «Acerra philologica»—точный перевод: «Филологическая шкатулка для ладана», название, часто встречающееся как заглавие сборников греческих и латинских авторов. Данный сборник Петра Лауремберга содержал «двести избранных, полезных, веселых и памятных историй, дискурсов из знаменитейших греческих и латинских скрибентов».

33) «Телемак» Фенелона написан в 1717 году, а на немецкий язык переведен в 1727—1739.

34) «Робинсон Крузо» Даниеля Дефо (1714 год). Немецкий перевод появился в 1720 году.

35) «Остров Фельзенбург» И. Г. Шнабеля—(1731—1743)—немецкое подражание роману Дефо.

36) «Кругосветное путешествие лорда Ансона» появилось в Лондоне в 1748 году. Первый до сих пор известный немецкий перевод относится к 1763 году и, следовательно, в описываемый период не мог быть знаком Гёте.

К странице 35.

37) Среди народных сочинений, которые перечисляет Гёте, к удивлению, мы не находим знаменитой книги о докторе Фаусте, и до сих пор остается неизвестным, когда поэт впервые познакомился с ним.

38) Предохранительная прививка человеческой оспы была распространена еще в древности на востоке, а с начала XVIII столетия стала также известной и в Англии.

К странице 36.

39) Чета Гёте имела кроме Иоганна-Вольфганга еще пятерых детей:

1. Дочку Корнелию, о которой говорилось выше.

2. Сына Германа-Якова, родившегося 27 ноября 1752 года и умершего 13 января 1759 года.

3. Дочь Катарину-Елизавету, родившуюся 9 сентября 1754 г. и умершую в декабре 1755 года.

4. Дочь Иоганну-Марию, родившуюся 9 марта 1757 года и умершую 11 августа 1759 года.

5. Сына Георга-Адольфа, родившегося 15 июня 1760 года и умершего 18 февраля 1761 года.

Трое детей умерли от эпидемий, свирепствовавших во Франкфурте. Из них Вольфганг Гёте помнил только двоих—Германа-Якова и «красивую, милую девочку» Иоганну-Марию. Беттина фон Арним рассказывает, что мальчик не пролил ни единой слезы по умершем брате. Когда же его спросили, неужели он не любил своего брата, Гёте в ответ достал из-под своей кровати большое количество исписанных листков и заявил, что это все уроки и истории, которые он сочинил, чтобы обучать своего брата.

К странице 37.

40) Алкиной и Лаэрт — герои гомеровского эпоса. С Лаэртом, отцом Одиссея, Гёте сравнивает своего деда, так как и Лаэрт работал, по описанию Гомера (Одиссея, 24 песня), надев рукавицы, чтобы защитить свои руки от укола терновника. Современники описывают деда Гёте, как человека необычайно аккуратного в исполнении своих обязанностей, в полном соответствии с тем, что рассказывает о нем его внук.

К странице 39.

41) Вторая дочь старосты, Иоганна-Мария, была замужем с 1751 года за купцом Мельбером. Она сообщила Гёте немало ценного материала для его автобиографии.

К странице 40.

42) Вторая тетка Гёте Анна-Мария (1738—1794) была замужем за лютеранским пастором магистром Штарком. В противоположность своей сестре Иоганне-Марии она отличалась спокойным и ровным характером.

43) Иоганн-Михаэль фон Лоэн внучатный дядя Гёте. О нем подробнее говорится во второй книге автобиографии.

КНИГА ВТОРАЯ.

К странице 43.

44) Первая книга охватывает семь мирных годов (1749—1756). Последующие четыре книги содержат описание событий Семилетней войны. Во второй книге описываются первые два года этой войны (1757 и 1758). Население Франкфурта разбилось на две партии—австрийскую и прусскую. Распри между обеими партиями были настолько сильны, что франкфуртский городской совет счел необходимым выпустить 23 сентября 1756 года эдикт, запрещавший печатание каких бы то ни было брошюр, касающихся военных событий.

К странице 44.

45) Трагедия Шекспира «Ромео и Джульетта» начинается столкновением приверженцев двух враждующих родов.

К странице 45.

46) Граф Даун—австрийский фельдмаршал.

К странице 46.

47) Под именем Пилада Гёте упоминает об одном из своих друзей детства, о котором будет еще речь подробнее в пятой книге. Так как Гёте не считает нужным сообщить его настоящее имя, то можно предположить, что поэт слил воедино черты нескольких друзей своего детства.

К странице 47.

48) Любовь к сказкам Гёте унаследовал от своей матери. Маленький Гёте с жадностью слушал ее сказки, дополняя их сам, где они обрывались. В последний период своей жизни он написал несколько сказок, принадлежащих к высшим образцам мастерства. К последним надо отнести и сказку о «Новом Парисе».

49) Сказка «Новый Парис» написана в 1811 году и едва ли содержит мотивы детской фантазии. Сказка эта имеет глубокий символический смысл. «Новый Парис» это—поэт, который через потайные врата входит в царство вымысла.

К странице 59.

50) Уже в первой книге Гёте рассказывает, что он с сестрой на время постройки нового дома были отданы в общественную школу. Но в виду недоверия отца к тогдашним учителям, маленький Гёте недолго посещал школу и скоро перешел на домашнее обучение. В совместных занятиях принимали участие и соседские дети, и до настоящего времени сохранились учебные тетрадки Гёте, относящиеся к 1757 и 1758 году, то-есть

к периоду, описываемому во второй книге. Что касается обращения учителей с ним, которое сам Гёте называет «весьма неласковым и неуклюжим», и того обстоятельства, что учение это сопровождалось «ударами и пинками», то Гёте впоследствии, в письме к своему другу Цельтеру, утверждал, что в данном случае он передавал не вымысел, а правду. Беттина фон Арним со слов матери Гёте рассказывает, что мальчик отличался необычайно развитым чувством собственного достоинства, внушавшим всем, кому приходилось иметь с ним дело, особое к нему уважение.

К странице 61.

51) Старонемецкая пословица.

52) Дед Гёте с отцовской стороны, Фридрих Георг Гёте, был портным, а с 1705 года владельцем гостиницы в Вейденгофе.

К странице 62.

53) Советник Шнейдер, верный друг семьи, учился вместе с отцом Гёте в Лейпциге.

К странице 64.

54) Три исповедания были—протестантское, реформатское и католическое. Господствующей религией была протестантская. О гражданах иудейского вероисповедания Гёте совсем не упоминает, так как их исповедание было только терпимым.

К странице 65.

55) Отец Гёте возвратился из своих путешествий осенью или зимой 1740 года. Его ходатайство о предоставлении места относилось, вероятно, к 1741 году, ибо звание императорского советника он получил уже в мае 1742 года по случаю коронования Карла VII.

56) Старшина Уффенбах был поэтом. Гёте знал Уффенбаха глубоким стариком, так как в 1757 году последнему было уже за 70 лет.

57) Барон фон Гекель был полковником австрийской службы и одним из наиболее зажиточных граждан Франкфурта. Он имел довольно большое собрание картин голландских мастеров. Некоторыми купленными у него на аукционе предметами Гёте обладал еще в момент составления своей автобиографии.

К странице 66.

58) Иоганн-Михаэль фон Лэн был известен. как весьма разносторонний писатель. Ему принадлежит ряд сочинений по вопросам истории, эстетики, морали, политики и религии. В своем романе «Судьбы графа фон Ривера» (1740) он воплотил свой жизненный идеал. Герой этого романа — дворянин, одаренный всеми добродетелями и мудростью, доступной человеку. Книга «Единственная истинная религия» вышла в 1750 году.

59) Арест Вольтера произошел в 1753 году. Более подробно об этом эпизоде рассказывается в 15 книге «Поэзии и правды».

К странице 67.

60) Комментарии к «Франкфуртской реформации» доктора Орта представляют обширный труд в шесть томов. Труд этот выходил в течение сорока лет (1731—1774).

К странице 69.

61) В описании семьи Зенкенбергов Гёте делает ошибку, приписывая черты второго брата третьему. Именно второй брат Иоганн-Христиан был врачом и благодетелем франкфуртского населения.

К странице 69.

62) Карл-Фридрих фон Мозер принадлежал к писателям религиозного направления. В период, описываемый во второй книге автобиографии, а именно в 1758 году, он написал свою знаменитую книгу «Господин и слуга». Книга эта имела большое влияние на немецкое общество середины 18 столетия.

К странице 70.

63) Об этих поэтах см. примечания к дальнейшим томам.

64) Первый том «Мессиады» Клопштока вышел в 1751 году, и конфликт, произошедший в доме Гёте, является миниатюрным отражением той борьбы, которая расколола весь немецкий литературный мир.

К странице 71.

65) Стихи, приводимые в тексте, взяты из седьмой песни «Мессиады».

КНИГА ТРЕТЬЯ.

К странице 72.

66) Третья книга описывает события от 1759 по 1761 год. Книга эта начинается описанием оккупации Франкфурта французами, союзниками австрийцев, благодаря попустительству австрийской партии во главе со старостой Текстором, дедом Гёте. События эти рассказаны Гёте с полным сохранением исторической правды. В изложении же своих воспоминаний о французском театре Гёте забегает вперед, включая в эту книгу эпизоды, имевшие место несколько лет спустя.

К странице 73.

67) Франсуа де Тэа, граф де Торан, королевский лейтенант, был начальником полиции во время занятия французами Франкфурта. Он родился в 1719 году. Как известно, эпизоды из «Поэзии и правды», в которых действующим лицом является граф Торан, послужили фабулой популярной немецкой комедии «Королевский лейтенант» Гуцкова. Торан прожил в доме Гёте два года (от 1759 по 1761). Новейшие исследования подтвердили во всех мельчайших деталях его характеристику, сделанную Гёте.

К странице 75.

68) Под герцогом Оссунья Гёте разумел вице-короля Сицилии и Неаполя, часто упоминаемого во французских мемуарах XVI и XVII столетия. Герцог Оссунья прославился своим едким сарказмом и остроумными словечками.

К странице 76.

69) О перечисляемых Гёте франкфуртских художниках подробно говорится в книге его друга детства Гьюсгена «Известия о франкфуртских художниках и художественных делах» (1780). Книгой этой Гёте пользовался при составлении своей автобиографии, многие характеристики его совершенно совпадают с «известиями» Гьюсгена. Наибольший исторический интерес представляют работы Зеекатца. Картины этого художника, изображающие жизнь Иосифа, сохранились до нашего времени. На одной из них в фигуре юного Иосифа усматривают портрет самого Гёте. Почти все картины, заказанные графом Тораном франкфуртским художникам, были найдены у одного из его потомков. Теперь они размещены во франкфуртском доме Гёте.

К странице 78.

70) По истории французского театра в Семилетнюю войну не имеется более точных исторических данных, чем те, которые содержатся в автобиографии Гёте. Имена актеров, список пьес, театральные афиши затерялись совершенно. Известно только, что спектакли происходили в мало приспособленном зале у Конной площади. Мальчик Гёте уже и до французской оккупации посещал театральные представления, поэтому описание первых впечатлений, полученных им в театре, надо отнести ко времени несколько более раннему, чем 1759 год.

К странице 79.

71) Из числа французских пьес Гёте приводит комедии в стихах Детуша, Мариво и Ла-Шоссе. О Мариво Гете подробно говорит в примечаниях к «Племяннику Рамо». Ла-Шоссе считается основателем французской трогательной «слезливой» комедии (Le comique larmoyant), «Гипермнестра» Лемиерра была действительно новинкой и появилась в Париже лишь в 1758 году.

«Le Devin du Village»—знаменитая опера Руссо.

«Rose et Colas» — текст Сэдена, музыка Монсиньи и Гретри. Этот водевиль был дан в Париже лишь в 1764 г. В этом случае Гёте несколько изменила память, так что свое более позднее знакомство с водевилем он отнес к слишком раннему периоду. «Anette et Lubin» — оперетта госпожи Фавар, поставленная в Париже впервые в 1762 году и, следовательно, в 1759 году еще незнакомая Гёте.

72) Фамилия «Дерон», повидимому, придумана Гёте. По крайней мере, не удалось еще подтвердить исторически существование такой семьи.

К странице 81.

73) Против обычая размещать зрителей на просцениуме восставал в свое время Вольтер.

74) «Отец семейства» Дидро, — комедия, переведенная на немецкий язык Лессингом в 1760 году и особенно восхваляемая им.

75) «Философы» Палиссо — пьеса, поставленная впервые в Париже 2 мая 1760 года. Пьеса представляет собою сатиру, направленную против Дидро и Руссо. Автор высмеивает естественную философию Руссо. Гёте впоследствии упоминает об ней в примечаниях к «Племяннику Рамо», называя эту пьесу-сатиру «обращением к пошлости».

К странице 83.

76) Немецкая пословица, встречающаяся впервые в XVI столетии.

77) Французский военачальник, разбитый при Росбахе.

78) Маршал Брольо принимал участие в том же сражении под начальством принца Субиза, проявив при этом бо́льшую воинскую доблесть. Брольо оставался в течение трех лет во Франкфурте, в качестве главнокомандующего, и граф Торан предлагал городу поставить ему памятник на одной из площадей, но предложение это не было принято городским управлением.

К странице 84.

79) Сражение при Бергене 13 апреля 1759 года на гессенской территории к востоку от Франкфурта, окончившееся поражением пруссаков.

К странице 85.

80) Обычай спрашивать уколом иглы оракул Гёте объясняет в примечаниях к «Дивану». Этот весьма распространенный обычай заключался в том, что брали какую-либо важную книгу и погружали между листами ее иголку. Потом раскрывали ее на том месте, где находилась иголка, и вычитывали оттуда ответ на волнующий вопрос. Под «шкатулкой с драгоценностями» следует разуметь собрание нравственных и религиозных изречений Богацкого. К тому же способу гадания мать Гёте прибегла во время тяжелой болезни ее сына.

К странице 90.

81) «Мисс Сара Сампсон», гражданская трагедия Лессинга, была тогда еще новинкой, так как вышла в свет в 1755 году.

«Лондонский купец» (The London Merchaht) Лилло. Одна из наиболее популярных пьес того времени.

«Проделки Скапена» — комедия Мольера, по образцу которой Гёте впоследствии написал свою пьесу «Шутка, хитрость и месть».

К странице 91.

82) Пирон (1639—1773) пользовался для своих пьес главным образом мифологическими сюжетами.

83) «Panteon Mythicum» Помея. Учебник мифологии для школ (Лион. 1659).

84) Принцип трех единств (места, времени и действия) играл огромную роль во французской эстетике XVII и XVIII столетия. Лессинг уделяет ему значительное внимание в своей «Гамбургской драматургии».

К страннце 95.

85) Граф Торан в 1763 году действительно получил место губернатора Сан-Доминго, но умер он на своей родине, в городке Грас в 1794 году. Все картины, заказанные им франкфуртским художникам и пересланные брату, теперь вновь собраны в Гётевском музее, помещающемся в доме поэта. Новые жильцы, о которых упоминает Гёте, семья Мориц, переехали в отцовский дом Гёте летом 1761 года. Граф Торан не сразу покинул Франкфурт, а оставался еще там до начала 1763 года.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ.

К странице 96.

86) Книга четвертая описывает события 1762 года. Она имеет чрезвычайно важное значение в автобиографии Гёте, так как излагается ход его разносторонних научных занятий. В этой кииге мы знакомимся с целым рядом франкфуртских граждан, снискавших себе уважение своей ученостью и заслугами в области общественной деятельности, а также с учителями юноши.

87) Легационный советник Мориц оказал влияние на развитие математических способностей Гёте. В зрелые годы Гёте чувствовал необходимость пополнить свои знания в этой области и брал в Иене уроки алгебры.

К странице 97.

88) «Аффекты» Лебрена — сборник образцов для копирования, изображающих человеческое лицо в моменты напряжения и страсти. Сборник этот появился в 1704 году в немецком переводе под заглавием «Опыты,

как художник должен изображать различные страсти человека». Гёте называет эти листы «карикатурами», так как рисунки Лебрена чрезмерно подчеркивали характер выражения человеческого лица, меняющегося под влиянием тех или иных переживаний.

К странице 97.

89) Пьяцетта — художник венецианской школы XVIII столетия.

К странице 98.

90) До нас не дошло имя первого учителя музыки Гёте. Во «Франкфуртских Известиях» в начале 1762 года некто Шенек предлагал свои услуги всем желающим изучить игру на фортепиано. Объявление это носило шарлатанский характер. Шенек оказался впоследствии кондитером, никакого отношения к музыкальному искусству не имеющим. Был ли он музыкальным наставником детей в семье Гёте, в точности не известно, но, повидимому, детям пришлось иметь дело с подобным же шарлатаном. Кроме игры на фортепиано Гёте учился еще играть и на виолончели. Он на всю жизнь сохранил любовь к музыке, хотя и не достиг каких-либо результатов в изучении техники игры.

91) Любовь императора Максимилиана к живописи подтверждается и тем интересом, какой он питал к двум великим мастерам своего времени, Дюреру и Гольбейну. Но неизвестно, на какое именно постановление этого императора ссылается Гёте.

К странице 100.

92) Электрические машины были известны уже в 40-х годах XVIII столетия. Во Франкфурте некий швейцарский гражданин привез в 1754 году электрические машины для лечебных целей, а в начале 1757 года читались в аудитории гимназии публичные лекции по экспериментальной физике, на которых демонстрировались электрические машины.

К странице 101.

93) Инструменты фирмы Фредерици считались лучшими фортепиано своего времени и завоевали себе господствующее положение на музыкальном рынке.

94) Клавир (Клавихор) — предшественник фортепиано с металлическими штифтиками вместо молоточков.

К странице 102.

95) Изучение английского языка подвигалось у Гёте весьма успешно, и он настолько освоился с этим языком, что свободно переводил даже трудные тексты.

К странице 103.

96) «Роман на семи языках» Гёте в своих автобиографических заметках относит к 1750 году. Но здесь произошла явная описка, и дату эту надо читать «1760». Из юношеских работ Гёте до нас дошли также и упражнения на немецко-еврейском жаргоне. «Зигварт» — роман Миллера (1777), в котором преобладают короткие фразы.

К странице 104.

97) Доктор Альбрехт занимал пост ректора гимназии с 1748 года. Гёте называет его «Эзопом в стихаре и парике», намекая на его маленький рост и горб, ибо, как известно, греческий баснописец Эзоп изображался горбатым.

98) Медаль за добродетель и прилежание.

К странице 105.

99) Лукиян — греческий сатирик, живший во втором столетии по р. Х.

К странице 107.

100) Девятнадцатитомный комментарий к библии, написанный немецкими учеными на основании английских изысканий. Комментарий этот появился в свет между 1749 и 1770 годом.

К странице 108.

101) «Элогим» — еврейское обозначение божества, в грамматической форме множественного числа. Здесь Гёте несколько отступает от точного изложения первой книги Моисея.

К странице 117.

102) О поэме «Иосиф» Гёте неоднократно упоминает в письмах к своей сестре.

103) «Молодой человек», который так охотно занимался перепиской и приучил юного Гёте к диктовке своих мыслей, был некто кандидат прав Клауер. Он жил в доме отца Гёте с 1755 года.

104) Осенью 1920 года гамбургским профессором Пипером был опубликован стихотворный эпос «Иосиф», якобы принадлежащий юному Гёте. Поэма эта содержит свыше пяти тысяч стихов, переписанных рукою Клауера и в некоторых местах исправленных самим Гёте. Находка Пипера вызвала сенсацию в немецкой прессе, но мнение большинства знатоков Гёте отнюдь не склонялось в пользу признания подлинности гетевского эпоса.

105) В четвертую долю листа.

К странице 118.

106) «Анакреонтики» — группа поэтов XVIII столетия, подражавшая греку Анакреону, под именем которого распространены были песенки о вине и любви в кратких строфах.

107) Здесь Гёте, повидимому, смешал поэта с его братом Адольфом Шлегелем. По крайней мере, в полном собрании сочинений Элиаса Шлегеля не нашлось стихотворения о страшном суде. Самое стихотворение «Сошествие Христа во ад» написано Гёте позднее, а именно в 1765 году. Оно было опубликовано в 1766 году во франкфуртском журнале «Зрячий». Это было первое стихотворение Гёте, напечатанное, правда, без его ведома.

108) Преемник Фрезениуса, Плитт, был до этого профессором, но не в Марбурге, как утверждает Гёте, а в маленьком городке Ринтельн. Он вступил в свою должность в 1762 году, и, следовательно, усердное посещение Гёте церкви должно быть отнесено к этому году.

К странице 119.

109) «История пап» Боуера содержала десять томов, но до 1760 года вышли первые шесть томов. Автор ее, по происхождению шотландец, был первоначально иезуитом в Риме, а в 1726 году перешел в лютеранство.

К странице 120.

110) Гоппе и Струве — авторы весьма распространенных в XVII столетии учебников римского и германского права.

111) Свод законов, изданный римским императором Юстинианом.

К странице 120.

112) Обучение фехтованию и верховой езде относится, повидимому, к более позднему времени, чем описываемое в данной книге. Верховой ездой Гёте впоследствии увлекался до крайности, и ему случалось по целым неделям, во время путешествий, не слезать с лошади.

К странице 122.

113) В 1616 году были казнены семь граждан Франкфурта за организацию восстания против городских властей. Их головы были выставлены на железных кольях у сторожевой башни моста через Майн. Главой мятежников был некто Винценс Феттмильх. После возмущения Феттмильха были лишены самостоятельных прав все ремесленные союзы и иные корпорации, за исключением домов Лимпургов и Фрауенштейнов.

К странице 123.

114) Еврейское гетто во Франкфурте принадлежит к числу наиболее позорных пережитков средневековья. Оно было расположено первоначально к югу от кладбища и в середине XV столетия перенесено, против желания его обитателей, в заброшенное место у городской стены. Евреям было строго воспрещено в воскресные дни выходить за пределы гетто, а согласно эдикту 1756 года им запрещалось появляться на тех улицах и аллеях, где обычно прогуливались франкфуртские бюргеры. Таким образом Гёте, чтобы ознакомиться с бытом своих еврейских сограждан, пришлось самому посетить гетто. «Ужасная картина» в «Хронике» Готфрида была описанием ритуального убийства, якобы происшедшего осенью 1475 года в Триенте.

К странице 126.

115) Губертсбургский мир был заключен 15 февраля 1763 года и торжественно отпразднован во Франкфурте 20 марта того же года.

К странице 128

116) Сбор винограда составлял одно из любимейших празднеств во Франкфурте. Гёте описывает такое празднество в своем эпосе «Герман и Доротея».

К странице 129.

117) Фон Оленшлагер, старшина и младший бургомистр города Франкфурта, был издателем «Золотой буллы». Он был сторонником австрийской партии, и его комментарий к названной булле носил австрофильский характер. Гёте мальчиком часто бывал в его доме и участвовал в спектаклях домашнего театра.

118) Перевод латинской цитаты: «каждое государство, разделенное внутри, погибает, ибо правители его делаются приспешниками разбойников».

119) Трагедия «Канут» Элиаса Шлегеля представляла собою подражание французским классическим образцам. «Британник»—пьеса Расина.

К странице 130.

120) Фон Рейнек принадлежал к старой дворянской семье и был тайным военным советником курфюрста саксонского и короля польского. История увоза его единственной дочери некоим Кленком была описана неоднократно. Происшествие это относится к 1753 году, и Гёте упоминает об этой истории еще в 1765 году в письме к своей сестре.

121) Тимон афинский известен по биографии Плутарха и Шекспиру. «Геаутонтиморуменос»—значит человек, самого себя истязующий; персонаж одной из комедий Теренция.

К странице 130.

122) Майор фон Малапарт был на семь лет старше Рейнека. Он был итальянского происхождения. Семья эта еще до сих пор сохранилась во Франкфурте.

К странице 131.

123) Перевод латинской цитаты: «глазами, но не руками».

124) Придворный советник Гюсген, третий из старших современников Гёте, имевших на него большое влияние, числился, вопреки показанию Гёте, советником.

К странице 132.

125) Перевод латинского заглавия книги: «Агриппа о тщете наук».

К странице 133.

126) Братья Шлоссеры завоевали себе значительное имя в области государствоведения, а Гризбах — в сфере богословия.

КНИГА ПЯТАЯ.

К странице 134.

127) Книга пятая охватывает 1763 и 1764 годы.

К странице 135.

128) Избранный Гёте размер представлял собою тот рифмованный стих, каким написана часть «Фауста». «Мадригал»—итальянская строфа XVI столетия.

К странице 136.

129) В этих строках впервые упоминается имя девушки, овладевшей юношескими чувствами Гёте. До сих пор еще не удалось в точности установить, кто была эта девушка. Кроме имени «Гретхен» она, повидимому, не имеет ничего общего с возлюбленной Фауста. В биографических заметках, коими Гёте руководился при написании им книги, ничего не упоминается о тех обстоятельствах, при которых он познакомился с Гретхен. Все это дает основание предположить, что данный эпизод является плодом поэтического вымысла.

К странице 147.

130) Летом этого года, а именно в конце августа, Гёте присутствовал на концерте семилетнего Моцарта и его сестры. Шестьдесят лет спустя, в феврале 1830 года, Гёте вспомнил об этом концерте в беседе с Эккерманом. «Я слышал его (Моцарта), когда последнему было семь лет и он давал, проездом, концерт. Мне самому тогда было около четырнадцати лет, и я в точности припоминаю этого маленького человечка в парике и со шпагой на боку».

131) Избрание римского короля и будущего императора должно было происходить, согласно старым государственным установлениям, во Франкфурте на Майне, как гласит первая глава «Золотой буллы» Карла IV. В октябре 1763 года, согласно мирному трактату, заключенному 15 февраля 1763 года в Губертсбурге, германской империи гарантировалось участие Пруссии в предстоящих выборах. Все события, связанные с выбором римского короля, описаны Гёте весьма тщательно в «Поэзии и правде», все даты приведены с полной точностью, так что глава эта не нуждается

ни в каком дополнительном комментарии. При составлении своей автобиографии Гёте руководился вышеупомянутым сочинением Оленшлагера и изданным им подробным описанием коронации.

К странице 150.

132) Въезд майнцского курфюрста Эммериха происходил с необычайной пышностью. Весь гарнизон был расставлен на улицах города. Лафатер посетил проездом Франкфурт на Майне и был свидетелем этого торжества. Впечатления, полученные им во Франкфурте, отразились, по мнению Гёте, на 19-й песне его эпоса «Иисус — Мессия».

К странице 151.

133) На каких подражателей Лафатера намекает Гёте, до сих пор не удалось выяснить.

К странице 152.

134) Схоластик Абеляр (1079—1142) был охвачен любовной страстью к ученице своей Элоизе. В своем романе «Новая Элоиза» Руссо озображает «нового Абеляра» в лице возлюбленного Юлии, Сен-Пре.

К странице 158.

135) Это был престарелый гессенский ландграф Людвиг VIII (1691—1768).

К странице 164.

136) «Менехмы» — заглавие комедии Плавта, действующими лицами в которой являются два близнеца. Отец носил исторический костюм римских королей, а сын его точную копию с коронационного одеяния. Вес всего одеяния равнялся 130 фунтам. Одна корона весила около 15 фунтов.

К странице 172.

137) Тщательное расследование, произведенное во франкфуртских судебных архивах, до сих пор не привело еще к раскрытию тех «опасных и скверных» поступков, в которых оказались замешанными друзья юного Гёте. Повидимому, следствие велось неофициальным путем и было поручено другу семьи, советнику Шнейдеру. Оно закончилось сравнительно благополучно для обвиняемых—строгим выговором и небольшим денежным штрафом. Но юный Гёте в глазах некоторой части франкфуртского общества все же казался прикосновенным к каким-то темным историям. Когда летом 1764 года он изъявил желание поступить в «аркадийский союз добродетели», ему было отказано, в виду его порочного поведения. Письменные заявления Гёте, сделанные им председателю этого общества — первые дошедшие до нас письма поэта.

СОДЕРЖАНИЕ

стр.

«Поэзия и правда» Гёте, критико-биографический очерк *Е. Браудо* . . 7

«ПОЭЗИЯ И ПРАВДА» (ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ). Часть первая.

Предисловие 11

Книга первая 15

« вторая 43

« третья 72

« четвертая 96

Примечания 175

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

ОСНОВНАЯ БИБЛИОТЕКА:

Д. Г. БАЙРОН — Драмы, 1 р. 50 к.
„ — „Дон-Жуан“, ч. 1-я, ц. 1 р., ч. 2-я, ц. 1 р. 75 к.
О. ДЕ-БАЛЬЗАК — „Шагреневая кожа“.
Э. ВЕРХАРН — Поэмы, ц. 40 к.
Б. ГАЛЬДОС — „Очарованный кавальеро“.
Г. ГЕЙНЕ — „Путевые картины“, ч. 1-я, ц. 35 к., ч. 2-я, ц. 65 к.
В. ГЁТЕ — „Фауст“, ч. 1-я, ц. 1 р., ч. 2-я, ц. 1 р. 45 к.
— „Страдания юного Вертера“, ц. 40 к.
И. ГЕРДЕР — „Сид“, ц. 35 к.
К. ГОЛЬДОНИ — Комедии, т. 1-й, ц. 60 к., т. 2-й, ц. 55 к.
Т. ГОФМАН — „Музыкальные новеллы“, ц. 30 к.
В. ГЮГО — „93-й год“, ц. 1 р.
К. ГОЦЦИ — Сказки для театра, т. 1-й, ц. 1 р. 60 к.
Д. ДЕФО — „Робинсон Крузо“.
Э. ЗОЛА — „Западня“, ц. 50 к.
— „Труд“.
Г. КЛЕЙСТ — Собрание сочинений, т. I, ц. 1 р. 75 к.
ЭССА ДЕ-КЕЙРОШ — „Реликвия“, ц. 70 к.
К. ЛЕМОНЬЕ — „Завод“. ц. 65 к.
— „Рог Призыва“.
ЛЯО-ЧЖАЙ — „Лисьи чары“, ц. 50 к.
К. Ф. МЕЙЕР — „Новеллы“, ц. 1 р. 20 к.
П. МЕРИМЭ — „Театр Клары Газуль“, ц. 1 р. 60 к.
МОНГОЛЬСКИЕ СКАЗКИ — „Волшебный мертвец“, ц. 60 к.
МАРАТ — Письма, ц. 60 к.
НОВАЛИС — „Гейнрих фон Офтердинген“, ц. 35 к.
Р. РОЛЛАН — „Театр Революции“, ц. 53 к.
— „Трагедии веры“, 1 р. 50 к.
СЕЗАИ — „Сергюзешт“.
СЕМ БЕНЕЛЛИ — Избранные сочинения.
О. УИТМЭН — „Листья травы“, ц. 1 р.
УСАМА ИБН МУНКЫЗ — „Книга назиданий“, ц. 70 к.
А. ФРАНС — Рассказы.
Б. ШО — Пьесы, ц. 1. 50 к.
АНТОЛОГИЯ КИТАЙСКИХ ЛИРИКОВ, ц. 40 к.

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Г. Д'АННУНЦИО — „Ноктюрн“, ц. 1 р.
П. БЕНУА — „Атлантида“, роман, ц. 40 к.
— „Дорога гигантов“, роман, ц. 75 к.
С. БРЖОЗОВСКИЙ — „Зарево“, роман из эпохи народовольцев, ц. 1 р. 25 к.

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

Г. ВЕРФЕЛЬ	— „Человек из зеркала“, пьеса, ц. 60 к.
К. ГАМСУН	— „Соки земли“, роман, ц. 65 к.
Г. ГАУПТМАН	— „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к.
П. ГЗЕЛЛЬ	— Беседы А. Франса, ц. 70 к.
О. ГЕНРИ	— Рассказы, ц. 1 р.
„	— „Короли и капуста“, роман, ц. 90 к.
Г. ГОЛЬСТ	— Лирические драмы, ц. 45 к.
С. ЛАГЕРЛЕВ	— „Гномы и люди“, рассказы, ц. 35 к.
Р. МАРАН	— „Батуала“, африканский роман.
К. МЕЙРИНК	— „Голем“, роман, ц. 70 к.
М. МАРКС	— „Женщина“, роман, ц. 50 к.
М. МАТЕРЛИНК	— „Белая невеста“, пьеса.
ПАПАЛАГИ	
Ж. РОМЭН	— „Доногоо-Тонка“, кинематографический роман, ц. 25 к.
Р. РОЛАН	— „Кола Бреньон“, роман, ц. 70 к.
„	— „Пьер и Люс“, роман, ц. 35 к.
„	— „Клерамбо“, роман, ц. 1 р.
„	— „Аннет и Сильвия“, роман.
ДЖ. СИНГ	— „Герой“, пьеса, ц. 55 к.
Э. СИНКЛЕР	— „Сто процентов“, роман, ц. 75 к.
Г. УЭЛЛС	— „Неугасимый огонь“, роман, ц. 40 к
Ф. УНРУ	— „Род“, „Площадь“, пьесы, ц.
А. ФРАНС	— „Жизнь в цвету“, роман, ц. 80 к.
Л. ФРАНК	— „Человек добр“, роман, ц. 65 к.
К. ЭДШМИД	— „Шесть притоков“, новеллы, ц. 60 к.
„	— „Тимур“, рассказы.
ЭКСПРЕССИОНИЗМ	— Сборник статей, с иллюстрациями.

ЦЕНЫ ОБОЗНАЧЕНЫ В ЧЕРВОНЦАХ ПО КУРСУ ГОСБАНКА.

ПЕЧАТАЮТСЯ:

В. ГЁТЕ	— „Поэзия и правда“, т. 2-й.
Г. КЛЕЙСТ	— Собрание сочин., т. 2-й и 3-й.
СТЕНДАЛЬ	— „Пармский монастырь“.
ВОЛЬТЕР	— „Орлеанская дева“.
Э. СИНКЛЕР	— „Испытания любви“.
М. ТВЕН	— „Приключения Тома“.
В. ГАУФФ	— Сказки.
ДЖ. КОНРАД	— „Каприз Олмэйра“.
МОНГОЛО-ОЙРАТСКИЙ ЭПОС.	
ИСЕ-МОНОГАТАРИ	— Лирические повести древней Японии.
РАБИНДРАНАТ ТАГОР	— Пьесы и стихи.
А. СТРУГ	— „Деньги“.
А. БЕРО	— „Страдания толстяка“.
ДЖ. МЭЙЗФИЛД	— Пьесы.
Л. ФУЛЬД	— „Тень осла“.

ВЫШЛИ В СВЕТ ИЗДАВАЕМЫЕ

„ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ“

ЖУРНАЛЫ:

„Современный Запад“

книги 1-я, 2-я и 3-я.

Под редакцией Е. И. Замятина, А. Н. Тихонова, К. И. Чуковского и Абр. Эфроса.

Печатается № 4-й.

„Восток“

книги 1-я и 2-я.

Под редакцией академика С. Ф. Ольденбурга, академика И. Ю. Крачковского, профессора В. М. Алексеева, проф. Б. Я. Владимирцова и А. Н. Тихонова.

Печатается № 3-й.

Торговый сектор Государственного Издательства:

МОСКВА. Ильинка. Биржевая площадь. Богоявленский пер., 4.
ПЕТРОГРАД. Проспект 25-го октября (Невский), 28.

ОТДЕЛЕНИЯ:

ВОЛОГДА, Площадь Свободы; ВОРОНЕЖ, Проспект Революции, 1-й дом Совета; КАЗАНЬ, Гостинодворская, Гостиный Двор; КИЕВ, Крещатик, 34; КОСТРОМА, Советская, 11; КРАСНОДАР, Красная, 33; НИЖНИЙ-НОВГОРОД, Б. Покровка, 12; ОДЕССА, ул. Лассаля, 12; ПЕНЗА, Интернациональная 39/43; РОСТОВ НА ДОНУ, ул. Фридриха Энгельса, 106; САРАТОВ, зд. Совета; ТАМБОВ, Коммунальная, 14; ТИФЛИС, Проспект Руставели, 16; ХАРЬКОВ, Московская. 20.



ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ГЕРМАНИЯ

ИЗБРАННЫЕ СОЧИНЕНИЯ

ВОЛЬФГАНГА ГЁТЕ

WOLFGANG GOETHE

1749—1832

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Е. М. БРАУДО

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

ИОГАНН ВОЛЬФГАНГ ГЁТЕ

ПОЭЗИЯ и ПРАВДА

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПЕРЕВОД Н. А. ХОЛОДКОВСКОГО,
СО ВСТУПИТЕЛЬНОЙ СТАТЬЕЙ
И ПРИМЕЧАНИЯМИ Е. М. БРАУДО

ПЕТЕРБУРГ — МСМХХIII — МОСКВА

Отпечатано 5150 экз.
в тип. фабр. „Светоч"
Гиз. 4566. Петрооблит
№ 3225. Петербург.

ПОЭЗИЯ и ПРАВДА

Dichtung und Wahrheit

ИЗ МОЕЙ ЖИЗНИ

Aus meinem Leben

1811—1831

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

КНИГА ШЕСТАЯ

Чего мы желаем в юности, то мы
в изобилии получаем в старости.

Так испытывал я разные ощущения, которые то способствовали моему выздоровлению, то мешали ему, и ко всему этому примешивалась еще какая-то тайная досада, ибо я хорошо замечал, что за мною следят, что мне неохотно доставляют запечатанные письма и наблюдают за тем, какое действие они производят, прячу ли я их, или оставляю лежать открытыми, и т. п. Я подозревал поэтому, что, может быть, Пилад, кто-нибудь из родственников, или даже сама Гретхен пытались писать мне, чтобы сообщить или получить какое-нибудь известие. В своем огорчении я сделался очень раздражительным и постоянно находил новые поводы к разным подозрениям, теряясь в самых странных сочетаниях.

Через некоторое время мне дали особого гувернера [1]). К счастью, это был человек, которого я любил и уважал; он занимал должность домашнего наставника в одном знакомом доме, и его воспитанник теперь поступил в университет. Он часто посещал меня в моем печальном положении, и в конце концов нашли, что проще всего отвести ему комнату рядом с моей, чтобы он мог меня занимать, утешать и, как я заметил, постоянно следить за мною. Но так как я сердечно любил его и еще ранее поверял ему многое,—только не о любви своей к Гретхен [2]),—то я решился говорить с ним совершенно прямо и откровенно, тем более, что мне было невыносимо постоянно жить с кем-нибудь и находиться с ним в неопределенных, натянутых отношениях. Поэтому я, не долго думая, заговорил с ним об этом деле, отвел себе душу рассказом и повторением малейших обстоятельств моего прошлого счастья и достиг этим того, что он, как человек разумный, понял, что лучше всего ознакомить меня с исходом всей этой истории во всех подробностях, чтобы я получил ясное понятие обо всем и чтобы тогда с усердием и серьезностью можно было уговорить меня овладеть собою, отбросить

мысли о прошлом и начать новую жизнь. Прежде всего он открыл мне, кто были, по своему общественному положению, те молодые люди, которые сначала забавлялись дерзкими мистификациями, потом шутовскими нарушениями полицейских правил, наконец проделками по денежной части и тому подобными непозволительными вещами. Таким образом возник настоящий маленький заговор, к которому примкнули бессовестные люди, совершившие много преступного в виде подделки бумаг, подложных подписей и т. п. и подготовлявшие еще худшее. Родственники, о которых я нетерпеливо расспрашивал, оказались совершенно непричастными к делу, они были только знакомы с виновными, но не входили в их сообщество. Мой клиент [3]), которого я рекомендовал деду и через которого, собственно, напали на мой след, был одним из худших и для того лишь добивался искомой должности, чтобы затевать или прикрывать разные мошеннические проделки.

После всего этого я уж не мог удержаться, чтобы не спросить, что сделалось с Гретхен, при чем раз навсегда признался в своей глубокой любви к ней. Мой друг покачал головою и улыбнулся.

— Успокойтесь,—сказал он:—эта девушка держала себя очень хорошо и вышла из следствия с отличною репутациею. Она показала себя хорошей, милой девушкой; господа следователи были к ней очень благосклонны и не могли отказать ей в разрешении уехать из города. Ей делает честь и то, что она сообщила о вас, мой друг; я сам читал в бумагах ее показание и видел ее подпись.

— Подпись,—воскликнул я,—подпись, которая сделала меня таким счастливым и таким несчастным! Что же она сообщила и что подписала?

Мой друг медлил ответом, но веселое выражение его лица показывало, что он не скрывает ничего опасного.

— Если уж вы непременно желаете это знать,— сказал он наконец,— то, когда зашла речь о вас и о ваших отношениях к ней, она сказала, ничуть не стесняясь: «Я не могу отрицать, что видела его часто и охотно; но я всегда смотрела на него как на ребенка и питала к нему истинные чувства сестры. Во многих случаях я давала ему добрые советы и не только не побуждала его к двусмысленным поступкам, но мешала ему принимать участие в дерзких выходках, которые могли бы причинить ему неприятность».

Мой друг продолжал еще далее речь Гретхен в роли наставницы, но я уже не слушал его. Я страшно обиделся, что она в официальных бумагах назвала меня ребенком, и мне показалось, что я сразу излечился от всей страсти к ней; я даже

поспешил уверить моего друга, что теперь с этим все покончено. Я больше не говорил о ней, не называл ее имени, но не мог отстать от дурной привычки представлять себе ее образ, фигуру, поведение, которые, правда, теперь казались мне совсем в ином свете. Я находил невыносимым, что девушка, которая была всего на каких-нибудь два года старше меня, могла считать меня за ребенка, когда я сам считал себя за умного, ловкого молодого человека. Теперь ее холодное, сдержанное обращение, которое прежде так привлекало меня, сделалось мне решительно противным; фамильярности со мной, которые она позволяла себе, но не разрешала по отношению к себе, стали мне ненавистны. Но все это было бы еще ничего, если бы не подпись ее под тем поэтическим посланием, которою она формально засвидетельствовала свою склонность ко мне; из-за этого я считал себя в праве смотреть на нее, как на хитрую, себялюбивую кокетку. Ее переодевание модисткой представлялось мне теперь также совсем не невинным. Я переворачивал все эти неприятные соображения так и этак и дошел до того, что лишил ее всех ее милых качеств. Доводы рассудка убеждали меня, что я должен ее отвергнуть, но ее образ, образ ее опровергал меня каждый раз, как он восставал передо мною, что случалось еще довольно часто.

Но все-таки эта стрела с ее зазубринами была вырвана из моего сердца, и теперь спрашивалось, как помочь внутренней целительной силе юности. Я действительно ободрился, и первое, от чего я отделался, был плач и бешенство, которые теперь представлялись мне в высшей степени ребяческими. Это был уже крупный шаг к улучшению. Я ведь часто половину ночи с величайшим неистовством предавался своим горестям; слезы и рыдания довели мня до того, что я едва мог глотать, и принятие пищи и питья сделалось для меня болезненным; страдали, повидимому, и соседние части груди. Досада, испытанная мною от неожиданного открытия, заставила меня отбросить все эти нежности; я находил ужасным жертвовать сном, покоем и здоровьем из-за девушки, которой угодно было смотреть на меня, как на младенца и воображать себя какою-то нянькою по отношению ко мне.

Эти оскорбительные мысли легче всего было бы, как я убедился, прогнать какою-нибудь деятельностью; но за что мне было взяться? Правда, во многом мне еще предстояло пополнить свои знания и в различных отношениях подготовиться к университету, в который я должен был теперь поступить; но ничто мне не нравилось и не удавалось. Многое казалось мне знакомым и тривиальным; для многих основательных занятий у меня не было ни собственной силы, ни внешнего повода, а

потому одна из прихотей моего доброго соседа по комнате побудила меня заинтересоваться предметом, который был для меня совершенно нов и чужд и на долгое время представлял обширное поле для приобретения знаний и для рассуждений. Именно, мой друг начал знакомить меня с тайнами философии. Он учился у Дариеса [4]) в Иене; как человек неглупый, он хорошо усвоил себе его учение и хотел передать его мне. Но, к сожалению, эти вещи не связывались подобным образом в моем мозгу. Я задавал вопросы, на которые он обещал ответить позднее; я ставил требования, которые он также обещал удовлетворить лишь в будущем, но главное наше разногласие было в следующем: я утверждал, что особая философия не нужна, что она вся уже содержится в религии и в поэзии. Этого он никак не хотел признать, но старался доказать мне, что религия и поэзия именно основываются на философии, я же упорно отрицал это и в дальнейших наших разговорах на каждом шагу находил аргументы в свою пользу. Именно, так как в поэзии содержится некоторая вера в невозможное, а в религии такая же вера в неисповедимое, то мне казалось, что философы находятся в очень невыгодном положении, желая в своей области доказать и объяснить то и иное, а из истории философии очень легко можно было выяснить, что постоянно один искал другого доказательства, чем другой, так что скептик в конце концов находил все лишенным основания и беспочвенным.

Но меня занимала именно такая история философии, заниматься которою со мною был вынужден мой друг, потому что догматическое изложение нисколько не усваивалось мною; но она занимала меня только в том смысле, что мне одно мнение казалось ничуть не хуже другого, насколько я мог понять их. У древних философов и у их школ мне нравилось то, что у них поэзия, религия и философия совпадали воедино; и я тем живее поддерживал свое вышеприведенное мнение, что Песнь песней и изречения Соломона, книга Иова, песни Орфея и Гезиода, на мой взгляд, достаточно доказывали это. Мой друг положил в основу своего преподавания «Маленького Брукера» [5]), и чем дальше мы шли, тем менее я находил в нем пользы. Чего хотели первые греческие философы, этого я не мог себе хорошенько уяснить. Сократа я считал превосходным мудрым человеком, которого по его жизни и смерти можно было бы сравнить с Христом. Ученики же его казались мне похожими на апостолов, которые тотчас по смерти учителя разошлись и, очевидно, каждый понимал истину только в своем ограниченном смысле. Ни остроумие Аристотеля, ни глубина Платона совершенно не удовлетворяли меня. Зато к стоикам я уже ранее почувствовал некоторую склонность и обратился к Эпиктету [6]), которого

стал изучать с большим интересом. Моему другу не нравилась эта односторонность, от которой ему не удавалось меня отвлечь, потому что, несмотря на свою ученость, он никак не мог поставить хорошенько главного вопроса. Ему следовало бы просто сказать мне, что в жизни все дело только в действовании, а наслаждение и страдание придут сами собой. А покамест пусть юность живет по-своему; не долго будет она держаться ложных правил: жизнь оторвет или отвлечет ее от них.

Наступило хорошее время года. Мы часто выходили вдвоем на вольный воздух и посещали места для прогулок, которых было очень много в окрестностях города. Но именно здесь я чувствовал себя не особенно хорошо: повсюду мне еще мерещились призраки «родственников», и я боялся, что покажется тот или другой из них. Даже самые равнодушные взгляды людей тяготили меня. Я потерял то бессознательное блаженство, с которым я прежде бродил повсюду, незнакомый никому, неопороченный, не думая ни о каком наблюдении за мною в самой густой толпе. Теперь меня мучило ипохондрическое воображение, будто все на меня обращают внимание, будто все взоры обращены на меня, чтобы замечать, разбирать и порицать мой характер.

Поэтому я уводил своего друга в леса, избегая однообразных елей и ища тех прекрасных лиственных рощ, которые в этой местности хотя и не особенно обширны, но все-таки настолько велики, что там есть, где укрыться бедному раненому сердцу. В самой глубине леса я нашел себе местечко сурового вида, окруженное и осененное самыми старыми дубами и буками. Поверхность земли была здесь несколько покатa, вследствие чего старые стволы еще более возвышались. Вокруг этой полянки были густые кусты, из которых могущественно и величаво выглядывали мшистые скалы, а между ними быстро стремился обильный водою ручей.

Едва я однажды увлек своего друга туда, хотя ему более нравились открытые места близ реки, где бывало много людей,—он шутя заметил мне, что я—настоящий немец. Он подробно рассказал мне по Тациту [7]), как наши предки услаждались чувствами, которые так дивно готовит нам природа своим безыскусственным строительством в таких уединенных местах. Как только он рассказал мне это, я воскликнул: «О, зачем это чудесное место не лежит в глубокой чаще, зачем мы не можем обнести его оградою как святилище и отделить его от мира! Право, нет более прекрасного богопочитания, как то, для которого не нужно никакого образа, которое возникает в нашей душе лишь от взаимной беседы с природой».

Что я тогда чувствовал, я ощущаю еще и теперь и не нашел бы иных слов для выражения сказанного мною. Верно, во

всяком случае, то, что неопределенные, широкие чувства юности и диких народов одни только способны к возвышенному и что, если эти чувства возбуждаются в нас внешними поводами, то они, будучи бесформенными или имея необъятные формы, окружают нас величием, которое нам не по силам.

Такое душевное настроение ощущают более или менее все люди и стараются различным образом удовлетворить эту благородную потребность. Но подобно тому, как сумрак и ночь, когда все образы сливаются, легко возбуждают в нас чувство возвышенного, а дневной свет, все различающий и разделяющий, прогоняет его, так и оно должно уничтожаться с ростом образования, если мы не настолько счастливы, чтобы укрыться в области прекрасного и тесно слить с ним чувство возвышенного, вследствие чего оба эти чувства делаются одинаково бессмертными и неразрушимыми.

Мой мыслящий друг старался сокращать мне и без того краткие минуты подобных наслаждений; но, выходя оттуда в мир, я не мог уже возбудить в себе подобного чувства; созерцая окружающую меня освещенную и бедную местность, я даже не мог сохранить в себе воспоминания об этом чувстве. Но сердце мое было слишком избаловано, чтобы оно могло успокоиться; оно любило, и предмет любви был у него отнят; оно жило, и жизнь была для него испорчена. Друг, который ясно показывает, что он воспитывает вас, не возбуждает приятных чувств, тогда как воспитывающая вас женщина, как-будто балуя вас, возбуждает чувство обожания, как небесное, приносящее радость, существо. Но тот образ, в котором выступило для меня представление о красоте, исчез вдали; он иногда посещал меня в тени моих дубов, но я не мог удержать его и чувствовал сильное желание найти что-нибудь подобное в широком мире.

Незаметно я приучил и даже заставил моего друга и надзирателя оставлять меня одного, ибо даже в моем священном лесу эти неопределенные исполинские чувства не удовлетворяли меня. Глаз—это был главный орган, посредством которого я составлял себе понятие о мире. С детства я жил среди живописцев и привык, подобно им, смотреть на предмет с точки зрения искусства. Теперь, когда я был предоставлен самому себе и уединению, этот дар, наполовину природный, наполовину приобретенный, выступил наружу; куда я ни смотрел, я видел картину; что бросалось мне в глаза и что мне нравилось, я хотел удержать и начал самым неуклонным образом рисовать с натуры. Для этого мне недоставало почти всего; но я упорно старался изображать прекрасное, как оно представлялось моим глазам, без всякого технического навыка. Правда, благодаря

этому я приучился очень внимательно рассматривать предметы, но охватывал их только в целом, насколько они действовали на меня; и как природа не сделала меня описательным поэтом, так же она отказала мне и в способностях детального рисовальщика. Но так как это оставалось единственным способом, чтобы выразить себя, то я с упорством, хотя и с грустью, тем усерднее продолжал свою работу, чем менее видел от нее толку.

Я не хочу однако отрицать, что к этому примешивалась некоторая хитрость. Я заметил именно, что когда я избрал, как источник для мучительного изучения, полузатененный старый ствол, могучие кривые корни которого обросли ярко освещенными папоротниками, то мой друг, зная по опыту, что я ранее, чем через час, не оторвусь от этого зрелища, привык отыскивать себе с книгою другое местечко. Тогда мне ничто не мешало отдаваться моему любимому занятию, которым я занимался тем усерднее, что я привык видеть на своих листках не столько то, что на них действительно было, сколько то, что я в данное время и в данный час воображал при этом. Таким образом травы и цветы могут составить для нас приятнейший дневник, потому что для нас не может быть незначительным ничто, вызывающее воспоминания о счастливом мгновении; даже и теперь мне трудно было бы считать ничтожным многое из того, что уцелело для меня из различных эпох, потому что оно непосредственно переносит меня в те времена, о которых я охотно, хотя и с грустью, вспоминаю.

Но если такие листки сами по себе могли иметь для меня кое-какой интерес, то они обязаны этим своим преимуществом участию и вниманию моего отца. Узнав от моего воспитателя, что я мало-по-малу прихожу в себя и в особенности страстно занялся рисованием с натуры, отец мой был очень доволен этим отчасти потому, что сам очень высоко ценил рисование и живопись, а отчасти вследствие того, что Зеекатц не раз высказывал ему свое сожаление, что меня не предназначают в живописцы. Но тут особенности отца и сына вновь пришли в столкновение. Для меня было почти невозможно употреблять для своих рисунков хорошую, белую, почти совершенно чистую бумагу; старые, даже исписанные с одной стороны листы нравились мне более всего, как-будто именно мое неумение боялось пробного камня чистого белого фона. Таким образом, ни один рисунок не был закончен; а как мне хотелось бы произвести целое, которое я видел глазами, но не мог схватить, или изобразить какую-нибудь подробность, которую я замечал, но проследить которую у меня не было ни умения, ни терпения. Право, и в этом отношении можно было подивиться педагогике моего отца. Он доброжелательно расспрашивал о моих попыт-

ках и проводил линии на каждом недоконченном наброске, желая заставить этим меня быть точным и аккуратным; неправильные листки он обрезывал как следует и тем положил начало коллекции, которая должна была впоследствии радовать его успехами сына. Поэтому ему нисколько не было неприятно, что мой неспокойный, непостоянный характер заставлял меня блуждать по окрестностям; напротив, он был доволен, когда я приносил какую-нибудь тетрадь, на которой он мог упражнять свое терпение и как-либо подкреплять свои надежды.

Мало-по-малу перестали бояться, что я вернусь к своим прежним склонностям и связям, и постепенно предоставили мне полную свободу. По разным случайным поводам и в случайном обществе я сделал несколько путешествий в горы, которые с детства казались мне столь далекими и суровыми [8]). Таким образом, посетили мы Гомбург, Кронебург, поднялись на Фельдберг, обширный вид с которого манил нас все более и более в даль. Посетили мы и Кенигштейн; Висбаден и Швальбах с их окрестностями также заняли у нас несколько дней; мы дошли до Рейна и видели с высоты, как он далеко змеился перед нами. Майнц поразил нас, но не мог приковать к себе молодой души, стремившейся к вольной природе. Мы насладились живописным положением Бибериха и, довольные и веселые, возвратились домой.

Все это путешествие, от которого отец мой ожидал целого ряда рисунков, было бы почти бесплодно, ибо сколько понимания, сколько таланта, сколько и опытности нужно для того, чтобы охватить большой и широкий ландшафт в виде картины. Но незаметно меня потянуло к более ограниченным предметам, из которых я мог извлечь что-нибудь; каждый разрушенный замок, каждая стена, напоминавшая старые времена, производили на меня впечатление предметов, достойных внимания и, по возможности, изображения. Даже Друзенштейн на валу в Майнце я срисовал с некоторой опасностью и с неудобствами, которые испытывает каждый, кто хочет унести с собой домой какие-нибудь воспоминания в виде рисунков. К сожалению, я взял с собою опять только самую плохую бумагу для набросков и некстати соединил по нескольку рисунков на одном листке; но мой учитель—отец—не смутился этим: он разрезал листки, поручил переплетчику наклеить подходящие из них, очертил отдельные листки линиями и тем заставил меня провести очертание отдельных гор до края и заполнить передний план растительностью и камнями. Если его добросовестные усилия не могли развить во мне таланта, то все же эта черта его любви к порядку имела на меня тайное влияние, которое позднее живо выразилось в различных формах.

От таких частью увеселительных, частью художественных экскурсий, которые совершились и повторились несколько раз в короткое время, меня опять потянуло домой. Меня привлек магнит, который издавна сильно на меня действовал: моя сестра. Будучи лишь годом моложе меня, она всю мою сознательную жизнь прожила вместе со мною, вследствие чего между нами возникла глубокая духовная связь. К этим природным побуждениям присоединялось еще некоторое давление, проистекавшее от наших домашних условий. У нас был хоть и любящий и доброжелательный, но суровый отец, человек нежной души, но по внешности своей с невероятною последовательностью выражавший железную строгость, чтобы тем достичь своей цели: дать своим детям наилучшее воспитание, создать, устроить и сохранить свой образцовый дом.

С другой стороны, наша мать была сама почти ребенок и росла в своем сознании вместе с двумя старшими детьми. Все трое, взирая на мир здоровыми глазами, полные жизни, стремились к непосредственному наслаждению ею. Эти различия в нашей семье возрастали с годами; отец непоколебимо и непрерывно преследовал свои цели, а мать и дети не могли отказаться от своих чувств, требований, желаний. При таких обстоятельствах было естественно, что брат и сестра тесно примкнули друг к другу и держались ближе к матери, чтобы добиться отдельных радостей, которых в общем мы не имели. Но так как часы уединения и труда были слишком долги и многочисленны сравнительно с мгновениями отдыха и удовольствия, в особенности для сестры, которая никогда не могла покидать дом на такое долгое время, как я, то для нее сделалось потребностью иметь общение со мною, и эта потребность еще обострилась той затаенной тоской, с которой она сопровождала меня мысленно в даль.

Как в первые годы жизни игра и учение, рост и развитие были общими для брата и сестры, и их почти можно было принять за близнецов, так и позднее между ними сохранились та же близость, то же взаимное доверие при развитии их физических и моральных сил. Все интересы юности,—каждое удивление при пробуждении чувственных стремлений, которое облекается в духовные формы,—каждое возникновение духовных потребностей, которое выражается в чувственных образах,—все соображения об этом, которые скорее затемняют нашу мысль, чем просветляют ее, подобно тому, как туман, поднимаясь из долины, закрывает, а не освещает ее,—все возникающие отсюда ошибки и заблуждения,—все это брат и сестра разделяли и испытывали рука об руку и тем менее могли разъяснить себе свои недоумения, что священный страх перед близким родством тем сильнее

отдалял их друг от друга, чем более они, стремясь к ясности, сближались между собою.

Я неохотно высказываю здесь в общих чертах то, что я давно уже хотел изобразить, но не мог этого исполнить. Я слишком скоро потерял это любимое непонятное существо и чувствовал достаточное побуждение уяснить себе всю его цену. Таким образом, у меня возникла мысль о поэтическом произведении, в котором можно было бы изобразить ее индивидуальность; но для этого нельзя было найти другой формы, кроме романов в стиле Ричардсона [9]). Только через точнейшие подробности, через множество частностей, живо выражающих характер целого и, возникая из дивной глубины, дающих чувствовать эту глубину,— только посредством всего этого удалось бы сообщить представление об этой замечательной личности, потому что ручей можно представлять себе только, пока он течет. Но мирская суета отвлекла меня от этого прекрасного и чистого намерения, как и от многих других, и теперь мне ничего более не остается, как лишь на мгновение вызвать, точно с помощью магического зеркала, тень ее блаженного духа.

Она была высокого роста, хорошо и нежно сложена и имела во всей своей внешности что-то естественное и достойное, соединявшееся с приятною мягкостью. Черты ее лица, которые нельзя было назвать ни значительными, ни красивыми, свидетельствовали о характере, который находился и не мог не находиться в разладе с самим собой. Ее глаза не принадлежали к числу самых красивых, какие я видал, но они были самые глубокие, за которыми можно было ожидать чрезвычайно многое, и когда они выражали привязанность или любовь, то имели несравненный блеск; и все-таки это выражение не было, собственно, нежно как то, что исходит из сердца и сопровождается тоскою и желанием; это выражение исходило из души, было полно и богато и, казалось, желало только дать, ни в чем не нуждаясь взамен.

Но что особенно портило ее лицо, так что оно иногда должно было казаться положительно некрасивым, это—мода того времени, не только открывавшая лоб, но всячески стремившаяся, мнимо или действительно, случайно или намеренно, увеличить его. Так как у сестры был женственный, чисто выпуклый лоб и притом густые черные брови и выдающиеся глаза, то вследствие этого возникал контраст, который если не отталкивал, то, во всяком случае, и не привлекал с первого взгляда. Она рано почувствовала это, и это чувство становилось для нее все мучительнее по мере того, как она приближалась к годам, когда оба пола находят невинное удовольствие в том, чтобы нравиться друг другу.

Никому не может быть противен его собственный образ; самый безобразный человек, как и самый красивый, имеет право быть довольным своею наружностью; а так как симпатия украшает, и каждый смотрит на себя в зеркало с чувством симпатии, то можно утверждать, что каждый смотрит на себя с удовольствием, сколько бы он сам этому ни противился. Моя сестра имела, однако, такой сильный ум, что она никак не могла быть слепа или глупа; напротив, она, может быть, слишком ясно сознавала, что в отношении внешней красоты она очень уступает своим подругам; при этом она не находила утешения в том, что бесконечно превосходила их внутренними достоинствами.

Если девушка может быть чем-нибудь вознаграждена за недостаток красоты, то сестра была богата безграничным доверием, уважением и любовью со стороны всех подруг, старших и младших: все питали к ней одинаковые чувства. Вокруг нее собиралось очень приятное общество; не было недостатка и в молодых людях, сумевших туда проникнуть, и почти каждая девушка имела своего друга, только сестра оставалась без пары. Правда, если ее наружность несколько отталкивала, то и просвечивавшее через нее внутреннее существо скорее отстраняло от себя, чем привлекало, потому что присутствие каждой высокой натуры заставляет окружающих замкнуться в самих себя. Сестра живо чувствовала это, не скрывала этого от меня и тем сильнее привязывалась ко мне. Положение наше было довольно своеобразно. Как вообще доверенные лица, которым мы открываем историю своей любви, своим искренним участием точно действительно любят вместе с нами, даже делаются нашими соперниками и относят любовь к самим себе, так же было и между братом и сестрою. Когда я прервал свои отношения с Гретхен, сестра моя тем серьезнее утешала меня, что втайне она чувствовала удовлетворение, отделавшись от соперницы. Равным образом, и я, когда она отдавала мне должное, с чем-то в роде тихого злорадства чувствовал, что я единственный, который ее истинно любит, знает и почитает. Когда во мне время от времени возобновлялось горе о потере Гретхен, и я вдруг начинал плакать, жаловаться в неистовствовать, то мое отчаяние выводило и ее из терпения: для нее была невыносима такая юношеская любовь, ничем не обладавшая, неудачная и мимолетная. Таким образом мы оба считали себя безгранично несчастными, тем более, что в этом странном случае лица, доверяющие друг другу, не могли превратиться в влюбленных.

Но, к счастью, здесь вновь благодетельно вмешался причудливый бог любви, который иногда без надобности причиняет столько бедствий, и вывел нас из затруднения. Я часто встре-

чался с одним молодым англичанином, который воспитывался в пансионе Пфейля. Он хорошо знал свой родной язык; я упражнялся, разговаривая с ним на этом языке, и много узнал при этом о его стране и народе. Он довольно долго ходил к нам, при чем я не замечал в нем склонности к моей сестре; но, вероятно, в глубине души он питал эту склонность до страсти, и вдруг она неожиданно сразу обнаружилась. Корнелия знала и ценила его, и он заслуживал этого. Она часто присутствовала в качестве третьего лица при наших английских разговорах; мы оба старались усвоить с его слов странности английского произношения и вследствие этого привыкли не только к особенностям его тона и звука, но даже к специальным личным свойствам нашего учителя, так что наконец звучало довольно странно, когда мы все начинали говорить всё одним тоном, как бы его устами. Его старания настолько же и тем же способом научиться от нас по-немецки не удавались, и я как-будто заметил, что и их робкие любовные объяснения происходили, как письменно, так и устно, на английском языке. Обе эти молодые особы вполне подходили друг к другу: он был высокого роста и хорошо сложен, как она, только еще стройнее; лицо его, маленькое и узкое, могло бы быть красиво, если бы не слишком было испорчено оспою; его обращение было спокойное, ровное и могло бы даже иногда быть названо сухим и холодным; но сердце его было полно доброты и любви, душа полна благородства, а привязанности его столько же прочны, сколько решительны и неизменны. Молодая пара, которая слилась только недавно, особенно выделялась среди других, которые были уже более знакомы между собою и, имели более легкий характер, будучи более беззаботны к будущему, проявляли полное легкомыслие к своим взаимным отношениям, которые обычно проходят как бесследное предисловие будущих, более серьезных, связей и редко оказывают длительное влияние на жизнь [10]).

Хорошее время года и красивые окрестности не остались неиспользованными нашим веселым обществом; мы часто устраивали поездки по воде, наиболее пригодные для общественных и увеселительных прогулок [11]). Но гуляли ли мы по воде или по суше—вскоре обнаружились отдельные притягательные силы; каждая парочка примкнула друг к другу, а для отдельных кавалеров, которые ни с кем не были связаны и к числу которых принадлежал и я, или совершенно не оставалось собеседницы женского пола, или оставалась такая, которую ему не хотелось бы выбрать для веселого дня. Один из наших приятелей, который, вероятно, остался без пары, главным образом, потому, что при всегдашней веселости у него не было нежности и при изрядном уме необходимой для подобных сближений способности

оказывать внимание,—нередко в остроумных и забавных выражениях жаловался на свою судьбу; наконец, он обещал при следующем нашем собрании сделать предложение, которое может помочь ему и всему обществу. И он действительно не преминул исполнить своего обещания. Однажды, когда после блестящей поездки по реке и очень приятной прогулки, разлегшись на траве между тенистыми холмами или рассевшись на мшистых скалах и корнях деревьев, мы весело съели сельский завтрак, наш друг, видя нас всех веселыми и в хорошем расположении духа, с шутливою важностью велел нам сесть полукругом. Затем он выступил перед нами и начал патетически ораторствовать следующим образом [12]).

— Почтенейшие друзья и подруги, парами и без пар. Уже из этого моего обращения видно, что перед вами выступает проповедник покаяния и обращается к совести общества. Одна часть моих благородных друзей разбилась попарно и, вероятно, чувствует себя вполне хорошо; другая часть лишена пар и чувствует себя прескверно, как я могу заверить по собственному опыту; и хотя милейшие пары сейчас составляют здесь большинство, но я все-таки предлагаю им подумать, не является ли общественным долгом позаботиться обо всех. Для чего мы собираемся в таком большом числе, как не для того, чтобы принимать участие друг в друге? Но как это осуществить, если мы опять поделим наш круг на столько мелких частей? Я далек от того, чтобы возражать что-нибудь против таких прекрасных отношений или осуждать их, — но всему свое время. Вот прекрасное, великое слово, о котором, впрочем, никто не думает, лишь бы его времяпрепровождение было достаточно обеспечено.

Затем он продолжал все живее и веселее противопоставлять общественные добродетели нежным чувствам. Чувства эти — говорил он—всегда у нас будут, мы всегда носим их с собою, и каждый, не учась, легко является в них мастером; но общественных добродетелей мы должны искать, стараться приобрести их, и сколько бы ни делали успехов в этом отношении, никогда их достаточно не изучим.

После этого он вдался в частности. Многие могли считать себя задетыми и невольно переглядывались; но наш друг имел ту привилегию, что на него никогда никто не сердился, а потому он спокойно мог продолжать.

— Мало еще только открывать недостатки,—это даже несправедливо, если в то же время не указываются средства к исправлению их. Поэтому, друзья мои, я не намерен, подобно проповеднику на страстной неделе, вообще побуждать вас к покаянию и исправлению; напротив, я желаю всем милым парочкам

самого долгого и прочного счастья; а чтобы самому содействовать этому надежнейшим образом, я предлагаю на те часы, которые мы проводим вместе, разделить и уничтожить эти маленькие милейшие обособления. Я уже позаботился,— продолжал он,—об исполнении этого плана, если встречу ваше одобрение. Вот кошель, в котором находятся имена всех кавалеров; не угодно ли вам, прекрасные дамы, вынуть по билетику и принять к себе в слуги на восемь дней того, кого укажет вам жребий. Это действительно лишь в пределах нашего круга; как скоро он разойдется, разрушаются и все эти связи, и пусть сердце решает, кто должен вести даму домой.

Значительная часть общества очень развеселилась этой речью и ее тоном и, повидимому, одобряла выдумку, но некоторые пары смотрели в сторону, как-будто дело их не касается. Поэтому оратор воскликнул с притворным раздражением:

— Право, меня удивляет, что никто не вскакивает и, несмотря на медлительность других, не восхваляет моего предложения, не рассматривает его выгоды и не избавляет меня от труда хвалить самого себя. Я—старший из вас; господи, прости, — имею уже лысину, вследствие упорных размышлений (при этих словах он снял шляпу), но я с радостью и честью выставляю ее на вид, если мои соображения, которые иссушили мне кожу и лишили меня прекраснейшого украшения, окажутся сколько-нибудь полезными мне и другим. Мы молоды, друзья мои,—это прекрасно; мы состаримся, — это глупо; мы не находим друг в друге ничего дурного,—это хорошо и сообразно с временем года. Но вскоре, друзья мои, настанут дни, когда мы сами начнем находить в себе много дурного; тогда каждый должен сам смотреть, как ему справиться с этим; к этому мы должны подготовиться, что и должно теперь начаться.

Всю эту речь, особенно конец ее, он произнес тоном капуцина с соответствующей жестикуляцией, ибо, будучи католиком, он имел достаточно случаев изучить красноречие этих монахов. Теперь он как-будто тяжело перевел дух, осушил платком свой преждевременно лысый лоб, что действительно придало ему вид католического священика, и этими шутками привел легкомысленное общество в такое веселое настроение, что каждый желал слушать его дальше. Но вместо того, чтобы продолжать, он взял кошель и обратился к ближайшей даме.

— Надо сделать опыт,—воскликнул он.—Дело мастера боится. Если в течение восьми дней наше нововведение не привьется, то мы бросим эту затею, и всё останется по-старому.

Наполовину по своей собственной воле, наполовину по принуждению, дамы вынимали свои бумажки, и легко можно

было видеть, что в этом малозначущем действии были замешаны различные страсти. К счастью, вышло так, что весело настроенные парочки разделились, а более серьезные остались вместе; так и сестра моя осталась при своем англичанине, за что они обоюдно были очень благодарны богу любви и счастья. Новые, случайные парочки были тотчас соединены верховным жрецом, было выпито за их здоровье и провозглашено пожелание им радости, тем более, что существование их должно было быть непродолжительно. Наверное, это был такой веселый момент, какого общество наше давно уже не переживало. Молодые люди, на долю которых не досталось ни одной девицы, получили назначение в течение этой недели заботиться о своем уме, душе и теле, как выразился наш оратор; в особенности он советовал заботиться о душе, потому что о прочем они и без того наверное позаботятся.

Новые старшины, которые возымели желание сейчас же отличиться, быстро ввели интересные новые игры, приготовили неподалеку ужин, на который никто не расчитывал, а при ночном возвращении нашем иллюминовали яхту, в чем не было надобности, так как ярко светила луна; они оправдывались тем, что при новом устройстве общества вполне соответствует делу, чтобы нежные взоры небесного месяца были превзойдены земными огнями. В тот момент, как мы высаживались на берег, наш Солон воскликнул: «Ite, missa est» (с миром изыдем). Каждый вывел доставшуюся ему по жребию даму с корабля и передал ее настоящему кавалеру, а сам получил в обмен свою прежнюю даму.

При следующей общей встрече этот распорядок, введенный пока на одну неделю, был утвержден на все лето, и снова был брошен жребий. Без сомнения, эта шутка вызвала в нашем обществе новый и неожиданный переворот, и каждый чувствовал потребность проявлять все остроумие и приятность, на какие он был способен, и предупредительнейшим образом ухаживать за своею дамою, надеясь, что у него, по крайней мере, на неделю окажется достаточный запас любезностей.

Но едва это дело устроилось, как, вместо благодарности, нашего оратора стали упрекать, что лучшую часть своей речи, ее заключение, он оставил про себя. На это он утверждал, что лучшая часть речи есть та, которая убеждает, и если кто не надеется убедить, то ему не стоит и говорить; убедить — дело не легкое. Когда его, несмотря на это, не оставляли в покое, то он тотчас опять начал болтать на капуцинский лад, бестолковее чем когда-либо,—может быть, именно потому, что он говорил на самые серьезные темы. Пересыпая свою речь библейскими изречениями, не идущими к делу, совершенно не под-

ходящими сравнениями, ничего не объясняющими намеками, он проводил ту мысль, что тот, кто не умеет скрывать свои страсти, склонности, желания, предположения, планы,—тот на свете не достигнет ничего; ему будут только на каждом шагу мешать и смеяться над ним; в особенности же, если желаешь быть счастливым в любви, то надо стараться хранить ее в глубочайшей тайне.

Эта мысль змеилась общею нитью через всю его речь, хотя прямо он не выразил ее ни единым словом. Кто желает составить себе понятие об этом странном человеке, тот должен принять в соображение, что, будучи одарен природными способностями, он развил свои таланты и свое остроумие в иезуитской школе и приобрел большое знание света и людей, но только с дурной стороны. Ему было около двадцати двух лет, и он охотно сделал бы меня прозелитом своего презрения к людям; но со мною это не удавалось: мне все еще хотелось быть добрым и видеть в людях доброе. Впрочем, он обратил мое внимание на многое.

Для того, чтобы состав веселого общества был полон, непременно необходимо лицо, которое находило бы удовольствие в том, чтобы против него направлялись стрелы остроумия, когда нужно оживить какой-нибудь безразличный момент. Если это не какой-нибудь «турка», на котором рыцари в потешных боях пробуют свои копья, а умеет и сам скоморошничать, поддразнивать и вызывать, легко ранить и отскакивать или, как бы поддаваясь, наносить удар другому, то нельзя себе представить что-нибудь более приятное. У нас был такой человек в лице нашего друга Горна [13]), самое имя которого (означающее «рог») давало повод ко всевозможным шуткам и которого за его маленький рост всегда называли Горнхен (рожок). Он действительно был меньше всех ростом в нашем обществе, трубоватой, но приятной наружности; тупой носик, несколько толстые губы и маленькие блестящие глаза придавали его очень смуглому лицу что-то, постоянно возбуждающее смех. Его маленький плотный череп был густо покрыт кудрявыми черными волосами, а борода, которую ему очень хотелось вырастить, чтобы постоянно смешить общество, рано становилась синеватою. Впрочем, он был мил и проворен, но утверждал, что у него кривые ноги; с этим охотно соглашались, потому что ему этого хотелось, и над этим нередко подшучивали: его ценили как хорошего танцора, и он считал за особенную прихоть женщин желание их всегда видеть на паркете кривые ноги. Его веселость была неистощима, и присутствие его при каждом собрании было необходимо. Мы оба держались тем ближе друг к другу, что он вместе со мною должен был

поступить в университет. Он заслуживает почетного упоминания здесь потому, что в течение многих лет с бесконечною любовью, верностью и терпением поддерживал дружбу со мною.

Видя легкость, с какою я слагал рифмы и умел найти поэтическую сторону в самых обыкновенных предметах, он также соблазнился подобными работами. Наши маленькие общественные увеселительные прогулки и связанные с ними происшествия мы описывали в поэтической форме, и, таким образом, из описания какого-нибудь эпизода постоянно возникал новый эпизод. Но так как обыкновенно подобные шутки в обществе сводятся к насмешке и наш друг Горн в своих грубоватых изображениях не всегда оставался в должных границах, то иногда возникали неприятности, которые, впрочем, скоро удавалось смягчить и загладить.

Он пробовал себя также в том роде поэзии, который был в это время очень в моде: в комико-героической поэме. «Похищение локона» Попа [14]) вызвало много подражаний; Цахариэ пересадил этот род поэзии на немецкую почву, и он всем нравился, потому что обыкновенно предметом этих поэм был какой-нибудь неловкий человек, которого волшебные гении дурачили, покровительствуя кому-нибудь более одаренному.

Не особенно удивительно (хотя часто этому удивляются), что при рассмотрении какой-нибудь литературы, в особенности немецкой, мы видим, как целая нация не может отделаться от какого-нибудь удачно обработанного в известной форме предмета и повторяет его на все лады, так что в конце концов самый оригинал заслоняется и задавливается массою подражаний.

Героическая поэма моего друга могла служить доказательством этого замечания. На большой поездке в санях одному неловкому господину приходится ехать с дамой, которая его терпеть не может. С ним случается, как нарочно, одно несчастие за другим, какие только могут произойти при подобных случаях, и, наконец, когда он берется править, он падает с запяток, при чем ему, конечно, духи подставили ногу. Красавица схватывает вожжи и едет одна домой; нравящийся ей друг встречает ее и торжествует над претенциозным соперником. Тут было в общем очень недурно придумано, как четыре духа один за другим подводят неудачника, пока, наконец, гномы не выбивают его из седла. Стихотворение это, написанное александрийскими стихами, очень забавляло наше маленькое общество, и мы были убеждены, что его вполне можно поставить на ряду с «Вальпургиевой ночью» Лёвена или «Хвастуном» Цахариэ.

Так как наши общественные увеселения происходили только по вечерам и приготовления к ним требовали всего нескольких часов, то я имел достаточно времени для чтения и, как мне

казалось, даже для учения. В угоду своему отцу я прилежно повторил «маленького Гоппе» и мог выдержать экзамен из него во всех направлениях, благодаря чему я вполне усвоил главное содержание «институций» [15]). Но беспокойная жажда знания влекла меня все дальше; я вдался в область древней литературы, а оттуда в энциклопедизм, где я пробежал «Исагогу» Геснера [16]) и «Полигистора» Моргофа [17]), и таким образом приобрел общее понятие о том, как уже давно случались разные причудливые вещи в науке и жизни. Эти постоянные и торопливые занятия, продолжавшиеся днем и ночью, скорее сбивали меня с толку, чем развивали; но в еще большем лабиринте я запутался, когда нашел в библиотеке моего отца Бэйля [18]) и углубился в него.

Главное же убеждение, которое все время укреплялось во мне, это было убеждение в важности древних языков; из литературной путаницы для меня все более выяснялось,что в них содержатся все образцы словесных искусств и, в то же время, всего достойнейшего, чем мир когда-либо обладал. Изучение еврейского языка и библии отступили на задний план, греческий язык также, так как мои познания в нем не простирались далее нового завета. Тем серьезнее налег я на латинский язык, образцовые произведения которого более близки нам и который рядом с превосходными оригинальными произведениями доставляет нам и другие приобретения всех времен в переводах и трудах величайших ученых. Я много читал на этом языке с большою легкостью и думал, что понимаю авторов, ибо буквальный смысл их был мне совершенно ясен. Поэтому меня очень рассердило, когда я узнал, что Грациус надменно высказал, что он толкует Теренция иначе, чем мальчики. Счастливая ограниченность молодости, да и человека вообще: в каждый миг своего существования они считают себя совершенными и спрашивают не об истинном и ложном, не о высоком и глубоком, а только о том, что им доступно.

Латинскому языку я учился так же, как и немецкому, французскому и английскому,—только на практике, без правил и системы. Кто знаком с тогдашним состоянием школьного преподавания, тот не найдет странным, что я обошелся без грамматики и риторики; мне все давалось как бы само собою: слухом и умом я запоминал слова, их образование и превращение и легко мог пользоваться языком для письма и болтовни.

Приближался день св. Михаила, когда я должен был отправиться в университет, и душа моя волновалась столько же жизнью, сколько учением. Отвращение к родному городу становилось во мне все явственнее. Потерей Гретхен была вырвана сердцевина моего отрочества и юности; нужно было время,

чтобы растение пустило новые побеги и первый вред был бы преодолен новым ростом. Мои блуждания по улицам прекратились: я ходил только, подобно другим, куда было нужно. В квартал, где жила Гретхен, я никогда более не заходил, не ходил даже в ту сторону; как мало-по-малу надоели мне старые стены и башни, так опротивело мне и административное устройство города; все, что мне прежде казалось таким почтенным, представлялось теперь в искаженном виде. Как внуку городского старосты, для меня не были тайною многие недостатки нашей республики, тем более, что дети очень удивляются и увлекаются самыми прилежными расследованиями, как только им становится несколько подозрительно то, что они до сих пор безусловно чтили. Мне стало совершенно понятно бесплодное раздражение честных людей в споре с теми, которых партии склоняют в свою сторону или даже подкупают; каждую несправедливость я безмерно ненавидел,—ведь все дети—ригористы в области морали. Отец мой, имевший отношение к городским делам лишь в качестве частного человека, в раздражении очень резко выражался о разных неудачах. И разве я не видел, как он после долгого учения, усилий, путешествий, многосторонне образовав себя, вел в конце концов в своем доме уединенную жизнь, какой я вовсе не мог себе пожелать? Все это вместе лежало на моей душе ужасным бременем, освободиться от которого казалось мне возможным только тогда, когда я придумаю для себя план жизни, совершенно отличный от предусмотренного для меня. Я отбросил мысль об юридических занятиях и посвятил себя исключительно языкам, древностям, истории и всему, что возникает из этого.

Правда, во всякое время мне доставляло величайшее удовольствие поэтическое воспроизведение всего, что я замечал в себе самом, в других и в природе. Я делал это со всё большею легкостью, по инстинкту, и меня не сбивала никакая критика; и хотя я не особенно доверял своим произведениям, однако считал их, пусть несовершенными, но все же не вполне негодными. Если то или другое из них и порицали, то втайне я был все-таки убежден, что они мало-по-малу будут всё улучшаться и что когда-нибудь мое имя будут с честью называть рядом с именами Гагедорна, Геллерта и других мужей [19]). Но одна эта цель казалось мне пустою и недостаточною; я хотел серьезно отдаться основательным научным занятиям и, надеясь при более полном ознакомлении с древностью быстрее подвинуться вперед в моих собственных произведениях, желал подготовиться к занятию университетской кафедры, что казалось мне наиболее желательным для молодого человека, стремящегося образовать самого себя и содействовать образованию других [20]).

Мысленно я всегда имел в виду Геттинген. Все мои надежды я возлагал на таких людей, как Гейне, Михаелис, и многих других; моим живейшим желанием было сидеть у них в аудитории и усваивать их учение. Но отец мой был непоколебим. Сколько ни старались повлиять на него друзья дома, державшиеся моего мнения, он стоял на том, что я должен отправиться в Лейпциг. Ради самозащиты я принял решение избрать самому, независимо от его намерений и воли, занятия и образ жизни. Упорство отца, который, сам того не зная, противился моим планам, укрепляло меня в моей непочтительности, так что я, без зазренья совести, молча, слушивал его часами, когда он рассказывал и повторял мне программу занятий и жизни, которой я должен был следовать в университете и в свете.

Так как все мои надежды на Геттинген рушились, то я направил свои взоры на Лейпциг. Там Эрнести [21]) казался мне ярким светочем, Морус тоже возбуждал большое доверие. Я втайне составил себе план своего особого курса, или скорее построил воздушный замок на довольно солидном основании. Мне казалось даже романтическим и почетным самому начертать себе путь жизни, и это тем менее казалось мне фантастичным, что Гризбах на подобном пути уже сделал большие успехи, и все прославляли его за это. Тайная радость пленника, когда он снял оковы и скоро перепилит тюремную решетку, не может быть больше той радости, какую я испытывал, видя, как дни идут за днями и приближается октябрь. Неблагоприятное время года и дурные дороги, о которых все рассказывали, не пугали меня. Мысль о том, что придется вступить в новую жизнь на чужом месте, в зимнее время, не смущала меня; только мои теперешние условия жизни казались мне мрачными, а остальной незнакомый мир представлялся светлым и веселым. Так рисовал я себе свои грёзы, которым исключительно предавался, и сулил себе на чужбине только счастье и довольство.

Как ни держал я в тайне от всех эти свои предположения, я не мог скрыть их от сестры, которая сначала очень испугалась, но затем успокоилась, когда я обещал ей взять ее впоследствии к себе, чтобы она могла вместе со мною наслаждаться приобретенным мною блестящим положением и моим благосостоянием.

Наконец пришел страстно ожидаемый Михайлов день, когда я вместе с книгопродавцем Флейшером и его женою, рожденною Триллер, которая намеревалась посетить своего отца в Виттенберге, радостно выехал из почтенного града, где родился и вырос, совершенно равнодушно покинув его, точно не желая никогда более его посетить.

Так в известные эпохи дети расстаются с родителями, слуги—с господами, покровительствуемые лица—со своими благодетелями; и каждая такая попытка стать на свои ноги, сделаться независимым, жить для самого себя, удается она или нет, всегда согласна с волею природы.

Мы выехали через ворота «Всех святых» и вскоре оставили за собою Ганау. Тут я увидел местности, которые своею новизною возбуждали мое внимание, хотя в такое время года представляли мало отрадного. Непрерывные дожди чрезвычайно испортили дороги, которые вообще еще не были приведены в то хорошее состояние, в котором мы находим их впоследствии. Поэтому наше путешествие не было приятным и удачным. Зато я обязан этой сырой погоде зрелищем явления природы, которое, вероятно, случается чрезвычайно редко: по крайней мере, я никогда более не видал ничего подобного и не слыхал, чтобы это видели другие. Ночью мы въезжали между Ганау и Гельнгаузеном на пригорок, и, хотя было темно, хотелось лучше пойти пешком, чем подвергаться опасности и трудностям этой части пути. Вдруг я увидел по правую сторону дороги, в глубине, нечто в роде странно освещенного амфитеатра. В воронкообразном углублении сверкали бесчисленные огоньки, расположенные, как бы по ступеням, один над другим, и светились так ярко, что слепили глаз. Но что было еще более странно, это то, что они не оставались на месте, а прыгали туда-сюда, сверху-вниз, и обратно, и во все стороны; большинство из них, впрочем, оставалось спокойным и продолжало мерцать. Меня насилу могли оторвать от этого зрелища, которое хотелось понаблюдать подробнее. Мы стали расспрашивать почтальона, который, однако, ничего не знал о подобном явлении, но сказал, что поблизости находится каменоломня, в углублении которой скопляется вода. Был ли это Пандемониум блуждающих огоньков, или сонм светящихся существ, этого я не берусь решать.

При проезде через Тюринген дороги стали еще хуже, и с наступлением ночи карета наша застряла в окрестностях Ауерштедта. Мы были в безлюдном месте и делали все возможное, чтобы высвободиться. Я не преминул напречь свои силы со всем усердием и, вероятно, вследствие этого чрезмерно растянул грудные мускулы, ибо впоследствии я чувствовал боль, которая то исчезала, то возвращалась и окончательно покинула меня только через много лет.

В ту же самую ночь, как-будто так хотела игра судьбы, после неожиданно счастливого события мне пришлось испытать досадную неприятность. В Ауерштедте мы встретили только-что прибывшую знатную чету, запоздавшую вследствие подоб-

ного же случая; парочка эта состояла из видного почтенного мужчины в цвете лет и из очень красивой супруги. Они предупредительно пригласили нас поужинать вместе с ними, и я был очень счастлив, когда эта милая дама ласково обращалась ко мне с разговорами. Но когда меня послали поторопить с подачею обещанного супа, то на меня, не привыкшего так долго не спать и утомленного трудностями путешествия, напала такая неодолимая сонливость, что я прямо-таки спал на ходу, вошел обратно в комнату, не сняв шляпы и, не заметив, что прочие творили молитву перед едою, бессознательно остановился за стулом и не подозревал, что я весьма веселым образом нарушаю их молитвенное настроение. Госпожа Флейшер, особа неглупая, остроумная и обладавшая притом острым язычком, прежде чем сесть за стол, попросила незнакомцев не удивляться тому, что они видят: молодой путешественник склонен-де к учению квакеров, которые находят, что бога и короля лучше всего чтить с покрытой головой. Красавица-дама, которая не могла удержаться от смеха, стала от того еще красивее, а я готов был бы отдать все на свете, чтобы не быть причиною веселости, которая была ей так к лицу. Но едва я успел убрать свою шляпу, как эти господа, люди светские, прекратили шутки и совершенно изгладили воспоминание обо всех происшедших несчастиях отличным вином из своего дорожного погребца.

Я прибыл в Лейпциг как-раз во время ярмарки, что было мне особенно приятно, так как я увидел здесь продолжение того, что видел на родине: знакомые товары и знакомых торговцев, только на других местах и в другом порядке. С большим вниманием прошелся я по рынку и по лавкам; в особенности привлекли меня жители восточных стран в своих странных костюмах; поляки, русские, а больше всего греки, важные фигуры которых в их величавых одеждах мне очень понравились.

Но эта оживленная картина скоро миновала, и на место ее выступил сам город с его высокими, красивыми и однообразными домами. Он произвел на меня очень хорошее впечатление, и нельзя отрицать, что вообще, а особенно в тихие мгновения воскресных и праздничных дней, он имеет нечто внушительное; а в лунные ночи улицы его, полутемные, полуосвещенные, невольно манили меня к ночным прогулкам.

Однако эта новая обстановка вовсе не удовлетворяла меня сравнительно с тем, к чему я привык до сих пор. Лейпциг не напоминает зрителю старого времени; памятники его говорят о новой, недавней эпохе, свидетельствующей о торговой деятельности, благосостоянии, богатстве. Но совершенно по вкусу мне были казавшиеся громадными здания, которые, выходя фасадами на две улицы, в обширных, обстроенных чуть не до

неба пространствах дворов заключали целый бюргерский мир и походили на большие замки, чуть-ли не на города. В одном из таких странных пространств поместился и я, а именно в Фейеркугеле между старым и новым Неймарктом. В двух хорошеньких комнатах, выходивших на довольно оживленный, благодаря частым прохожим, двор, жил во время ярмарки книгопродавец Флейшер, а я нанял их за сносную цену на остальное время. Моим соседом по комнате был богослов, весьма начитанный по своей специальности, благомыслящий, но бедный человек, страдавший глазами, что его заставляло очень опасаться насчет будущего. Он нажил себе эту болезнь вследствие чрезмерного чтения вплоть до глубоких сумерек и даже при лунном свете, чтобы не тратить масла. Наша старая хозяйка относилась доброжелательно к нему, всегда была ласкова ко мне и заботилась о нас обоих [22]).

Я поспешил со своим рекомендательным письмом к гофрату Бёме; он был учеником Маскова, унаследовал его кафедру и читал историю и государственное право [23]). Этот маленький, живой, коренастый человек принял меня довольно ласково и представил своей супруге. Оба они, как и прочие лица, которым я сделал визит, подали мне наилучшие надежды относительно моего будущего пребывания здесь, но я сначала никому не открыл того, что было у меня на уме, хотя я не мог дождаться удобного момента, чтобы отделаться от юриспруденции и отдаться изучению древности. Я осторожно выжидал отъезда Флейшеров домой, чтобы мои родные не слишком скоро узнали о моих предположениях. Но затем я без колебания пошел к гофрату Беме, которому прежде всего считал нужным открыть все дело, и объяснил ему с большою последовательностью и откровенностью свои намерения. Но речь моя вовсе не встретила у него хорошего приема. Как историк и специалист по государственному праву Бёме решительно ненавидел все, что имело привкус эстетики. К несчастию, он был не в слишком хороших отношениях с преподавателями этой отрасли и в особенности терпеть не мог Геллерта [24]), к которому я довольно неосторожно выразил большое доверие. Указать этим людям верного слушателя, отняв его у себя, да еще при таких обстоятельствах, казалось ему совершенно недопустимым. Поэтому он сейчас же прочел мне строгую проповедь, уверив меня, что без разрешения моих родителей он не допустит такого шага, даже если бы он сам одобрял его, чего нет на самом деле. После этого он страстно разбранил филологию и изучение языков, а еще более поэтические упражнения, интерес к которым, разумеется, просвечивал в моих рассуждениях. В заключение он сказал, что если я хочу заняться старинными авторами, то

гораздо лучше сделать это путем юриспруденции. Он напомнил мне о ряде изящных юристов, например об Эвергарде Отто и Гейнекциусе, обещал мне золотые горы от изучения римских древностей и от истории права и доказал ясно, как день, что я даже ничего не потеряю, если после всего этого, по зрелом размышлении и с согласия родителей, возвращусь к своему первому плану. Он дружески просил меня еще раз обдумать это дело и поскорей сообщить ему мое решение, потому что, в виду предстоящего начала лекций надо на что-нибудь решиться.

Хорошо еще, что он не стал сразу принуждать меня. Его аргументы и та вескость, с которою он их проводил, подействовали на мою гибкую молодость, и я только теперь увидел трудные и сомнительные стороны дела, относительно которого я втайне воображал себе, что оно столь легко исполнимо. Вскоре после того госпожа Бёме пригласила меня к себе. Я застал ее одну. Она была уже не молода, очень болезненна и бесконечно кротка, чем составляла решительный контраст своему мужу, добродушие которого иногда имело даже шумный характер. Она навела меня на разговор, который только-что происходил между мною и ее мужем, и еще раз представила мне дело во всем его объеме так дружески, любовно, разумно, что я не мог не уступить ей; немногие оговорки, на которых я настоял, были также приняты с ее стороны.

Затем муж ее распределил мои занятия: я должен был слушать философию, историю права, институции и еще кое-что. Я согласился, но решился кроме того посещать лекции Геллерта по истории литературы о Штокгаузене [25]) и его практические занятия.

Геллерт был чрезвычайно уважаем и любим всеми молодыми людьми. Я уже посетил его и был ласково принят им. Небольшого роста, нежного сложения, но не худощавый, с кроткими, пожалуй даже грустными глазами, с не слишком большим ястребиным носом, с тонко очерченным ртом, с приятным овалом лица, он всею своею наружностью располагал к себе. Попасть к нему было довольно трудно; два фамулуса его казались жрецами, охранявшими святилище, доступ в которое дозволялся не каждому и не в любое время. Такая предосторожность была необходима, потому что, если бы он захотел принять и удовлетворить всех, желавших поговорить с ним по душе, то ему пришлось бы пожертвовать на это весь свой день.

Лекции я посещал сперва прилежно и аккуратно, но философия никак не шла мне впрок. В логике мне казалось странным, что те самые духовные операции, которые я смолоду совершал с величайшим удобством, приходилось разрывать на части, разъединять и как бы разрушать для того, чтобы ура-

зуметь надлежащее употребление их [26]). О «вещи в себе», о мире, о боге я знал, как мне представлялось, приблизительно столько же, сколько и учитель, и мне казалось, что на многих местах он изрядно запинался. Дело шло еще более или менее порядочно до масленицы, когда по соседству с квартирою профессора Винклера [27]) как-раз в часы лекций стали продаваться превосходнейшие горячие пышки, прямо со скороводы; из-за них мы так запаздывали, что наши тетради растрепались, и последние листы к весне растаяли вместе со снегом и исчезли.

С юридическими лекциями дело пошло вскоре так же плохо, потому что я уже знал как-раз столько, сколько нам считал нужным сообщить наш учитель. Мое первоначальное упорное прилежание в записывании стало постепенно ослабевать, так как я находил чрезвычайно скучным еще раз записывать то, что я достаточно повторял уже у моего отца, частью спрашивая, частью отвечая, и навсегда удержал в памяти. Вред, причиняемый тем, что молодых людей заводят в школах слишком далеко в некоторых предметах, выразился позднее еще в большей степени, когда стали отнимать время и внимание от словесных наук и от основательного усвоения предварительных знаний, отдавая это время так называемым реальным предметам, которые более развлекают, чем развивают, если не преподаются методически и в должной полноте.

Здесь я упомяну попутно еще об одной неприятной вещи, которая очень удручает учащихся. Профессора, как и другие должностные лица, не могут быть все одного возраста; а так как более молодые из них, собственно, учат лишь для того, чтобы учиться, а кроме того, если они талантливы, опережают свой век, то они приобретают свое развитие на счет слушателей, которым преподается не то, что им, собственно, нужно, а то, что находит нужным изучать учитель. С другой стороны, из старших профессоров многие давно уже остановились на месте; они передают в общем только установившиеся взгляды, а в частностях многое, что в настоящее время уже бесполезно или отвергнуто. Через то и другое возникает печальное противоречие, в коем мечутся туда и сюда молодые души; с трудом лишь приводятся они в равновесие преподавателями среднего возраста, которые, будучи достаточно образованы и сведущи, все еще чувствуют деятельное стремление к знанию и размышлению.

Как при этом учении я приобретал больше знаний, чем укладывалось у меня в голове, вследствие чего во мне все более возрастало чувство недовольства, так и в жизни я имел разные мелкие неприятности: всегда, ведь, приходится несколько платиться тому, кто меняет местопребывание и попадает в новые условия. Первое, что во мне осудили женщины, был мой

костюм, так как действительно, приехав из дома в университет, я был одет довольно странно.

Мой отец, который меньше всего терпел, когда что-либо делалось напрасно, или кто-нибудь не умел пользоваться своим временем, или не находил случая его использовать, простирал свою экономию времени и сил до того, что ему ничто не доставляло большего удовольствия, как убить одним ударом двух мух. Поэтому он никогда не держал ни одного слуги, который бы не был к чему-либо полезен в доме. Так как он все писал собственноручно, а потом любил диктовать упомянутому выше молодому человеку, жившему у нас, то он нашел выгодным брать в слуги портных, которые с пользою употребляли бы свое время и не только шили бы свои ливреи, но и изготовляли платье для него и детей, а также производили бы всякие починки.

Отец сам заботился о покупке лучших сукон и материй на ярмарках от иностранных торговцев и хранил их в своей кладовой. Я еще до сих пор помню, как он каждый раз посещал господ Левених из Аахена и с самых юных лет моих познакомил меня с этими, а также и другими превосходными купцами. Итак, достоинство материала было обеспечено; был собран достаточный запас различных сортов сукон, саржи, геттингенских материй и необходимые подкладки. Таким образом, материал наших платьев мог вполне выдержать критику, но фасон большею частью совершенно портил их. Если подобный домашний портной и был порядочный подмастерье, который мог бы сшить и изготовить мастерски скроенный костюм, то у нас ему приходилось и кроить самому, что не всегда хорошо удавалось. К тому же отец мой держал очень хорошо и чисто всё относившееся к его костюму и многие годы более берег платье, чем носил его; отсюда проистекала его любовь к некоторым старым модам и украшениям, через которые наш наряд иногда получал причудливый вид.

Именно таким путем был сшит тот гардероб, который я взял с собою в университет; он был очень полон и наряден, имелись даже платья с галунами. Привыкнув к такому наряду, я считал себя достаточно расфранченным; но через короткое время приятельницы мои убедили меня частью легкими поддразниваниями, частью разумными доводами, что я имел такой вид, как-будто свалился из другого мира. Как ни досадно мне это было, сначала я не видел, что мне делать. Но когда однажды на сцене театра появился в подобной одежде господин фон-Мазурен, столь любимый в поэзии деревенский юнкер, и возбудил искренний смех более своею внешностью, чем внутренней нелепостью, — то я набрался решимости и отважился сразу заме-

нить весь свой гардероб новомодным, согласно местному покрою, вследствие чего, конечно, гардероб этот очень сократился.

За этим первым испытанием мне суждено было перенести еще другое, гораздо более неприятное, потому что оно касалось вещи, которую не так легко отбросить и заменить.

Дело в том, что я родился и вырос в местности, где господствует верхне-немецкий диалект, и хотя мой отец всегда заботился об известной чистоте языка и с самых ранних лет указывал нам, детям, на то, что можно действительно назвать недостатками этого наречия, и старался научить нас говорить лучше, но у меня остались все-таки некоторые глубокие особенности, которые я даже с удовольствием подчеркивал, потому что они нравились мне своею наивностью, и этим вызывал каждый раз строгое замечание со стороны моих новых сограждан. Особенность верхне-немецкого наречия — и преимущественно, может быть, того, которое господствует на Рейне и Майне (большие реки, как и морские берега, вносят всегда нечто оживляющее), — выражается в богатстве его сравнениями и намеками; при внутреннем здравомыслии и силе оно любит пользоваться пословицами. В том и другом отношении оно нередко бывает грубовато, но, если иметь в виду цель выражения, оно всегда метко, однако в нем всегда есть нечто, режущее более нежное ухо [28]).

Каждая провинция любит свой диалект: это и есть та стихия, в которой ее душа почерпает свою жизнь. Но каждому известно, с каким упрямством мейссенское наречие умело подавить и на некоторое время даже исключить прочие. Много лет мы страдали под этим педантическим гнетом, и только после многочисленных возражений все провинции восстановили свои права. Что должен выдержать под этим постоянным менторским надзором живой молодой человек, легко поймет тот, кто примет во внимание, что вместе с выговором, — изменить который приходится в конце концов, — мы жертвуем в то же время способом мышления, воображением, чувствами, национальным характером. И это невыносимое требование предъявлялось мне образованными мужчинами и дамами, взгляды которых я не мог усвоить, неправоту которых я, казалось, чувствовал, хотя не мог ясно этого выразить. Я должен был отказаться от намеков на библейские тексты, от употребления простодушных выражений старых хроник. Я должен был забыть, что читал Гейлера фон-Кайзерсберга [29]), и отказаться от употребления поговорок, которые вместо всякого виляния попадают не в бровь, а в самый глаз. Я должен был отбросить все, что усвоил себе с юношескою пылкостью; я чувствовал себя как бы внутренне парализованным и не знал, как мне выражаться о самых обыкновенных вещах. При этом я слышал, что следует говорить,

как пишут, и писать, как говорят, а речь и письмо казались мне совершенно различными вещами, из которых каждая имела право настаивать на своем. Ведь и на мейссенском диалекте я слушал многое, что на бумаге вышло бы не совсем хорошо.

Каждый, кто видит из этих слов, какое решительное влияние на молодого человека имеют образованные мужчины и женщины, ученые и другие люди, вращающиеся в хорошем обществе, тотчас же без дальнейших рассуждений поймет, что мы находимся в Лейпциге. Каждый из немецких университетов имеет свой особый характер; так как в нашем отечестве образование не может принять одного общего вида, то каждая местность остается при своих особенностях и доводит свои характерные отличия до крайних пределов; то же относится и к университетам. В Иене и Галле грубость дошла до высшей точки; телесная сила, ловкость в фехтовании, самая дикая самопомощь там в порядке дня, и господствующий там постоянный разгул может только поддерживать это состояние. Отношение студентов к жителям этих городов, как бы различно оно ни было, было сходно в том отношении, что дикий пришелец не чувствовал никакого уважения к гражданам и смотрел на себя, как на особое существо, имеющее привилегию на всяческие вольности и дерзости. В Лейпциге, напротив, студент не мог быть ничем иным, как галантным кавалером, если только он хотел иметь какое-либо общение с богатыми, хорошо воспитанными жителями.

Однако, всякая галантность, если она не является высшим результатом высоко и широко развитой жизни, должна казаться ограниченною, застывшею в известных формах и, с некоторых точек зрения, пожалуй, даже глупою; таким образом дикие охотники с берегов Заалы считали себя гораздо выше кротких пастушков с побережья Плейсы. «Хвастун» Цахариэ [30]), навсегда останется ценным документом, наглядно показывающим характер тогдашней жизни и нравов: да и вообще его стихотворения должны цениться каждым, кто хочет составить себе понятие о слабом, но по своей невинности и ребячеству симпатичном состоянии тогдашней общественной жизни.

Все нравы, проистекающие из данных отношений обыденной жизни, неискоренимы, и в мое время еще многое напоминало о героической поэме Цахариэ. Один из наших университетских сограждан считал себя достаточно богатым и независимым, чтобы раздавать щелчки общественному мнению. Он пил брудершафт с каждым извозчиком, сажал их в коляску, как господ, а сам садился на козлы, доставлял себе великую забаву опрокидывать их, при чем платил за разбитые пролетки и полученные шишки, вообще же не обижал никого, а только издевался

над публикою в массе. В один прекрасный день на гулянии он вместе с одним из своих приятелей завладел двумя ослами мельника, и с самым серьезным видом, хорошо одетые, в башмаках и чулках, они проехали на них по городу, возбуждая всеобщее удивление гуляющих, которыми кишел гласис. Когда благоразумные люди делали ему замечания, он невозмутимо отвечал, что хотел только посмотреть, какой имел вид в подобном же случае Иисус Христос. Подражателей он не находил, и приятелей у него было мало. Все сколько-нибудь состоятельные и приличные студенты имели все причины ладить с торговым сословием и тем более соблюдать всякие внешние приличия, что колония эта представляла настоящий образчик французских нравов. Профессора были также не бедны. Имея собственное состояние и хорошие доходы, они не зависели от своих учеников, а многие из местной молодежи, воспитанные в правительственных школах и других гимназиях, в расчете на карьеру, не отваживались уклоняться от принятых обычаев. Близость Дрездена, внимание, обращаемое оттуда на Лейпциг, истинная порядочность лиц, следивших за жизнью студентов, — все это не могло остаться без нравственного и даже религиозного влияния.

Вначале этот образ жизни был мне не противен, мои рекомендательные письма доставили мне доступ в хорошие дома, и близкие к ним круги также приняли меня. Но так как я скоро почувствовал, что общество находит во мне много недостатков и, переодевшись по его вкусу, я должен был и говорить на его лад, а притом ясно видел, что от всего этого получаю очень мало пользы в смысле того, чего я ожидал от университетской жизни по части обучения и развития, то я стал небрежным, манкировал обязательными визитами и другими знаками внимания и еще скорее бросил бы все эти знакомства, если бы меня не удерживал страх перед гофратом Бёме, а также уважение, доверие и привязанность к его супруге. Муж ее, к сожалению, не имел счастливой способности обходиться с молодыми людьми, приобретать их доверие и руководить ими, как нужно в данный момент. От посещений его я никогда не видел пользы; зато его жена искренне интересовалась мною. Болезненное состояние заставляло ее все время сидеть дома. По вечерам она часто приглашала меня к себе и умела руководить мною и исправлять разные мои мелкие внешние недостатки, так как я хоть и был хорошо воспитан, но еще не имел того, что называется знанием жизни. У нее по вечерам бывала только одна знакомая дама, но это была уже особа более властная и любившая поучать; поэтому я очень не любил ее и иногда на зло ей снова совершал те

выходки, от которых госпожа Беме меня уже отучила. Дамы эти были, впрочем, очень терпеливы со мною и научили меня играть в пикет, ломбер и другие игры, знание коих считали необходимым в обществе.

Но на что госпожа Бёме имела величайшее влияние, это на развитие моего вкуса — впрочем, в отрицательном смысле, в чем она, однако, вообще сходилась с критиками. Водянистое учение Готтшеда затопило немецкий мир настоящим потопом, угрожавшим захлестнуть даже самые высокие горы. Чтобы такое наводнение схлынуло и высох ил, нужно много времени, и так как в каждую эпоху бывает множество подражательных поэтов, то подражание мелкому и водянистому разрослось до таких размеров, о которых мы теперь не можем составить себе даже и представления.

Поэтому величайшим удовольствием, даже триумфом для тогдашних критиков было — находить дурное дурным. Каждый, кто обладал хоть каким-нибудь здравым смыслом и был поверхностно знаком с древней и несколько ближе с новою литературою, считал, что имеет мерку, которую может прилагать повсюду. Госпожа Бёме была образованной женщиной, которой было противно все мелкое, слабое и пошлое; кроме того, она была супругой человека, который вообще был во вражде с поэзией и не признавал даже и того, с чем она еще мирилась. Она, правда, некоторое время терпеливо выслушивала, когда я осмеливался читать ей стихи или прозу известных писателей, пользовавшихся хорошею репутацией; я, как и прежде, знал наизусть все, что мне сколько-нибудь нравилось; но ее уступчивость продолжалась недолго. Первое, что она мне ужаснейшим образом разбранила, были «Поэты по моде» Вейссе [31]), которые незадолго до этого были повторены несколько раз с большим успехом и мне особенно понравились. Рассмотрев дело поближе, я, впрочем, не мог не отдать ей справедливости. Несколько раз я отваживался читать ей и кое-что из моих собственных стихотворений, но не называя имени автора; о них она отозвалась не лучше, чем о прочей компании. Таким образом, в короткое время прекрасные пестрые луга немецкого Парнасса, по которым я так охотно гулял, были беспощадно скошены, и я даже был вынужден сам переворачивать сухое сено и осмеивать, как мертвое, то, что еще недавно доставляло мне такую живую радость.

Эти ее воззрения поддержал, сам того не зная, профессор Морус [32]), чрезвычайно мягкий и ласковый человек, с которым я познакомился за столом у профессора Людвига и который принял меня очень приветливо, когда я попросил позволения посетить его. Расспрашивая его относительно древней литературы,

я не скрыл от него, что́ нравилось мне из новейшей; тогда он с бо́льшим спокойствием, чем госпожа Беме, но—что еще хуже—и с бо́льшей основательностью открыл мне глаза, сперва к моей величайшей досаде, а потом к моему удивлению и, наконец, к поучению.

К этому присоединились еще иеремиады, которыми Геллерт на своих практических занятиях старался отвратить нас от поэзии. Он желал только прозаических сочинений и рассматривал их всегда первыми. На стихи он смотрел всегда, как на печальное прибавление и, что было хуже всего, даже моя проза мало им одобрялась, потому что я, по своему прежнему обыкновению, клал всегда в основу ее небольшой роман, который любил излагать в форме писем. Предмет изложения был страстен, стиль выходил за пределы обыкновенной прозы, а содержание, конечно, не свидетельствовало о глубоком знании человеческой души; таким образом я встречал очень мало поощрения у своего учителя, хотя он аккуратно просматривал мои работы, как и работы других, исправлял их красными чернилами и вставляя здесь и там моральные примечания. Несколько таких листов я долгое время с удовольствием хранил, но с течением времени они, к сожалению, растерялись и исчезли из моих бумаг.

Если пожилые люди хотят поступать истинно педагогично, то они не должны запрещать или опорочивать все, что доставляет радость молодому человеку, каково бы оно ни было, не заменяя этого ничем другим. Все протестовали против моих склонностей и вкусов, а то, что мне превозносили, было частью так далеко от меня, что я не мог видеть его преимуществ, частью же так близко, что оно казалось мне нисколько не лучше осуждаемого. Поэтому я пришел в совершенное смущение и ожидал наилучших результатов от лекций Эрнести [33]) о цицероновском «Ораторе»; я, правда, кое чему научился из этого курса, но не уяснил себе того, что, собственно, было для меня важно. Я требовал мерила для суждения и как-будто убедился, что такого мерила ни у кого не было; никто не соглашался с другими, даже если они приводили примеры, и откуда же мы взяли бы оценку, если находили так много достойного порицания даже у такого человека, как Виланд, в его прелестных сочинениях, которые совершенно увлекали молодежь.

Среди такой разбросанности, при таком раздроблении всего моего существа и моих занятий случилось, что я оказался за обедом у гофрата Людвига. Он был медик, ботаник, и общество состояло, кроме Моруса, сплошь из начинающих или почти уже готовых врачей. При этом я не слышал других разговоров, как о медицине или естествознании, и воображение мое было

увлечено в совершенно другую область. Я слышал, как с величайшим почтением упоминались имена Галлера, Линнея, Бюффона, и если иногда возникал спор вследствие ошибок, в которые они впадали, то в конце концов все приходило в равновесие, благодаря общепризнанной громадности их заслуг. Предметы беседы были интересны и важны, и внимание мое было сильно напряжено. Я мало-по-малу познакомился с многочисленными названиями в обширной терминологии, которую я запоминал тем охотнее, что боялся записать какую-нибудь рифму, как бы она мне ни навязывалась, или прочесть какое-нибудь стихотворение, страшась, что если оно мне теперь и понравится, то, может быть, вскоре, как и многое другое, будет, пожалуй, объявлено дурным.

Эта неуверенность моего вкуса и суждений беспокоила меня с каждым днем все больше, так что, наконец, я впал в отчаяние. Я взял с собою те из своих юношеских работ, которые считал лучшими, отчасти потому, что надеялся, что они послужат мне к чести, отчасти для того, чтобы тем вернее следить за своими успехами; и вот я попал в скверное положение: ясно было, что если требуется полная перемена образа мыслей, то надо отречься от всего, что прежде я любил и находил хорошим. Через некоторое время, после упорной борьбы с самим собой, я воспылал таким презрением ко всем своим начатым и оконченным работам, что в один прекрасный день сжег на кухонном очаге всю свою поэзию и прозу, планы, очерки и наброски, наполнив весь дом таким дымом и чадом, что немало перепугал нашу добрую старую хозяйку [34]).

КНИГА СЕДЬМАЯ

О состоянии немецкой литературы [35]) того времени писано так много и подробно, что каждый, кто сколько-нибудь интересуется этим, может получить вполне достаточные сведения, и оценка этой литературы довольно единогласна. Если я хочу отрывочно сказать здесь что-нибудь об этом, то имею в виду, не какова была она по себе, а как она относилась ко мне. Поэтому я прежде всего буду говорить о таких вещах, которые особенно волнуют публику,—об обоих наследных врагах всякой уютной жизни и всякого веселого, довольного собою, живого поэтического искусства: о сатире и критике.

В спокойные времена каждый живет по-своему; бюргер занимается своим ремеслом, своим делом, и потом отдыхает; так и писатель охотно издает что-нибудь, публикует свои работы и надеется получить за это если не награду, то хоть похвалу, полагая, что он сделал нечто доброе и полезное. Это спокойствие нарушается для бюргера сатириком, а для автора критиком, и таким образом мирное общество приводится в неприятное волнение.

Литературная эпоха, в которую я родился, развилась из предыдущей путем противоречия. Германия, долгое время наводненная чужеземными народами, проходимая насквозь другими нациями, принужденная пользоваться чужими языками в научных и дипломатических сношениях, не могла выработать своего собственного. Для новых понятий ей по необходимости, а иногда и без надобности было навязано множество иностранных слов, и даже для знакомых предметов приходилось пользоваться иностранными выражениями и оборотами. Немец в течение почти двух столетий одичавший в несчастном, беспорядочном состоянии, пошел в школу к французам, чтобы поучиться приличной жизни, и к римлянам, чтобы уметь достойно выражаться. Но то и другое должно было совершиться и в его родном языке, потому что непосредственное применение тех языков, переделка их наполовину на немецкий лад сделала

бы смешным как светский, так и деловой стиль. Кроме того, немцы придали слишком большое значение богатой сравнениями речи южных языков и пользовались сравнениями слишком неумеренно. Точно так же важная царственная осанка римских граждан перенесена была в условия жизни ученых в мелких немецких городах, и никто нигде не чувствовал себя дома, менее же всего — у себя.

Но как уже и в эту эпоху возникли гениальные произведения, так и здесь пробудились немецкие свободомыслие и веселый дух. Последний, в союзе с искренней серьёзностью, стремился к тому, чтобы писали чисто и естественно, без примеси чужих слов, как требовал простой здравый смысл. Но благодаря этим похвальным усилиям настежь открылась дверь и для отечественной грубости, и была прорвана плотина, через которую полилось это наводнение. В то же время на всех четырех факультетах долго держался тупой педантизм, пока он не стал позднее перебегать из одного факультета в другой.

Светлым головам, свободно смотрящим на дело детям природы, представлялись поэтому два предмета, на которых они могли упражняться, против которых им приходилось действовать и, так как дело не имело особенно большого значения, срывать свою досаду: это были, во-первых, язык, обезображенный чужими словами, словообразованиями и оборотами, и, во-вторых, ничтожество тех сочинений, которые стремились освободиться от этих недостатков; при этом никто не замечал, что, поборая одно зло, призывали на помощь другое.

Лисков [36]), молодой человек, первый отважился лично напасть на одного мелкого, глупого писателя, неловкое поведение которого вскоре дало ему повод и к более резким поступкам. Затем он расширил поле своих атак и направил свои насмешки на известные предметы и на известных лиц, которых он презирал и желал предать презрению, даже преследовал их со страстною ненавистью. Но его карьера была коротка; он рано умер, и беспокойный, беспорядочный юноша был забыт всеми. Хотя он и мало сделал, но в том, что он совершил, его соотечественники могут оценить его талант и характер, как вообще немцы с особенной нежностью умеют ценить рано умершие многообещавшие таланты. Словом, Лисков давно славится у нас, как отличный сатирик, которого, пожалуй, можно было бы поставить даже выше любимого всеми Рабенера [37]). Благодаря ему мы, правда, не подвинулись вперед, потому что в его сочинениях мы видим только, что он признал глупость глупостью, что вполне естественно.

Рабенер, человека отлично воспитанный, получивший образование в хороших школах, веселого характера, чуждый страст-

ности и злобы, посвятил себя общей сатире. Его осуждение так называемых пороков и глупостей исходит из чистых взглядов спокойного человеческого рассудка и из определенного нравственного представления, каким должен бы быть мир. Порицание ошибок и недостатков у него незлобиво и весело и, чтобы извинить даже ту небольшую смелость, какая свойственна его сочинениям, он предполагает, что исправление дураков через осмеяние их — небесполезное предприятие.

Такая личность, как Рабенер, не скоро вновь появится. Он исполнял свой долг как честный, аккуратный, деловой человек и приобрел себе благодаря этому добрую славу среди своих сограждан и доверие старших; рядом с этим для отдыха он отдавался веселому осмеиванию всего, что его непосредственно окружало. Педантов-ученых, тщеславных молодых людей, все роды ограниченности и самомнения он более вышучивал, чем высмеивал, и его насмешка не носит даже характера презрения. Точно так же шутил он и над своими несчастьями, своей жизнью и смертью.

Способ обработки тем у этого писателя мало эстетичен. По внешним формам он довольно разнообразен, но он слишком пользуется прямою иронией, то-есть хвалит достойное порицания и порицает достойное похвалы, — риторическое средство, к которому следовало бы прибегать лишь изредка, потому что умному человеку оно в конце концов надоедает, а глуповатого сбивает с толку и нравится только большому классу средних людей, которые, без особой затраты ума, считают себя умнее других. Но что бы и как бы он нам ни предлагал, всё свидетельствует о его честности, веселости и хладнокровии, располагая нас в его пользу. Полное одобрение современников было результатом этих нравственных преимуществ.

Что к его общим изображениям искали оригиналов и находили их, понятно само собою; отсюда вытекает, что отдельные лица жаловались на него. Его слишком длинные оправдания, что его сатира не имеет ничего личного, свидетельствуют о том, что жалобы эти причиняли ему досаду. Некоторые из его писем венчают его как человека и писателя. Наивное письмо, в котором он описывает осаду Дрездена, — как он потерял свой дом, имущество, сочинения и парики, ничуть не теряя своего хладнокровия, не смущаясь в своей веселости, — в высшей степени ценно, хотя его современники и сограждане не могли простить ему этого веселого настроения духа. Письмо, в котором он говорит об упадке своих сил и о своей близкой смерти, очень достойно уважения, и Рабенер заслуживает того, чтобы все разумные люди, светло смотрящие на жизнь и радостно предающиеся земным треволнениям, почитали его как святого.

Я неохотно отрываюсь от него и прибавлю еще только, что его сатира относится исключительно к среднему сословию; здесь и там он дает понять, что знает и высшие сословия, но не считает целесообразным касаться их. Можно сказать, что он не имел последователей и что не нашлось никого, кто мог бы стать с ним наравне или быть ему подобным.

Теперь обратимся к критике и прежде всего к теоретическим опытам. Мы не впадем в преувеличение, если скажем, что в те времена идеализм укрылся из мира в область религии и едва проявлялся даже в учении о нравственности; о высшем же принципе искусства никто не имел даже представления. Нам давала в руки «Критическое искусство поэзии» Готтшеда [38]); эта книги была вполне пригодна и достаточно поучительна, потому что она давала исторические сведения обо всех родах поэзии, равно как о ритме и о разных изменениях его; поэтический гений предполагался сам собою. Вообще поэт должен был обладать знаниями, даже быть ученым; он должен был обладать вкусом и разными другими качествами. В конце концов нам указывали на Горациево «Искусство поэзии»; мы с благоговением дивились некоторым золотым изречениям этого неоцененного произведения, но совершенно не знали, что нам с ним сделать и как его использовать.

Швейцарцы [39]) выступили антагонистами Готтшеда; они, следовательно, должны были произвести нечто другое, лучшее, и действительно до нас дошли известия, что они дали это лучшее. Мы принялись за «Критическое искусство поэзии» Брейтингера [40]). Здесь мы вышли на более широкое поле, но, собственно попали лишь в больший лабиринт, который был тем утомительнее, чем более водил нас по нему основательный человек, которому мы доверились. Краткий обзор оправдает эти слова.

Для искусства поэзии самого по себе трудно было найти какое-либо основное положение; оно было слишком духовно и неуловимо. Живопись, как искусство, которое можно удержать глазами, за которым можно шаг за шагом следить внешними чувствами, для этой цели более благоприятно; англичане и французы представили уже теории изобразительного искусства и полагали, что, по аналогии с ней, можно было бы основать и теорию поэзии. Живопись ставит картины перед глазами, а поэзия—перед фантазией; итак, прежде всего подлежат рассмотрению поэтические картины. Начали со сравнений, за ними последовали описания, и заговорили обо всем, что можно представить для внешних чувств.

Итак—картины! Но откуда же взять эти картины, как не из природы? Живописец, очевидно, подражал природе; почему не

сделать этого же и поэту? Но природе, как мы ее видим, нельзя прямо подражать: в ней так много незначительного, недостойного; надо, следовательно, выбирать. Чем же определяется выбор? Надо разыскивать значительное; но что есть значительное?

Вероятно, швейцарцы давно уже имели в виду этот вопрос, потому что пришли хотя и к странной, но очень недурной и даже забавной мысли: они говорят, что наиболее значительно всегда то, что ново; обдумав это далее, они нашли, что чудесное всегда более ново, чем все прочее.

Итак, сумма поэтических требований более или менее установлена. Но надо было еще принять во внимание, что чудесное может быть и пусто и не иметь отношения к человеку; но это необходимое для искусства отношение должно быть моральным, из чего, очевидно, следует требование улучшения самого человека; поэтому стихотворение достигает своей конечной цели, когда оно, кроме всего прочего, что дает, еще и полезно. И вот соответственно всем этим требованиям хотели исследовать все роды поэзии и считать за первый и высший род ее тот, который подражает природе, чудесен и в то же время имеет моральную цель и полезен. После долгого обсуждения это великое преимущество было присуждено с глубочайшим убеждением Эзоповой басне. Как ни странен нам кажется теперь подобный вывод, но он имел самое решительное влияние на лучшие умы. Что Геллерт, а за ним Лихтвер [41]) посвятили себя этому направлению, что даже Лессинг пытался работать в таком смысле, что столь многие другие употребили на это свой талант,—все это говорит в пользу доверия, какое приобрел подобный взгляд. Теория и практика всегда действуют одна на другую; из произведений можно видеть мнения людей, а по мнениям их можно судить, что они сделают.

Мы не можем расстаться с этой швейцарской теорией, не отдав ей должной справедливости. Бодмер [42]), сколько он ни работал теоретически и практически, был всю жизнь ребенком. Брейтингер был дельный ученый, очень умный человек, от которого, когда он хорошенько осмотрелся, не укрылось ни одно из требований поэтического творчества, и можно даже доказать, что он смутно чувствовал недостатки своей методы. Замечателен, например, его вопрос, является ли действительно стихотворением известное описательное стихотворение Кенига [43]) об увеселительном лагере Августа Второго. Его ответ на это свидетельствует о том же здравомыслии. К его оправданию может служить то, что, исходя из ложной точки зрения и почти уже закончив круг, он все-таки наткнулся на главную суть и считает себя вынужденным в конце своей книги посоветовать, как

бы в качестве дополнения, изображать нравы, характеры, страсти,—словом, всего внутреннего человека, с которым ведь и имеет дело, главным образом, поэтическое искусство.

Легко себе представить, в какое смущение были приведены молодые умы такими насильственно вывернутыми правилами, полупонятыми законами и раздробленными учениями. Обратились к примерам, но дело от этого не стало лучше; иностранные примеры, а также старые, были слишком далеки, а из лучших отечественных всегда выглядывала определенная индивидуальность, на достоинства которой не смели претендовать, а в недостатки ее боялись впасть. Для того, кто чувствовал в себе какую-нибудь продуктивность, это было отчаянное состояние.

Если хорошенько рассмотреть, чего не хватало немецкой поэзии, то окажется, что ей недоставало содержания, и притом национального; в талантах никогда не было недостатка. Упомянем только о Гюнтере [44]), который может быть назван поэтом в полном смысле слова; это был решительный талант, одаренный чувством, воображением, памятью, даром схватывания и усвоения, в высшей степени плодовитый, владеющий ритмом, гениальный, остроумный и притом разносторонне образованный; словом, он обладал всем, что нужно, чтобы посредством поэзии создать в жизни, и притом в обыденной действительной жизни, вторую жизнь. Мы удивляемся той легкости, с которою он в своих стихотворениях на разные случаи возвышает всевозможные состояния своим чувством, украшая их соответствующими мыслями, картинами, историческими и баснословными преданиями. Если в них есть нечто грубое и дикое, то это — дань его времени, его образу жизни и его характеру или, если угодно, его бесхарактерности. Он не умел обуздать себя и тем разрушил свою жизнь, как и свою поэзию.

Мальчишеским поведением своим Гюнтер сделал невозможным счастье устроиться при дворе Августа Второго, где в дополнение ко всей прочей роскоши хотели завести и придворного поэта, который придавал бы празднествам размах и красу и увековечивал бы преходящее великолепие. Фон-Кениг был воспитаннее и счастливее; он занял это место с достоинством и успехом.

Во всех монархических государствах содержание поэтического искусства исходит свыше, и, может быть, веселый лагерь при Мюльберге был первою достойною, если не национальною, то провинциальною темою, представившеюся поэту. Два короля, приветствующие друг друга в присутствии большого войска, весь окружающий их придворный и военный штат, хорошо содержимая армия, маневры, празднества всякого рода — все это пред-

ставляло достаточно занятий для внешнего чувства и изобильный материал для изобразительной и описательной поэзии.

Конечно, эта тема имела внутренний недостаток именно в том отношении, что все это была лишь пышность и видимость, из которой не проистекало никакого дела. Никто, кроме первых лиц, не выдавался, и если бы это и случилось, то поэт не мог бы выдвинуть кого-нибудь одного, чтобы не обидеть других; ему приходилось сообразоваться с придворным и государственным календарем, а потому обрисовка отдельных лиц выходила довольно сухою, и уже современники упрекали его в том, что лошадей он изображает лучше, чем людей. Но разве не следовало похвалить его именно за то, что он показывал свое искусство там, где находил предмет для этого? Притом, повидимому, он сам вскоре заметил эту главную трудность, потому что стихотворение не пошло у него дальше первой песни.

Среди таких занятий и рассуждений меня застало неожиданное событие, которое разрушило мое похвальное намерение познакомиться с новейшею литературою с самого ее начала. Мой земляк Иоганн Георг Шлоссер [45]), окончив с прилежанием и усердием годы своего университетского учения, по обычаю занялся адвокатурою во Франкфурте на Майне, но его ум, пытливый и направленный на обобщения, по разным причинам не мог удовлетвориться этим положением. Он, не задумываясь, принял место тайного секретаря у герцога Фридриха Евгения Виртембергского, жившего в Трептове [46]); этот герцог принадлежал к числу тех высоких особ, которые, как все говорили, были настолько благородны и самостоятельны, что стремились просвещать, совершенствовать и объединять для высших целей себя, своих и всё окружающее. Герцог Фридрих, желая испросить совета по части воспитания детей, писал к Руссо и получил ответ, начинающийся рискованной фразой: «Si j'avais le malheur d'être né prince» (если бы я имел несчастие быть князем).

Шлоссеру пришлось если не управлять, то помогать советом и делом герцогу не только в его делах, но и в воспитании его детей. Этот молодой, благородный человек, одушевленный наилучшими намерениями, безукоризненно чистый в нравственном отношении, мог бы легко оттолкнуть от себя людей своею несколько сухою строгостью, если бы каждого не привлекали к нему и не облегчали жизнь с ним его прекрасное, редкое литературное образование, знание языков и умение выражаться письменно в стихах и в прозе. Мне стало известно, что он будет проездом в Лейпциге, и я с нетерпением ожидал его. Он приехал и остановился в маленькой гостинице или трактире в Брюле; хозяин этой гостиницы носил фамилию Шенкопф [47]). Последний был женат на франкфуртской уроженке, и хотя в остальное время года он

мало кого угощал и маленький дом его не мог принимать гостей, но во время ярмарки его посещали многие франкфуртцы, которые там обыкновенно столовались, а по нужде нанимали и квартиру. Туда-то я и поспешил, чтобы повидат Шлоссера, как только узнал о его прибытии. Я едва помнил, видел ли я его раньше, и встретил молодого, хорошо сложенного человека с круглым плотным лицом, в чертах которого, однако, не было ничего тупого. Форма его округленного лба между черными бровями и кудрями указывала на серьезность, строгость и, быть может, упрямство. Он представлял как бы противоположность мне, и на этом, вероятно, основывается наша прочная дружба. Я питал величайшее уважение к его талантам, тем более, что заметил, что он был далеко выше меня в смысле уверенности в том, что он делал и производил. Уважение и доверие, которые я ему оказывал, укрепили его склонность ко мне и увеличили ту снисходительность, с которою он должен был относиться к моему живому, рассеянному и всегда подвижному характеру, который был противоположен его собственному. Он прилежно изучал англичан. Поп был для него если не образцом, то, по крайней мере, руководящим явлением; в противовес «Опыту о человеке» этого писателя Шлоссер написал в той же форме и тем же размером стихотворение, которое должно было доставить христианской религии торжество над деизмом Попа [48]). Он привез с собою много бумаг и показал мне поэтические и прозаические сочинения на всех языках; сочинения эти, возбуждая меня к подражанию, в то же время привели меня в чрезвычайное беспокойство. Но я тотчас утешился работою, я написал ряд обращенных к нему немецких, французских, английских и итальянских стихотворений, материал для коих я взял из наших разговоров, которые были весьма серьезны и поучительны.

Шлоссер не хотел уехать из Лейпцига, не повидав лицом к лицу именитых мужей. Я охотно свел его к тем, которые были мне знакомы, а с незнакомыми я таким образом достойно познакомился, потому что его везде принимали с особым вниманием, как образованного и уже хорошо известного человека, отлично умевшего поддержать разговор. Я не могу здесь обойти молчанием наш визит к Готтшеду, так как при этом проявился образ мыслей и нравственный характер этого человека. Он жил весьма прилично в первом этаже «Золотого медведя», где Брейткопф [49]) старший отвел ему пожизненную квартиру за ту большую выгоду, какую принесли ему готтшедовы сочинения, переводы и другие услуги его торговле [50]).

Мы велели доложить о себе. Слуга ввел нас в большую комнату, сказав, что господин его сейчас придет. Не. знаю, быть может мы не поняли жеста, который он сделал, только нам

показалось, будто он указал нам на соседнюю комнату. Мы вошли туда и наткнулись на странную сцену: как-раз в эту минуту в противоположную дверь вошел Готтшед, высокий, широкоплечий гигант-мужчина, в зеленом шлафроке тисненой материи с подкладкою из красной тафты; его огромная голова была плешива и ничем не покрыта. Но этот пробел был сейчас же исправлен: из боковой двери подскочил слуга с огромным париком в руке (локоны падали ему до локтя) и с испуганным видом подал господину его головной убор. Готтшед, не выразив ни малейшего неудовольствия, левою рукой снял парик с руки лакея и, ловко набросив его себе на голову, правою дал бедняге такую затрещину, что тот, как это бывает в водевилях, выкатился в дверь, после чего дородный папаша величественно пригласил нас сесть и с большим достоинством повел довольно длинный разговор.

Пока Шлоссер оставался в Лейпциге, я ежедневно обедал с ним и познакомился с очень приятным застольным обществом. Несколько уроженцев Лифляндии [51]), сын главного проповедника Германа из Дрездена [52]), впоследствии бургомистр в Лейпциге, и их воспитатели — гофрат Пфейль [53]), автор «Графа фон П.», написанного в подражание «Шведской графине» Геллерта, Цахариэ,— брат известного поэта, и Кребель [53]) — редактор географических и генеалогических руководств,— всё это были воспитанные, веселые и приветливые люди. Цахариэ был самый тихий, Пфейль — изящный мужчина, имевший в себе нечто дипломатическое, но без всякой манерности, и очень добродушный; Кребель — сущий Фальстаф [54]), большого роста, полный, белокурый, с выдающимися, ясными, как небо, глазами, всегда веселый и покладистый. Все эти лица встречали меня радушно, отчасти ради Шлоссера, отчасти вследствие моего собственного добродушия и услужливости, и им нетрудно было уговорить меня на будущее время обедать вместе с ними. И, действительно, после отъезда Шлоссера я остался с ними, перестал обедать у Людвига и чувствовал себя в этом замкнутом кружке тем приятнее, что дочь хозяина, хорошенькая, славная девушка, очень понравилась мне, и я имел возможность обмениваться с нею ласковыми взглядами, удовольствие, которого я, после несчастия с Гретхен, не искал и не имел случая испытать. Обеденные часы [55]) я проводил среди своих друзей весело и с пользою. Кребель меня искренне полюбил и умел в меру поддразнивать и возбуждать меня, Пфейль же оказывал мне серьезное расположение, стараясь руководить мною и определять мое суждение о разных вещах.

Среди этих лиц, в разговорах с ними, путем примеров и собственного размышления, я увидел, что первый шаг к выходу

из этой водянистой, болтливой и ничтожной эпохи может быть сделан только посредством определенности, точности и краткости. При современном стиле нельзя было отличить плохое от лучшего, потому что всё расплывалось в бесцветности. Некоторые писатели уже пытались избежать этого общераспространенного бедствия, и это им более или менее удавалось. Галлер и Рамлер по природе были склонны к сжатости; Лессинг и Виланд пришли к этому путем рассуждения. Первый мало-по-малу перешел в своих стихотворениях почти к эпиграмме, был сжатым в «Минне» [56]) и лаконическим в «Эмилии Галотти»; позднее он возвратился к светлой наивности, которая так уместна в «Натане»; Виланд [57]), который был еще иногда многословен в «Агатоне», «Дон Сильвио», «Комических рассказах», становится удивительно сдержан и точен в «Музарионе» и «Идрисе», сохраняя большую красоту. Клопшток в первых песнях «Мессиады» еще не свободен от расплывчатости, в одах же и других мелких стихотворениях он сжат, как и в своих трагедиях. В своем состязании с древними, особенно с Тацитом, он все более и более попадает в тиски, вследствие чего в конце концов становится непонятным и неудобочитаемым. Герстенберг [58]), прекрасный, но капризный талант, также берет себя в руки; его заслуги ценятся, но в общем доставляют мало радости. Глейм [59]), многословный и по природе приятный, едва сумел сохранить некоторую сжатость в своих «Военных песнях», Рамлер [60]) — собственно, более критик, чем поэт. Он начинает собирать то, что немцы создали в лирическом роде, и находит, что его не удовлетворяет почти ни одно стихотворение; ему приходится выпускать, редактировать, изменять эти вещи, дабы они приняли сколько-нибудь благообразный вид. Этим он приобретает себе почти столько же врагов, сколько существует поэтов и любителей, потому что каждый узнает себя, собственно, только по своим недостаткам, а публика интересуется скорее несовершенным индивидуумом, чем тем, что производится по обычным правилам вкуса или исправляется. Ритмика находилась тогда еще в колыбели, и никто не находил способа сократить ее детство. Поэтическая проза преобладала. Гесснер и Клопшток имели много подражателей; другие, опять-таки, требовали силлабического размера и перелагали эту прозу в удобопонятные ритмы. Но и этим последним никто не был благодарен, потому что им приходилось выпускать и прибавлять, и прозаический оригинал считался все-таки наилучшим. Но чем более при всем этом искали сжатости, тем возможнее становилась оценка, потому что значительное, при сокращении, в конце концов допускает надежное сравнение. В результате получилось несколько истинно поэтических

форм, потому что, если и старались из каждого образца, которому хотели подражать, представить лишь необходимое, то надо было отдать каждому свое, и вследствие этого, хотя никто и не сознавал, умножились способы изложения, между которыми, правда, были и безобразные, и многие опыты были неудачны.

Виланд, без сомнения, обладал наиболее возвышенной душой из всех писателей. Он рано развился в тех идеальных областях, в которых так охотно пребывает молодежь; но так как эти области были для него испорчены тем, что называется опытом, тем, что он испытал от света и женщин, то он бросился в сторону реального, услаждая себя и других спором этих двух миров, где его талант выказал себя с наилучшей стороны в легких битвах между шуткою и серьезностью. Сколько блестящих произведений его совпадают со временем моей университетской жизни. «Музарион» подействовал на меня сильнее всего, и я до сих пор еще помню то место, где я увидел первые пробные листы, сообщенные мне Эзером [61]). Вот где, казалось мне, я вижу античное в живом и новом виде. Все, что есть пластического в гении Виланда, выразилось здесь самым совершенным образом, и так как Фаниас-Тимон [62]), осужденный на несчастную трезвость, в конце концов снова примиряется со своею возлюбленною и с миром, то можно пережить вместе с ним и человеконенавистнический период. Впрочем, этим сочинениям охотно приписывалось незлобивое отвращение к возвышенному образу мыслей, который, при неправильном применении к жизни, часто внушает подозрение в беспочвенной мечтательности. Автору охотно прощали, что он преследовал насмешкою все, почитаемое истинным и достойным уважения, тем более, что он этим доказал и свое беспокойство об этих вопросах.

Как жалко было состояние современной критики сравнительно с этими работами, ясно видно из первых томов «Всеобщей немецкой библиотеки». О «Комических рассказах» там упоминается с уважением, но без всякого следа понимания такого рода поэзии. Рецензент, как все в то время, развил свой вкус на примерах. Он не принял в соображение, что при оценке таких пародий всегда нужно иметь перед глазами благородный прекрасный оригинал, чтобы видеть, действительно ли пародист подметил его слабую и комическую сторону, заимствовал ли из него что-нибудь или под видом такого подражания, быть может, сам придал нечто новое и хорошее. Ничего подобного там нет, только стихотворения местами восхваляются или порицаются. Рецензент, по его собственному признанию, подчеркнул так много того, что ему понравилось, что он не

может привести все это в печати. А если по отношению к весьма заслуживающему уважения переводу Шекспира мы встречаемся с возгласом: «Такого человека, как Шекспир, вполне можно было бы и не переводить»,—то само собою понятно, как далеко отстала «Всеобщая немецкая библиотека» в деле вкуса, и что молодые люди, одаренные истинным чувством, должны были искать других путеводных звезд.

Материал, который таким образом более или менее определял бы форму, немцы искали повсюду. Они мало или почти вовсе не разрабатывали национальных тем; только «Герман» Шлегеля указывает на это. Идиллическая тенденция была распространена чрезвычайно. Бесхарактерность гесснеровской манеры, при ее большой привлекательности и детской сердечности, давала повод думать каждому, что и он может создать нечто подобное [63]). Точно так же лишь на общечеловеческие темы были написаны те стихотворения, которые должны были изображать жизнь других наций, например, еврейские, пастушеские и вообще патриархальные истории и прочее, что относилось к ветхому завету. «Ноахида» Бодмера [64]) представляла настоящий символ потопа, затопившего немецкий Парнас и только медленно убывавшего. Анакреонтическое пустозвонство [65]) также побудило шататься в неопределенности многие посредственные умы. Точность Горация принудила немцев, но лишь медленно, стремиться к подобной же точности. Классически-героические поэмы, большею частью по образцу «Похищения локона» Попа, тоже не содействовали наступлению лучшего времени.

Здесь я должен упомянуть еще об одном заблуждении, которое имело настолько же серьезное влияние, насколько оно смешно, если его осветить поближе. Немцы имели теперь достаточно исторических сведений обо всех родах поэзии, в которых прославились различные нации. Готтшед в своем «Критическом искусстве поэзии» уже с достаточною полнотою сколотил ту систему перегородок, которая, собственно, уничтожает внутреннее понятие о поэзии, и в то же время доказал, что и немецкие поэты уже сумели наполнить все рубрики превосходными произведениями. И так это продолжалось все далее. С каждым годом коллекция возрастала, но с каждым годом также одна работа изгоняла другую из помещения, в котором она только что блистала. У нас были теперь если не Гомеры, то Виргилии или Мильтоны [66]), если не Пиндар, то Гораций; в Феокритах не было недостатка. Таким образом мы убаюкивали себя сравнениями с внешним миром, между тем как масса поэтических произведений все росла и, наконец, сделались возможными сравнения в ее пределах.

Если дело вкуса находилось в весьма сомнительном положении, то никак нельзя было оспаривать для этой эпохи, что в протестантской части Германии и в Швейцарии начало живо пробуждаться то, что называется человеческим здравым смыслом. Школьная философия [67]), которой всегда можно поставить в заслугу распределение по определенным рубрикам всего, о чем только может спросить человек, сделалась чуждою массе людей, неудобоваримою и, наконец ненужною вследствие темноты и видимой бесполезности своего содержания, вследствие несвоевременного применения методы самой по себе почтенной и вследствие чрезмерного распространения на множество предметов. Многие пришли к убеждению, что природа достаточно снабдила их простым здравым смыслом, насколько это им приблизительно нужно для составления столь ясного понятия о предметах, чтобы уметь обходиться с ними к пользе для себя и других, не вдаваясь с усилием в заботы о самых общих вопросах и в исследование того, какую связь могут иметь между собою отдаленнейшие вещи, не особенно касающиеся нас. Люди сделали опыт, раскрыли глаза, стали смотреть прямо перед собою, сделались внимательными, прилежными, деятельными и нашли, что, если они могут правильно судить и поступать в своем кругу, то могут и осмелиться сказать свое слово о других, более далеких предметах.

Согласно такому взгляду каждый имел право не только философствовать, но мало-по-малу и счесть себя за философа. Философия представляла поэтому не что иное, как более или менее здравый и вышколенный человеческий рассудок, который отважился вступить в область общего и высказаться о внутреннем и внешнем опыте. Ясное остроумие и особая умеренность, при чем средний путь и терпимость ко всем мнениям считались за правильное поведение, доставили таким сочинениям и устным выражениям уважение и доверие, и таким образом философы в конце концов оказались во всех факультетах и даже во всех сословиях и ремеслах.

На этом пути богословы должны были склониться к так называемой естественной религии, и если заходила речь о том, в какой мере свет природы достаточен, чтобы подвинуть нас в познании бога, в улучшении и облагорожении самих себя, то обыкновенно без большого колебания решали вопрос в пользу данного взгляда. Но по принципу умеренности они отводили одинаковые права и всем положительным религиям, вследствие чего все они становились безразличными и непрочными. Впрочем, они все оставили на своем месте, и так как библия [68]) столь богата содержанием, что более всякой другой книги доставляет материала для размышлений и предметов для суждений о делах

человеческих, то ее вполне можно было положить, как прежде, в основу всех кафедральных речей и прочих религиозных действий.

Но и этой книге, как и всем светским сочинениям, предстояла еще особая судьба, которая с течением времени сделалась неотвратимою. Именно, до сих пор принималось чистосердечно на веру, что эта книга книг составлена в одном духе, даже что она вдохновлена божеством и как бы диктована им. Но уже давно и верующие, и неверующие то осуждали, то оправдывали разноречие отдельных частей ее. Англичане, французы, немцы с большею или меньшею страстностью, с остроумием, дерзостью, насмешкой нападали на библию, и точно так же защищали ее серьезные, благомыслящие люди всех наций. Я лично любил и ценил ее, потому что почти ей одной я обязан был своим нравственным образованием: ее учение, символы, сравнения — все это глубоко запечатлелось во мне и так или иначе имело на меня влияние. Поэтому мне не нравились несправедливые, насмешливые и искажающие дело нападки; но в то время дошли уже до того, что отчасти охотно допускали, как главное основание для защиты, что бог действовал сообразно образу мышления и силе понимания людей и что даже боговдохновенные люди не теряли благодаря этому вдохновленности своего характера, своей индивидуальности, и что Амос, как простой пастух, не мог говорить тем же языком, как Исаия, который был князем.

Из таких взглядов и убеждений естественно развился, в особенности благодаря возрастающему знанию языков, тот род исследований, который стремился изучить разные местности Востока, его национальности, произведения природы и явления и таким образом восстановить перед нами эти древние времена. Михаэлис [69]) обратил на этот вопрос все силы своего таланта и своих знаний. Описание путешествий сделались могущественным средством для объяснения священного писания, и новейшие путешественники, задавшись разными вопросами, должны были, отвечая на них, свидетельствовать за пророков и апостолов.

Но в то время, как со всех сторон старались свести священное писание к естественному объяснению и сделать более общепонятным его собственный образ мышления и представления, чтобы посредством этого историко-критического воззрения устранить разные нападки и сгладить разные шероховатости, у некоторых ученых возникло совершенно противоположное направление, при чем они избрали предметом своих рассуждений самые темные и таинственные места. Своими предположениями, выкладками и другими остроумными и неожиданными комбинациями они старались если не разъяснить эти места из них

самих, то хоть подкрепить их, опираясь на заключающиеся в них пророчества, обосновать их оправданием этих пророчеств и тем оправдать веру в ожидаемое.

Почтенный Бенгель [70]) доставил решительный успех своим трудам об откровении св. Иоанна уже тем, что он был всем известен, как разумный, честный, богобоязненный и беспорочный человек. Глубокие души бывают вынуждены жить как в прошлом, так и в будущем. Обыкновенная мирская суета не может иметь никакого значения, если они не чтут в ней пророчеств, открывшихся в течение веков, вплоть до настоящего времени, и прорицаний, скрывающихся в ближайшем или отдаленном будущем. Благодаря этому возникает связь, которой мы не замечаем в истории, так как последняя точно передает нам лишь случайные колебания в ту и другую сторону в необходимо замкнутом кругу. Доктор Крузиус [71]) принадлежал к числу тех, которым более всего нравилась пророческая часть священного писания; она заставляет действовать одновременно два противоположные свойства человеческого существа: душу и ум. К этому течению примкнули многие молодые люди и составили большую массу, которая тем более бросалась в глаза, что Эрнести со своею школою [72]) угрожал не только осветить, но совершенно разогнать любезную им темноту. Отсюда возникли ссоры, ненависть, гонения и различные неприятности. Я примкнул к партии ясности и старался усвоить ее принципы и преимущества, хотя и позволял себе думать, что при таком весьма похвальном и разумном способе толкования в конце концов вместе с пророческим содержанием писания исчезнет и его поэтическое содержание.

Тем, которые занимались немецкою литературою и изящными науками, были ближе к сердцу труды таких людей, как Иерузалем, Цолликофер, Спальдинг [73]), которые посредством хорошего и чистого стиля своих проповедей и статей старались приобрести для религии и столь близкого к ней учения о нравственности одобрение и привязанность людей, одаренных известным умом и вкусом. Приятный способ изложения начинал становиться совершенно необходимым, и так как для этого прежде всего нужна удобопонятность, то со всех сторон появились писатели, которые начали писать о своих занятиях и своей специальности ясно, просто, отчетливо как для знатоков, так и для толпы.

Следуя примеру одного иностранца, Тиссо [74]), врачи также начали с усердием влиять на общее образование. Очень большое влияние имели Галлер [75]), Унцер [76]), Циммерман [77]), и что бы в частностях ни говорили против них, особенно против последнего, они в свое время действовали очень сильно. Это должно

быть отмечено в истории, а особенно в биографии, потому что значение человека заключается не столько в том, что́ он оставляет после себя, сколько в том, как он действует и что́ испытывает и как он побуждает других действовать и испытывать.

Ученые юристы, с юности привыкшие к непонятному слогу, который в самом карикатурном виде сохранился во всех учреждениях, начиная от канцелярии простого владельца имения и кончая регенсбургским рейхстагом, нелегко могли освободиться от этого, тем более, что предметы, о которых им приходилось писать, имели тесную связь с внешнею формою, а следовательно, и со слогом. Однако фон Мозер-младший [78]) уже показал себя свободным и своеобразным писателем, а Пюттер [79]) ясностью своего изложения внес также ясность в самый предмет и в свой слог. Тогда и сами философы увидели себя вынужденными писать удобопонятно и ясно, чтобы быть популярными. Выступили Мендельсон и Гарве [80]) и вызвали всеобщее участие и восхищение.

С развитием немецкого языка и слога возрастала также и способность суждения, и мы удивляемся современным рецензиям сочинений о религиозных и нравственных, а также о медицинских предметах; зато должны заметить, что оценка стихотворений и вообще всего, относящегося к изящной литературе, была если не в жалком состоянии, то во всяком случае, весьма слаба. Это относится даже к «Литературным письмам» [81]) и ко «Всеобщей немецкой библиотеке», равно как к «Библиотеке изящных наук», чему легко было бы привести поучительные примеры.

Как ни пестро это было перепутано, каждому, кто хотел произвести что-нибудь самостоятельное, а не повторять только слова и фразы своих предшественников, ничего более не оставалось, как рано или поздно поискать материала, которым он мог бы воспользоваться. Но и здесь нам приходилось много блуждать. Очень популярно было одно выражение Клейста [82]), которое нам часто приходилось слышать. Когда некоторые указывали ему на его частые уединеныые прогулки, он шутливо, остроумно и правдиво отвечал, что это не праздные прогулки, что он ходит на охоту за образами. Такое сравнение — вполне прилично для дворянина и солдата, который этим противопоставлял себя людям своего сословия, которые не упускали случая пойти с ружьем в руке на охоту за зайцами или тетеревами. Поэтому мы в стихотворениях Клейста находим немало отдельных счастливо схваченных, хотя и не всегда удачно разработанных образов, приветливо напоминающих нам природу. Нас также сильно тянуло на охоту за образами, и эта охота в конце концов не осталась совершенно бесплодною, хотя Апельсгартен, Кухенгартен, Розенталь, Голис, Рашвиц и Конне-

виц представляют весьма странные места для того, чтобы там искать поэтической дичи. И все же по вышеуказанному побуждению я часто склонялся к уединенным прогулкам; так как зрителю мало встречалось прекрасного или возвышенного, а в действительно великолепном Розентале [83]) в лучшее время года комары не давали зародиться ни одной нежной мысли, то я в своем неутомимом старании сделался очень внимательным к мелкой жизни природы (я употребляю это выражение по аналогии с выражением «тихая жизнь»), и так как изящные случайности, которые замечаются при этом, сами по себе не представляют многого, то я привык находить в них то символическое, то аллегорическое значение, смотря по тому, преобладало ли прямое созерцание, чувство или размышление. Здесь расскажу, вместо многих, один такой случай.

По человеческой слабости я был влюблен в свое имя и писал его везде, как это обыкновенно делают молодые и недостаточно развитые люди. Однажды я очень красиво и четко вырезал его на гладкой коре липового дерева среднего возраста. На следующую осень, когда моя привязанность к Аннете [84]) была в полном разгаре, я постарался вырезать и ее имя над своим. В конце же зимы, как капризный влюбленный, я пользовался каждым случаем мучить ее и причинять ей неприятности [85]). Весною я случайно посетил это место. Сок, с силою поднимающийся по деревьям, проступил через надрезы, обозначавшие ее имя и еще не зарубцевавшиеся, и омочил невинными растительными слезами уже затвердевшие черты моего имени. Видя таким образом, что она плачет надо мною, который столько раз вызывал ее слезы своими капризами, я был очень смущен. Воспоминание о моей неправоте и о ее любви вызвало слезы и на моих глазах; я поспешил дважды и трижды выпросить у нее прощение за все обиды и превратил это событие в идиллию, которую я никогда не мог читать иначе, как с любовью, и рассказывать другим без растроганности.

Но в то время как я, словно пастушок на Плейсе [86]), достаточно ребячески тешился подобными нежностями и постоянно выбирал только такие темы, которые мог быстро свести на свое душевное состояние, для немецкой поэзии давно уже готовился более крупный и важный материал совсем с другой стороны. Первое истинно высокое и настоящее жизненное содержание вложено было в нее Фридрихом Великим и подвигами Семилетней войны. Всякая национальная поэзия должна быть или сделаться пустою, если она не основана на глубоком человеческом содержании, на событиях, постигающих народы и их пастырей, когда те и другие соединяются в одном человеке. Королей следует изображать в войне и опасности, где они являются первыми именно потому,

что определяют и разделяют судьбу самого последнего и благодаря этому становятся гораздо интереснее, чем сами боги, которые, определив судьбу, устраняются от участия в ней. В этом смысле каждая нация, если хочет иметь какое-нибудь значение, должна обладать своей эпопеей, для чего даже не нужна непременно форма эпической поэмы.

«Военные песни» Глейма [87]) именно потому и занимают такое высокое положение в немецкой поэзии, что они возникли в деле и из дела, а также потому, что удачная форма их, как-будто участник битв создал их в высшем экстазе, оказывает на нас самое глубокое действие.

Рамлер воспевает подвиги своего короля иначе, в чрезвычайно достойном роде. Все его стихотворения полны содержания, написаны на великие, возвышающие душу темы и уже благодаря этому имеют прочное значение, потому что внутреннее содержание разрабатываемой темы есть начало и конец искусства. Нельзя, конечно, отрицать, что гений, завершенный художественный талант, посредством обработки из всего может сделать что угодно и подчинить себе непокорный материал; но если рассмотреть дело хорошенько, то при этом получается всегда скорее фокус, чем художественное произведение, которое должно основываться на достойной теме, чтобы обработка тем удачнее и великолепнее могла изобразить достоинства материала путем искусства, труда и прилежания.

Таким образом Пруссия и с нею протестантская Германия обрела для своей литературы сокровище, которого не было у противной партии, никакими усилиями не могшей заменить его. Прусские писатели основали эту литературу прежде всего на высокой репутации своего короля, и усердие их было тем больше, что тот, во имя которого все это делалось, раз навсегда не желал ничего о них знать. Еще ранее, благодаря французской колонии, а потом благодаря предпочтению, которое оказывал король культуре этой нации и ее финансовым учреждениям, в Пруссию сильно проникла французская культура, которая была весьма полезна для немцев, вызывая их к противоречию и сопротивлению; равно и отвращение Фридриха ко всему немецкому было счастьем для развития нашей литературы [88]). Люди делали все, чтобы король их заметил, не для того, чтобы он оценил их, а только чтобы он обратил на них внимание; но это делалось по-немецки, по искреннему убеждению; делали то, что́ считали справедливым, желали и хотели, чтобы король признал и оценил эти немецкие права. Последнее не осуществилось и не могло осуществиться, потому что как можно было требовать от короля, который хотел духовно жить и наслаждаться, чтобы он терял годы в ожидании развития и созревания

того, что он считал за варварство? В ремесленном и фабричном деле, конечно, он мог удовлетвориться для себя, а в особенности для своего народа, вместо чужих превосходных товаров, посредственными суррогатами; но эти вещи скорее достигают совершенства, и не нужно целой человеческой жизни, чтбоы они созрели.

Здесь я должен прежде всего с уважением упомянуть об одном произведении, истинном порождении Семилетней войны, обладающем настоящим северо-германским национальным содержанием; это первая театральная пьеса, выхваченная из подлинной жизни и потому имевшая неизмеримое значение—«Минна фон Барнгельм» [89]) Лессинга. Лессинг в противоположность Клопштоку и Глейму не особенно дорожил своим личным достоинством, будучи уверен, что в каждую минуту снова может возвратить его себе. Он предался рассеянной трактирной и светской жизни, имея потребность уравновесить чем-нибудь свою могучую внутреннюю работу, и вступил в свиту генерала Тауенцина. Легко понять, как только-что названная пьеса возникла среди войны и мира, ненависти и любви. Это произведение удачно открыло возможность бросить взгляд в высший и более значительный мир, чем тот литературный и гражданский, в котором до тех пор вращалась наша поэзия.

Ненависть между Пруссиею и Саксонией, зародившаяся во время этой войны, не могла исчезнуть с окончанием ее. Саксонцы теперь особенно болезненно чувствовали раны, нанесенные им чрезмерно возгордившимися пруссаками, и, несмотря на мир политический, мир душевный не мог немедленно же восстановиться; а данная пьеса должна была именно это и изобразить. Красота и привлекательность саксонских женщин преодолевают самолюбие, преувеличенную веру в себя и упрямство пруссаков, и в пьесе искусно представлено счастливое соединение причудливых и противоречивых элементов в лице главных и второстепенных персонажей.

Если этими беглыми бессистемными заметками о немецкой литературе я привел своих читателей в некоторое смущение, то, значит, мне удалось дать им представление о том хаотическом состоянии, в каком находился мой бедный мозг, когда при столкновении двух эпох, столь важных для нашего литературного отечества, на меня обрушилось так много нового, а я еще не разобрался и в старом, когда, с другой стороны, старое еще удерживало свои права надо мною, хотя я имел причины думать, что могу отказаться от него. Теперь я постараюсь по возможности передать, каким путем я пошел, чтобы хоть шаг за шагом выпутаться из этого трудного положения.

Во время многоречивого периода, совпавшего с моей молодостью, я добросовестно и прилежно работал в обществе многих

достойных людей. Несколько томов in quarto рукописей, которые я оставил своему отцу, могут достаточно засвидетельствовать это, а какая масса опытов, набросков, наполовину оконченных статей развеялась прахом скорее из-за досады, чем по убеждению! Теперь вообще из разговоров, из столкновения мнений, а в особенности благодаря моему застольному приятелю, гофрату Пфейлю, я научился все более ценить значительность материала и точность обработки, хотя и не мог уяснить себе, где следует искать первой и как достигнуть второй. При ограниченности своей среды, при равнодушии товарищей, при сдержанности учителей, при обособленной жизни образованных граждан, при ничтожности естественных тем—я был вынужден искать всего в самом себе. Если я желал иметь для своих стихотворений истинную подкладку в виде ощущения или рассуждения, то я должен был обращаться к своей собственной душе; если я требовал для поэтического изображения непосредственного созерцания предмета, события, то я не мог выйти из круга, который касался меня, внушал мне интерес. В этом смысле я написал прежде всего несколько мелких стихотворений в форме песен или в вольном размере[90]); они возникли из размышлений, трактуют о прошлом и имеют большею частью эпиграмматический характер.

Таким-то образом началось то направление, от которого я не мог уклониться во всю мою жизнь. То, что меня радовало, или мучило, или вообще интересовало, я стремился превращать в образ и тем удовлетворять самого себя, чтобы исправить свои понятия о внешних предметах и успокоить свою душу[91]). Дарование к этому никому не было нужнее, чем мне, который по своей природе бросался из одной крайности в другую. Поэтому все, что мною было опубликовано, представляет лишь отрывки одной большой исповеди, и настоящая книжка есть отважная попытка дополнить эту исповедь.

Свою прежнюю любовь к Гретхен я перенес теперь на Аннету[92]), о которой я могу только сказать, что она была молода, красива, весела, любвеобильна и так привлекательна, что вполне заслуживала быть помещенною на некоторое время в храм сердца, как маленькая святая, чтобы всячески чтить ее, и это-то доставляло мне больше удовольствия, чем оказываемая ею привязанность. Я ежедневно беспрепятственно видел ее; она помогала готовить для меня кушанья; по вечерам она, по крайней мере, приносила мне вино, и уже наше замкнутое обеденное общество было порукою, что маленький дом, редко посещавшийся гостями не во время ярмарки, заслуживал своей доброй славы. Мы обо многом весело и охотно разговаривали. Но так как она не могла и не смела далеко уходить из дому, то наше времяпре-

провождение было несколько скучновато. Мы пели песни Цахариэ [93]), разыгрывали «Герцога Михеля» Крюгера [94]), при чем свернутый платок заменял соловья, и таким образом дело шло некоторое время вполне сносно. Но так как подобные отношения, чем они невиннее, тем менее представляют, в конце концов, разнообразия, то на меня напала злая страсть создавать себе развлечение из мучений возлюбленной и пользоваться преданностью девушки для произвольных и тиранических причуд. Дурное расположение духа при неудаче моих поэтических попыток, досада на кажущуюся невозможность выяснить причину этого и на все, что меня так или иначе уязвляло, — всё это я считал себя в праве срывать на ней, потому что она действительно сердечно любила меня и угождала мне, как только могла. Лишенными всякого основания и нелепыми ревнивыми выходками я портил себе и ей лучшие дни; она выносила все это некоторое время с невероятными терпением, а я был так жесток, что испытывал это терпение до крайности. Но к стыду и отчаянию своему я, наконец, заметил, что оттолкнул от себя ее душу и что теперь я имею основание для тех безумств, которые позволял себе без нужды и причины. Между нами произошли страшные сцены, от которых я ничего не выиграл, и только теперь я почувствовал, что действительно люблю ее и не могу без нее обойтись. Моя страсть росла и принимала всякие формы, к которым она способна при таких обстоятельствах. В конце концов мы поменялись ролями. Я разыскивал всяческие способы понравиться ей, доставлял ей даже удовольствия через других, потому что не мог отказаться от надежды снова завоевать ее. Но было слишком поздно: я действительно потерял ее. Неистовство [95]), с которым я мстил самому себе, безумно отдаваясь бушевавшей моей физической природе, чтобы чем-нибудь наказать себя в нравственном отношении, много содействовало телесным страданиям, из-за которых я потерял несколько лучших лет своей жизни [96]); может быть, я даже совсем погиб бы из-за этой потери, если бы мне не явился на помощь поэтический талант со своими целебными силами.

Уже раньше, в светлые промежутки, я довольно ясно сознавал безобразие своего поведения; мне становилось действительно жаль бедную девушку, которую я обижал совершенно без всякой надобности. Я так часто и подробно представлял себе ее положение и мое собственное, сравнивая его с довольным состоянием другой парочки [97]) из нашего общества, что, наконец, я не мог не обработать этой темы в драматической форме, как бы в виде мучительного и поучительного покаяния. Отсюда возникла старейшая из моих сохранившихся драматических работ—небольшая пьеска «Капризы влюбленного» [98]), в невинном

содержании которой замечается в то же время напор кипучей страсти.

Но еще ранее этого меня привлекали к себе глубокие и серьезные волнения жизни. По поводу моей истории с Гретхен и последствий ее я равно увидел те странные, запутанные подземные ходы, которыми подрыто гражданское общество. Религия, обычай, закон, сословия, отношения людей, привычки — всё это составляет только поверхность городской жизни. Улицы, обставленные великолепными домами, содержатся чисто, и каждый ведет себя там довольно прилично; но внутри нередко все это бывает тем безобразнее, и гладкая внешность, как слабая штукатурка, прикрывает часто дряблые стены, которые ночью внезапно рушатся и производят тем более ужасное действие, что все это разражается среди всеобщего мира. Сколько я видел близких и чужих семейств, погибших или едва влачащих существование на краю гибели, вследствие банкротств, расторжения браков, нравственного падения дочерей, убийств, домовых краж, отравлений; сколько раз я, при всей своей молодости, подавал в таких случаях руку помощи и спасения. Так как моя откровенность вызвала доверие, и было известно, что я умею хранить тайны, а деятельность моя не боялась никаких жертв и охотнее всего проявлялась в самых опасных случаях, то я часто был в состоянии оказать посредничество, замять дело, отвратить грозу и т. п.; при этом, конечно, мне приходилось испытывать много обидного и унизительного для меня и для других. Чтобы отделаться от этих тяжелых впечатлений я, набросал несколько пьес и написал экспозицию большей части из них. Но так как сплетение событий каждый раз приводило к чему нибудь страшному, и все эти пьесы грозили трагическим концом, то я их одну за другою уничтожил. Из них была окончена только одна — «Совиновники» [99]), веселый и забавный характер которой сопровождается как-будто чем-то жутким на мрачном фоне семейной жизни, так что на сцене она в общем пугает, а в частностях забавляет. Резко выраженные противозаконные действия оскорбляют эстетическое и моральное чувство, вследствие чего пьеса эта не могла найти доступа на немецкую сцену, хотя подражания ей, державшиеся вдали от этих подводных камней, были приняты с одобрением.

Впрочем, обе эти пьесы написаны с более высокой точки зрения, чего я сам не сознавал: они указывают на осторожную терпимость при моральном вменении и в несколько грубоватой и резкой форме высказывают высокохристианское изречение: кто чувствует себя безгрешным, пусть бросит первый камень.

Из-за серьезности, которая омрачила мои первые пьесы [100]), я впал в ошибку, пренебрегая выгодными мотивами, решительно

соответствовавшими моей природе. Именно, при этих серьезных, для молодого человека ужасных, переживаниях во мне развилось какое-то отважное настроение, которое считает себя выше обстоятельств и не только не боится опасностей, но даже дерзко вызывает их. Основание этого лежало в том задоре, который так свойствен сильному возрасту и который, если он выражается в шутках, доставляет много удовольствия как в данное мгновение, так и в воспоминаниях. Эти явления столь обыкновенны, что на языке наших молодых университетских друзей они были названы «с ю и т а м и» [101]), и, вследствие их близкого родства с проказами, мы говорили столь же охотно «сюитничать», вместо «проказничать».

Такие юмористические выходки, с умом и смыслом поставленные на сцене, производят большой эффект. Они отличаются от интриги тем, что моментальны и что их цель—если у них есть вообще какая-нибудь цель—не может быть отдаленной. Бомарше оценил всё их значение, и от этого, главным образом, зависит успех его «Фигаро» [102]). Если такие добродушные, шутливые и наполовину шутовские выходки производятся ради благородных целей с личною опасностью, то вытекающие отсюда ситуации, рассматриваемые с эстетической и моральной точки зрения, имеют величайшее значение для театра; так, например, опера «Водонос» [103]) написана, может быть, на самый удачный сюжет, какой мы когда-либо видели на сцене.

Чтобы разогнать бесконечную скуку ежедневной жизни, я сочинил множество подобных шуток, частью совершенно без цели, частью для моих друзей, которым охотно угождал. Я не помню, чтобы хотя один раз сделал это намеренно для самого себя; никогда не приходило мне также в голову смотреть на такое предприятие как на предмет искусства; но если бы я воспользовался этим лежавшим под рукою материалом и развил его, то мои первые работы были бы веселее и полезнее. Кое-что сюда относящееся, правда, встречается у меня позднее, но единично и ненамеренно.

Так как сердце всегда более волнует нас, чем ум, и доставляет нам работу там, где ум умеет себе помочь, то сердечные дела всегда казались мне более важными. Я не успевал размышлять о скоротечности привязанностей, переменчивости человеческого существа, моральном чувстве и обо всем высоком и глубоком, соединение чего в нашей природе может быть рассматриваемо, как загадка человеческой жизни. И здесь я старался отделаться от того, что меня мучило, песенкою, эпиграммою, каким-нибудь стишком, которые, имея отношение только к моим личным чувствам и специальным обстоятельствам, едва ли могли интересовать кого-нибудь, кроме меня самого.

Между тем внешние обстоятельства моей жизни через некоторое время очень изменились. Госпожа Бёме [104]) умерла после долгой и тяжелой болезни; в последнее время она не отпускала меня от себя. Ее муж был не особенно доволен мною; я казался ему недостаточно примерным и слишком легкомысленным. В особенности рассердился он на меня, когда я ему рассказал, что на лекциях государственного права, вместо того, чтобы прилежно записывать, я рисовал на полях своей тетради приводимых в лекциях лиц, камеральных судей, президента и заседателей с их странными париками, развлекая этими шутками своих внимательных соседей и смеша их. После смерти своей жены он вел еще более замкнутую жизнь, чем прежде, и я, наконец, перестал ходить к нему, чтобы избегнуть его упреков. К несчастью, Геллерт не хотел пользоваться силою своего влияния на нас. Конечно, у него не было времени играть роль духовника и осведомителя в настроении и проступках каждого студента; поэтому он следил за этим лишь вообще и желал заставить нас обращаться к церковным учреждениям. Принимая нас, он обыкновенно спрашивал ласковым плаксивым голоском, опустив головку,—прилежно ли мы посещаем церковь, кто наш духовник, приобщались ли мы святых тайн. Если мы плохо выдерживали этот экзамен, то он отпускал нас с печальными вздохами; мы более раздражались от этого, чем исправлялись, но не могли не любить сердечно этого человека.

По этому поводу я не могу не вспомнить кое-чего из моей ранней юности, чтобы наглядно показать, с какою последовательностью и в какой связи должны быть обрабатываемы разные вопросы церковной религии, если она хочет принести ту пользу, которой от нее ожидают. В протестантском богослужении слишком мало полноты и последовательности, чтобы оно могло связывать паству: поэтому члены ее легко от нее отделяются и образуют маленькие общины или живут спокойно своею гражданскою жизнью без церковной опеки. Таким образом давно уже слышатся жалобы, что число посетителей церкви с каждым годом уменьшается и что в той же мере падает число причащающихся. Причина того и другого, особенно последнего, вполне понятна; но кто отваживается высказать ее? Мы попытаемся сделать это.

В нравственных и религиозных вопросах, как и в физических и гражданских делах, человек редко делает что-нибудь без подготовки: ему нужна последовательность, из которой возникает привычка; то, что он должен любить и совершать, он не может представить себе изолированным, оторванным от всего прочего, и чтобы он охотно повторял что-либо, оно не должно сделаться ему чуждым. Протестантскому культу недо-

стает полноты; исследуйте его в частностях, и вы увидите, что у протестанта слишком мало таинств,—собственно, только одно, в котором он является деятельным,—причащение; крещение же он видит лишь, когда оно совершается над другими, и не ощущает на себе его благодетельного влияния. Таинства, это—самое высшее в религии, чувственный символ чрезвычайной божественной благости и милости. При причащении земные уста воспринимают воплощение божественного существа и под видом земной пищи делаются участниками пищи небесной. Этот смысл—один и тот же во всех христианских церквах, разница лишь в том, что таинство совершается с большею или меньшею преданностью тайне, с большим или меньшим приспособлением к тому, что понятно; во всяком случае оно остается священным, великим действием, которое в действительности заменяет собою возможное или невозможное, вообще то, чего человек не может достигнуть, но без чего он не может обойтись. Но такое таинство не может стоять уединенно; ни один христианин не может с истинною радостью вкусить то, для чего оно дается, если в нем не питается этим символический или сакраментальный смысл; он должен иметь привычку смотреть на внутреннюю религию сердца и на внешнюю религию церкви, как на нечто вполне единое, как на великое всеобщее таинство, которое в свою очередь расчленяется на много других таинств и сообщает этим частям свою святость, неразрушимость и вечность.

Вот молодая чета подает друг другу руки, не для скоропреходящего привета или танца; священник произносит над ними свое благословение, и союз становится нерасторжимым. Через некоторое время эти супруги приносят к порогу алтаря свое подобие; оно очищается святою водою и так прочно связывается с церковью, что может утратить эту связь только чудовищным отпадением. Ребенок в жизни упражняется в земных делах сам, в небесных же он должен быть наставляем. Если при испытании оказывается, что это закончено, то его принимают в лоно церкви, как действительного гражданина, как истинного и добровольного исповедника, с некоторыми внешними знаками важности этого акта. Теперь он—настоящий христианин; только теперь постигает он свои преимущества и обязанности. Но за это время он испытал, как человек, много странных вещей: во время учения, при наказаниях, он заметил, как сомнительно состояние его внутреннего существа; и впереди еще предстоит учение, предстоят поступки, но наказаний уже более не будет. Здесь среди бесконечной путаницы, в которую он попадает вследствие противоречивых требований природы и религии, ему дается превосходный выход: он может поверить свои хорошие и дурные дела, свои недостатки и сомнения достой-

ному, нарочно для этого поставленному человеку, который сумеет его успокоить, предостеречь, укрепить, покарать символическими наказаниями и, наконец, осчастливить совершенным погашением его греха и вновь вручить ему чистую, омытую скрижаль его человечности. Таким образом, подготовленный, очищенный и успокоенный несколькими таинственными действиями, которые при ближайшем рассмотрении в свою очередь разветвляются на более мелкие таинства, он преклоняет колена, чтобы принять причастие, и, чтобы тайна этого высокого акта казалась еще выше, он видит чашу только издали: это не обыкновенная еда и питье, которые удовлетворяют нас,—это небесная пища, которая заставляет жаждать небесного напитка.

Но пусть юноша не думает, что дело этим кончается; даже муж пусть не думает этого! Правда, в земных делах мы в конце концов привыкаем стоять на своих ногах, хотя и здесь наши знания, рассудок и характер бывают недостаточны; но в делах небесных мы никогда достаточно не научаемся. Живущее в нас высшее чувство, которое даже само себя не всегда осознает, кроме того испытывает давление столь многих внешних вещей, что едва ли наши внутренние силы доставляют нам все, что нужно для понимания, утешения и помощи. Для этого нам и дано вышеупомянутое целебное средство на всю жизнь, и все время проницательный и благочестивый муж готов направить заблуждающегося на верный путь и облегчить его мучение.

То, что было испробовано в течение всей жизни, должно оказать в десять раз более действительную целебную силу на пороге смерти. По доверчивой привычке, приобретенной с юных лет, умирающий с благоговением принимает эти символические многозначительные уверения, и там, где исчезает всякая земная гарантия, ему обеспечивается блаженство на вечные времена гарантиею небесною: он чувствует себя решительно убежденным, что ни какой-либо враждебный элемент, ни злобный дух не могут помешать ему окружиться просветленною плотью, чтобы в непосредственном соприкосновении с божеством сподобиться проистекающего из него бесконечного блаженства.

В заключение, чтобы весь человек был освящен, помазываются и благословляются также его ноги. Если даже он выздоровеет, ноги его должны чувствовать отвращение от прикосновения к этой земной, жесткой, непроницаемой почве, им должна сообщиться дивная упругость, отталкивающая нас от земли, которая прежде притягивала их. И таким образом в этом блестящем цикле одинаково достойных священных действий, красота которых нами лишь вкратце намечена, связываются между собою колыбель и могила, как бы далеко они ни отстояли одна от другой.

Но все эти духовные чудеса не произрастают, как другие плоды, на естественной почве, а потому не могут быть ни посеяны, ни посажены, ни возделаны. Их нужно вымолить из другой области, что удается не каждому, и не во всякое время. Здесь мы встречаемся с высшим из этих символов древнего, благочестивого предания. Мы узнаем, что один человек предпочтительно перед другими может быть осенен благословением свыше, благословлен и освящен. Но чтобы все это не являлось естественным даром, нужно, чтобы эта великая милость, сопряженная с тяжелыми обязанностями, передавалась от одного правомочного другому и чтобы величайшее благо, которое может получить человек, не будучи способен своими силами приобресть или захватить его, поддерживалось и увековечивалось на земле путем духовного унаследования. В посвящении священнослужителя собрано все, что нужно, чтобы восприять с силою все те священные акты, которыми благодетельствуется толпа, не имея при этом надобности ни в чем ином, кроме веры и безусловного доверия. И таким образом священник выступает в ряду своих предшественников и преемников, в кругу таких же, как он, помазанников, представляя собою высшее благословляющее существо, выступает тем величественнее, что мы чтим не его, но его сан, не перед его знамением склоняем мы колена, но перед благословением, которое он преподает нам и которое является тем более священным, нисходящим непосредственно с небес, что земное орудие не могло бы ослабить или обессилить его даже своим грешным или порочным существом.

Как раздроблена в протенстантизме эта истинная духовная связь! Часть упомянутых символов объявлена апокрифическими, и лишь немногие из них признаны каноническими. Как же можно желать, чтобы мы равнодушием к одним из них подготовились к великому достоинству других?

Я в свое время отдан был для обучения закону божию доброму старому, слабому пастору, который много лет уже состоял духовником нашего дома. Катехизис, толкование его и порядок божественной службы я знал, как свои пять пальцев; не было у меня недостатка и в знании веско доказательных библейских изречений; но из всего этого я не извлек никакой пользы. Когда мне сказали, что добрейший старик производит свой главнейший экзамен по старой формуле, то я потерял всякий интерес и охоту к делу, предался в последние восемь дней разным развлечениям, положил себе в шляпу добытые у пастора записки, взяв их на время у одного из моих старших приятелей, и читал по ним без чувства и смысла то, что я должен был бы уметь выразить от души и с убеждением.

Еще более моя добрая воля и мои высшие стремления в этом важном случае были парализованы сухою, бездушною рутиною, когда мне пришлось готовиться к исповеди. Я сознавал за собою много проступков, но ни одного большого греха; кроме того, проступки мои казались мне еще более назначительными вследствие сознания моей нравственной силы, которая при твердости намерений и настойчивости в конце концов одолела бы ветхого Адама. Нас учили, что мы именно тем гораздо лучше католиков, что на исповеди нам не нужно признаваться в отдельных грехах и что даже не хорошо было бы, если бы мы этого захотели. С последним я никак не мог согласиться, потому что у меня были очень странные религиозные сомнения, которые я при таком случае охотно бы исправил. Так как этому не суждено было совершиться, то я сочинил для себя исповедь, которая, выражая состояние моей души, могла бы в общих чертах открыть разумному человеку то, что мне запрещено было говорить в частностях. Но когда я вошел в старинные хоры босоногих монахов и подошел к замысловато украшенной решетке, за которой сидели исповедывающие священники, когда звонарь отворил мне дверь и я очутился запертым в тесном пространстве с моим духовным дедом и он приветствовал меня своим слабым гнусавым голосом, то разом погас весь свет моего духа и сердца, хорошо изученная исповедь не вязалась у меня, я раскрыл в смущении бывшую у меня в руках книгу и прочел первую попавшуюся короткую формулу, настолько общую, что ее спокойно мог бы выговорить каждый. Я получил отпущение грехов и ушел ни теплым, ни холодным, пошел на другой день со своими родителями к причастию и вел себя дня два так, как это было прилично после такого священного акта.

Но впоследствии меня постигла беда, которая нападает на вдумчивых людей, благодаря нашей религии, усложненной различными догматами и основанной на библейских текстах, допускающих различные толкования, — нападает до такой степени, что влечет за собою ипохондрию, при своем высшем развитии доходящую до навязчивых идей. Я знал нескольких людей весьма разумного образа мыслей и жизни, которые не могли отделаться от мысли о грехе против святого духа и от страха, что они совершили этот грех. Такое несчастье грозило и мне по отношению к причастию. На меня уже очень рано произвели громадное впечатление слова, что тот, кто недостойно вкушает св. тайны, сам вкушает и выпивает свое осуждение. Все ужасное, что я читал в истории средних веков о божьем суде, о странных испытаниях каленым железом, пылающим огнем, кипящею водою, то, что рассказывается в библии об источнике,

целительном для невинных, а грешников заставляющем разбухать и лопаться,—всё это представлялось моему воображению и пугало меня, так как на человеке, недостойном святого причастия, казалось, тяготели грехи ложного свидетельства, лицемерия, клятвопреступления, богохульства и проч. Все это было тем страшнее, что никто не мог с уверенностью считать себя достойным, а прощение грехов, которое могло бы все загладить, было обставлено такими различными условиями, что нельзя было быть уверенным, что можно свободно положиться на него.

Эти мрачные сомнения так мучили меня, а разъяснения, которыми хотели меня удовлетворить, казались мне столь бедными и слабыми, что страшная картина от них приобретала только еще более пугающий вид, и когда я приехал в Лейпциг, то мне захотелось совсем избавиться от всякой связи с церковью. Как тягостны поэтому должны были мне показаться увещания Геллерта, которого, при его лаконическом отношении к нашим назойливым приставаниям, я не желал обременять такими необычайными вопросами, тем более, что в светлые часы сам стыдился их, и, наконец, совершенно забросил эти странные угрызения совести вместе с церковью и алтарем.

Геллерт, согласно своему благочестивому характеру, составил свою систему морали, которую он от времени до времени публично читал и таким образом честно исполнял свой долг по отношению к обществу. Сочинения Геллерта долгое время были основою немецкой нравственной культуры, и все страстно желали видеть эти лекции в печати, а так как это могло случиться только по смерти этого почтенного человека, то всякий считал за счастье слушать их из его собственных уст при его жизни. В такие часы философская аудитория была битком набита [105]). Прекрасная душа лектора, его чистая воля, участливое отношение этого благоразумного человека к нашему благу, его увещания, предостережения и просьбы, произносимые несколько глухим искорбным тоном,— все это, конечно, производило впечатление на некоторое время; но впечатление это не оставалось надолго, тем более, что находились насмешники, которые умели сделать для нас подозрительною эту мягкую манеру, действовавшую, по их мнению, на нервы. Я вспоминаю одного проезжего француза, осведомившегося о правилах и взглядах человека, слушать которого стекаетсл такая масса народа. Когда мы ему разъяснили это, он покачал головой и сказал: «Laissez le faire, il nous forme des dupes» (пусть его дурачит людей).

Таким образом почтенное общество, недолюбливая в соседстве с собою ничего достойного, умело при случае уничтожать нравственное влияние, которое мог бы иметь на нас Геллерт. То они обижались на него за то, что он учит рекомендован-

ных ему знатных и богатых датчан лучше, чем остальных студентов, и особенно заботится о них, то обвиняли его в своекорыстии и непотизме за то, что он устроил для тех же молодых людей обеды у своего брата. Последний, высокий, грубоватый, резкий и несколько суровый мужчина, был будто бы раньше учителем фехтования и, при попустительстве своего брата, иногда резко и грубо обращался с этими благородными гостями; поэтому считали опять-таки нужным вступиться за них. Таким образом, доброе имя Геллерта так трепалось на все лады, что мы, чтобы не ошибиться в нем, сделались совершенно равнодушными к нему и перестали перед ним показываться; но все-таки мы почтительно кланялись ему, когда он проезжал верхом на своей белой лошадке. Эту лошадь подарил ему курфюрст, чтобы доставить ему моцион, необходимый для его здоровья; такое отличие ему, конечно, тоже не легко прощалось.

Таким образом мало-по-мало надвинулось время, когда для меня исчезли все авторитеты и я начал сомневаться или отчаяваться даже в величайших и лучших людях, которых я знал или о которых я слышал.

Во всяком случае Фридрих Второй стоял в моем представлении выше всех выдающихся людей нашего столетия, и потому мне должно было казаться весьма странным, что я так же мало смел хвалить его перед жителями Лейпцига, как, бывало, в доме моего деда. Конечно, жители Лейпцига тяжело испытали на себе военные бедствия, и нельзя было поставить им в вину, что они не особенно были расположены в пользу того, кто начал и продолжал эту войну, и потому они готовы были считать его хотя и выдающимся, но никак не великим человеком. По их словам, не очень трудно было совершить что-нибудь, располагая большими средствами, и если не жалеть ни земель, ни денег, ни крови, то можно в конце концов осуществить свои намерения. Фридрих, по их мнению, ни в одном из своих планов и предприятий не показал себя великим. Пока дело зависело только от него, он постоянно делал ошибки, и чрезвычайное проявилось только тогда, когда он был принужден исправлять эти самые ошибки, и только благодаря этому он достиг великой славы; каждый чедовек желал бы иметь способность искусно исправлять то, в чем он ошибается. Стоит, мол, только проследить шаг за шагом Семилетнюю войну, чтобы увидеть, что король совершенно бесполезно пожертвовал своею превосходной армией и что он сам был виноват, если гибельная распря так сильно затянулась. Истинно великий муж и полководец гораздо скорее справился бы со своими врагами. В подтверждение этих соображений приводились бесчисленные подробности, которых я не мог отрицать, и мало-по-малу во мне начало охладевать

то безусловное почтение, с которым я с детства относился к этому замечательному государю.

Но как жители Лейпцига отняли у меня приятное чувство почтения к великому человеку, так один новый друг, которого я приобрел в это время, очень ослабил во мне уважение к моим тогдашним согражданам. Этот друг был одним из самых удивительных чудаков, какие только бывают на свете. Его имя было Бериш [106]), и он занимал место домашнего наставника у молодого графа Линденау. Уже самая внешность его была чрезвычайно странна: он был худощав и хорошо сложен, далеко за тридцать лет от роду, с большим носом и вообще с выразительными чертами лица; с утра до ночи он носил на голове круглую накладку, которую можно было бы назвать париком; одевался он очень хорошо и никогда не выходил иначе, как при шпаге и со шляпою под мышкой. Это был один из тех людей, которые имеют особую способность убивать время или, вернее, из ничего делать что-то для убивания времени. Все, что он делал, должно было совершаться медленно и с известным приличием, которое можно было бы назвать аффектированным, если бы Бериш от природы не имел чего то аффектированного в своих манерах. Он походил на старого француза и очень хорошо и легко говорил и писал по-французски. Больше всего он любил серьезно заниматься шутовскими вещами и до бесконечности возиться с какою-нибудь нелепою выдумкою. Так, он всегда ходил в сером платье, и так как разные части его костюма были из различной материи и, следовательно, имели различные оттенки, то он целые дни мог размышлять о том, как бы ему нацепить на себя еще что-нибудь серое, и был счастлив, если это ему удавалось и если он мог посрамить нас, когда мы в этом сомневались или находили это невозможным. Тогда он читал нам длинные выговоры за недостаток у нас воображения и за наше недоверие к его талантам.

Вообще он был хорошо образован, отлично знаком с новыми языками и их литературой и имел превосходный почерк. Меня он очень любил, и я, имея всегда привычку и склонность к общению со старшими, скоро привязался к нему. Мое общество особенно занимало его, так как он находил удовольствие в том, чтобы укрощать мое беспокойство и нетерпение, с чем ему приходилось иметь немало хлопот. В поэзии у него было то, что называется вкусом, было известное общее суждение о хорошем и дурном, посредственном и допустимом; но суждение его большею частью заключалось в порицании, и он разрушил даже ту небольшую веру, которую я питал по отношению к современным писателям, разрушил ее безжалостными замечаниями, которые он делал с остроумием и игривостью о сочинениях и стихо-

творениях того или другого писателя. К моим собственным произведениям он относился снисходительно и оставлял меня в покое, только с условием, чтобы я ничего не печатал. Вместо этого он обещал мне собственноручно переписать и подарить мне в виде красивого томика те вещи, которые ему понравятся[107]). Это предприятие дало ему повод к возможно большей трате времени. Пока он нашел подходящую бумагу, обдумал формат, определил ширину полей и внутреннюю форму шрифта, пока достал и очинил вороньи перья, пока натер тушь—прошли целые недели и ничего еще не было сделано. Каждый раз он приступал к писанию с подобными приготовлениями, но в конце концов составил действительно прелестный манускрип. Заглавия стихотворений были сделаны готическим шрифтом, самый текст их стоячим саксонским рукописным почерком; в конце каждого стихотворения находилось по аналогичной виньетке, которые он или выбирал откуда-нибудь, или сам придумывал, при чем умел очень красиво подражать штриховке употребляемых в таких случаях гравюр. Показывание мне этих вещей по мере их исполнения, комико-патетическое расхваливание моего счастья, что я могу видеть себя увековеченным в такой превосходной рукописи и притом в таком виде, который недостижим ни для какой типографии, все это опять-таки давало возможность провести много приятнейших часов. При все том, благодаря хорошим знаниям, какими он обладал, общество его было для меня поучительно и также очень полезно в нравственном отношении, так как он умел умерять беспокойство и пылкость моего характера. Кроме того, он имел особое отвращение ко всему грубому, и шутки его, будучи чрезвычайно своеобразными, никогда не впадали в грубость или тривиальность. По отношению к своим землякам он позволял себе выражать комическое пренебрежение и представлять в забавных шутках все, что они предпринимали. В особенности был он неистощим в комическом изображении отдельных личностей, умея находить во внешности каждого лица что-нибудь достойное порицания. Так, лежа со мною вместе на окне, он мог целыми часами заниматься критикою прохожих и, достаточно выбранив их, описывать точно и обстоятельно, как им следовало бы одеваться, ходить, вести себя, чтобы казаться порядочными людьми. Эти предложения сводились обыкновенно к чему-нибудь безобразному и нелепому, так что приходилось смеяться не над тем, какой вид имел человек теперь, а над тем, какой вид он имел бы, если бы был настолько сумасшедшим, чтобы последовать совету. Во всех таких случаях он был безжалостен, хотя ничуть не был злым человеком. Зато и мы с своей стороны мучили его, уверяя, что по внешности его можно было бы принять если не за французского танцмейстера,

то за университетского преподавателя языков. Это служило обыкновенно сигналом к разговорам, продолжавшимся целые часы, при чем он излагал бесконечные различия между собою и старым французом. При этом он навязывал нам обыкновенно всевозможные нелепые предложения, которые мы будто бы делали ему относительно изменения его гардероба.

Направление моего стихотворчества, которым я занимался тем усерднее, чем красивее и заботливее становилась переписка, склонилось теперь всецело к естественному и правдивому; если предмет моих произведений не всегда бывал значителен, то я во всяком случае всегда старался выразить его чисто и отчетливо, тем более, что мой друг часто давал мне понять, что значит написать стих вороньим пером и тушью на голландской бумаге, сколько нужно для этого времени, таланта и напряжения, которые не следует тратить на что-нибудь пустое и излишнее. При этом он обыкновенно развертывал готовую тетрадь, обстоятельно разбирал, что не должно стоять на таком-то месте, и поздравлял нас с тем, что оно действительно не стоит там. Затем он говорил с большим презрением о книгопечатании, передразнивал наборщика, смеялся над его движениями, над поспешным хватанием букв и выводил из этого все несчастия литературы. Этому он противопоставлял серьезность и благородное положение пишущего, усаживался сейчас же, чтобы показать нам это, и бранил нас за то, что мы не держим себя за письменным столом по его примеру и образцу. Затем он снова возвращался к контрасту с наборщиком, переворачивал начатое письмо низом вверх, показывал, как неудобно писать что-нибудь сверху вниз или от правой руки к левой, и проделывал разные другие штуки, описанием которых можно было бы наполнить целые томы.

В таких безвредных шутках расточали мы дорогое время, при чем никому не приходило в голову, что из нашего кружка случайно может выйти что-либо возбуждающее всеобщую сенсацию и не особенно полезное для нашей доброй славы.

Геллерт, повидимому, имел мало удовольствия от своих практических занятий, и когда он чувствовал желание оказать какое-либо руководительство в прозаическом или поэтическом стиле, то он делал это лишь частным образом немногим лицам, к которым мы не могли себя причислить. Возникший вследствие этого пробел в публичном преподавании задумал пополнить профессор Клодиус, который завоевал себе известную репутацию в области литературы, поэзии и критики, и, как молодой, живой и деятельный человек, приобрел много друзей в университете и в городе. На его лекции нам указал сам Геллерт, и в главных пунктах мы не заметили большой разницы между ними. Кло-

диус также критиковал лишь частности, так же делал исправления красными чернилами, и мы видели только одни свои ошибки, не имея никакой надежды узнать, где же следует искать истины. Я принес ему несколько своих мелких работ, к которым он отнесся довольно хорошо. Но именно в это время я получил письмо от своих домашних с просьбою непременно прислать стихотворение на свадьбу моего дяди [108]). Я чувствовал себя очень удалившимся от той легкой и легкомысленной эпохи, когда подобная задача доставила бы мне удовольствие, и так как я не знал обстоятельств дела, из которых я мог бы извлечь что-нибудь, то я задумал как можно лучше снабдить свою работу внешними украшениями. Поэтому я собрал весь Олимп на совет о свадьбе франкфуртского ученого юриста, чтобы рассмотреть этот вопрос серьезно, как это и прилично было для торжества такого почтенного человека. Венера и Фемида поссорились из-за него; но плутовская выходка Амура против Фемиды дала возможность Венере выиграть процесс, и боги решили его в пользу свадьбы.

Работа эта довольно хорошо удалась мне. Я получил из дома прекрасное одобрительное письмо, потрудился еще раз хорошенько переписать стихотворение и надеялся, что получу некоторое одобрение и от своего учителя. Но тут я не попал в цель; он взглянул на дело строго и, не обратив внимания на элемент пародии, лежавший в основе замысла, объявил, что такая большая трата божественных сил для столь ничтожной человеческой цели заслуживала в высшей степени порицания; он осудил употребление таких мифологических фигур и злоупотребление ими; как дурную привычку, происходящую из педантических времен; выражения он находил то слишком высокими, то слишком низкими и в частностях не пожалел красных чернил, объявив, что он еще мало повычеркнул.

Такие вещи читаются и критикуются, правда, анонимно, но студенты следят друг за другом, и ни для кого не осталось тайною, что это неудачное собрание богов—мое произведение. Но так как, став на точку зрения критика, я должен был признать его правоту и так как божества эти, при ближайшем рассмотрении, были, конечно, только призрачными, пустыми образами, то я проклял весь Олимп, отбросил весь мифический Пантеон, и с того времени Амур и Луна остались единственными божествами, которые появляются в моих мелких стихотворениях.

Между лицами, которых Бериш избрал мишенью для своего остроумия, именно Клодиус занимал первое место; да и нетрудно было усмотреть в нем комическую сторону. Небольшого роста, несколько толстый, коренастый, он был очень быстр в своих движениях, неосторожен в выражениях и непостоянен в поведении. Всем этим он отличался от своих сограждан, которые,

однако, высоко ценили его за его хорошие качества и за прекрасные надежды, которые он подавал.

Ему обыкновенно поручали писать стихотворения на торжественные случаи. В так называемой оде он держался манеры Рамлера, которая, впрочем, удавалась только одному Рамлеру. Клодиус же, как подражатель, обратил внимание в особенности на иностранные слова, которые выдаются величественною торжественностью в стихотворениях Рамлера [109]), так как эта торжественность соразмерна в них с величием предмета и прочею поэтическою обработкою и производит хорошее действие на слух, чувство и воображение. У Клодиуса же эти выражения являются чужими, так как его поэзия вообще не была способна каким бы то ни было образом возвышать душу.

Такие стихотворения мы часто видели прекрасно отпечатанными, слышали большие похвалы им и были очень шокированы тем, что он, уничтожая у нас мифических богов, пожелал сколотить себе другую лестницу на Парнас из греческих и римских словес. Эти слова, столь часто повторявшиеся, крепко запечатлелись в нашей памяти, и в веселую минуту, когда мы поедали в огородах превосходнейшие пирожные, мне вдруг пришла мысль собрать все эти сильные и могущественные слова в стихотворении, посвященном пирожнику Генделю. Сказано—сделано! Привожу это стихотворение в том виде, как оно было написано карандашом на стене дома:

О Гендель, славою и север ты и юг
Наполнил. В честь твою услышь пеан, о друг!
Твой гений творческий печет оригиналы
Пирожных, любят их британцы, ищут галлы.
А кофе — океан, что у тебя течет,
Конечно слаще, чем Гиметта сладкий мед.
Твой дом есть монумент, искусства он венчает,
Трофеями богат и нациям вещает:
Без диадемы здесь наш Гендель счастья сын
И у котурна грош отбил он не один.
Пусть с помпой урны блеск твой гроб нам обозначит,
Мрак катакомб твоих пусть патриот оплачет.
Но нет, живи! Плодись твой торус много раз.
Высок будь, как Олимп, стой твердо, как Парнас,
Фалангам Греции и всем баллистам Рима
Германцев с Генделем будь мощь необорима.
Твоя беда — нам скорбь, успех твой — радость нам,
И храм, о Гендель, твой любезен Муз сынам.

Долгое время это стихотворение оставалось незамеченным между многочисленными другими, которыми были испачканы стены этих комнат, и мы, достаточно позабавившись, совершенно забыли о нем. Через довольно долгое время после этого выступил Клодиус со своим «Медоном» [110]), мудрость, великодушие и добродетель которого мы нашли чрезвычайно смешными, хотя

первое представление этой пьесы вызвало большие аплодисменты. В тот же вечер, когда мы собрались в нашем винном погребе, я сочинил пролог в простонародных стихах, где выходит арлекин с двумя большими мешками, ставит их по обеим сторонам просцениума и после разных предварительных шуток сообщает зрителям, что в этих двух мешках находится морально-эстетический песок, который актеры часто будут бросать им в глаза: именно один мешок наполнен ничего не стоящими благодеяниями, а другой — великолепно выраженными намерениями, лишенными всякого содержания. Затем арлекин неохотно удаляется, несколько раз возвращается и серьезно убеждает зрителей обратить внимание на его предостережение и закрыть глаза; он напоминает им, что всегда был их другом и желал им добра и т. п. Этот пролог тут же в комнате разыгран был нашим другом Горном, но шутка осталась совершенно между нами; не было даже снято копии, и бумага вскоре затерялась. Но Горну, который очень хорошо изображал арлекина, вздумалось дополнить мое стихотворение к Генделю несколькими стихами и поставить его в связь с «Медоном». Он прочел нам его, и нам оно не понравилось, потому что мы нашли эти добавления не особенно остроумными, и первое стихотворение, написанное совсем в другом смысле, представилось нам искаженным. Горн, недовольный нашим равнодушием и даже порицанием, показал его друзьям, которые нашли стихотворение новым и забавным. С него сняли копии, которым слава «Медона» и Клодиуса тотчас доставила быстрое распространение. Следствием этого было всеобщее неудовольствие, и зачинщиков этого дела сильно порицали (вскоре сделалось известным, что стихотворение вышло из нашего кружка). Со времени нападок Роста и Кронегка [111]) на Готтшеда ничего подобного не случалось. Мы и без того уже еще раньше попрятались, а теперь находились в положении филина между другими птицами. В Дрездене также не одобрили это дело, и оно имело для нас если не неприятные, то, во всяком случае, серьезные последствия. Граф Линденау довольно давно уже был не совсем доволен воспитателем своего сына. Хотя этот молодой человек вовсе не был оставлен в пренебрежении и Бериш во время ежедневных уроков разных учителей находился или в комнате молодого графа, или, по крайней мере, поблизости, хотя он очень аккуратно посещал вместе с ними лекции, днем никуда не выходил без него и сопровождал его на всех прогулках, но все-таки нас, остальных, всегда можно было найти в доме Апеля и мы присоединялись к ним, а это уже обращало на себя некоторое внимание. Бериш, кроме того, привык к нам, и начал большею частью по вечерам передавать своего воспитанника в руки камердинера и отыскивал нас в винном погребе, куда он,

впрочем, никогда не приходил иначе, как в башмаках и чулках, при шпаге и обыкновенно со шляпою под мышкой. Шутки и глупости, которые он проделывал, были бесконечны. Так, например, один из нашей компании имел привычку уходить ровно в десять часов, потому что находился в связи с одною хорошенькою девушкой, с которою он в это время мог видеться. Мы неохотно расставались с ним, и Бериш задумал однажды, когда мы особенно веселились, не выпускать его. Как только пробило десять, наш друг встал и начал прощаться. Бериш окликнул его и попросил подождать минутку, потому что он хочет-де уйти вместе с ним. Затем он забавнейшим образом начал искать свою шпагу, которая находилась у всех перед глазами, и так неловко надевал ее, что никак не мог с этим покончить. Сначала он делал это так натурально, что никто не подозревал здесь хитрости. Но когда он пошел дальше в вариациях на эту тему, и шпага стала попадать то на правую сторону, то между ногами, то возник всеобщий смех, в котором принял участие и спешивший уйти, который был также весельчаком; Бериш продолжал свои шутки, пока час свидания не прошел, и общая веселость и приятная беседа продолжалась до глубокой ночи.

К несчастью, Бериш, а за ним и мы, увлеклись некоторыми девушками, которые были лучше своей репутации, но это обстоятельство не улучшало нашей собственной репутации. Нас несколько раз видели в их саду, и иногда мы заходили туда, когда молодой граф был с нами. Все это вместе было отмечено и наконец сообщено графу, отцу. Последний постарался под благовидным предлогом отделаться от гувернера, которому, однако, это послужило к его же выгоде. Его хорошая внешность, его знания и таланты, его честность, в которой никто не мог усомниться, доставили ему расположение и уважение выдающихся лиц, по рекомендации которых он был приглашен воспитателем к наследному принцу дессаускому и нашел солидное положение при дворе во всех отношениях превосходного государя.

Потеря такого друга, как Бериш, имела для меня величайшее значение. Балуя меня, он меня воспитывал, и присутствие его было необходимо, если то, что он считал нужным развить во мне, должно было принести какую-либо пользу обществу. Он умел побудить меня ко всему приличному и достойному, что могло бы выставить мои общественные таланты. Так как я не успел приобрести еще никакой самостоятельности в этом отношении, то, очутившись один, я тотчас же опять впал в беспорядочное, беспокойное состояние, которое возрастало по мере того, как я становился все недовольнее окружающим, воображая при этом, что и мною все недовольны. Капризнейшим образом я сердился на все, что толковали не в мою

пользу, оттолкнул этим от себя многих людей, с которыми я находился до тех пор в сносных отношениях, и при многих неприятностях, которые я навлек на себя и на других своими действиями или бездействием, преувеличениями или пренебрежением, я должен был выслушать от многих благорасположенных ко мне людей замечания, что мне недостает житейской опытности. То же говорили мне и благомыслящие люди, видевшие мои произведения, в особенности те из них, которые относились к окружающей среде. Я пересмотрел, как мог, эти произведения, но нашел в них мало утешительного и должен был всегда прибавлять довольно много своего, чтобы сделать их сколько-нибудь сносными. Я также много раз приставал к моему другу Беришу с просьбами объяснить мне, в чем состоит житейский опыт. Но так как он был битком набит глупостями, то он утешал меня со дня на день и, наконец, после больших приготовлений, открыл мне, что истинная опытность состоит в том, чтобы испытать, как опытный человек делается опытным, ибо только опытом приобретается опыт. Когда мы за это на все корки изругали его и хотели заставить высказаться яснее, то он стал уверять, что в этих словах кроется великая тайна, которую мы поймем только тогда, когда мы испытаем, и т. д. Ему ничего не стоило продолжать в этом роде одну четверть часа за другою и заключить, что опытность делается все опытнее и наконец превращается в истинную опытность. Когда мы приходили в отчаяние от этого шутовства, то он уверял, что этот способ ясно и выразительно выражаться он приобрел от новейших и величайших писателей, которые научили нас покоиться в спокойном покое и тихо в тишине соблюдать все большую тишину.

Случайно мне пришлось в одном хорошем обществе слышать похвалы одному находившемуся среди нас в отпуску офицеру, который участвовал в Семилетней войне и приобрел всеобщее доверие [112]). Мне не составило затруднения сблизиться с ним, и мы стали совершать с ним частые прогулки. Понятие об опытности сделалось навязчивою идеею в моем мозгу, и потребность выяснить ее себе превратилась в какую-то страсть. Со своею обычною откровенностью я признался ему в том беспокойстве, которое мучило меня. Он улыбнулся и был настолько любезен, что на мои вопросы рассказал мне кое-что о своей жизни и об окружающем мире вообще, при чем, правда, из всего этого не выяснилось ничего лучшего, как только то, что опыт убеждает нас в недостижимости наших лучших мыслей, желаний и намерений и что того, кто стремится к этому, живейшим образом выражая свои стремления, преимущественно и считают неопытным человеком.

Так как он, однако, был хороший, дельный человек, то он уверил меня, что он сам еще не вполне утратил эти стремления и чувствует себя сносно, сохраняя еще небольшой остаток веры, любви и надежды. Кроме всего этого он рассказал мне многое о войне, о походной жизни, о стычках и битвах, в особенности о тех, в которых он сам принимал участие; все эти грозные события приобретали особо черный вид в применении к отдельному лицу. Я побудил его затем откровенно рассказать мне о недавнем состоянии двора, которое казалось совершенно сказочным. Я услышал от него о физической силе Августа Второго, о его многочисленных детях и его громадных тратах, о любви наследника к искусствам и коллекциям, о графе Брюле и его безграничной любви к пышности, в частностях доходившей до нелепости, о многочисленных празднествах и роскошных увеселениях, которыми сразу был положен конец вторжениям Фридриха в Саксонию. Теперь королевские замки были разрушены, брюлевское великолепие уничтожено, и от всего осталась только сильно пострадавшая прекрасная страна.

Когда он увидел мое изумление, вызванное его рассказом о такой безумной погоне за счастьем, и мое огорчение от последовавших за ним несчастий, и указал мне, что от опытного человека именно и требуется, чтобы он не удивлялся ни тому, ни другому и не относился к этому с живым участием, я почувствовал большое желание остаться подольше при моей теперешней неопытности. Мой собеседник укрепил меня в этом намерении и усердно просил меня держаться, пока возможно, приятных испытаний, а неприятные по возможности отстранять, если они будут мне навязываться. Однажды, когда мы опять заговорили об опытности и я ему рассказал о шутовских фразах моего друга Бериш, он, смеясь, покачал головою и сказал: «Вот, ведь, как можно играть словами. Они звучат так смешно, даже так нелепо, что кажется невозможным вложить в них какой-нибудь разумный смысл, а между тем можно было бы, пожалуй, попытаться сделать это».

Когда я пристал к нему с просьбой объясниться, то он сказал мне своим рассудительным и веселым тоном: «Если вы мне позволите комментировать и дополнить слова вашего друга в избранном им самим направлении, то мне кажется, он хотел сказать, что опытность состоит в том, что люди испытывают то, чего они не желают испытать, к чему, по крайней мере, дело большею частью и сводится в этом мире».

КНИГА ВОСЬМАЯ

Другой из моих знакомцев, хотя во всех отношениях бесконечно отличался от Бериша, может быть все-таки в известном смысле подвергнут сравнению с ним; я говорю об Эзере [113]), который тоже принадлежал к числу людей, проводящих свою жизнь, как в грезах, в приятной и спокойной деятельности. Его друзья сами признавали, что он, будучи от природы прекрасно одарен, провел свои молодые годы недостаточно деятельно, а потому и не достиг полного обладания техникою в искусстве. Но с возрастом, повидимому, к нему пришло известное прилежание, и в течение многих лет, когда я его знал, у него не было недостатка ни в изобретательности, ни в работоспособности. Он с первого же раза очень привлек меня к себе; даже его квартира, таинственная и фантастическая, показалась мне чрезвычайно интересною. В старом замке Плейсенбурге надо было справа на углу подняться по обновленной светлой лестнице. Тогда слева оказывались светлые и просторные залы Академии рисования, директором которой он был; к нему же самому надо было пройти по узкому, темному коридору, в конце которого находилась дверь, ведущая в его комнаты. Ряд этих комнат шел вдоль только-что пройденного коридора, по другую сторону которого находился обширный амбар. Первая комната была украшена картинами позднейшей итальянской школы, работы художников, умение которых Эзер очень высоко ценил. Так как я с некоторыми людьми благородного звания брал у него частные уроки, то нам было разрешено здесь рисовать, а иногда мы заходили и в помещавшийся рядом внутренний кабинет, который содержал его небольшую библиотеку, художественные и естественно-исторические коллекции и прочее, что его интересовало. Все было размещено просто и со вкусом, так что в небольшом пространстве вмещалось очень многое. Мебель, шкафы, портфели были изящны, без громоздких украшений и без излишества. Первое, что он нам рекомендовал и к чему постоянно возвращался, была простота во всем, что

производится совместными усилиями искусства и ремесла. Как отъявленный враг всяких вычур, стиля раковин и всякого извращения вкуса, он показывал нам гравюры и рисунки подобных старых образцов в противоположность лучшим украшениям и более простым формам мебели и других комнатных принадлежностей; и так как все окружающее его согласовалось с этими правилами, то его слова и его учение производили на нас хорошее и солидное впечатление. Он имел возможность показать нам свои взгляды на практике, так как пользовался большим уважением как у частных, так и официальных лиц, и его совета часто спрашивали при новых постройках и перестройках. Вообще он, повидимому, более любил изготовлять что-нибудь на случай и для определенной цели и употребления, чем предпринимать и разрабатывать вещи, не связанные непосредственно с каким-либо внешним поводом и требующие большего совершенства. Поэтому он всегда был готов к услугам, когда книгопродавцы требовали больших или малых гравюр к какому-нибудь сочинению; так, например, им были резаны виньетки к первым сочинениям Винкельмана. Но часто он делал только эскизные наброски, которые очень хорошо умел разрабатывать Гейзер [114]). В его фигурах было всегда что-то типичное, чтобы не сказать идеальное. Его женщины были приятны и симпатичны, дети довольно наивны; только мужчины ему не удавались; при его, правда, остроумной, но всегда несколько смутной и, в тоже время, упрощенной манере они большею частью получали вид лаццарони. Так как он в своих композициях обращал внимание не столько на форму, сколько на освещение, тени и массы, то в общем они выходили хорошо, как и вообще все, что он делал и производил, носило отпечаток известной грации. Так как при этом он не мог и не хотел преодолеть укоренившейся в нем склонности к значительному, аллегорическому, возбуждающему побочную мысль, то его произведения заставляли всегда думать, и это размышление дополняло то, чего не давало само его искусство и выполнение. Это направление, всегда опасное, иногда доводило его до границ хорошего вкуса, если не заставляло переходить эти границы. Своих намерений он нередко старался достигнуть самыми неожиданными выдумками и капризными шутками, и даже в лучших работах его всегда замечался юмористический оттенок. Если публика была не всегда довольна этим, то он мстил ей новыми, еще более причудливыми проделками. Так позднее он поставил в передней комнате большого концертного зала идеальную женскую фигуру в своем вкусе, которая держала свечные щипцы по направлению к свече, и чрезвычайно забавлялся, видя, как люди спорили, намерена ли эта странная муза снять нагар

со свечи, или потушить ее, при чем сам коварно подавал повод к разным шутливым догадкам.

Но наибольшее внимание возбудила в мое время постройка нового театра [115]), в котором совершенно новый занавес производил чрезвычайно приятное впечатление. Эзер перевел муз, которые в таких случаях обыкновенно изображаются парящими с облаков на землю. Преддверие храма славы украшали статуи Софокла и Аристофана, вокруг которых были собраны все новейшие драматические писатели. Здесь присутствовали также богини искусств, и все имело достойный и прекрасный вид. Но и тут были причуды. Середина была совершенно свободна, и через нее виднелся портал отдаленного храма; прямо к храму шел между вышеупомянутыми группами, не обращая на них внимания, мужчина в легкой куртке; он повернут был к публике спиною и не отличался ничем особенным. Этот мужчина должен был изображать Шекспира, который без предшественников и преемников, не заботясь об образцах шел, своим собственным путем прямо к храму бессмертия [116]). Занавес изготовлялся на большом чердаке над новым театром. Мы часто собирались там вокруг Эзера, и здесь я читал ему пробные листы «Музариона» [117]).

Что касается меня, то практическое обучение искусству у меня не двигалось вперед. Учение Эзера действовало на наш ум и вкус; но его своеобразный рисунок был слишком неопределенен, чтобы дать мне строгое и решительное руководство, при моих смутных представлениях о предметах искусства и природы. Относительно лиц и тел он сообщил нам скорее взгляды, чем формы, более движения, чем пропорции. Он дал нам только понятие об образах и хотел, чтобы мы претворили их в нечто живое. Это было бы верно и хорошо, если бы он не имел перед собою лишь начинающих. Хотя, следовательно, нельзя было признать в нем таланта к преподаванию, надо было все же согласиться, что он был очень умен и знал свет и что счастливая подвижность его ума даже придавала ему достоинства учителя в высшем смысле [118]). Он хорошо подмечал недостатки, свойственные каждому из учеников, но не любил прямо критиковать, а охотнее выражал косвенно и весьма лаконически свою похвалу или порицание. Тогда приходилось думать, и понимание быстро подвигалось вперед. Так, например, я очень тщательно нарисовал черным карандашом на голубой бумаге, по данным мне указаниям, букет цветов и постарался оттенить эту маленькую картинку частью мазками, частью тушовкой. После долгих моих стараний он подошел как-то ко мне и, став у меня за спиною, сказал: «Побольше бумаги», — и сейчас же удалился. Мой сосед и я ломали себе голову, что бы это могло

значить, ибо вокруг моего букета было довольно много места на большом полулисте бумаги. После долгих размышлений мы наконец, кажется, постигли смысл его слов, заметив, что я черным и белым цветом совершенно закрыл голубой фон, разрушил средний тон и действительно с большим усердием произвел неприятный рисунок. Впрочем, он не забывал учить нас о перспективе, о свете и тенях и делал это, правда, в достаточной мере, но всегда так, что нам приходилось напрягаться и мучиться, чтобы применить на деле преподанные нам основы. Вероятно, он имел в виду, зная, что художниками мы не сделаемся, только дать нам общее понимание, развить наш вкус и познакомить нас с требованиями, предъявляемыми к художественному произведению, не требуя, чтобы мы сами создавали что-нибудь. Так как я вообще не особенно отличался прилежанием (мне доставляло удовольствие только то, что внезапно налетало на меня), то мало-по-малу я отдался не то чтобы лени, но нерасположению, и так как узнавать легче, чем работать, то я предоставил вести себя Эзеру, куда и как ему было угодно.

В это время было переведено на немецкий язык сочинение д'Аржанвилля «Жизнь живописцев» [119]); я только-что получил его и с усердием читал. Это, кажется понравилось Эзеру; он доставил нам возможность посмотреть несколько портфелей из большой лейпцигской коллекции и благодаря этому ввел нас в историю искусства. Но и эти занятия произвели на меня не то действие, которое он имел в виду. Разнообразные предметы в обработке художников возбудили во мне поэтический талант, и подобно тому, как делают гравюры к стихотворениям, я стал сочинять стихотворения к гравюрам и рисункам; я представлял себе изображенных на них лиц в предшествующие и последующие моменты и иногда сочинял приличествующую случаю песенку. Таким образом, я приучился рассматривать искусства в их взаимной связи. Даже ошибки, которые я делал, часто придавая моим стихотворениям описательный характер, впоследствии, когда я стал более сведущ, принесли мне пользу, указав мне на различие искусств. Из этих мелких вещиц многие попали в сборник, составленный Беришем, но ни одно из них не сохранилось.

Стихия искусства и вкуса, в которой жил Эзер и которая возвышала каждого, кто прилежно посещал его, имела тем большее достоинство и тем большую приятность, что он охотно вспоминал об умерших или отсутствующих людях, с которыми он прежде водил или теперь еще поддерживал знакомство. Раз удостоив кого-либо своим уважением, он уже неизменно сохранял свое отношение к нему и оказывал ему всегда одинаковую любовь.

Похвалив нам из французов особенно Кайлюса [120]), он познакомил нас и с немецкими деятелями в данной области. Так, мы узнали, что профессор Крист [121]) оказал искусству большие услуги, как любитель, коллекционер, знаток и работник, и применил свою ученость к его истинному прогрессу. Гейнеке [122]), напротив, не следовало бы называть частью потому, что он слишком усердно занимался чересчур детскими начатками немецкого искусства, которые Эзер невысоко ценил, частью потому, что он однажды не совсем чисто поступил с Винкельманом, чего ему никак нельзя было простить. Зато Эзер особенно обратил наше внимание на труды Липперта [123]), заслуги которого наш учитель сумел хорошо осветить. Хотя, говорил он, статуи и важнейшие картины всегда останутся основою и вершиною всякого знания искусства, но их редко удается видеть в оригиналах или слепках; благодаря Липперту же мы познакомились с малым миром гемм, в которых более ясно и понятно выражаются заслуги древних—их дар изобретения, целесообразность сопоставления, вкус обработки — да притом, при большом их числе, облегчается и сравнение. Мы позанимались этим, насколько нам было позволено; а затем он указал нам на великую художественную деятельность Винкельмана в Италии, и мы с благоговением взялись за его первые сочинения. Эзер страстно почитал его и умел передать нам это почтение. Проблематичность этих небольших статей, которые, к тому же, еще запутываются иронией и относятся к совершенно специальным мнениям и событиям, правда, была нам непонятна, но так как Эзер имел на это большое влияние и постепенно передавал нам евангелие красоты и еще более евангелие вкуса и приятности, то в общем мы добрались до смысла и думали, что при своих толкованиях мы поступаем верно, так как имели немалое счастье черпать из того же источника, из которого Винкельман утолял свою первую жажду.

Нет большего счастья для города, как если в нем живут одновременно несколько образованных мужей, одинаково мыслящих в отношении добра и права. Этим преимуществом пользовался Лейпциг и наслаждался им тем более мирно, что в то время еще не обнаружились многие разделения взглядов. Губер, собиратель гравюр и опытный знаток, кроме того имел еще ту заслугу (за которую ему были весьма благодарны), что он задумал познакомить французов с достоинствами немецкой литературы. Крейхауф, опытный любитель, друг всего художественного общества, имевший поэтому возможность смотреть на все коллекции как на свои собственные; Винклер, с разумною радостью охотно делившийся со всеми наслаждением своими сокровищами; многие другие, присоединившиеся к ним,—

все жили и действовали в одном смысле, и я, сколько раз ни присутствовал при осмотре ими художественных произведений, ни разу не видел, чтобы между ними возникло какое-либо несогласие. Все снисходительно принимали во внимание школу, из которой вышел художник, время, в которое он жил, особый талант, данный ему природой, и степень разработки им этого таланта; не отдавалось предпочтения ни духовным, ни светским предметам, ни городским, ни сельским, ни живым, ни мертвым; речь всегда шла только о том, насколько данное произведение художественно.

Хотя эти любители и собиратели по своему положению, образу мыслей, состоянию и по другим обстоятельствам склонялись премущественно к нидерландской школе, то все-таки, ценя огромные заслуги северо-западных художников, они постоянно направляли мечтательно-почтительные взоры и к юго-востоку.

Таким образом университет, в котором я не удовлетворил ни целям моего семейства, ни моим собственным, положил во мне основание тому, в чем мне суждено было найти величайшее удовлетворение моей жизни; поэтому и впечатление тех местностей, в которых я испытал такие значительные влияния, осталось для меня в высшей степени милым и дорогим. Старый Плейсенбург, комнаты Академии, а более всего квартира Эзера, равно и коллекции Винклера и Рихтера, живо представляются мне еще и теперь.

Однако молодой человек, который лишь мимоходом поучается в то время, как старшие беседует о вещах уже им знакомых, и которому предоставляется тяжелая задача самому справиться со всем этим, должен находиться в очень затруднительном положении. Поэтому я вместе с другими страстно искал нового источника света, и свету этому суждено было прийти к нам через человека, которому мы уже были многим обязаны.

Дух наш достигает высшего наслаждения двумя способами: созерцанием и постижением. Первое требует достойного предмета, который не всегда находится налицо, и относительного образования, которое тоже не всегда имеется; постижение же требует лишь восприимчивости: оно приносит содержание с собою и само служит орудием образования. Поэтому все мы в высшей степени приветствовали тот луч света, который был направлен на нас сквозь мрачные облака превосходным мыслителем. Надо быть юношею, чтобы представить себе, какое влияние на нас имел «Лаокоон» Лессинга [124]). Это сочинение подняло нас из области жалкого созерцания в свободные пространства мысли. Столь долго непонятое правило ut pictura poesis (поэзия—та же живопись [125]) было разом устранено; различие между изобразительным и словесным искусством сделалось

ясным; вершины того и другого оказались раздельными, как бы близко ни сходились эти искусства в своих основаниях. Художник изобразительного искусства должен держаться в пределах прекрасного, тогда как художник речи, которая может иметь всевозможное значение, может выходить и за эти пределы. Первый работает для внешних чувств, которые удовлетворяются лишь прекрасным, а второй—для воображения, которое допускает и безобразное [126]). Все следствия этой превосходной мысли осветили нас как бы молнией; всякая руководившая нами до сих пор критика и оценка была отброшена, как изношенное платье; мы считали себя избавленными от всех зол и с некоторым состраданием смотрели на столь великолепное в других отношениях шестнадцатое столетие, когда в немецких картинах и стихотворениях умели представлять себе жизнь только в виде шута в колпаке с бубенчиками, смерть—лишь в форме стучащего костяка, а необходимые и случайные бедствия мира—в виде безобразного чорта.

Более всего восхищала нас красота той мысли, что древние считали смерть братом сна и изображали обоих сходными до того, что их можно было смешать друг с другом как менехмов [127]). Мы могли с торжеством видеть в этом высший триумф красоты и отнести всё безобразное (которое все же нельзя удалить из мира) в области искусства лишь в низший круг смешного.

Великолепие этих главных и основных понятий ясно лишь для души, на которую они производят свое бесконечное влияние,—лишь для времени, когда они, страстно ожидаемые, являются в надлежащий миг. Тогда те, что способны усвоить подобную пищу, с любовью культивируют их в течение целых эпох своей жизни и наслаждаются пышным ростом их. Впрочем, бывают и такие люди, которые сразу же восстают против этого влияния, а также и такие, которые оспаривают и порицают его высокий смысл.

Но так как достижение и созерцание попеременно требуют друг друга, то я не мог долго обдумывать эти мысли без того, чтобы у меня не возникло страстное желание увидеть когда-нибудь замечательные произведения искусства в большой массе. Я решил поэтому немедленно посетить Дрезден [128]). В денежных средствах для этого у меня недостатка не было, но надо было преодолеть некоторые другие затруднения, которые я без нужды еще увеличил своим ипохондрическим нравом: я держал свое намерение втайне от всех, потому что хотел рассмотреть тамошние художественные сокровища совершенно посвоему, чтобы никто не мог меня сбить с толку. Кроме того, еще одна причуда еще более усложнила это столь простое дело.

У нас бывают прирожденные и приобретенные воспитанием слабости, и вопрос,—которые из них доставляют нам более хлопот. Как ни охотно знакомился я со всевозможной житейской обстановкой, как ни много случаев я имел к этому, все-таки у меня оставалось внушенное мне отцом отвращение к гостиницам всякого рода. Это чувство глубоко укоренилось в нем при его путешествиях по Италии, Франции и Германии. Хотя он редко говорил образно и прибегал к этому только в веселом настроении, но неоднократно он повторял, что ему кажется, как-будто в дверях гостиницы всегда бывают растянуты большие паутинные тенета, так искусно сплетенные, что насекомые легко могут попасть внутрь, но даже привилегированные осы не могут вылететь оттуда без ущерба. Ему казалось ужасающим, что за отказ от своих привычек и от всего, что человеку приятно в жизни, за необходимость жить по указке хозяина и кельнера, приходится еще очень дорого платить. Он восхвалял гостеприимство старых времен и, как ни неохотно терпел он вообще у себя в доме всё непривычное, он всегда соблюдал гостеприимство, особенно по отношению к художникам и виртуозам; так кум Зеекатц постоянно имел у нас квартиру, и Абель [129])—последний музыкант, удачно и с успехом игравший на гамбе,—всегда был хорошо принимаем и угощаем. Как же с подобными впечатлениями с юных лет, до сих пор еще нимало не угасшими, мог я решиться поселиться в гостинице в чужом городе? Не было ничего легче, как найти квартиру у добрых знакомых; гофрат Кребель, асессор Герман и другие не раз уже говорили мне об этом; но я хотел сохранить свое путешествие втайне от них, и вот мне пришла в голову самая причудливая выдумка. Мой сосед по комнате, прилежный богослов, глаза которого, к сожалению, все более и более отказывались служить, имел в Дрездене родственника, сапожника, с которым он от времени до времени обменивался письмами. Этот человек давно уже заинтересовал меня высказываемыми им мыслями, и получение его писем каждый раз было для меня настоящим праздником. Способ его ответов на письма богослова, опасавшегося слепоты, был совершенно своеобразен. Он вовсе не старался утешать его, что было бы, конечно, очень трудно; но та веселость, с которою он смотрел на свою собственную тесную, бедную, полную труда жизнь, шутки, которые он извлекал даже из бедствий и неудобств, непоколебимое убеждение, что жизнь сама по себе есть благо,—все это сообщалось и тому, кто читал письма, и приводило его, по крайней мере на время, в такое же настроение. Со свойственным мне энтузиазмом я часто посылал свои усердные поклоны этому человеку, хвалил его счастливый характер и

выражал желание познакомиться с ним. В виду всего этого мне казалось проще всего разыскать этого человека, познакомиться с ним и даже поселиться у него, чтобы получше узнать его. Мой добрейший кандидат, после некоторого сопротивления, уступил и дал мне с трудом написанное письмо, и я, положив в карман свои матрикулы, поехал в желтой карете со своими стремлениями в Дрезден. Я разыскал там своего сапожника, который, как оказалось, жил в предместье [130]). Он ласково встретил меня, сидя на своей скамеечке, и, прочитав письмо, сказал улыбаясь:—Я вижу, молодой господин, что вы довольно странный христианин.

— Как так, мастер? — спросил я.

— Называя вас странным, я не хочу сказать ничего дурного,—продолжал он:—так называют того, кто не всегда согласен сам с собою, и я называю вас странным христианином потому, что в одном отношении вы признаете себя последователем Христа, а в другом—нет.

На мою просьбу объяснить это, он сказал далее:—Повидимому вы имеете намерение принести добрую весть бедным и угнетенным, это—хорошо. и такое подражание Христу похвально. Но при этом вам следовало бы подумать, что он охотнее сидел за столом зажиточных и богатых людей, если это было возможно, и не пренебрегал даже благоуханием бальзама, тогда как у меня вы встретите нечто противоположное.

Это забавное начало нашего знакомства сразу привело меня в хорошее расположение духа, и мы довольно долгое время шутили друг с другом. Жена его призадумалась, как ей принять и угостить подобного гостя. И на этот счет сапожник высказал несколько остроумных замечаний со ссылками не только на библию, но и на хронику Готтфрида. Когда мы согласились, что я могу у них остаться, я вручил свой кошелек хозяйке в ее распоряжение и хранение и просил ее брать оттуда, сколько понадобится. Когда сапожник хотел отклонить это и несколько плутовски дал понять, что он не такой уж голыш, каким кажется, я обезоружил его словами:—Если это послужит хотя бы для того, чтобы превратить воду в вино, то, так как в наши дни чудес более не бывает, подобное испытанное домашнее средство не будет излишним.

Хозяйка находила повидимому мои речи и действия все менее и менее странными: скоро мы привыкли друг к другу и провели очень веселый вечер. Хозяин оставался все таким же, потому что все в нем проистекало из одного источника: он обладал здравым человеческим смыслом, который покоится на веселом душевном настроении, и предавался равномерной привычной деятельности. Непрерывная работа была его первейшею

потребностью; отношение ко всему прочему, как к случайностям, сохраняло приятность его настроения, и я должен отнести его преимущественно перед многими другими к тому классу людей, которых можно называть практическими философами, бессознательными мудрецами.

С нетерпением ожидавшийся мною час, когда галерея будет открыта, наконец настал. Я вошел в это святилище, и мое удивление превозмогло все мои ожидания. Зала в виде замкнутого круга, в котором господствовали великолепие и чистота при величайшей тишине, блестящие рамы, тогда еще недавно вызолоченные, натертый воском паркет, комнаты, в которых больше было зрителей, чем работающих, — все это создавало единственное в своем роде впечатление торжественности, похожее на чувство, с которым вступают в божий храм, тем более, что вещи, украшающие многие храмы и служившие предметом поклонения, выставлены были здесь исключительно для священных целей искусства. Я с удовольствием следовал за моим проводником, дававшим мне лишь беглые указания, и попросил только позволения остаться во внешней галерее [131]). Здесь, к своему истинному удовольствию, я почувствовал себя вполне дома. Вещи многих художников я видел уже раньше, другие были мне известны по гравюрам, третьи по именам; я не скрыл этого и внушил этим своему проводнику известное доверие; его даже забавлял тот восторг, который я выражал перед картинами, где кисть одержала победу над природой; меня особенно привлекали именно те произведения, где сравнение со знакомой мне природой по необходимости возвышало достоинство искусства.

Когда я снова возвратился к своему сапожнику, чтобы пообедать, то едва поверил своим глазам: мне казалось, что я вижу перед собой картину Остаде, столь сходную, что хоть сейчас повесь ее в галерее. Расположение предметов, освещение, тени, коричневатый оттенок целого, магическая выдержка— всё, чему я дивился на тех картинах, я видел здесь в действительности. Это было в первый раз, что я заметил в себе дар, которым впоследствии пользовался с большею сознательностью,— дар смотреть на природу глазами того или иного художника, произведение которого я рассматривал ранее с особенным вниманием. Эта способность доставила мне много наслаждения, но в то же время усилила жадное желание от времени до времени работать самому в той сфере, где природа мне отказала в таланте.

Я посещал галерею во все отведенные для этого часы и продолжал слишком громко выражать свое восхищение некоторыми превосходными произведениями. Этим я нарушил свое

похвальное намерение остаться неизвестным и незамеченным. Тогда как ранее мною руководил только один из низших надзирателей, теперь меня заметил инспектор галереи, советник Ридель, и обратил мое внимание на многое, что повидимому особенно относилось к моей сфере. Этот превосходный человек и в то время был столь же деятелен и любезен, каким я находил его впоследствии, в течение многих лет, и каков он еще и теперь. Его образ до такой степени сочетался в моей памяти с теми картинами, что я никогда не представляю их себе отдельно; воспоминание о нем сопровождало меня в Италии, где присутствие его во многих богатых и крупных музеях было бы мне весьма желательно.

Так как даже среди чужих и незнакомых такие вещи нельзя рассматривать безмолвно и без обмена мыслей, а, напротив, созерцание их более всего способно открыть друг другу душу, то я вступил в разговор с одним молодым человеком, который, повидимому, жил в Дрездене и принадлежал к составу одного из посольств. Он пригласил меня прийти вечером в одну гостиницу, где, по его словам, собиралось веселое общество и где, заплатив небольшую долю общего счета, можно провести несколько приятных часов.

Я пришел, но не нашел никакого общества, и кельнер немало удивил меня, передав мне поклон от пригласившего меня господина, с извинением, что он придет несколько позднее и с добавлением, чтобы я ничем ни смущался и что мне во всяком случае придется заплатить только мою долю счета. Я не знал, как мне понять эти слова, и мне невольно вспомнилась «паутина» моего отца; но я решил ждать, что из этого выйдет.

Общество собралось, мой знакомый представил меня, и через недолгое время я заметил, что дело шло о мистификации одного молодого человека, новичка, который отличался слишком дерзким, претенциозным нравом. Я насторожился, чтобы не вздумали заодно потешиться и надо мною. За столом намерение это стало становится все яснее для всех, кроме него. Пили все больше, и когда, наконец, был провозглашен тост за его возлюбленную, то все поклялись торжественно, что из этих стаканов не следует больше пить: все побросали стаканы на пол, что послужило сигналом к еще гораздо большим глупостям. Наконец, я потихоньку удалился, и кельнер, потребовав с меня очень умеренную плату, просил меня приходить еще, уверяя, что не каждый вечер бывает столь же весело. Мне пришлось далеко итти до моей квартиры, и я пришел только около полуночи. Двери были не заперты, все уже спали, и лампа освещала скромную домашнюю обстановку, в которой

мой взор, становившийся все более опытным, узнал лучшую картину Скалькена, от которой я не мог отделаться, так что совсем не удалось заснуть [132]).

Немногие дни моего пребывания в Дрездене были посвящены исключительно картинной галерее. Древности помещались тогда еще в павильоне большого сада; я отказался смотреть их, как и все прочие сокровища Дрездена, будучи вполне убежден, что и в одной картинной галерее многое останется для меня сокровенным. Так, например, достоинства итальянских художников я принял более на веру, не имея претензии хорошенько понять их. Чего я не видел в природе, на место чего не мог представить природу и сравнить картину со знакомым предметом, то совсем не действовало на меня. Началом всякого высшего любительства является всегда материальное впечатление.

С моим сапожником я уживался вполне хорошо. Он был довольно остроумен и разносторонен, и мы нередко старались превзойти друг друга в шутках; но человек, который считает себя счастливым и от других требует такого же настроения, возбуждает в нас, наконец, неудовольствие, а постоянное повторение этого причиняет скуку. Я был постоянно занят, возбужден, но вовсе не счастлив, и башмаки его работы были мне не по вкусу. Однако мы расстались наилучшими друзьями, и моя хозяйка при моем отъезде также не была недовольна мною.

Незадолго до моего отъезда [133]) мне пришлось испытать нечто приятное. Благодаря посредству вышеупомянутого молодого человека, желавшего восстановить в моих глазах свой кредит, я был представлен директору фон Гагедорну, который был так добр, что показал мне свое собрание картин и был чрезвычайно доволен энтузиазмом молодого любителя искусств. Как и прилично знатоку, он был совсем влюблен в свои картины и редко встречал в других то участие, на которое рассчитывал. В особенности было ему приятно, что мне необыкновенно понравилась картина Сваневельта, которую я не переставал хвалить и превозносить во всех ее подробностях. Эти ландшафты, напомнившие мне прекрасное светлое небо, под которым я вырос, богатую растительность этих мест и все, что дает более теплый климат на благо человеку, более всего тронули меня в изображении, пробудив во мне тоскливые воспоминания.

Эти чудесные впечатления, подготовлявшие мой ум и чувства к истинному познанию искусства, были, однако, прерываемы и подавляемы печальным зрелищем разрушения и запустения многих улиц Дрездена, по которым я проходил [134]). Моренштрассе в развалинах и церковь св. креста с ее лопнувшею

башней произвели на меня тяжелое впечатление и до сих пор стоят, как черные пятна, в моей памяти. С купола Фрауенкирхе я видел эти грустные обломки среди прекрасного порядка города. При этом кистер церкви превозносил искусство ее архитектора, который подготовил церковь к такому нежелательному случаю и выстроил ее так, что она могла выдержать удары бомб. Затем добряк ризничий указал мне на развалины, видневшиеся со всех сторон, и лаконически в раздумьи промолвил: «Вот что наделал враг».

Наконец, хоть и неохотно, я возвратился в Лейпциг и нашел своих друзей, не привыкших к таким уклонениям с моей стороны, весьма удивленными: они делали всевозможные предположения, что бы могло значить мое таинственное путешествие. Когда я им по порядку рассказал всю мою историю, они объявили ее сказкой и всячески напрягали свое остроумие, чтобы разгадать загадку, которую я будто бы капризно скрывал под видом своего пребывания у сапожника.

Но если бы они могли заглянуть мне в сердце, то не нашли бы там никакого каприза, потому что правдивость старого изречения «чем больше знания, тем больше тревоги», оправдалась на мне со всею своей силой, и чем более я пытался привести в порядок и усвоить всё, что я видел, тем менее мне это удавалось, и я в конце концов должен был удовольствоваться пассивно тем влиянием, которое все это произвело на меня. Обыденная жизнь снова охватила меня, и в конце концов я почувствовал себя вполне хорошо, когда дружеское обращение знакомых, обогащение посильными мне знаниями и некоторый навык к ручной работе занял меня, хотя и не очень важною, но соответствующею моим силам деятельностью.

Весьма приятно и полезно было завязавшееся у меня знакомство с домом Брейткопфов. Бернгард Кристоф Брейткопф [135]), основатель этой семьи, прибыл в Лейпциг бедным типографским подмастерьем. Он жил еще в «Золотом Медведе»—большом здании на старом Неймаркте,—имея своим жильцом Готтшеда. Его сын, Иоганн Готлиб Иммануель, был тоже давно уже женат и имел много детей. Они сочли наилучшим употреблением части своего значительного капитала постройку большого нового дома—«Серебряного медведя», против первого дома; дом этот был выше и обширнее старого. Я познакомился с их семьею как-раз во время этой постройки. Старший сын был, вероятно, несколькими годами старше меня; то был хорошо сложенный молодой человек, любитель и знаток музыки, умевший играть как на фортепиано, так и на скрипке. Второй сын, добрая, верная душа, тоже музыкант, немало содействовал оживлению концертов, которые у них часто устраива-

лись. Оба они, равно как и их родители и сестры, благоволили ко мне; я помогал им по делам постройки, при меблировке и переселении в новый дом и приобрел через это многие сведения, относящиеся к делам такого рода, а также имел случай применить учения Эзера. В новом доме, свидетелем возникновения которого я, следовательно, был, я бывал часто в гостях. Мы часто занимались вместе; старший сын положил на музыку некоторые из моих песен; они вышли в печати под его, а не под моим именем, и остались мало известными [136]). Я извлек лучшие из них и поместил их между моими прочими мелкими стихотворениями. Отец Брейткопфов изобрел или усовершенствовал печатание нот. Он позволил мне пользоваться прекрасною библиотекою, образовавшеюся преимущественно при возникновении и росте типографии, благодаря чему я приобрел некоторые знания и в этой области. Равным образом нашел я там хорошие гравюры на меди, изображавшие разные древности, и продолжал свои занятия в этом направлении с тем большим успехом, что при переезде богатая коллекция гипсовых оттисков пришла в беспорядок. Я привел ее, насколько было возможно, снова в систему, при чем мне пришлось справляться с Липпертом и другими. От времени до времени я обращался к врачу, доктору Рейхелю [137]), также жильцу этого дома, ибо чувствовал себя если не больным, то и не совсем здоровым. Таким образом мы вели все вместе тихую, приятную жизнь.

В этом доме мне суждено было свести еще одно особое знакомство, с гравёром Штоком, жившим в мансарде. Он был уроженец Нюрнберга, человек очень прилежный, точный и аккуратный в своих работах. Подобно Гейзеру, он резал по рисункам Эзера большие и малые таблицы, все более и более входившие в моду, как приложение к романам и стихотворениям. Он гравировал очень чисто, так что после потравы работа выходила почти законченною, и оставалось дополнить лишь весьма немногое резцом, которым он владел очень хорошо. Он делал очень точный расчет, сколько времени у него займет та или другая таблица, и ничто не могло отвлечь его от его работы, пока он не исполнит положенной на день задачи. Шток сидел за широким рабочим столом у большого верхнего окна в опрятной и чистой комнате, в обществе жены и двух дочерей. Из этих последних одна счастливо вышла замуж [138]), а другая сделалась отличною художницею; обе они на всю жизнь остались моими добрыми знакомыми. Таким образом я делил свое время между верхним и нижним этажами и очень привязался к этому гравёру, который при своем упорном прилежании обладал прекрасным характером и представлял собою олицетворение добродушия.

Меня увлекала аккуратная техника этого искусства, и я попытался сам изготовлять нечто подобное. Во мне вновь пробудилась любовь к ландшафтам, которые занимали меня на уединенных прогулках, а в художественном воспроизведении казались более достижимыми и понятными, чем человеческие фигуры, меня устрашавшие. Под руководством Штока я награвировал несколько ландшафтов [139]) по Тиле [140]) и другим; работы эти, хоть и сделанные неумелою рукою, произвели некоторый эффект и были приняты с одобрением. Грунтование таблиц, намазывание их белою краскою, самое гравирование и, наконец, протрава—все это являлось довольно разнообразным занятием, и я мало-по-малу достиг того, что помогал во многих отношениях своему учителю. При протраве я был достаточно внимателен, и мне редко что-нибудь не удавалось; но я не был достаточно осторожен, чтобы предохранить себя от действия вредных паров, развивающихся при этой операции, и, вероятно, они-то были отчасти причиною тех болезней, которые после этого некоторое время меня мучили. Между этими работами я по временам пробовал, чтобы испытать все, резать и на дереве. Я приготовил несколько деревянных клише по французским образцам, и некоторые из них оказались удачными.

Да будет мне позволено упомянуть здесь еще о нескольких лицах, которые жили в Лейпциге или посещали его на короткое время. Окружной сборщик податей Вейсе [141]), человек в лучших годах, веселый, приветливый и предупредительный, был всеми нами любим и уважаем. Правда, его пьесы для театра считались нами вовсе не образцовыми, но мы все-таки увлекались ими, а его оперы, оживленные легкою музыкой Гиллера [142]), доставляли нам много удовольствия. Шибелер [143]) из Гамбурга следовал тому же направлению, и его «Лизюар и Дариолетта» также нравилась нам. Эшенбург [144]), красивый молодой человек, лишь немного старше нас, выгодно выделялся среди студентов. Цахариэ [145]) провел среди нас несколько недель и, введенный в наш кружок своим братом, обедал за нашим столом. Мы, конечно, считали за честь поочередно оказывать внимание нашему гостю особенными блюдами, более обильным десертом и лучшим вином, а он, высокий, хорошо сложенный и приветливый мужчина, не скрывал своей склонности к хорошему столу. Лессинг [146]) приехал в такое время, когда нам бог знает что запало на ум: нам казалось нужным ни в чем не угождать ему и даже избегать тех мест, где он бывал; вероятно, мы считали за лучшее держаться в отдалении, не имея притязания на сближение с ним. Эта временная глупость, нередкая, впрочем, у самолюбивой и капризной молодежи, сама отомстила за себя впоследствии тем, что нам более никогда не удалось видеть

воочию этого превосходного, высокоуважаемого всеми нами человека.

Но при всех занятиях, касавшихся искусства и древностей, каждый из нас всегда имел перед глазами Винкельмана, заслуги которого с энтузиазмом ценились в нашем отечестве. Мы прилежно читали его сочинения и старались познакомиться с обстоятельствами, при которых он написал первые из них. Мы нашли там многие взгляды, происходившие, повидимому, от Эзера, даже шутки и капризы в его роде, и неустанно старались составить себе приблизительное понятие о тех случаях, при которых возникли эти замечательные, а иногда и столь загадочные сочинения, при чем мы не были особенно строги, ибо молодежь вообще больше любит интересоваться, чем изучать, и не в последний раз я был обязан новою важной ступенью в своем развитии «сивиллиным» страницам.

Тогда мы переживали в литературе прекрасное время: выдающихся людей еще везде уважали, хотя препирательства между Клоцом [147]) и Лессингом уже указывали на близкий конец этой эпохи. Винкельман пользовался всеобщим безусловным уважением, и известно, как чувствителен он был ко всем публичным отзывам, которые казались не соответствующими его хорошо им сознаваемому достоинству. Все журналы согласным хором прославляли его, лучшие путешественники возвращались от него с восхищением, обогащенные знаниями, и новые взгляды, высказываемые им, распространялись в науке и жизни. Герцог дессауский [148]), проникнут был тем же чувством уважения к нему. Молодой, хорошего и благородного образа мыслей, он при своих путешествиях и повсюду вообще был желанным гостем. Винкельман в высшей степени был восхищен им и, говоря о нем, называл его самыми лестными именами. Устройство единственного тогда в своем роде парка [149]), его архитектурный вкус, который поддерживал своею деятельностью фон Эрдмансдорф [150]),—все говорило в пользу этого властителя, который, будучи светлым примером для других, сулил своим слугам и подданным золотой век. Вдруг мы, молодые люди, с восторгом узнали, что Винкельман возвращается из Италии и намерен посетить своего царственного друга, по дороге заедет к Эзеру и, таким образом, покажется в кругу нашего зрения. Мы не имели претензии говорить с ним, но надеялись его увидеть, и так как в эти годы каждый охотно пользуется всяким поводом к веселой прогулке, то мы условились ехать верхом или в экипажах в Дессау, где в прекрасной местности, возвеличенной искусством, в хорошо управляемой и в то же время с внешней стороны украшенной стране мы надеялись где-нибудь встретить этих людей, стоявших настолько выше нас, и видеть

их собственными глазами. Сам Эзер был сильно экзальтирован, думая об этом, и вдруг, как гром из ясного неба, поразила нас распространившаяся между нами весть о смерти Винкельмана [151]). Я до сих пор помню место, где я впервые услышал это известие: это было во дворе Плейсенбурга, близ маленькой двери, через которую мы поднимались к Эзеру. Один из учившихся вместе со мною молодых людей вышел мне навстречу, сказал, что Эзер не принимает, и сообщил мне причину. Это ужасное событие произвело громадное впечатление; повсюду слышалось выражение глубокого горя, и преждевременная смерть Винкельмана еще более показала ценность его жизни [152]). Может быть даже, влияние его деятельности не было бы так велико, если бы он продолжал ее до глубокой старости, как оно было теперь, когда он, подобно многим необыкновенным людям, роковым образом отмечен был еще неожиданным и обидным концом своей жизни.

Бесконечно скорбя о кончине Винкельмана, я не думал, что мне и самому вскоре придется тревожиться за свою жизнь. Среди всех этих событий мое физическое состояние приняло совсем неблагоприятный оборот [153]). Из дому я привез с собою несколько ипохондрический склад, который скорее усилился, чем ослабел, от моей сидячей и малоподвижной жизни. Боль в груди, которую я ощущал по временам после Ауерштедтского несчастья и которая еще усилилась после падения с лошади, приводила меня в дурное расположение духа. Неудачною диетой я испортил себе пищеварение; тяжелое мерзебургское пиво отуманивало мой мозг, а кофе, который приводил меня в своеобразно-грустное настроение, в особенности, если я пил его с молоком [154]) после еды, парализовал мои внутренности и как будто остановил все функции, так что я испытывал сильное опасение, не решаясь, однако, начать более благоразумный образ жизни. Моя природа, подкрепляемая достаточными силами юности, колебалась между крайностями распущенной веселости и меланхолической подавленности. Кроме того, тогда вошло в моду холодное купание, которое безусловно рекомендовалось. Надо было спать на жестком ложе, покрываясь только легким одеялом, чем подавлялись все привычные испарения. Эти и другие глупости, вследствие дурно понятых советов Руссо [155]), будто бы должны были приблизить нас к природе и спасти нас от вредных привычек. Все сказанное, применяемое без разбора с неразумным чередованием, многим принесло весьма ощутительный вред, и я переутомил свой здоровый организм до того, что, наконец, системы его органов вступили в заговор, и должна была разразиться революция, чтобы спасти целое.

Однажды ночью я проснулся с сильным кровоизлиянием, но у меня еще хватило столько силы и сознания, чтобы разбудить своего соседа по комнате. Позвали доктора Рейхеля, который самым дружеским образом помог мне. Таким образом в течение нескольких дней я колебался между жизнью и смертью, и даже радость от наступившего улучшения была отравлена тем, что одновременно с этим взрывом у меня образовалась опухоль на левой стороне шеи, которую я заметил только теперь, по миновании опасности. Но выздоровление всегда приятно и радостно, хотя бы оно шло медленно и жалкими шагами, и так как мне помогала природа, то мне казалось, что я стал теперь другим человеком. Я приобрел большую душевную веселость, какой давно уже не знал, я радовался, что внутренние мои силы освободились, хотя снаружи мне еще угрожало докучное страдание.

Но что меня в особенности подняло в то время, было сознание той любви, которую столько превосходных людей питали ко мне и которую я никак не заслужил. Не заслужил—говорю я,—потому что между ними не было ни одного, которому я не досадил бы своими капризами [156]), ни одного, которого не оскорбил бы несколько раз своей болезненной раздражительностью или, даже чувствуя свою неправоту, не избегал бы упрямо некоторое время. Все это было забыто. Они обращались со мной самым ласковым образом и старались занимать и развлекать меня частью у меня в комнате, частью когда я стал выходить. Они выезжали со мною, угощали меня на своих дачах [157]), и я надеялся скоро поправиться [158]).

Среди этих друзей я назову прежде всего тогдашнего члена городского совета, впоследствии лейпцигского бургомистра доктора Германа [159]). Он был одним из наших сотрапезников, с которыми я познакомился через Шлоссера. С ним я неизменно поддерживал равномерно-дружеские отношения. Его можно было причислить к прилежнейшим из университетских сограждан. Он очень аккуратно посещал свои лекции, и его прилежание в частных делах также всегда оставалось равномерным. Я видел, как шаг за шагом, без малейшего уклонения, приближался он к докторской степени, затем возвысился до звания асессора, при чем ничто не казалось вредным для него, и он ни в чем черезмерно не спешил и не опаздывал. Мягкость его характера привлекала меня, его беседа приковывала мое внимание; мне, право, кажется, что я особенно радовался его прилежанию, потому что я, который никак не мог похвалиться этим достоинством, думал, что могу присвоить себе хоть часть этой заслуги признанием и уважением к этому достоинству в его лице.

Столь же аккуратен, как в своих делах, был он и в применении своих талантов и в пользовании удовольствиями. Он очень искусно играл на клавире и с чувством рисовал с натуры, побуждая и меня делать то же. По его примеру я нарисовал черным и белым карандашом на серой бумаге несколько зарослей на реке Плейсе и разные миловидные уголки этих тихих вод, при чем все-таки всегда следовал своим страстным прихотям. Он относился к моему иногда комичному поведению с веселыми шутками, и я вспоминаю многие приятные часы, проведенные мною с ним, когда он с шутливою торжественностью приглашал меня к ужину вдвоем, при чем мы с известною важностью, зажегши восковые свечи, съедали так называемого «общественного зайца», который попадал к нему на кухню, как к депутату от местности, откуда он был уроженцем, приправляя еду разными шутками во вкусе Бериша и возвышая этим достоинство вина. Я до сих пор искренно благодарен этому достойному человеку, доныне деятельно исполняющему свои важные обязанности, за верное участие, с которым он уделял мне каждый свободный час и умел прояснить печальные минуты воспоминаниями о прежних светлых временах, и радуюсь, что через столь долгое время могу публично принести ему эту мою благодарность.

Кроме этого достойного друга, ко мне был особенно расположен Гренинг[160]) из Бремена. Я лишь недавно с ним познакомился и увидел его расположение ко мне только при этом несчастьи. Я чувствовал цену этого расположения тем живее, что никто с особенной охотой не ищет сближения с больным. Он не жалел ничего, чтобы развлечь меня, отвлечь меня от размышления о моей болезни, предсказывая и суля мне выздоровление и деятельность здорового человека в ближайшее время. Как часто я впоследствии радовался, слыша, что этот прекрасный человек оказался полезным в важнейших делах своего родного города.

В это время и наш друг Горн также продолжал постоянно оказывать мне свою любовь и внимание. Вся семья Брейткопфа[161]), семья Штока и многие другие относились ко мне как к близкому родственнику, и таким образом благорасположение столь многих приветливых людей самым деликатным образом смягчило мне чувство моей болезни.

Подробнее должен я здесь упомянуть еще об одном человеке, с которым я познакомился только в это время и поучительное общество которого до того заставило забыть свое печальное положение, что я забыл и думать о последнем. То был Лангер[162]), впоследствии библиотекарь в Вольфенбюттеле, очень ученый и образованный человек. Он радовался моему

жадному стремлению к знаниям, которое, при моей болезненной возбужденности, выражалось прямо в лихорадочной форме. Он старался успокоить меня ясными общими доводами, и его хотя и кратковременному обществу я обязан весьма многим, потому что он сумел руководить мною во многих отношениях и обратил мое внимание, куда я должен направиться в настоящее время. Я тем более обязан этому недюжинному человеку, что знакомство со мною подвергало его некоторой опасности, ибо, когда он после Бериша занял место воспитателя при молодом графе Линденау, то граф отец настоятельно поставил условием новому ментору не водить компании со мною. Из любопытства узнать такого опасного человека он постарался увидеть меня несколько раз на нейтральной почве. Я вскоре приобрел его расположение [163]), и он, будучи благоразумнее Бериша, уводил меня по ночам, мы гуляли вместе, разговаривали об интересных вещах, и я провожал его, наконец, до дверей его возлюбленной, потому что и этот по внешности строгий, серьезный, ученый человек не избег сетей одной очень милой девушки.

С некоторого времени я отстал от немецкой литературы, а вместе с тем и от моих собственных поэтических начинаний и снова обратился, как обыкновенно бывает при таком кружении самоучек, к моим любимым древним авторам, которые все еще ограничивали горизонт моих духовных желаний подобно дальним голубым горам, ясным в своих очертаниях и массах, но не различимым в своих подразделениях и внутренних отношениях. Я поменялся с Лангером, разыграв одновременно Главка и Диомеда [164]); ему я передал целые корзины немецких поэтов и критиков, а взамен получил некоторое количество древних авторов, чтение коих должно было услаждать меня даже при самом продолжительном выздоровлении.

Взаимное доверие между новыми друзьями обыкновенно развивается постепенно. Прежде всего они сходятся на почве общих занятий и вкусов. Затем сообщительность их распространяется на пережитые и переживаемые страсти, в особенности на любовные приключения. Но есть еще нечто более глубокое, что открывается тогда, когда дружба достигает полного развития. Это религиозные взгляды, дела сердца, имеющие отношение к вечному и столько же укрепляющие основу дружбы, сколько украшающие ее вершины.

Христианская религия колебалась между свойственными ей историческими воззрениями и чистым деизмом, основанным на нравственности и долженствующим послужить основою морали. Различие характеров и образа мыслей выразилось здесь в бесчисленных переходах, при чем особенное значение имело глав-

ное различие, то-есть вопрос — насколько в таких убеждениях должен участвовать разум и насколько чувство. Самые проницательные и остроумные люди оказывались в этом случае подобными бабочкам, которые, совершенно забыв о своем состоянии гусениц, сбрасывают оболочку куколки, внутри которой они созрели до конца своего органического развития. Другие, настроенные более доверчиво и скромно, могли бы сравниться с цветами, которые, роскошно расцветая, все-таки не отрываются от корня, от материнского ствола и даже именно благодаря этой семейной связи приносят желанный зрелый плод. Лангер относился к этому последнему роду людей; хотя он был человек ученый и главным образом знаток книг, но все-таки отдавал библии особое предпочтение перед всеми прочими дошедшими до нас книгами и смотрел на нее, как на единственный документ, из которого мы можем вывести наше духовное и нравственное генеалогическое древо. Он принадлежал к числу тех людей, которые не представляют себе непосредственной связи с великим мировым богом; поэтому ему нужно было посредничество, аналогию которого он всюду находил в делах земных и небесных. Его доводы, приятные и последовательные, легко действовали на молодого человека, оторванного досадной болезнью от земных дел и весьма желавшего обратить живость своего духа к делам небесным. В библии я был тверд, и дело касалось только веры в то, что все, мною до сих пор ценимое с человеческой точки зрения, есть нечто божественное; это было мне тем легче признать, что уже при первом моем знакомстве с этой книгой я смотрел на нее, как на божественную. Страдающему, нежному юноше, чувствующему себя слабым, евангелие было, следовательно весьма, желательно, и хотя Лангер был в то же время очень разумный человек и твердо держался того правила, что чувству не следует слишком поддаваться и давать ему увлечь человека до мечтательности, но я не могу себе представить, как я мог бы обратиться к новому завету без чувства и энтузиазма.

В таких беседах мы провели много времени, и Лангер настолько полюбил меня, как верного и хорошо подготовленного прозелита, что не задумался пожертвовать для меня многими часами, предназначенными для его красавицы, и даже подвергался опасности быть выданным и, как Бериш, скомпрометированным в глазах своего патрона. Я с величайшей благодарностью отвечал любовью на его любовь, и если то, что он для меня делал, во всякое время было весьма ценно, то в моем теперешнем положении я должен был ценить это в высшей степени.

Но так как обыкновенно тогда, когда душа наша настроена наиболее возвышенно, с особенной силой и неистов-

ством вторгаются грубые, визгливые звуки мирской суеты, и тайно все еще живущий в нас контраст, раз вырвавшись наружу, действует тем чувствительней, — то и мне не пришлось выйти из перипатетической школы[165]) моего Лангера, не испытав еще одного события, весьма редкого, по крайней мере для Лейпцига, а именно беспорядка[166]), возбужденного студентами по следующему поводу. Молодые люди повздорили с городскими солдатами, и дело не обошлось без драки. Несколько студентов объединились, чтобы отомстить за оскорбление. Солдаты упорно защищались, и победа осталась не на стороне университетских граждан. По рассказам, некоторые видные лица похвалили и наградили победителей за их храброе сопротивление, чем молодое чувство чести и мести было очень раздражено. Стали открыто рассказывать, что на следующий вечер кое-где были выбиты окна, и некоторые друзья, подтвердившие мне это известие, увели с собой и меня, так как молодежь всегда привлекается опасностью и скандалом. Получилось, действительно, редкое зрелище. Улица, в общем свободная, была занята по одной стороне народом, совершенно спокойно и неподвижно ожидавшим событий. По середине пустой улицы прохаживалось взад и вперед около дюжины молодых людей, как-будто совершенно спокойных, но как только они подходили к назначенному дому, то в окна летели камни, и так они прошли несколько раз вперед и назад, пока еще в окнах были стекла. Столь же спокойно они, в конце концов, разошлись, и дело это не имело дальнейших последствий.

После такого резкого отзвука университетских подвигов, я в сентябре 1768 года[167]) выехал из Лейпцига в удобной наемный карете в обществе нескольких знакомых мне надежных людей. Поблизости Ауерштедта я вспомнил происшедшее там несчастие, но не мог предвидеть того, что через немного лет после этого угрожало мне еще большей опасностью; равным образом и в Готе, где мы осмотрели дворец, я не мог подумать в большой зале со скульптурными украшениями, сколько меня ожидало там впоследствии милостей и любви.

Чем более я приближался к своему родному городу, тем серьезнее я вспоминал, в каком состоянии и с какими намерениями и надеждами я уехал из дому, и испытывал подавляющее чувство, что возвращаюсь теперь, как бы потерпев кораблекрушение. Но так как я не мог себя чувствовать особенно виноватым, то быстро успокоился. Однако встреча с родными не обошлась без волнения. Большая живость моего характера, раздраженная и усиленная болезнью, повела к довольно тяжелой сцене. Я, вероятно, имел более нездоровый вид, чем сам думал; я давно не смотрелся в зеркало, да и как не привыкнуть

к самому себе! Словом, родные безмолвно согласились распрашивать меня лишь понемногу и прежде всего дать мне успокоиться телесно и духовно.

Моя сестра [168]) тотчас же проявила близкое участие ко мне, и от нее я узнал теперь подробнее и точнее обстоятельства нашей семейной жизни, которые отчасти знал раньше из ее писем. Отец после моего отъезда обратил все свое дидактическое любительство на сестру и, при ее замкнутом, мирном образе жизни в доме, освободившемся даже от жильцов, отрезал ей всякую возможность сношений с внешним миром и отдыха в нем. Ей приходилось заниматься поочередно французским, итальянским и английским языками, да еще значительную часть дня ее заставляли упражняться на фортепиано. Письменными упражнениями она также не должна была пренебрегать, и я давно уже заметил, что отец следил за ее корреспонденциею со мной и через ее письма направлял ко мне свои наставления. Сестра моя была и осталась трудно определимым существом, представлявшим странную смесь суровости и мягкости, упрямства и уступчивости, и качества эти проявлялись то разом, то по одиночке, руководимые волею и склонностью. Так и теперь она с жестокостью, казавшеюся страшною, вооружилась против отца, которому она не могла простить, что в течение этих трех долгих лет он отнимал у нее все невинные радости или отравлял ей их, при чем она не хотела признать за ним никаких добрых и хороших качеств. Она исполняла все, что он ей приказывал и предписывал, но делала это самым нелюбезным образом. Все исполнялось ею попорядку, но ни на йоту ни более, ни менее. Из любви к отцу она не делала ничего, и это была одна из первых вещей, на которую жаловалась мать в секретном разговоре со мною. Но так как сестра моя нуждалась в любви, как только может нуждаться в ней человеческое существо, то она обратила всю свою любовь на меня. Ее забота об уходе за мной, ее развлечение меня занимало все ее время; ее подруги, над которыми она господствовала, сама того не зная, также должны были придумывать все возможное, чтобы угодить мне и утешить меня. Она была изобретательна в способах развеселить меня и обнаруживала даже зачатки шутливого юмора, которого я за ней прежде не знал и который очень шел к ней. Между нами вскоре сложился особый условный язык, на котором мы могли говорить в присутствии кого угодно, не будучи понятыми, и иногда она смело пользовалась этим жаргоном даже в присутствии родителей.

Отец мой чувствовал себя лично довольно хорошо. Он был здоров, проводил большую часть дня в обучении моей сестры, составлял описание своего путешествия и настраивал свою лютню [169])

более, чем играл на ней. При этом он скрывал, насколько мог, свою досаду, что вместо бодрого, деятельного сына, который должен был бы теперь защищать диссертацию и начать предписанную ему карьеру, к нему явился хворый молодой человек, страдавший, повидимому, еще более душой, чем телом [170]). Он не скрывал своего желания ускорить мое излечение; в особенности же надо было остерегаться обнаруживать в его присутствии ипохондрические проявления, потому что он тогда раздражался и становился резким.

Мать моя, от природы живая и веселая, очень скучала при этих условиях. Хозяйство было невелико, и она быстро справлялась с ним. Душа этой доброй женщины, внутренно всегда чем-нибудь занятой, стремилась также найти какой-нибудь интерес, и ближе всего ей было заинтересоваться религией, тем более, что лучшие из ее подруг были образованные и от всей души религиозные женщины. Выше всех из них стояла фрейлейн фон Клеттенберг [171]), та самая, из бесед и писем которой произошли «Признания прекрасной души», включенные в «Вильгельма Мейстера» [172]). Она была нежного сложения, среднего роста; ее сердечное и естественное обращение приобрело особую приятность вследствие ее опытности в светской и придворной жизни. Ее изящные костюмы напоминали одежду гернгутерских женщин; веселость и душевное спокойствие никогда не покидали ее. Она смотрела на свою болезнь, как на необходимую часть ее преходящего земного существования, переносила страдания с большим терпением и в безболезненные промежутки была жива и разговорчива. Ее любимым и, пожалуй, единственным занятием были нравственные опыты, которые может делать над собою человек, наблюдая самого себя; к этому присоединялись религиозные размышления, которые являлись у нее, как естественные и сверхъестественные мысли, в весьма привлекательной и даже гениальной форме. Этого достаточно, чтобы напомнить любителям таких размышлений ее подробное, от души идущее изложение. Избрав с юных лет свой особый путь, рожденная и воспитанная в знатном сословии, обладая живым и своеобразным умом, она не особенно хорошо ладила с другими женщинами, избравшими тот же путь ко спасению. Главная из них, госпожа Гризбах, казалась слишком строгою и сухою, слишком ученою; она знала, размышляла, охватывала больше, чем другие, которые довольствовались развитием своего чувства и была для них поэтому тягостна, потому что не каждая могла или хотела нести с собой такой большой аппарат на пути к блаженству. С другой стороны, конечно, большинство из них было несколько монотонны и держалось лишь известной терминологии, которую можно было бы сравнить с терминологиею тех, что впоследствии назывались

«чувствительными». Фрейлейн фон Клеттенберг избрала средний путь между этими двумя крайностями и, повидимому, с некоторым самодовольством усматривала свое отражение в образе графа Цинцендорфа [173]), чьи мысли и действия свидетельствовали о его высоком рождении и знатности. Во мне она нашла то, что ей было нужно, — молодое, живое, также стремящееся к неведомому спасению существо, которое, хотя и не могло считать себя особенно грешным, не чувствовало себя все-таки уютно и не было вполне здорово ни душой, ни телом. Она радовалась тому, что мне дала природа, и многому, что я сам приобрел. Признание этих моих преимуществ нисколько не унижало ее; во-первых, она не думала соперничать с лицом мужского пола, а во-вторых, была уверена, что в деле религиозного образования она стоит далеко впереди меня. Мое беспокойство, нетерпение, мои стремления, искания, исследования, размышления и колебания она истолковывала по-своему и не скрывала от меня своего убеждения, но, напротив, даже настойчиво уверяла меня, что это происходит от недостатка примирения с богом. Я же с юных лет думал, что нахожусь со своим богом в довольно хороших отношениях, и даже воображал, на основании кое-чего испытанного мною, что он, может быть, у меня в долгу; я даже был настолько дерзок, что думал, что могу кое-что простить ему. Это самомнение основывалось на моем величайшем стремлении к добру, которому, как мне казалось, бог должен был бы получше помогать. Легко себе представить, что я и моя приятельница часто спорили, но спор всегда велся самым дружественным образом и часто кончался, как и мои споры со старым ректором, словами, что я забавный малый, которому надо многое простить.

Опухоль на шее сильно мучила меня; врач и хирург сперва старались разогнать ее, потом, как они выражались, хотели дать ей созреть и наконец сочли за лучшее вскрыть ее. Поэтому мне долгое время пришлось страдать не столько из-за боли, сколько из-за неудобств, хотя к концу лечения постоянные смазывания ляписом и другими едкими вещами ежедневно сулили мне досадные неприятности. Врач и хирург [174]) тоже принадлежали к секте «благочестивых», хотя оба были крайне различного характера. Хирург, стройный мужчина, хорошего сложения, легкий и ловкий на руку, но, к несчастью, чуть ли не чахоточный, переносил свою болезнь с истинно христианским терпением и не оставлял своего призвания из-за болезни. Врач, загадочный, хитрого вида, ласковый на словах, а вообще очень странный человек, пользовался особенным доверием в кругу «благочестивых». Деятельный и внимательный, он умел утешать больных; но более всего он приобрел популярность умением держать про запас некоторые таинственные лекарства, им самим

приготовленные; о них никто не должен был рассказывать, так как у нас врачам было строго запрещено лечить собственными лекарствами. Относительно некоторых порошков, служивших, повидимому, пищеварительными средствами, он не так секретничал; но о той могущественной соли, которая применялась только в случаях величайшей опасности, можно было говорить лишь в кругу верующих, хотя никто ее не видал и не испытал ее действия. Чтобы возбудить и укрепить веру в возможность такого универсального средства, врач рекомендовал всем сколько-нибудь восприимчивым к этому пациентам некоторые мистические, химико-алхимические книги и давал понять, что собственным изучением их можно даже приобрести себе это сокровище; это тем более необходимо, что приготовление его по физическим, а особенно по моральным причинам, неудобно было передавать, а для того, чтобы понять, произвести и использовать это великое дело, надо познать тайны природы в их взаимной связи, так как это не есть нечто отдельное, а нечто универсальное и может быть произведено в различных формах и видах. Моя приятельница внимательно прислушивалась к этим соблазнительным словам. Благо тела было слишком тесно связано с благом души; и можно ли было оказать ближним большее благодеяние, большее милосердие, как приобретя средство, способное утолить столько страданий, отвратить столько опасностей? Она уже изучала тайно Opus mago-cabbalisticum (магическо-каббалистический трактат) Веллинга[175]), при чем однако, так как автор сам затемняет и гасит сообщаемый им свет, она искала друга, который помог бы ей при этой смене света и мрака. Небольшого побуждения было достаточно, чтобы и мне привить эту болезнь. Я достал эту книгу, которая, как и все сочинения подобного рода, позволяла проследить ее родословное дерево до школы неоплатоников. Мой главный труд при изучении этой книги состоял в том, чтобы точнейшим образом отметить темные ссылки, где автор указывает с одного места на другое, обещая раскрыть этим то, что он скрывает, при чем я обозначал на полях цифры страниц, которые должны были объяснять друг друга. Но при этом книга оставалась довольно темной и непонятной. В конце концов можно было только усвоить известную терминологию и, пользуясь ею по собственному усмотрению, если не понять, то хоть сказать что-нибудь. В этом сочинении автор с большим почтением упоминает о своих предшественниках, и это побудило нас обратиться к самим источникам. Мы обратились к сочинениям Теофраста Парацельса[176]), Базилиуса Валентинуса[177]) а также Гельмонта[178]), Старкея[179]) и других, учение и предписания которых, основанные более или менее на природе и воображении, мы старались понять и при-

менить. Мне особенно нравилась Aurea Catena Homeri (Золотая цепь Гомера), где природа изображается хотя и фантастически, но в прекрасной связи [180]). Таким образом, частью по одиночке, частью вместе, мы потратили много времени на эти странности и с удовольствием проводили вечера долгой зимы, когда я должен был оставаться в комнате, втроем, считая и мою мать, и более находили забавы в самих этих тайнах, чем могло бы принести раскрытие их.

Но мне готовилось еще одно тяжкое испытание. Расстроенное и по временам, можно сказать, совершенно прекращавшееся пищеварение привело к таким симптомам, что я серьезно опасался лишиться жизни, и никакие лекарства мне не помогали. В этом критическом положении обеспокоенная мать моя с величайшей настойчивостью пристала к смущенному врачу, чтобы он обнаружил свое универсальное лекарство [181]). После долгого сопротивления, он сбегал поздно ночью домой и принес в баночке немного кристаллической сухой соли, которую растворил в воде и дал проглотить пациенту, — она имела явственно щелочный вкус. Едва я принял эту соль, как почувствовал облегчение, и с этого времени в моей болезни произошел поворот, постепенно поведший к улучшению. Я не могу выразить, насколько этот факт возвысил и укрепил нашу веру во врача, а также усилил наши усердные старания овладеть таким сокровищем.

Моя приятельница [182]), не имевшая ни родителей, ни сестер, ни братьев, жила одна в большом, хорошо расположенном доме и давно уже начала заводить у себя маленькую самодувную печку, колбы и реторты умеренной величины для производства опытов по указаниям Веллинга, и с существенной помощью врача-учителя, преимущественно над железом, в котором будто бы скрывались наиболее целительные силы, которые надо было только уметь открыть. Так как во всех известных нам сочинениях большую роль играла воздушная соль, которую надо было привлечь к участию, то для этих операций требовались щелочи, которые, расплываясь на воздухе, должны были соединяться с этими неземными вещами и образовать таинственную драгоценную среднюю соль per se (сама по себе) [183]).

Как только я несколько поправился и мог, благодаря лучшему времени года, опять перебраться в свою верхнюю комнату, я начал составлять себе маленький аппарат. Была приготовлена самодувная печка с песочной баней, и я вскоре научился с помощью горящего фитиля превращать стеклянные колбы в чаши, в которых испарялись различные смеси. Затем таинственными особыми приемами обрабатывались различные ингредиенции макрокосма и микрокосма, и прежде всего мы старались неслыханным образом произвести средние соли. Но что больше всего занимало

меня долгое время, это был так называемый Liquor silicum (кремневый сок), который происходит при сплавлении чистого кварцевого песка со соответствующим количеством щелочи, причем образуется прозрачное стекло, расплывающееся на воздухе в прекрасную прозрачную жидкость. Кто когда-нибудь сам приготовлял эту жидкость и видел ее собственными глазами, тот не будет осуждать тех, кто верит в «девственную землю» [184]) и в возможность действовать далее на нее и посредством ее. В приготовлении этого кремневого сока я приобрел особую ловкость; прекрасные белые кремни, находимые в Майне, доставляли для этого отличный материал, а в остальном, равно как в прилежании недостатка у меня не было. Но я устал возиться с этим, когда заметил, что кремневый сок вовсе не так тесно соединяется с солью, как этого требовали мои философские соображения; он легко снова выделялся, и прекраснейшая минеральная жидкость, которая, к величайшему моему удивлению, являлась в виде животного студня, всегда давала порошкообразный осадок, каковой я должен был признать за тончайшую кремневую пыль, но который по своей природе не обещал чего-либо продуктивного, дающего основание надеяться, что эта девственная земля перейдет в свое материнское состояние.

Как ни причудливы и бессвязны были все эти операции [185]), я все-таки при этом научился многому. Я обратил пристальное внимание на все формы кристаллизации, которые у меня появлялись, познакомился с внешними формами многих предметов природы, и так как я хорошо знал, что в новейшее время химические предметы обрабатываются более методически, то пожелал составить себе общее понятие о них, хотя я в качестве полуадепта мало уважал аптекарей и всех тех, кто оперировал с обыкновенным огнем. Однако меня сильно увлек учебник химии Бургава [186]) и заставил меня прочесть несколько сочинений этого автора, вследствие чего я уже и так несколько сроднившись с медициной во время своей долгой и скучной болезни, получил случай ознакомиться с афоризмами этого превосходного человека, которые я охотно запечатлел в своем уме и памяти.

Другое несколько более человечное и в данный момент гораздо более полезное для моего образования занятие состояло в просмотре писем, которые я писал к родным из Лейпцига. Ничто более не способствует нашему суждению о самих себе, как если мы снова видим перед собою то, что исходило от нас несколько лет тому назад, так что мы можем рассматривать себя со стороны. Но, конечно, я был тогда еще слишком молод и слишком близок к той эпохе, к которой относились эти бумаги. Вообще, так как в молодости трудно удержаться от некоторого самодовольного самомнения, то последнее выражается

особенно в том, что сам себя презираешь за недавнее прошлое. Замечая мало-по-малу, что то, что́ мы считали хорошим и превосходным в себе и других, не выдерживает критики, мы считаем лучшим выходом из этого затруднения полное отрицание того, чего нельзя спасти. Так случилось и со мной: как в Лейпциге я научился мало-по-малу презирать свои труды детства, так теперь мне казалась ничтожной моя университетская деятельность, при чем я не замечал ее высокой ценности для меня уже потому, что она подняла меня на высшую ступень созерцания и понимания. Отец мой тщательно собрал и переплел мои письма как к нему, так и к сестре; он даже внимательно прокорректировал их, исправив ошибки правописания и язык [187]).

Что мне особенно бросилось в глаза в этих письмах, была их внешность; я ужаснулся невероятной небрежности почерка за период от октября 1765 года до половины следующего января. Затем с половины марта появилось совершенно спокойное, правильное письмо, каким я пользовался при соискании наград. Мое удивление вызвало во мне благодарность доброму Геллерту, который, как я вспомнил теперь, внушал нам, что наш священный долг при задачах, которые мы готовили, обращать внимание на почерк еще более, чем на слог. Он повторял это каждый раз, когда ему попадалась на глаза кое-как нацарапанная рукопись; он говорил даже несколько раз, что охотно сделал бы красивый почерк своих учеников главною целью своего преподавания, тем более, что, как он заметил, хороший почерк влечет за собой и хороший слог.

Кроме того я заметил, что французские и английские места моих писем, хотя и не были свободны от ошибок, написаны были легко и свободно. Этими языками я продолжал пользоваться и в своей переписке с Шлоссером, который все еще находился в Трептове. Я сохранил постоянную связь с ним, благодаря чему был осведомлен о разных общественных делах, которые шли не совсем так, как он надеялся, и я все более проникался доверием к его серьезному и благородному образу мыслей.

При просмотре этих писем, от меня не ускользнуло еще одно наблюдение. Оказалось, что мой добрый отец при самых лучших намерениях причинил мне особый вред и обусловил тот образ жизни чудака, в который я наконец впал. Именно, он много раз предостерегал меня от игры в карты; но госпожа Беме, пока она была жива, умела по-своему влиять на меня в этом отношении, объясняя совет моего отца желанием отвратить меня лишь от злоупотребления картами. Так как я видел выгодные стороны этой игры в обществе, то я охотно подчинился ей. У меня было понимание игры, но не было охоты к ней: я легко и быстро выучивался всем играм, но не мог сохранить надлежа-

щего внимания в течение целого вечера. Начав хорошо, я портил игру под конец и тем заставлял проигрывать и других, вследствие чего каждый приходил в дурное расположение духа к ужину или уходил из общества. Как только умерла госпожа Беме, которая и без того уже в течение своей долгой болезни более не принуждала меня играть, — наставления моего отца возобладали. Я стал уклоняться от игры, и так как в гостях не знали, что со мною делать, то я становился в тягость другим и стал отклонять приглашения, которые делались все реже и наконец прекратились. Игра, имеющая большое значение для молодых людей, особенно тех из них, которые имеют практический склад и желают вращаться в обществе, конечно никогда не могла бы сделаться моим любимым занятием, потому что я не шел далее того, чтобы играть лишь пока мне хотелось. Если бы кто-нибудь дал мне общий взгляд на это и объяснил мне, как различные знаки и до известной степени случай создают здесь некоторый материал для упражнения силы суждения и деятельности, если бы мне растолковали в этом смысле сразу несколько игр, то я, пожалуй, еще примирился бы с картами. Как бы то ни было, я в ту эпоху вследствие этих соображений пришел к убеждению, что общественных игр не следует избегать, но скорее приобретать ловкость в них. Время бесконечно длинно, и каждый день есть сосуд, в который надо очень много влить, если мы действительно хотим наполнить его.

Таким образом мои занятия в уединении были весьма разнообразны, тем более, что вновь возвращалась охота к разным влечениям, которым я ранее предавался в разное время. Мне снова захотелось рисовать [188]), и так как я желал всегда работать с натуры или, по крайней мере, на каком-нибудь реальном объекте, то я стал рисовать свою комнату с ее мебелью и находящимися в ней лицами, а когда это перестало меня занимать, то я стал изображать разные городские события, о которых рассказывали и которыми интересовались. Все это было не лишено характерности и известного вкуса, но, к сожалению, фигуры были непропорциональны и маловыразительны, да и исполнение было очень сбивчивое. Отец, который продолжал находить удовольствие в этих вещах, хотел, чтобы они были яснее, более отделаны и закончены.

Поэтому он велел наклеить мои рисунки и обвести их линиями; кроме того, живописец Моргенштерн [189]) (тот самый, который впоследствии приобрел известность и даже знаменитость видами церквей) должен был провести перспективные линии комнат и пространства, при чем эти линии, конечно, довольно резко выдавались среди туманно обозначенных фигур. Он думал этим приучить меня к определенности, и в угоду ему я нарисо-

вал разные вещи из ежедневной жизни, при чем, имея перед собою, как образец, действительность, я мог работать отчетливее и увереннее. Наконец мне вздумалось опять заняться гравировкой. Я скомпановал интересный ландшафт и был весьма счастлив, когда разыскал старые рецепты, данные мне Штоком, и мог вспомнить о приятных часах, проведенных мною за этой работой. К несчастию, композиция моя была лишена света и теней, и я мучился, как бы внести в нее то и другое, и так как мне неясно было, как надо было сделать это, то я никак и не мог справиться с работой.

В это время я чувствовал себя вообще хорошо, но в последние дни на меня напала такая болезнь, какой у меня еще не бывало. Горло у меня сильно разболелось, и в особенности воспалился так называемый язычок; мне было очень больно что-нибудь проглотить, и врачи не знали, что с этим делать. Меня мучили полосканиями и смазываниями и не могли избавить меня от этой беды. Наконец, как бы каким-то откровением я понял, что был недостаточно осторожен при протраве, что, часто и со страстью повторяя это занятие, я причинил себе эту болезнь, постоянно ее возобновлял и поддерживал. Врачи нашли это весьма вероятным и вскоре совершенно уверились в этом, когда я прекратил гравирование и протравливание; я сделал это тем охотнее, что попытка моя была совершенно неудачна, и я скорей имел основание прятать свою работу, чем показывать ее, и я легко утешился, когда освободился от своей тягостной болезни. При этом мне невольно пришло в голову, что, вероятно, и в Лейпциге такие мои занятия содействовали той болезни, от которой я так долго страдал. Конечно, очень скучно, а иногда даже печально быть вынужденным так много следить за собою и за тем, что нам вредно и что полезно; но не подлежит сомнению, что при странной идиосинкразии человеческой природы, с одной стороны, при бесконечном разнообразии образа жизни и наслаждений, с другой, — еще удивительно, что род человеческий давно уже не истребил себя. Человеческая природа обладает, повидимому, особою цепкостью и многосторонностью и преодолевает все, что на нее действует извне или воспринимается ею внутрь; если она не может этого ассимилировать, то, по крайней мере, обезвреживает. Конечно, при большом излишестве, она принуждена бывает, несмотря на все сопротивление, уступить стихиям, как в этом убеждают нас многочисленные эндемические болезни и действие алкоголя. Если бы мы без излишней боязливости умели быть осторожны по отношению к тому, что в сложной гражданской общественной жизни влияет на нас благоприятно или неблагоприятно, если бы умели из-за вредных последствий избегать того, что

приятно нам в качестве наслаждения, то мы легко могли бы устранить очень многие неприятности, которые при здоровой вообще конституции нередко терзают нас более, чем самые болезни. К сожалению, с диетою дело обстоит так же, как с моралью. Мы видим свою ошибку только тогда, когда избавились от нее. При этом мы ничего не выигрываем, потому что следующая ошибка не походит на предыдущую и не может быть узнана под тою же формою.

При перечитывании моих лейпцигских писем к сестре я между прочим не мог также не заметить, что уже в начале своих университетских занятий считал себя очень сведущим и мудрым и, выучившись чему-нибудь, немедленно же становился сам в положение профессора и начинал поучать. Мне было довольно забавно видеть, как я сейчас же применял к своей сестре то, что рассказал или посоветовал нам Геллерт на своих занятиях, не соображая, что в жизни и в чтении многие вещи могут быть пригодны для юноши, будучи совершенно неподходящими для девушки; и мы с нею вместе много смеялись над этим обезьяничанием.

Стихотворения, которые я сочинял в Лейпциге, также казались мне теперь слишком ничтожными; я находил их холодными, сухими и поверхностными в смысле выражения состояния человеческого сердца или духа. Это побудило меня перед тем, как я вторично должен был оставить родной дом и ехать во второй университет, снова учинить большое аутодафе над моими работами [190]). Многие начатые пьесы, из них некоторые, доведенные до третьего или четвертого акта, а другие лишь в виде подробной программы, вместе со многими другими стихотворениями письмами и бумагами были преданы огню, и почти ничему не было оказано пощады, кроме манускрипта Бериша, «Хандры влюбленного» и «Совиновников»; в последней пьесе я продолжал многое исправлять с особенной любовью и, когда пьеса была уже готова, еще раз переработал ее план, чтобы придать ей больше ясности и движения. Лессинг в первых актах своей «Минны» дал нам недостижимый образец того, как следует строить драму, и я ни о чем так не заботился, как о том, чтобы вникнуть в его дух и намерения.

Я довольно подробно рассказал здесь о том, что в эти дни меня трогало, волновало и занимало; но все-таки я должен еще раз возвратиться к тому интересу, который внушали мне сверхчувственные явления, о коих я раз навсегда решился составить себе понятие, насколько это возможно.

Большое влияние оказала на меня одна важная книга, попавшая мне в руки: это была «История церкви и еретиков» Арнольда. Этот автор — не только размышляющий историк

но в то же время благочестивый и чувствительный человек. Его мнения во многом совпадали с моими, и, что мне особенно понравилось в его сочинении, на основании его я получил более выгодное понятие о многих еретиках, которых до сих пор описывали, как сумасшедших или безбожников. Дух противоречия и любовь к парадоксам заложены во всех нас. Я прилежно изучал различные мнения, и так как мне довольно часто приходилось слышать, что у каждого человека в конце концов есть своя собственная религия, то мне представилось совершенно естественным, что я и сам могу себе составить религию, что́ я и сделал с большим удовольствием. В основу был положен неоплатонизм, добавлены были элементы герметизма[191]), мистицизма и каббалистики, и таким образом я построил себе довольно странный новый мир.

Я представлял себе божество, которое от вечности производит само себя; но так как воспроизведение немыслимо без разнообразия, то божество необходимо должно было явиться в виде чего-то второго, что мы признаем под именем сына божьего; оба должны были продолжать акт воспроизведения и явились сами по себе в виде третьего лица, которое было так же действительно, живо и вечно, как и целое. Но этим круг божества был замкнут, и им самим не было бы возможно еще раз создать что-либо вполне равное себе. Но так как стремление к воспроизведению все продолжалось, то они создали четвертое, что, однако, заключало в себе самом противоречие, так как оно должно было быть безусловно как они и в то же время содержаться в них и быть ограниченным ими. То был Люцифер, на которого теперь была перенесена вся творческая сила и от которого должно было исходить все прочее бытие. Он тотчас же проявил безграничную деятельность, создав всех ангелов по своему подобию, но самостоятельных, хотя они и содержались в нем и были им ограничены. Окруженный такою славою, он забыл о своем высшем происхождении и думал найти его в самом себе, и из этой первой неблагодарности произошло все, что повидимому не согласуется с духом и намерением божества. Чем более он сосредоточивался в самом себе, тем недовольнее он становился, равно как и все духи, у которых он отнял радостный подъем к источнику их происхождения. Так произошло то, что́ мы обозначаем под видом отпадения ангелов. Часть их сосредоточилась вокруг Люцифера, а другая снова обратилась к своему источнику. Из этой концентрации всего творения (потому что оно исходило от Люцифера и должно было ему следовать) возникло все то, что мы знаем под видом материи и что представляем себе тяжелым, твердым и мрачным; все это, хоть и не непосредственно, но преемственно происхо-

дит от божественного существа, так же безусловно могущественно и вечно, как отец и прародители. Но так как все несчастие (если мы можем его так назвать) произошло от одностороннего направления Люцифера, то, конечно, этому творению недоставало лучшей половины, ибо оно обладало всем, что приобретается этою концентрациею, но было лишено всего, что обусловливается лишь экспансивностью. Таким образом все творение должно было само устранить себя постоянною концентрациею, уничтожиться вместе с отцом своим Люцифером и утратить все притязания на равную с божеством вечность. Элогим (высшие силы) смотрели некоторое время на это положение и могли, если бы хотели, переждать те эоны, в течение которых поле снова очистилось бы и образовалось бы пространство для нового творения; но они могли также вмешаться в настоящее и посредством своей бесконечности помочь этому недостатку. Они избрали второе и в одно мгновение устранили одною своею волею весь недостаток, причиненный успехом Люцифера. Они дали бесконечному бытию способность распространяться и стремиться к ним; пульс жизни был снова восстановлен, и сам Люцифер не мог избежать этого влияния. Это была та эпоха, когда возникло то, что мы называем светом, и началось то, что мы обыкновенно обозначаем словом «творение». Сколько это последнее ни разнообразилось постепенно, вследствие неизменного действия жизненной силы Элогим, недоставало все-таки существа, которое могло бы восстановить первоначальную связь с божеством. Таким образом был создан человек, который должен бы был быть во всем подобен и даже равен божеству, но опять-таки находился в том же положении, как и Люцифер, то-есть был одновременно безусловен и ограничен, и так как это противоречие должно было обнаруживаться у него во всех категориях существования, а полное сознание и решительная воля должны были сопровождать все его состояния, то можно было предвидеть, что он будет одновременно самым совершенным и самым несовершенным, самым счастливым и самым несчастным созданием. Через короткое время и он вполне повторил роль Люцифера. Отделение от своего благодетеля есть уже неблагодарность, и таким образом это отпадение вторично приобрело выдающееся значение, хотя все творение есть и было не что иное, как отпадение от своего первоисточника и возвращение к нему.

Легко видеть, что при этом искупление предполагается не только предрешенным от вечности, но и вечно необходимым, что оно даже должно постоянно возобновляться во все время возникновения и бытия. В этом отношении нет ничего естественнее, как то, что само божество, принимает человеческий

образ, который оно уже подготовило себе в виде оболочки, и на короткое время разделяет судьбы человека, чтобы через это уподобление возвысить радостное и смягчить горестное. История всех религий и философий учит нас, что эта великая необходимая для человека истина различным образом, даже в виде странных басен и образов, передавалась разными нациями в разные времена, соответственно их ограниченности. Достаточно, однако, признать, что мы находимся в таком состоянии, которое, как-будто подавляя и угнетая нас, все-таки дает нам возможность и даже делает нашим долгом возвыситься и исполнить намерения божества благодаря тому, что, с одной стороны, мы будем утверждать свою самостоятельность, а с другой — будем через правильные промежутки времени отказываться от нее[192]).

КНИГА ДЕВЯТАЯ

«Сердце часто бывает, далее, растрогано в пользу разных добродетелей, преимущественно общественных и утонченных, и в нем возбуждаются и развиваются нежные ощущения. В особенности глубокое впечатление производят многие черты, дающие молодому читателю возможность проникнуть в скрытые уголки человеческого сердца и его страстей, дающие ему знание, более ценное, чем вся латынь и греческий язык, — знание, в котором Овидий был выдающийся мастер. Но это еще не причина, почему юношеству дают в руки древних поэтов и среди них Овидия. Мы получили от всеблагого творца множество духовных сил, которым немедленно, уже в первые годы, должно дать соответствующую культуру и которые нельзя культивировать ни логикою, ни метафизикою, ни латынью, ни греческим языком. У нас есть сила воображения, которой мы должны предлагать наиболее пригодные и прекрасные картины и таким образом приучать и упражнять душу, чтобы она находила и любила прекрасное повсюду и в самой природе, узнавая его по его определенным, истинным и тончайшим чертам. Нам нужно множество понятий и общих знаний, как для наук, так и для ежедневной жизни, каких нельзя почерпнуть ни из какого учебника. Наши чувства, склонности, страсти должны развиваться и очищаться с пользою».

Это замечательное место [193]), находившееся во «Всеобщей немецкой библиотеке», было не единственное в своем роде. Подобные принципы и мнения выражались разными людьми. Они производили очень большое впечатление на нас, восприимчивую молодежь, и впечатление это действовало тем сильнее, что подкреплялось примером Виланда, так как произведения его второго блестящего периода ясно доказывали, что он образовал себя согласно этим правилам. И чего же более могли мы желать? Философия с ее непонятными требованиями была устранена, древние языки, изучение которых сопряжено с такими трудами, были отодвинуты на задний план; учебники, о надеж-

ности которых уже Гамлет шепнул нам на ухо слово сомнения, становились все более подозрительными. Нам советовали обратиться к наблюдению действительной жизни, которую мы вели так охотно, и к познанию страстей, которые мы отчасти ощущали в нашей груди, отчасти предчувствовали; эти страсти, хотя они вообще осуждались, должны были казаться нам все-таки чем-то важным и достойным, ибо они должны были составлять главный предмет нашего изучения и знание их рекомендовалось нам, как главный образовательный материал наших духовных сил. Кроме того, такой образ мыслей вполне соответствовал моему собственному убеждению и всей моей поэтической деятельности. Поэтому, после крушения стольких добрых намерений и честных надежд, я без сопротивления подчинился решению моего отца послать меня в Страсбург, суливший мне светлую, веселую жизнь, при чем я мог продолжать свое учение и в конце концов защитить диссертацию.

Весною я почувствовал, что мое здоровье, а главным образом мое юношеское мужество — восстановилось, и я снова стал стремиться к отъезду из родительского дома, хотя совсем по другим причинам, чем в первый раз. Те прекрасные комнаты, где я столько перестрадал, стали мне противны, да и с отцом я не мог установить приятных отношений; я не мог вполне простить ему, что при рецидивах моей болезни и при моем медленном выздоровлении он обнаружил чрезмерное нетерпение и вместо того, чтобы снисходительно утешать меня, иногда даже со злобой говорил о том, что̀ совершенно вне человеческой власти, как-будто оно зависело только от моей воли. Но и я много раз задевал и оскорблял его.

Молодые люди возвращаются из университетов с понятиями, которые сами по себе правильны и хороши, но, считая себя очень умными, они прилагают эти понятия, как мерила, ко всем встречным предметам, которые большею частью теряют от этого. Так, я приобрел некоторое общее представление об архитектуре, об устройстве и украшении домов и неосторожно применил его в разговорах к нашему собственному дому. Отец сам придумал все его устройство и провел постройку с большою настойчивостью; поскольку этот дом должен был служить исключительно жилищем для него или его семьи, против этого плана ничего нельзя было возразить, да и весьма многие дома во Франкфурте были так построены. Лестница шла прямо наверх и вела в большие передние, которые сами могли бы служить очень хорошими комнатами, и мы действительно всегда проводили там лучшее время года. Но такое приятное устройство для жизни одной семьи — свободное сообщение сверху до низу — превращалось в большое неудобство, когда в доме жило несколько

семей, как мы слишком ясно испытали это во время французского постоя. Жуткая сцена с королевским лейтенантом не могла бы произойти, и отец мой испытал бы гораздо меньше неприятностей, если бы наша лестница была отодвинута в сторону, как в лейпцигских домах, и каждый этаж был снабжен своею особою дверью. Однажды я стал очень расхваливать такой план постройки, выставляя его выгоды, и показал отцу возможность переместить и нашу лестницу; он на это невероятно рассердился, тем более, что я незадолго перед тем раскритиковал несколько вычурных зеркальных рам и не одобрил некие китайские обои. Произошла сцена, которая, правда, была замята и улажена, но все-таки ускорила мой отъезд в прекрасный Эльзас. Путешествие это я совершил без задержки в удобном новом дилижансе в короткое время [194]).

Я остановился [195]) в гостинице «Духа» [196]) и тотчас поспешил удовлетворить свое страстное желание увидеть собор, который мои спутники давно уже мне показывали и который виднелся издали, когда мы подъезжали. Когда я увидел это колоссальное здание через узкую улицу, а потом очутился совсем близко к нему на тесной площади, то оно произвело на меня совершенно своеобразное впечатление, в котором я сразу не мог разобраться и лишь смутно воспринял его, поспешно поднимая на верх собора, чтобы не упустить прекрасного момента освещения высоко стоящим солнцем и сразу обозреть всю обширную, богатую страну.

И вот я видел с платформы прекрасную местность, где мне предстояло жить некоторое время: обширный город, широко вокруг него лежащие луга с великолепными густыми деревьями, необыкновенно богатую растительность, которая, следуя течению Рейна, обрисовывает берега, острова и Вердер. Столь же украшена разнообразною зеленью и простирающаяся к югу плоская равнина, орошаемая Иллем; даже к западу, по направлению к горам, виднелись разные низменности, представлявшие очаровательное зрелище лесов и лугов; а к северу местность, более холмистая, была прорезана множеством небольших речек, которые везде способствуют быстрому развитию растительности. Если представить себе между этими роскошно расстилающимися лугами, между этими весело разбросанными рощами всю пригодную для возделывания землю, отлично обработанную, с созревающею жатвою, а на лучших местах ее — деревни и фермы, при чем вся эта большая, необозримая площадь, как новый рай, уготованный для человека, вблизи и вдали ограничена горами, частью также возделанными, частью поросшими лесом, то легко будет понять тот восторг, с которым я благословил судьбу, назначившую мне на некоторое время такое прекрасное местопребывание.

Подобный свежий взгляд на страну, где нам предстоит жить некоторое время, имеет еще то своеобразное свойство приятности и фантастичности, что вся она лежит перед нами, как белая страница. На этой странице не написано еще никаких горестей или радостей для нас; эта веселая, пестрая, оживленная поверхность для нас мертва; глаз наш приковывается лишь к предметам, которые сами по себе значительны, и ни любовь, ни страсть не выдвигают еще перед нами особенно то или другое место; но предчувствие будущего уже волнует юное сердце, и неудовлетворенная в глубине своей душа требует того, что должно случиться и что во всяком случае, будь то радость или горе, незаметно примет характер местности, в которой мы находимся.

Сойдя с высоты, я еще некоторое время смотрел на почтенное здание, но—чего я не мог себе уяснить ни с первого взгляда, ни в ближайшее время — я видел громадность этого чудесного сооружения, но не пугался ее, — до такой степени оно представлялось мне правильным, понятным и по выработанности своей даже привлекательным. Я, впрочем, вовсе не старался обдумывать это противоречие, а предоставил удивительному памятнику спокойно действовать на меня самым своим присутствием.

Я занял маленькую, но удобно расположенную и уютную квартиру на солнечной стороне Фишмаркта — красивой длинной улицы, где постоянное движение развлекало меня во все свободные минуты. Затем я разнес свои рекомендательные письма и нашел среди своих покровителей одного купца[197]), который вместе со своим семейством следовал достаточно знакомым мне взглядам «благочестивых», хотя, по отношению к церковным обрядам, не отделился от церкви. Это был человек благоразумный и не проявлял в своем поведении признаков ханжества. Общество за его столом, которое мне рекомендовали и которому я был представлен, было весьма приятно и интересно. Две старые девы[198]) давно уже заведывали этим пансионом, содержа его в порядке и с большим успехом; в нем участвовало около десяти лиц различного возраста. Из них я лучше всего помню одного, по имени Мейера, уроженца Линдау[199]). По фигуре и по лицу его можно было бы назвать красавцем, если бы не некоторая неряшливость во всем его существе. Равным образом его прекрасные природные дарования были испорчены невероятным легкомыслием, а его прекрасный характер — необузданною распущенностью. У него было скорее круглое, чем овальное лицо, открытое и веселое; его органы чувств — глаза, нос, рот, уши — могли быть названы хорошо развитыми: они свидетельствовали о силе, хотя не были особенно велики. Рот был особенно красив, благодаря вздернутым губам; особенное же выражение при-

давало его физиономии то, что брови его срастались над переносьем, что при красивом лице всегда производит приятное впечатление ума. Благодаря своей веселости, прямоте и добродушию он пользовался всеобщим расположением; память у него была невероятная и слушать лекции не доставляло ему никакого труда: он запоминал все, что слышал, и был достаточно даровит, чтобы находить во всем интерес; это было ему тем легче, что он был студентом медицины. Все впечатления он воспринимал живо, и его шаловливость в повторении лекций и передразнивании профессоров заходила иногда так далеко, что он, прослушав утром три часа разных лекций, за обеденным столом повторял их по параграфам или еще более дробными частями, чередуя одного профессора с другим; такие пестрые лекции часто забавляли нас, но иногда и надоедали.

Остальные были более или менее утонченные, спокойные, серьезные люди. Один из них был пенсионер, кавалер ордена св. Людовика, но большинство были студенты, — все хорошие и благомыслящие люди, если они только не переходили своей обычной меры вина. О том, чтобы этого не случалось, заботился наш президент, некто д-р Зальцман [200]). Человек уже на шестом десятке лет, холостой, он уже много лет посещал эти обеды и поддерживал на них порядок и достоинство. У него было хорошее состояние; в своей наружности он был выдержанным и изящным, ходил всегда в чулках и башмаках, со шляпою под мышкой. Обыкновенно он носил с собою также дождевой зонтик, хорошо помня, что даже в самые лучшие дни возможны гроза и ливень.

С этим человеком я обсудил свое намерение продолжать в Страсбурге изучение юриспруденции, чтобы как можно скорее защитить диссертацию. Так как он был хорошо осведомлен обо всем, то я расспросил его о лекциях, которые мне надо было слушать, и каковы вообще его взгляды на прохождение курса. На это он мне сказал, что в Страсбурге дело ведется не так, как в немецких университетах, где стараются выработать широко образованных и научно подготовленных юристов. Здесь, вследствие связей с Францией, все направлено главным образом в сторону практики и ведется на тот же лад, как и у французов, которые охотно держатся старины. Стараются преподать каждому известные общие основы, известные предварительные знания в возможно коротком объеме и сообщают лишь самое необходимое. Он познакомил меня затем с одним господином, который пользовался большим доверием в качестве репетитора и вскоре приобрел также и мое доверие. Я начал говорить с ним, для вступления, о предметах юридических наук, и он был немало удивлен моей бойкой болтовней. Дело в том,

что за свое пребывание в Лейпциге я приобрел больше знаний относительно требований юриспруденции, чем пришлось мне рассказать в предшествующем изложении, хотя все мои приобретения представляли лишь общий энциклопедический обзор и не могли считаться настоящим, определенным знанием. Университетская жизнь, хотя мы и не могли похвалиться особенным прилежанием во время ее, доставляет все-таки бесконечные выгоды для развития во всех направлениях, потому что мы всегда окружены людьми, которые владеют знанием или ищут его, так что мы всегда, хотя бы и бессознательно, извлекаем некоторую пищу из этой атмосферы.

Мой репетитор[201]), выслушав некоторое время с терпением мои словесные блуждания, дал мне понять, что я прежде всего должен иметь в виду ближайшую цель, а именно экзамены, защиту диссертации, а затем, во всяком случае, переход к практике.

Если остановиться прежде всего на первом, то, по его словам, не-зачем было ходить далеко: нас не станут спрашивать, где и как возник закон, что дало внешнее или внутреннее побуждение к нему; не будут исследовать, как он изменялся соответственно времени и обычаю, а также не извратился ли он совсем вследствие ложного толкования или неправильного применения на суде. Ученые мужи проводят всю свою жизнь в таких специальных исследованиях, мы же желаем только знать, как обстоит дело в настоящее время, и запечатлеваем это знание в своей памяти так, чтобы всегда помнить необходимое, когда мы захотим применить его для пользы и защиты нашего клиента. Так мы вооружаем наших молодых людей для предстоящей жизни, а остальное придет само собою, по мере их талантов и деятельности. Затем он передал мне свои тетради, которые были написаны в форме вопросов и ответов и по которым я мог приблизительно проэкзаменоваться хоть сейчас же, потому что маленький юридический катехизис Гоппа был еще почти целиком у меня в памяти; остальное я пополнил с некоторым прилежанием и весьма легко получил, помимо своей воли, звание кандидата.

Но так как для меня таким образом была отрезана всякая самодеятельность в учении, так как я не имел охоты к чему-либо положительному, а желал объяснить все если не разумом, то хоть исторически,—то я нашел для своих сил другое, более обширное приложение, которым я воспользовался весьма неожиданно, заинтересовавшись тем, что случайно пришло ко мне со стороны.

Большинство моих сотрапезников были медики[202]). Это, как известно, единственные студенты, которые живо интересуются своею наукою, своим ремеслом и вне учебных часов. Послед-

нее лежит в природе вещей. Предмет их изучения—самый реальный и в то же время самый высший, самый простой и самый сложный. Медицина интересует всего человека, потому что она интересуется всем человеком. Все, чему в ней выучивается юноша, относится к важной, правда, опасной, но во многих отношениях хорошо вознаграждаемой практике. Поэтому он со страстью набрасывается на то, что ему надо знать и делать, отчасти же и потому, что это его интересует само по себе, отчасти же и потому, что оно открывает ему светлую будущность, самостоятельную и обеспеченную.

Итак, за столом я не слышал ничего, кроме медицинских разговоров, как и прежде в пансионе гофрата Людвига. На прогулках и при увеселительных поездках также не говорилось почти ни о чем ином, потому что мои сотрапезники, как хорошая компания, сделались моими товарищами и на остальное время, а к ним присоединялись со всех сторон студенты того же направления и той же специальности. Медицинский факультет вообще блистал по сравнению со всеми другими как в смысле известности своих профессоров, так и по многочисленности учащихся, и я увлечен был этим потоком тем легче, что мои сведения в этой области были как-раз таковы, что моя жажда знания могла вскоре увеличиться и получить новый толчок. Поэтому, при начале второго семестра, я стал посещать лекции химии Шпильмана [203]) и лекции анатомии Лобштейна [204]), намереваясь быть весьма прилежным, так как я уже приобрел некоторое доверие и уважение в нашем обществе благодаря моим странным предварительным или, вернее, лишним познаниям.

Но этого рассеяния и раздробления моих занятий оказалось еще не достаточным: им суждено было потерпеть еще иное существенное нарушение, так как замечательное официальное событие привело в волнение весь город и доставило нам довольно долгий ряд праздников. Мария Антуанетта, эрцгерцогиня австрийская [205]) и королева Франции [206]), должна была проехать через Страсбург на своем пути в Париж. Пошли прилежные и многочисленные приготовления к торжествам, которые должны были показать народу, что на свете есть великие особы, и мне в особенности памятно здание, которое было построено на острове Рейна между двумя мостами и предназначалось для ее приема и для передачи ее в руки посланников супруга. Оно лишь немного возвышалось над землею, и посредине его была большая зала, а по сторонам ее—меньшие; затем, позади, простирались еще другие комнаты; словом, при более прочной постройке оно отлично могло бы служить дачею для высоких особ. Но что меня особенно интересовало и ради чего я не пожалел нескольких бюзелей (так называлась мелкая серебря-

ная монета, бывшая тогда в обращении), чтобы привратник позволил мне несколько раз войти, были тканые обои, которыми все здание было обито внутри. Здесь я впервые увидел образец этих обоев, вытканных по картинам Рафаэля, и вид их произвел на меня сильное впечатление, так как я познакомился, хотя и в копии, с правильными и совершенными произведениями в массе. Я приходил и уходил несколько раз и не мог насмотреться; при этом меня мучило тщетное стремление, потому что мне хотелось понять то, что мне так чрезвычайно нравилось. Чрезвычайно приятными и уютными нашел я боковые залы но тем ужаснее была главная зала. Она была увешана гораздо более крупными, блестящими и богатыми коврами, вытканными по картинам новейших французских художников, при чем ковры эти были окружены множеством украшений.

Я примирился бы и с этою манерою, потому что мое чувство и суждение неохотно отвергали что-либо целиком, но я крайне возмущен был сюжетом. Эти картины содержали историю Язона, Медеи и Креузы, то-есть пример несчастного брака [207]). Налево от трона можно было видет невесту, борющуюся с жестокою смертью и окруженную друзьями; направо отец приходил в ужас над лежащими у ног его убитыми детьми, а в воздухе, на колеснице, запряженной драконами, проносилась фурия. И как бы для того, чтобы дополнить ужасное и отвратительное еще и безвкусицей, из-за красного бархата, золототканой спинки трона справа высовывались извивы хвоста волшебного быка, тогда как само огнедышащее чудовище и поборающий его Язон прикрыты были драгоценною драпировкою.

В душе моей заговорили все правила, которые я усвоил в школе Эзера. Что в боковых залах свадебного здания поместили Христа и апостолов, было, конечно, случайно и необдуманно; без сомнения, королевским хранителем ковров руководили здесь размеры комнат; я охотно прощал это, ибо это доставило мне столь большую выгоду; но ошибка, сделанная в большой зале, вывела меня совершенно из себя, и я с живостью и пылкостью призвал своих приятелей в свидетели такого преступления против вкуса и чувства. «Как! — воскликнул я, не обращая внимания на окружающих: — неужели можно допустить, чтобы молодой королеве, при первом вступлении ее в страну, столь необдуманно был представлен пример самой ужасной свадьбы, какая только когда-нибудь совершалась? Неужели между французскими архитекторами, декораторами, обойщиками нет ни одного человека, который бы понимал, что картины изображают нечто, как картины действуют на ум и чувство, какое они производят впечатление, какое они возбуждают предчувствие! Ведь это все равно, как если бы этой прекрасной и, по слухам,

жизнерадостной даме послали для встречи на границе отвратительное привидение!» Я не знаю, что я еще говорил; словом, мои приятели постарались меня успокоить и увести из дома, чтобы не вышло неприятности. Они уверяли меня, что не всякий ищет смысла в картинах, что им, по крайней мере, ничто не бросилось в глаза и что такие мрачные мысли никогда не придут в голову ни неселению Страсбурга и его окрестностей, ни самой королеве с ее двором.

Я до сих пор хорошо помню красивую и знатную, веселую и внушительную фигуру этой дамы. Хорошо видимая нам всем в своей стеклянной карете, она, повидимому, весело разговаривала со своими спутницами о толпе, которая стремилась навстречу ее процессии [208]). Вечером мы гуляли по улицам, любуясь разными иллюминованными зданиями, особенно же светящимися вершинами собора, которым наши глаза не могли достаточно насладиться вблизи и издали.

Королева проехала дальше, народ разошелся, и город стал так же спокоен, как и прежде. Перед приездом королевы сделано было весьма разумное распоряжение, чтобы на ее пути не показывались никакие уроды, калеки или безобразные больные. Над этим шутили, и я сочинил небольшое французское стихотворение, в котором я сравнивал прибытие Христа, который явился в мир преимущественно ради больных и убогих, с приездом королевы, которая разогнала этих несчастных. Среди моих друзей оно не встретило возражений, но один француз, живший с нами, безжалостно раскритиковал язык и размер, повидимому, весьма основательно, так что я не помню, чтобы я когда-нибудь после этого писал французские стихи.

Едва из столицы пришло известие о благополучном прибытии королевы, как за ним последовала ужасная весть, что во время торжественного фейерверка, по небрежности полиции, в одной улице, загроможденной строительными материалами, погибло множество людей с лошадьми и экипажами [209]), и город среди свадебных торжеств был погружен в траур и печаль. Размеры несчастья были насколько возможно скрыты как от молодой королевской четы, так и от света; погибшие были похоронены тайком, так что многие семейства только по отсутствию своих членов убедились, что и их постигло это ужасное несчастие. Едва ли я должен упоминать, что при этом мне снова вспомнились ужасные картины главной залы; всякий знает, как могущественны некоторые нравственные впечатления, если они как бы воплощаются в чувственных образах.

Этот случай поверг, однако, моих друзей в страх и тревогу вследствие одной шутки, которую я себе позволил. Между молодыми людьми, составлявшими нашу лейпцигскую компанию,

сохранился известный зуд—желание чем-нибудь задевать и поочередно мистифицировать друг друга. В порыве легкомыслия дурного свойства, я написал письмо одному своему приятелю во Франкфурте (тому самому, который дополнил и применил к «Медону» мое стихотворение о пирожнике Генделе и тем способствовал его всеобщему распространению); в этом письме, будто бы из Версаля, я сообщал ему о моем благополучном прибытии туда, о моем участии в торжествах и т. д. под условием строжайшей тайны. При этом я должен заметить, что наше маленькое лейпцигское общество со времени той выходки, причинившей нам столь много неприятностей, привыкло время от времени преследовать автора ее мистификациями, тем более, что он был самый забавный человек в мире и никогда не был милее, чем в то время, как открывал ошибку, в которую его вовлекли. Вскоре после этого письма я совершил маленькое путешествие и находился в отсутствии около четырнадцати дней. В это время известие о парижском несчастии достигло Франкфурта; мой приятель думал, что я нахожусь в Париже, и из любви ко мне стал опасаться, не попал ли и я в это несчастье. Он осведомился у моих родителей и других лиц, которым я обыкновенно писал письма, не было ли писем от меня, и так как путешествие мое прервало переписку, то писем нигде не оказалось. Он бегал в большой тревоге и поверил ее наконец нашим ближайшим друзьям, которые очень встревожились. К счастью, когда эти опасения дошли до моих родителей, они получили уже письмо, извещавшее о моем возвращении в Страсбург. Трогательные известия о тревогах из-за меня так на меня повлияли, что я дал себе клятву навсегда отказаться от подобных шуток, но, к сожалению, впоследствии не раз еще провинился в подобных вещах. Действительная жизнь иногда до того теряет свой блеск, что невольно хочется освежить ее лаком выдумки.

Этот мощный поток придворной жизни и роскоши промчался мимо и не оставил во мне другого ощущения, как те рафаэлевские ковры, которые я готов был ежедневно, ежечасно созерцать, чтить их, молиться на них. К счастью, моим страстным стараниям удалось настолько заинтересовать ими несколько влиятельных лиц, что их очень долго не убирали и не упаковывали. Затем мы опять отдались тихому, спокойному ходу нашей университетской и общественной жизни, и нашим общим педагогом остался актуарий Зальцман, председатель нашего стола. Его разум, уступчивость, достоинство, какое он умел сохранять при всех шутках и маленьких излишествах, которые он нам позволял, делали его любезным и дорогим всему обществу, и я припоминаю лишь немногие случаи, когда он

высказывал серьезное неудовольствие или авторитетно вмешивался в наши споры и ссоры. Но более всех привязался к нему я, и он также любил заниматься со мною, потому что считал меня образованнее других и не столь односторонним в суждениях. По внешности своей я также подражал ему, чтобы в обществе он мог, не стесняясь, относиться ко мне как к своему товарищу и приятелю, потому что, хотя он и занимал мало влиятельную должность, но держал себя всегда с весьма большим достоинством. Он был актуарием при опекунском совете и, конечно, вел в сущности все его дела, как непременный секретарь какой-нибудь академии. Так как он вел эти дела много лет аккуратнейшим образом, то не было ни одного семейства, от первого до последнего, которое не было бы ему обязано благодарностью; ведь и во всем государственном управлении едва ли кто-нибудь может причинить столько добра или зла, как тот, который заботится о сиротах, или же расточает или позволяет расточать их достояние.

Страсбуржцы—страстные любители прогулок, и они, конечно, имеют на это добрые основания. В какую сторону вы ни пройдете несколько шагов, всюду найдете места для гулянья, частью естественные, частью искусственно устроенные в старые и новейшие времена, и все они охотно посещаются веселою толпою, наслаждающеюся ими. Но что здесь придает зрелищу многочисленных гуляющих еще более приятности, чем в других местах,—это разнообразие женских нарядов. Городские девушки среднего класса носили еще завитые кверху косы, заколотые большою булавкою, и довольно узкие платья, при которых всякий шлейф был бы некстати; всего же приятнее было то, что этот наряд не разделял резко сословий одно от другого: было довольно много богатых и знатных домов, дочерям которых не дозволялось отступать от этого костюма. Другие одевались по французской моде, и эта партия ежегодно приобретала себе последователей. У Зальцмана было много знакомых, он повсюду имел доступ, что было весьма приятно для его спутника, в особенности летом, потому что мы везде встречали в садах хороший прием, хорошее общество и угощение и нередко в веселые дни получали по нескольку приглашений.

В одном из таких случаев мне удалось очень быстро сойтись с одним семейством, которое я посетил всего лишь во второй раз. Мы были приглашены и явились в назначенное время. Общество было невелико; одни, по обыкновению, играли, другие гуляли. Позднее, когда гости пошли к столу, я заметил, что хозяйка и ее сестра о чем-то живо разговаривают, какбудто в некотором смущении. Я подошел к ним и сказал: «Сударыни, я не имею права вмешиваться в ваши тайны; но,

может быть, я сумею дать вам добрый совет или чем-нибудь услужить».

Они открыли мне свое затруднительное положение: к столу приглашены были двенадцать лиц, и как-раз к этому времени возвратился из путешествия один родственник, который, в качестве тринадцатого, мог явиться роковым memento mori (напоминанием о смерти) если не для себя, то для кого-нибудь из гостей.

«Этому легко помочь, — возразил я. — Позвольте мне удалиться, оставив за собой право прийти в другой раз».

Так как они были люди приличные и умеющие жить, то они ни за что не захотели согласиться на это, но послали к соседям за четырнадцатым. Я не помешал им, но когда увидел в дверях сада слугу, возратившегося с отказом, то я ускользнул и весело провел этот вечер под старыми липами в Ванценау. Что за это лишение я был щедро вознагражден, понятно само собою.

Сколько-нибудь живое препровождение времени в обществе теперь немыслимо без карточной игры. Зальцман возобновил добрые поучения госпожи Бёме, и я тем более покорился ему, что действительно убедился, что этою маленькою жертвою, если признать ее за таковую, можно доставить себе много удовольствия и даже большую свободу в обществе, чем можно иметь без этого. Поэтому мы разбудили старый пикет, я научился также висту и завел себе, по совету своего ментора, особый кошелек для игры, который при всех условиях должен был оставаться неприкосновенным. Таким образом я получил возможность проводить большую часть вечеров со своим другом в лучших кругах, где ко мне большею частью были расположены и прощали мне разные маленькие ошибки, на которые мне обыкновенно указывал в мягкой форме мой друг.

Но как бы для того, чтобы символически убедить себя в том, как надо приспособляться к обществу в своих манерах и соображаться с ним, я принужден был поневоле покориться одному обстоятельству, которое казалось мне неприятнее всего на свете. У меня были очень хорошие волосы, но мой страсбургский парикмахер уверял меня, что они сзади подстрижены слишком низко и что ему невозможно сделать из них прическу, в которой я мог бы явиться в обществе, потому что можно было оставить лишь немного коротких и кудрявых передних волос, а все прочее, начиная с темени, должно было быть заплетено в косу или помещено в волосяной мешок. Мне ничего, по его словам, более не оставалось, как завести фальшивую прическу, пока естественный рост волос не приспособит их к требованиям моды. Он обещал мне, что никто никогда не

заметит этого невинного обмана, против которого я сперва серьезнейшим образом восстал, если только я сейчас же решусь на него. Он сдержал свое слово, и меня считали за наилучше прпчесанного молодого человека с наилучшею шевелюрою. Но так как мне приходилось с утра быть таким завитым и напудренными и притом соблюдать осторожность, чтобы не выдать свое поддельное украшение, вспотев или вследствие сильных движений,—то это принуждение сильно содействовало тому, что я некоторое время двигался спокойнее и скромнее и привык ходить в чулках и башмаках и с шляпою под мышкой. При этом я должен был из предосторожности носить под чулками вторые чулки из тонкой кожи для защиты от рейнских комаров, которые в хорошие летние вечера летают целыми тучамя по лугам и садам. Если при этом я принужден был воздержаться от сильных телесных движений, то тем живее, с тем большею страстью развивались наши общественные разговоры, самые интересные из всех, какие я вел до сих пор.

При моем образе мыслей и чувств мне ничего не стоило признавать каждого за то, чем он был, и даже за то, чем он хотел считаться, и откровенность молодой души, которая здесь, пожалуй, в первый раз выступила в полном расцвете, приобрела мне много друзей и приверженцев. Наше застольное общество возросло до двадцати человек, и так как наш Зальцман сохранял свою обычную методу, то все шло по-старому, и беседы сделались даже еще приличнее, потому что каждый должен был соблюдать острожность перед многими людьми. Из новоприбывших меня особенно интересовал один, по имени Юнг, тот самый, который впоследствии сделался известным под именем Штиллинга [210]). Его фигура, несмотря на устарелый костюм, при некоторой грубоватости имела в себе нечто нежное. Парик с волосяным мешком не обезображивал его серьезного и приятного лица. Его голос был кроток, не будучи мягким и слабым, и делался даже благозвучным и сильным, когда он разгорячался, что случалось очень легко. При более близком знакомстве с ним можно было найти в нем здоровый человеческий рассудок, основанный на душевном чувстве и на этой основе руководившийся склонностями и страстями; из этого чувства возникал его чистейший энтузиазм ко всему доброму, истинному и справедливому. История жизни этого человека была очень проста, но богата событиями и разнообразною деятельностью. Главным элементом его энергии была непоколебимая вера в бога и в непосредственно от него проистекающую помощь, которая выражается в постоянном промысле и в непременном спасении от всякой беды, всякого горя. Юнг столько раз в своей жизни испытал это на себе, и это столько раз повто-

рилось даже в новейшее время, в Страсбурге, что он весьма радостно вел умеренную, правда, но беззаботную жизнь и серьезнейшим образом занимался учением, хотя и перебивался от одной четверти года до другой, не имея надежных доходов. В молодости он уже готов был сделаться угольщиком, но занялся портняжным ремеслом и, попутно обучившись самоучкой более высоким предметам, последовал своей охоте учить и стал искать места школьного учителя. Эта попытка не удалась, и он возвратился к ремеслу, от которого, однако, его много раз отвлекали, приглашая на место домашнего учителя, так как каждый легко проникался доверием и любовью к нему. Но свое наиболее глубокое и существенное образование получил он от той распространенной категории людей, которые искали спасения по-своему и, стараясь поучаться чтением писания и благочестивых книг, а также взаимными увещаниями и признаниями, достигли таким образом удивительно высокой степени культуры. Так как внушаемый ими и поддерживавший их в обществе интерес покоился на простейшей основе нравственности [211]), благожелательности и добрых дел, и так как уклонения от этого пути у таких скромных людей бывают незначительны и совесть их остается большею частью чистою, а дух— светлым, то и возникла не искусственная, но истинная культура, которая имела еще и то преимущество, что она подходила ко всем возрастам и сословиям и была общественной по своей природе. Поэтому эти люди в своем кругу были действительно красноречивы и способны дельно и приятно говорить обо всех делах сердца, самых нежных и самых серьезных. Таков был и наш добрый Юнг. Среди немногих, если и не одинаково с ним мыслящих, но таких, которые были довольно склонны к его образу мыслей, он был не только словоохотлив, но даже красноречив; особенно приятно передавал он историю своей жизни и умел ясно и живо представить своим слушателям все ее положения. Я побуждал его написать это повествование, и он обещал мне это. Но так как он в своей манере выражаться подобен был лунатику, которого не следует окликать, чтобы он не упал с высоты, или тихому ручью, которому не надо ничего противопоставлять, чтобы он не зашумел,—то в большом обществе он часто чувствовал себя неприятно. Его вера не терпела никаких сомнений, и его убеждения—никаких насмешек. Будучи неистощим в дружеской сообщительности, он сразу умолкал, когда встречал противоречие. Я обыкновенно в таких случаях помогал ему, за что он вознаграждал меня искреннею любовью. Так как его образ мыслей был не чужд мне и я уже хорошо знал его по моим лучшим друзьям и приятельницам, и так как он вообще мне нравился по своей естественности и наивности, то

я вполне мог находиться в наилучших отношениях с Юнгом. Направление его духа было мне приятно, и его чудесную веру, которая к нему так шла, я оставил неприкосновенною. И Зальцман также щадил его; щадил, говорю я, потому что Зальцман по своему характеру, складу, возрасту и положению должен был стоять и держаться на стороне разумных или, вернее, рассудительных христиан, чья религия основывалась, собственно, на честности характера и на мужественной самостоятельности и которые поэтому не легко предавались чувствам, способным завести их в темноту. Этот класс людей также был почтенен и многочислен; все честные и дельные люди держались таких взглядов, будучи одинаковых убеждений и одинакового поведения в жизни

К числу .таких людей принадлежал и Лерзе [212]), также наш сотрапезник, в высокой степени честный молодой человек с ограниченными денежными средствами, умеренный и аккуратный. Его образ жизни и хозяйство были самые скромные, какие я знал среди студентов. В одежде он был самый аккуратный из всех нас, но являлся всегда в одном и том же платье; со своим гардеробом он обращался в высшей степени заботливо, держал все вокруг себя в чистоте и требовал, чтобы так все поступали, по его примеру, в обыденной жизни. Он никогда ни к чему не прислонялся и не облокачивался о стол; никогда не забывал отметить свою салфетку, и служанке всегда доставалось от него, если стулья не были безукоризненно чисты. При всем этом во внешности его не было ничего натянутого. Он говорил открыто, определенно, сухо и живо, с легкою иронической улыбкою, которая очень ему шла. Фигура его была хорошо сформирована, стройна и довольно высока; лицо у него было невзрачное, рябое, маленькие голубы глаза веселы и проницательны. Ему приходилось читать нам наставления в разных отношениях; кроме того, мы избрали его своим учителем фехтования; он очень хорошо владел рапирой, и ему, повидимому, доставляло удовольствие применять к нам в данном случае педантичность этого ремесла. Мы действительно многому научились от него и были ему обязаны многими веселыми часами в его компании, проведенными в живом движении и упражнении.

Благодаря всем этим своим свойствам Лерзе сделался нашим судьею и арбитром во всех мелких и крупных ссорах, которые, хотя и редко, но все-таки случались в нашем кругу и которые Зальцман не мог уладить своею отеческою манерою. Без внешних форм, которые причиняют столько неприятностей в академиях, мы составляли общество, сложившееся благодаря обстоятельствам и доброй воле, к которому могли иметь

случайные отношения и посторонние, не без возможности проникнуть в него. При обсуждении наших внутренних неладов Лерзе всегда обнаруживал величайшую беспартийность, и, если ссора не могла быть улажена словами и объяснениями, он умел устроить ожидаемое удовлетворение так, что оно было почетно и безвредно. В этом отношении действительно не было человека искуснее его; он говаривал, что так как небо не судило ему быть героем войны или любви, то он готов удовлетвориться ролью секунданта в смысле романов и фехтования. Так как он всегда был одинаков и являлся истинным образцом доброго и постоянного характера, то во мне глубоко запечатлелось приятное представление о нем, и когда я писал «Гёца фон-Берлихенген», то почувствовал потребность поставить памятник нашей дружбе и дал имя Франца Лерзе бравому воину, который с таким достоинством умеет подчиняться.

В то время, как Лерзе со своею обычною юмористическою суховатостью умел постоянно напоминать нам, чем мы обязаны себе и другим и как надо поступать, чтобы возможно долго жить в мире с людьми, держась в известной позитуре по отношению к ним,—я принужден был вести внешнюю и внутреннюю борьбу с совершенно другими обстоятельствами и врагами, даже со стихиями. Состояние моего здоровья было довольно хорошо и давало мне возможность исполнять все, что я предпринимал; но во мне еще сохранилась некоторая раздражительность, которая выводила меня из равновесия. Мне были неприятны громкие звуки; болезни возбуждали во мне гадливость и отвращение; но особенно пугало меня головокружение, случавшееся со мною каждый раз, когда я смотрел с высоты. Я старался исправить все эти недостатки и поступал даже немного насильственно, так как не хотел терять времени. Вечером, когда играли вечернюю зорю, я прохаживался взад и вперед около барабанов, от сильной дроби и грохота которых у меня чуть не разрывалось сердце в груди. Совершенно один я поднимался на высочайшую вершину башни собора и около четверти часа сидел у так называемой шейки, под куполом, пока, наконец, не отваживался выступить на свободное пространство, где, стоя на площадке величиною около квадратного локтя, почти ни за что не держась, можно стоять и смотреть на всю бесконечную страну, в то время как ближайшее украшение церкви и то, на чем и над чем стоишь, не видны. Впечатление совершенно такое же, как если бы поднялся в воздух на монгольфьере [213]). Этот страх и самоистязание я повторял много раз, пока, наконец, впечатление не стало для меня безразлично, и впоследствии я извлек из этих упражнений большую пользу при путешествиях по горам и геологических исследованиях, на больших построй-

ках, когда я вперегонку с плотниками бегал по свободно выступающим балкам или по карнизам, а также в Риме, где приходится проделывать подобные головоломные штуки, чтобы поближе рассмотреть значительные произведения искусства. Анатомия также сослужила мне особую службу в этом отношении: удовлетворяя свою жажду знания, я приучился выносить самые отвратительные зрелища. Равным образом посещал я клинику старшего доктора Эрмана [214]), а равно лекции его сына по акушерству, с двоякою целью: изучить всевозможные состояния и освободиться от отвращения к противным вещам. И действительно, я достиг того, что ничто подобное не могло вывести меня из самообладания. Но я старался закалить себя не только против этих чувственных впечатлений, но и против игры воображения. Я сумел сделаться равнодушным и к жутким, страшным впечатлениям темноты, кладбищ, уединенных мест, ночей в церквах и часовнях и тому подобному, и тут я достиг того, что всякое место, днем и ночью, сделалось мне безразличным, и даже впоследствии, когда мне приходила охота еще раз испытать в подобных обстоятельствах приятный юношеский трепет, я с трудом возбуждал его в себе, вызывая в воображении самые неожиданные и страшные картины.

Этим стараниям освободиться от давления и гнета всего слишком серьезного и могущественного, что владело мною и казалось мне то силою, то слабостью, хорошо помогал тот свободный, общественный, подвижный образ жизни, который все более привлекал меня, к которому я привык и которым, наконец, научился наслаждаться с полною свободою. Нетрудно в жизни сделать наблюдение, что человек чувствует себя свободнее всего и наиболее отрешившимся от своих недостатков, когда он представляет себе недостатки других людей и с удовольствием распространяется в порицании их. Уже довольно приятное ощущение мы испытываем, когда путем осуждения и злоречия возвышаемся над равными нам, и хорошее общество, состоит ли оно из многих или немногих лиц, всего охотнее этим занимается. Но ничто не может сравниться с тем приятным самодовольством, с которым мы делаемся судьями высших и начальственных лиц, королей и государственных людей, когда мы находим неудачными и нецелесообразными общественные учреждения и обращаем внимание только на возможные и действительные препятствия, не принимая в соображение ни величия намерений, ни той помощи, которой следует ожидать при каждом предприятии от времени и обстоятельств.

Кто помнит положение французского государства и знает его точно и подробно из позднейших сочинений, тот легко восстановит в памяти, как тогда в эльзасском полуфранцузском

крае говорили о короле и министрах, о дворе и фаворитах [215]). При моем стремлении узнать как можно больше и при моем дерзком молодом самомнении, это были весьма желанные предметы. Я все точно отмечал, прилежно записывал и вижу теперь из немногого сохранившегося, что такие известия, хотя бы они подхвачены из случайных сплетен и ненадежных общих слухов, впоследствии всегда имеют все-таки известное значение, так как дают возможность сопоставить и сравнить наконец открывшиеся тайны с тем, что уже тогда было открыто и известно публике,—то, о чем правильно или ложно судили современники,—с убеждениями потомства.

Нам, тунеядцам, ежедневно бросался в глаза проект украшения города, начинавший самым необычайным образом переходить от чертежей и планов в область действительности. Интендант Гайо [216]) задался целью перестроить угловатые и неравномерные переулки Страсбурга и создать солидный, красивый город, расположенный по правильным линиям. Блондель [217]), парижский архитектор, начертил для этого проект, по которому сто сорок домовладельцев выигрывали пространство, восемьдесят теряли, а прочие оставались в прежнем положении. Этот план был принят, но должен был не сразу приводиться в исполнение, а исполняться лишь постепенно с течением времени, при чем город довольно странным образом колебался между законченною формою и бесформенностью. Если, например, надлежало выпрямить дугообразную сторону улицы, то первый желающий перестроить свой дом передвигался на новую линию, за ним мог перемещаться его ближайший сосед, а мог и владелец третьего или четвертого от него дома, причем благодаря этим выступам получались самые неуклюжие углубления в качестве передних дворов домов, оставшихся позади. Применять какое-либо насилие никто не собирался, но без принуждения дело тоже не подвигалось; поэтому никто не имел права что-нибудь исправлять или чинить в своем осужденном, ради украшения улицы, доме. Все эти странные случайные несообразности давали нам, праздношатаям, желанный повод для насмешек и для предложений ускорить или улучшить то или другое, в духе Бериша, а также для выражения всевозможных сомнений, как-будто каждое новое строение наводило нас на новые мысли. Насколько удачно с течением времени осуществился этот проект, я не могу сказать.

Другая тема, на которую охотно беседовали протестантские жители Страсбурга, было изгнание иезуитов. Как только французы завладели городом, отцы-иезуиты тотчас же явились и попросили отвести им жилище. Вскоре жилище это расширилось, и построена была великолепная коллегия, которая примы-

кала к собору таким образом, что задняя часть церкви прикрывала треть ее фасада. Коллегия должна была иметь правильный четыреугольный вид, а в середине должен был находиться сад; три стороны были уже готовы. Строение было каменное, солидное, как все постройки этих отцов [218]). Протестанты были этим, конечно, стеснены, если не вытеснены; но это и входило в планы общины иезуитов, которые поставили себе долгом восстановить старую религию во всем ее объеме. Поэтому падение ее возбудило величайшее удовольствие ее противников, которые не без удовлетворения смотрели, как иезуиты продавали свои вина, увозили книги и передавали здание другому, вероятно, менее деятельному ордену. Как радуются люди, когда они освобождаются от противника или даже только от сторожа, а паства не думает о том, что если при стаде нет большой собаки, то оно предоставлено на жертву волкам!

Так как каждый город должен иметь свою трагедию, от которой приходят в ужас поколения за поколениями, то в Страсбурге много говорили о несчастном преторе Клинглине [219]), который, достигнув высших степеней земного счастья, почти неограниченно владычествуя над городом и страною и пользуясь всем, что только могут доставить состояние, ранг и влияние, потерял под конец своей жизни благоволение двора, был привлечен к ответственности за все, что ему до тех пор прощали, и даже посажен в тюрьму, где он, будучи уже старше семидесяти лет, умер таинственной смертью.

Эту и разные другие истории рассказывал нам живо и с жаром обедавший с нами вышеупомянуты йкавалер ордена св. Людовика [220]); поэтому я часто присоединялся к нему на прогулках, в отличие от прочих, которые уклонялись от его приглашений и оставляли меня с ним одного. Так как при моих знакомствах я большею частью долгое время не думал о свойстве их и об их влиянии на меня, то лишь мало-по-малу стал замечать, что его рассказы и суждения более беспокоят и смущают меня, чем осведомляют и поучают. Я не знал, как смотреть на него, хотя загадку эту нетрудно было бы разгадать. Он принадлежал к числу тех нередко встречающихся людей, которым жизнь не дает никаких результатов и которые поэтому все время возятся с мелочами. К несчастию, при этом он имел большую охоту, даже страсть рассуждать, хотя не умел хорошенько даже мыслить; у таких людей легко укореняется какое-нибудь понятие, которое принимает даже вид душевной болезни. К одной такой навязчивой идее он постоянно возвращался и в конце концов чрезвычайно надоел мне. Он имел обыкновение горько жаловаться на ослабление своей памяти и утверждал, путем своеобразного умозаключения, что все добродетели происходят

от хорошей памяти, а все пороки—от забывчивости. Это учение он проводил с большим остроумием; можно, ведь, доказывать все, если позволить себе употреблять слова совершенно неопределенно, то в более широком, то в более тесном, то в прямом, то в переносном смысле.

На первое время его было довольно интересно слушать; красноречие его даже удивляло. Казалось, что видишь перед собою оратора-софиста, который, ради шутки или упражнения, умеет придать блеск самым странным вещам. К несчастию, это первое впечатление слишком скоро притуплялось; в конце каждого разговора он возвращался все к той же теме, что бы я ни делал. Его нельзя было удержать при событиях прежних лет, хотя бы они интересовали его самого, хотя бы он представлял их себе с мельчайшими подробностями; напротив, часто, посреди рассказа, относившегося ко всемирной истории, он вдруг отвлекался от него какими-нибудь ничтожным обстоятельством и возвращался к своей излюбленной мрачной мысли.

Одна из наших послеобеденных прогулок была особенно несчастлива в этом отношении; я расскажу ее здесь вместо многих подобных случаев, которые могли бы утомить, если не огорчить читателя.

На пути через город нам встретилась старая нищенка, которая своими просьбами и приставаниями помешала его рассказу. «Убирайся, старая ведьма!» сказал он и прошел мимо. Она крикнула ему вслед известную поговорку, лишь несколько изменив ее, ибо заметила, что этот неласковый господин сам стар: «Если вы не хотели дожить до старости, то вам следовало бы дать себя повесить в молодости!» Он быстро обернулся, и я уже боялся скандала. «Дать себя повесить!—воскликнул он.—Дать себя повесить! Нет, это не удалось бы,—для этого я был слишком порядочен! Но повеситься, самому повеситься,—это правда, это мне следовало бы сделать; мне следовало бы пустить в себя заряд пороха, чтобы не дожить до того, что я уже не стою этого заряда!» Женщина стояла, как окаменелая, он же продолжал: «Ты сказала великую истину, ведьма! И так как тебя еще не утопили и не сожгли, то вот тебе награда за твое словечко!» Он подал ей бюзель [221]), что редко подавалось нищим.

Мы перешли через первый рейнский мост и направились к гостинице, куда собирались зайти. Я старался навести его на прежний разговор, как вдруг неожиданно нам встретилась на хорошенькой тропинке очень красивая девушка. Она остановилась перед нами, вежливо поклонилась, воскликнула: «Ах, господин капитан, куда вы?» и сказала еще что-то, что говорят обыкновенно в подобных случаях. «Мадмуазель, — возразил

он с некоторым смущением, — я не знаю...» — «Как? — сказала она с грациозным удивлением. — Вы так скоро забываете своих друзей?» Слово «забываете» раздражило его; он потряс головою и довольно сердито ответил: «Право, мадмуазель, я не помню...» Тогда она с некоторым юмором, но весьма спокойно сказала: «Берегитесь, господин капитан: в другой раз я сама вас не узнаю». И она прошла дальше быстрыми шагами, не оглядываясь. Вдруг мой спутник ударил себя по лбу обоими кулаками. «Ах, я осел! — вскричал он. — Ах, я старый осел! Ну, вот, вы теперь видите, прав я был или не прав». И он пылко распространился в своих обычных речах и мнениях, в справедливости которых этот случай еще более убедил его. Я не могу и не хочу повторят, какую филиппику он держал против самого себя. Наконец он обратился ко мне и сказал: «Я призываю вас в свидетели! Помните ли вы ту торговку на углу, немолодую и некрасивую? Я каждый раз кланяюсь ей, проходя мимо, и часто говорю ей пару ласковых слов, а между тем прошло уже тридцать лет с тех пор, как она была ко мне благосклонна. А теперь, клянусь вам, не прошло четырех недель с тех пор, как эта девушка оказала мне чрезмерную любезность, а я ее не узнаю и оскорбляю ее в награду за ее вежливость! Разве я не говорю всегда, что неблагодарность — величайший порок, и ни один человек не был бы неблагодарен, если бы не был забывчив!»

Мы вошли в гостиницу, и только шум угощающейся толпы в ее передних залах заглушил нападки, изрыгаемые им против себя и людей своего возраста. Он затих, и я надеялся, что он умиротворился. Мы вошли в верхнюю комнату, где одиноко расхаживал молодой человек, которого капитан назвал по имени. Мне было приятно с ним познакомиться, потому что мой пожилой приятель говорил мне о нем много хорошего и рассказывал, что он, служа при военном бюро, когда задерживали пенсию, бескорыстно оказывал ему добрые услуги. Я был рад, что разговор направился на общие темы, и, продолжая его, мы роспили бутылку вина. Но тут, к несчастию, обнаружился другой недостаток, свойственный нашему кавалеру вместе с упрямством; как вообще он не мог освободиться от своей навязчивой идеи, так же крепко цеплялся он за минутное неприятное впечатление и тут же неумеренно давал волю своим чувствам. Последнее раздражение еще не успело изгладиться, а тут вдруг прибавилось еще одно новое, хотя и совсем другого рода.

Осматриваясь вокруг себя, он заметил на одном из столов двойную порцию кофе и две чашки; будучи сам старым воробьем, он в этом уже мог увидеть указание на то, что этот молодой человек не все время был здесь один. Едва только возникло

в нем это вероятное предположение, как в комнату вошла красивая девушка, и к первой неприятности примешалось еще причудливое чувство ревности, что совершенно сбило его с толку.

Раньше, чем я мог что-нибудь заподозрить,—так как до сих пор я совершенно мирно разговаривал с молодым человеком,—капитан начал знакомым мне неприятным тоном делать колкие намеки на пару чашек, на то и се. Молодой человек, задетый, старался весело и благоразумно уклониться; но старик беспощадно продолжал свои невежливости, так что тому ничего не оставалось, как взять шляпу и палку и, прощаясь, оставить ему довольно недвусмысленный вызов.

Тут ярость капитана разразилась тем сильнее, что за это время он почти один выпил еще бутылку вина. Он ударил кулаком по столу и крикнул несколько раз: «Я убью его!» Слова эти, впрочем, собственно, не имели такого грозного значения,—он часто употреблял их, когда кто-нибудь ему перечил или не нравился. Столь же неожиданно дело еще ухудшилось на обратном пути, ибо я имел неосторожность указать ему на его неблагодарность по отношению к этому молодому человеку и напомнить ему, как он сам расхваливал мне услужливость этого чиновника. Такой ярости человека против самого себя я никогда более не видал: это была пылкая заключительная речь к тем словам, к которым подала повод встретившаяся нам красивая девушка. Раскаяние и самобичевание достигли здесь карикатурной степени и, насколько страсть может заменить гений, были действительно гениальны; он собрал все происшествия нашей послеобеденной прогулки, ораторски воспользовался ими для самоосуждения, еще раз вызвал против себя старуху и запутался до того, что я боялся, как бы он не бросился в Рейн. Если бы я был уверен, что смогу снова выловить его, как Ментор[222]) своего Телемака, то я дал бы ему прыгнуть туда и привел бы его домой освежившимся.

Я рассказал всю эту историю Лерзе, и на следующее утро мы пошли к тому молодому человеку. Лерзе своею сухостью рассмешил его. Мы согласились устроить неожиданную встречу, во время которой должно было последовать примирение. Забавнее всего было то, что капитан на этот раз, проспавшись, забыл свой гнев и был вполне готов извиниться перед молодым человеком, который также не был любителем ссор. Все было улажено в одно утро, но так как этот случай не удалось вполне скрыть, то я не избег шуток моих друзей, которые по собственному опыту могли бы мне предсказать, как неудобна бывает иногда дружба с капитаном.

Думая теперь о том, что бы мне еще сообщить далее, я невольно возвращаюсь, вследствие странной игры воспоминания,

к почтенному зданию собора, которому я именно в эти дни посвятил особое внимание и которое вообще постоянно привлекает к себе взоры в городе и в стране.

Чем более я рассматривал его фасад, тем более укреплялось и углублялось во мне первое впечатление, что здесь возвышенное соединилось с изящным. Если громадное, выступая перед нами своею массою, не должно пугать нас, если оно не должно сбивать нас с толку, когда мы стараемся исследовать его частности, то оно должно вступить в неестественную, как будто невозможную связь: к нему должно присоединиться приятное. Но так как нам возможно выразить впечатление собора только тогда, когда мы представим себе эти несогласимые свойства соединенными, то мы из этого уже видим, какое высокое достоинство мы должны признать в этом старинном памятнике, и с серьезностью приступаем к изложению того, как подобные противоречивые элементы могли мирно проникнуться один другим и соединиться.

Прежде всего мы посвятим свои рассуждения, оставив в стороне башни, исключительно фасаду, который могущественно выступает перед нашими глазами в виде вертикального продолговатого четыреугольника. Если мы подойдем к нему в сумерки, при лунном свете, в звездную ночь, когда его части делаются более или менее неявственными и даже исчезают, то мы видим только колоссальную стену, высота которой имеет приятное соотношение с шириною. Если мы будем рассматривать фасад днем и мысленно отвлечемся от частностей, то мы увидим переднюю сторону здания, которая не только замыкает его внутреннее пространство, но и прикрывает многое рядом лежащее. Отверстия этой громадной поверхности указывают на внутренние потребности, и, сообразно этим последним, мы можем разделить ее на девять полей. Прежде всего бросаются в глаза большие средние двери, которые ведут в корабль (среднюю часть) церкви. По обеим сторонам их находятся две меньшие двери, принадлежащие к боковым проходам. Над главною дверью мы замечаем колесообразное окно, которое должно распространять таинственный свет в церкви и ее сводах. По сторонам его видны два большие вертикальные отверстия в виде продолговатых четыреугольников, которые составляют значительный контраст со средним окном и указывают на то, что они принадлежат к основанию возвышающихся башен. В третьем этаже находятся рядом три отверстия, предназначенные для колокольных перекладин и других церковных потребностей. Сверху все это замыкается горизонтально, вместо карниза, балюстрадою галереи. Только-что описанные девять пространств подпираются и объемлются четырьмя восходящими снизу

столбами и разделяются на три больших перпендикулярных отдела.

Подобно тому, как нельзя отказать всей массе в прекрасном соотношении высоты с шириною, так благодаря этим столбам и стройным подразделениям между ними частности фасада приобретают равномерную легкость.

Если мы останемся при нашем отвлечении и представим себе эту громадную стену без украшений, с крепкими, стремящимися в высь столбами и необходимыми отверстиями, насколько они обусловливаются потребностью, то мы должны будем признать, что и эти главные подразделения находятся в хороших соотношениях. Целое является, благодаря этому, серьезным и достойным, но кажется все еще тяжелым, безрадостным и, при отсутствии украшений, не похожим на произведение искусства, потому что подобное произведение, слагающееся из крупных, простых, гармонических частей, производит, конечно, благородное и достойное впечатление, но истинное наслаждение, возбуждающее чувство приятности, может появиться только при соответствии всех развитых в нем частностей.

Но именно в этом отношении рассматриваемое нами здание удовлетворяет нас в высшей степени; мы видим, что все украшения и каждое из них в отдельности вполне соразмерны каждой украшаемой ими части, они подчинены ей и как бы возникают из нее. Такое разнообразие всегда доставляет удовольствие, потому что оно всегда происходит из соответствующего и, следовательно, одновременно возбуждает чувство единства, и только в таком случае исполнение достигает вершины искусства.

Благодаря таким средствам твердая, непроницаемая стена, к тому же служащая основанием двух башен, восходящих до небес, представляется нашему взору как бы покоящеюся на самой себе, совершенно самостоятельно, но в то же время легкою и грациозною, и хотя она прободена множеством отверстий, но производит впечатление непоколебимой крепости.

Эта загадка разрешена здесь самым удачным образом. Отверстия стены, плотные части ее, столбы,—все это имеет свой особый характер, проистекающий из назначения этих частей; этот характер постепенно сообщается и подразделениям; поэтому все украшено в соответствующем смысле; большое и малое—все находится на своем месте, легко усваивается, и таким образом громадное приобретает приятность. Я напомню только углубляющиеся перспективно в толщу стены двери, до бесконечности разукрашенные своими колонками и арками; напомню окно и возникающую из его круглой формы розетку; напомню

профиль его перекладин, а также стройные колонны перпендикулярных отделов. Представьте себе постепенно отступающие назад столбы, сопровождаемые стройными, также стремящимися в вышину острыми арочками на легких колонках, служащими, как балдахины, для защиты статуй святых; заметьте, как каждое ребрышко, каждая капитель является в виде цветочной почки, или ряда листьев, или какого-нибудь другого образа природы, воплощенного в каменную форму. Для суждения о моей оценке и для оживления ее сравните его со зданием или, хотя бы, с изображениями его. Оценка моя, пожалуй, покажется многим преувеличенною; но я и сам, правда, уже с первого взгляда увлеченный любовью к этому зданию, должен был потратить много времени, чтобы хорошо усвоить себе его достоинства [223]).

Выросши среди порицателей готической архитектуры, я питал отвращение к громоздким, запутанным украшениям, которые своею произвольностью делали весьма неприятным мрачный религиозный характер зданий; я укрепился в этом нерасположении, так как мне постоянно приходилось видеть только подобные бездушные сооружения, в которых нет ни правильных соотношений, ни чистой последовательности. Здесь же я увидел точно откровение: я не видел ничего, достойного подобного осуждения, а скорее нечто противоположное.

Чем дольше я смотрел и рассуждал, тем более я открывал все новые достоинства, кроме уже отмеченных. Я высмотрел правильные соотношения больших отделов и украшения, столь же осмысленные, сколько и богатые, до мелочей; рассмотрел также взаимную связь этих разнообразных украшений, переходы от одной главной части к другой, сплетение однородных в общем, но по форме весьма разнообразных частностей, от святого до чудовища, от листа до зубца. Чем более я исследовал, тем более изумлялся; чем более я трудился над измерением и срисовыванием, тем более возрастала моя любовь к этому произведению, и я потратил много времени на то, чтобы частью изучать готовое, частью восстановлять в памяти и на рисунке недостающее, незаконченное, особенно по отношению к башням.

Зная, что начало этому зданию положено было на старой немецкой земле и оно достигло такого высокого совершенства в настоящую немецкую эпоху, и так как имя строителя на скромном надгробном камне также звучало по-немецки, свидетельствуя о его происхождении, я решил, возбужденный достоинством этого художественного произведения, изменить бесславное название «готическая архитектура» и присвоить этому роду искусства, в честь нашей нации, название «немецкого строительного искусства» [224]). Я также не преминул изложить свои

патриотические взгляды, сперва устно, а потом в печати, в небольшой статье, посвященной Эрвину Штейнбаху [225]) (D. M. [226]) Ervini a Steinbach).

Когда мое биографическое повествование дойдет до момента появления названной статьи в печати в сборнике Гердера «О немецком художестве и искусстве», придется сказать еще многое об этом важном предмете. Но ранее, чем я на этот раз оставлю его, воспользуюсь случаем объяснить поставленный в начале этого тома эпиграф для тех людей, которые могли бы усомниться в правильности его. Я хорошо знаю, что против отважной и полной надежд старой немецкой поговорки «чего желаешь в юности, то с возрастом приходит в изобилии» можно привести много свидетельств обратного, что ее можно много критиковать, но можно привести много и в пользу ее, и я объясню, что я хотел сказать.

Наши желания—предчувствия скрытых в нас способностей, предвестники того, что мы в состоянии будем совершить. То, на что мы способны и чего хотели бы, представляется нашему воображению вне нас и в будущем; мы чувствуем стремление к тому, чем в глубине души уже обладаем. Таким образом, пылкое предвосхищение превращает действительно возможное в действительность в грезах. Если такое направление решительно свойственно нашей природе, то с каждым шагом нашего развития исполняется часть первого желания, при благоприятных обстоятельствах по прямому пути, при неблагоприятных—обходом, при чем впоследствии мы всегда возвращаемся на прямой путь. Таким образом мы видим, как человек настойчиво достигает земных благ; они окружают его богатством, славою и внешними почестями. Другие еще более уверенно стремятся к духовным преимуществам, приобретают ясный взгляд на вещи, успокоение духа и уверенность в настоящем и будущем.

Но существует еще третье направление, смешанное из этих обоих и наиболее обещающее успех. Именно, если молодость человека приходится в плодотворную эпоху, когда производительность преобладает над разрушением, и в нем своевременно пробуждается предчуствие того, чего такая эпоха требует и что обещает,—то, побуждаемый внешними поводами к деятельному участию, он будет хвататься то за одно, то за другое, и в нем пробудится живое желание многосторонней деятельности. Но к человеческой ограниченности присоединяется еще столько случайных препятствий, что здесь останавливается что-нибудь начатое, там выпадает из рук уже завоеванное, и разрушается одно желание за другим. Но если эти желания были чистосердечны и соответствовали потребностям времени, то можно спокойно смотреть на все эти отречения и потери и

быть уверенным, что не только все это снова найдется и будет восстановлено, то появится и многое сродное тому, что раньше не затрогивалось и не приходило в голову. Если мы в течение нашей жизни видим, что другие сделали то, к чему мы ранее чувствовали призвание, но должны были отказаться от него, как и от многого другого, то возникает прекрасное чувство, что только человечество вообще составляет истинного человека и что отдельная личность может быть только рада и счастлива, если она имеет мужество чувствовать себя частью целого.

Это рассуждение вполне уместно. Если я вспомню ту любовь, которая влекла меня к этим старым строениям, если я сосчитаю то время, которое я посвятил страсбургскому собору, если припомню то внимание, с каким я впоследствии рассматривал соборы в Кёльне и Фрейбурге и все более ценил достоинства этих зданий, то я мог бы упрекнуть себя в том, что впоследствии я совсем потерял их из виду и даже совершенно отодвинул их на задний план, привлеченный более высоким искусством. Но когда я вижу, что в новейшее время внимание снова склоняется к этим предметам, возникает и расцветает любовь и даже страсть к ним, силы, время, старания, богатства беззаветно посвящаются этим памятникам прошлого мира, я с удовольствием вспоминаю, что то, чего я желал, к чему стремился в свое время, имело свою цену. С удовлетворением я вижу, что люди не только умеют ценить сделанное нашими предками, но даже стараются восстановить, по крайней мере в виде картины, по сохранившимся неоконченным начаткам, первоначальные намерения, чтобы через это познакомиться с мыслью, которая все-таки составляет первое и последнее в каждом предприятии, осветить и оживить с разумною серьезностью кажущееся запутанным прошлое. В особенности должен я похвалить здесь прекрасные труды Сульпиция Буассерэ [227]), который неутомимо старается представить кёльнский собор [228]) в великолепном издании гравюр, как образец тех громадных концепций, которые, подобно вавилонской башне, стремились к небу и до такой степени не соответствовали земным средствам, что исполнение их непременно должно было остановиться. Если мы до сих пор удивлялись, что такие сооружения достигли подобных размеров, то еще больше поразимся мы, узнав, чего, собственно, намерены были достигнуть.

Пусть же литературно-художественные предприятия этого рода соответствующим образом ведутся всеми имеющими на это силу, деньги и влияние, чтобы нам удалось выяснить великие, исполинские замыслы наших предков и чтобы мы могли составить себе понятие о том, чего они хотели. Полученное

отсюда знание не останется бесплодным, и когда-нибудь, наконец, станет возможным справедливое суждение об этих созданиях. Это может быть сделано весьма основательно, если наш деятельный молодой друг, кроме монографии, посвященной кёльнскому собору, проследит в подробностях строительное искусство нашего средневековья. Если, далее, будет выяснено все, что только можно узнать о техническом применении этого искусства, и оно будет представлено во всех основных чертах через сравнение с греко-римским, восточным и египетским искусством, то в этой области мало что останется делать. Я же, когда результаты этих патриотических трудов будут обнародованы, повторю с истинным удовлетворением, как теперь в дружеских частных беседах, вышеприведенную поговорку в ее лучшем смысле: «чего хочешь в юности, то в изобилии приходит с возрастом».

Но если при таких впечатлениях, которые принадлежат векам, можно положиться на время и выжидать случая, то существуют, напротив, другие вещи, которыми должно наслаждаться в юности, пока они свежи, как плоды. Да будет мне позволено при этом быстром повороте упомянуть о танце, который напоминает о себе в Страсбурге и вообще в Эльзасе нашему уху так же, как собор нашему глазу, ежедневно и ежечасно. С первых лет юности отец сам учил танцам меня и мою сестру, что должно было казаться довольно странным для такого серьезного человека; при этом он никогда не терял самообладания, подробнейшим образом объяснял нам все позиции и па, и когда мы выучились настолько, что могли протанцовать менуэт, он играл нам на пастушеской флейте легкую мелодию в три четверти такта, под звуки которой мы двигались, как умели. Далее, во французском театре я видел в ранней молодости если не балеты, то соло и pas de deux и обратил внимание на причудливые движения ног и разные прыжки. Когда мы обучились менуэту, то я попросил у отца показать мне музыку к разным другим танцам, которой было много в нотных тетрадях для разных жиг [229]) и мурки [230]), такт которых вполне соответствовал моему сложению, как-будто я родился с ними. До известной степени это забавляло отца, и он доставлял иногда удовольствие нам и себе, заставляя плясать своих обезьянок. После моего несчастья с Гретхен и во все время моего пребывания в Лейпциге я не танцовал. Напротив, я помню, что когда меня на одном балу заставили принять участие в менуэте, я как-будто утратил всякое чувство такта и подвижность и не помнил ни па, ни фигур и был бы совершенно пристыжен, если бы большая часть зрителей не объяснила мою неловкость простым упрямством, имевшим целью отбить у де-

виц всякую охоту вовлекать меня против моего желания в свои ряды. Затем во время моего пребывания во Франкфурте я был совершенно отрезан от таких увеселений; но в Страсбурге, вместе с прочею жизнерадостностью, проснулось и чувство такта в моих членах. И по воскресеньям и в будни нельзя было пройти мимо любого увеселительного места, не увидев там собравшейся для танцев веселой компании, большею частью уже кружащейся парами. Равным образом на дачах давались частные балы, и уже шли разговоры о блестящих танцовальных вечерах предстоящей зимы. Здесь я, пожалуй, был бы не у места и бесполезен для общества; но тут один приятель, который очень хорошо вальсировал, посоветовал мне сперва поупражняться в более простом обществе, чтобы я потом мог свободно вращаться и в лучших домах. Он привел меня к учителю танцев, считавшемуся весьма искусным преподавателем; учитель обещал мне, что если я сколько-нибудь повторю и усвою основные начала, то я скоро пойду дальше. Это был сухой, ловкий француз и принял меня весьма приветливо. Я заплатил ему за месяц вперед и получил двенадцать билетов, по которым мне были назначены известные часы преподавания. Он был строг и точен, но не педантичен; и так как я имел уже некоторую подготовку, то вскоре отблагодарил его своими успехами и удостоился похвалы.

Преподавание этого учителя было весьма облегчено одним обстоятельством: у него были две дочери, обе хорошенькие и моложе двадцати лет. С детства обученные танцовальному искусству, они были весьма искусны в нем и в качестве партнерш могли облегчить достижение некоторого успеха даже самому неловкому ученику. Они обе были очень вежливы, говорили только по-французски, и я собрал все свои силы, чтобы не показаться им неуклюжим и смешным. На мое счастье, они похвалили меня, всегда были готовы протанцовать менуэт под маленькую скрипку отца и даже обучать меня вальсированию и кружению, что, конечно, было уже труднее для них. Отец их имел, повидимому, не много уроков, и они вели уединенную жизнь. После урока девушки часто просили меня некоторое время посидеть у них и поболтать с ними, что я и исполнял очень охотно, тем более, что младшая мне очень нравилась, и обе они вели себя очень прилично. Иногда я читал им какой-нибудь роман, и они делали то же. Старшая была очень красива, может быть, даже красивее младшей, но нравилась мне меньше; она была ко мне особенно любезна и приветлива. На уроке она всегда присутствовала и иногда затягивала его, вследствие чего я неоднократно пытался предложить отцу два билета, что он, однако, отклонял. Младшая, напротив, хотя

тоже не была нелюбезна со мною, держалась более замкнуто и ждала призыва отца, чтобы сменить старшую.

Причина выяснилась для меня в один вечер. Когда я, окончив танец со старшею, хотел итти с нею во внутренние комнаты, она удержала меня, сказав: «Останемся еще немного здесь; я должна вам признаться, что у моей сестры сидит гадалка, которая должна ей открыть, как поживает один ее друг, иностранец, к которому она привязана всем сердцем и на которого возлагает все свои надежды. Что до меня, — продолжала она, — то мое сердце свободно, и мне придется привыкнуть к мысли, что его отвергают».

Я ответил ей на это несколькими любезностями и сказал, что она также может узнать о положении своих сердечных дел у гадалки, что сделал бы охотно и я; мне давно уже хотелось узнать об этом что-нибудь, но до сих пор недоставало веры. Она высказала мне свое порицание, ибо нет ничего на свете вернее, чем изречения этого оракула, только нужно спрашивать его не ради шутки или насмешки, а по действительной надобности. Наконец я принудил ее пойти со мною в комнату сестры, когда она убедилась, что гадание окончилось.

Мы нашли ее сестру в весьма возбужденном состоянии; она была более обыкновенного благосклонна ко мне, шутлива и, пожалуй, даже остроумна; успокоившись относительно своего отсутствующего друга, она считала позволительным оказать некоторую любезность и другу ее сестры, за какового она считала меня.

Мы были любезны с гадалкой и посулили ей хорошую плату, если она скажет правду старшей сестре и мне. С обычными приготовлениями и церемониями старуха разложила свой хлам, собираясь сперва погадать красавице. Она внимательно рассмотрела карты, но запнулась и не хотела говорить. «Я вижу,— сказала младшая, которая была ближе знакома с толкованием таких магических таблиц, — вы медлите и не хотите сообщить моей сестре что-то неприятное; но это такая проклятая карта!» Старшая побледнела, но овладела собою и сказала: «Говорите же, ведь вас не убьют за это!» Старуха, с глубоким вздохом объяснила ей, что она любит, но не любима, что этому мешает другая особа, и тому подобные вещи. Бедная девушка, повидимому, смутилась. Старуха думала поправить дело, подав надежду на письма и деньги. «Писем,— сказала красавица,—я не ожидаю, а денег терпеть не могу. Если правда, что я, как вы говорите, влюблена, то заслуживаю сердце, которое ответит мне любовью». «Посмотрим, не выйдет ли что-нибудь получше», сказала старуха, смешала карты и разложила их вторично; но на глазах у всех нас вышло еще хуже. Красавица не только

была одинока, но окружена всякими неприятностями; друг удалился, а мешающие лица приблизились. Старуха хотела в третий раз разложить карты, в надежде чего-нибудь лучшего, но красавица не могла больше сдерживаться, разразилась неудержимым плачем, прекрасная грудь ее сильно волновалась, она отвернулась и выбежала из комнаты. Я не знал, что мне делать. Любовь склоняла меня к присутствующей, а сострадание— к убежавшей; положение мое было очень затруднительно. «Утешьте Люсинду,— сказала младшая,— пойдите за ней!» Я медлил; как мог я ее утешить, не уверив сколько-нибудь в своей любви, и мог ли я сделать это в такую минуту в холодном, умеренном тоне! «Пойдемте вместе», сказал я Эмилии. «Я не знаю, будет ли ей приятно мое присутствие», возразила она. Мы все-таки пошли, но нашли дверь запертою. Люсинда ничего не отвечала на наш стук, крики, просьбы. «Надо оставить ее в покое», — сказала Эмилия, — она ничего больше не хочет». Действительно, насколько я помнил ее характер с первых дней нашего знакомства, в ней всегда было что-то порывистое и неровное, и свою любовь ко мне она выражала преимущественно тем, что не срывала на мне своего дурного настроения. Что мне было делать? Я щедро заплатил старухе за причиненную ею беду и хотел уйти, но Эмилия сказала: «Я хочу, чтобы она разложила карты и для вас». Старуха была готова, но я воскликнул: «Позвольте мне не присутствовать при этом!» и быстро сбежал по лестнице.

На другой день у меня не хватило мужества пойти к ним. На третий день рано утром Эмилия прислала мальчика, который не раз уже приносил мне разные известия от сестер, а от меня носил им цветы и фрукты, и велела сказать, чтобы сегодня я непременно пришел. Я пришел в обычный час и застал отца одного; он исправил кое-что в моих па, моей походке, осанке и манере, но в общем остался доволен мною. К концу урока пришла младшая сестра и протанцовала со мною весьма грациозный менуэт, при чем движения ее были необычайно приятны; отец уверял, что он редко видел у себя более красивую и ловкую парочку. После урока я по обыкновению пошел во внутренние комнаты; отец оставил нас одних; Люсинды не было. «Она лежит в постели, — сказала Эмилия, — и это хорошо; не беспокойтесь о ней! Ее душевная болезнь скорее всего облегчится, если она будет считать себя больною физически; умереть ей не хочется, и она делает все, чего мы желаем. У нас есть некоторые домашние лекарства, которые она примет и успокоится; таким образом бушующие волны мало-по-малу улягутся. Она бывает очень добра и мила при такой воображаемой болезни, и так как она в сущности совершенно здорова и только

страсть волнует ее, то она измышляет для себя всевозможные романические способы смерти и с удовольствием пугает себя ими, как дети, которым рассказывают о привидениях. Еще вчера вечером она с большим жаром уверяла меня, что на этот раз она непременно умрет, и пускай приведут к ней неблагодарного друга, который был сперва так мил с ней, а теперь обращается так дурно, только тогда, когда она будет действительно при смерти: она сделает ему тогда горькие упреки и отдаст богу душу». «Я не чувствую себя виноватым,—воскликнул я;—никогда я не выражал своей любви к ней. Я знаю кой-кого, кто лучше всего может засвидетельствовать это». Эмилия улыбнулась и отвечала: «Я понимаю вас, и если мы не будем действовать благоразумно и решительно, то попадем все в очень неприятное положение. Что вы скажете, если я попрошу вас не продолжать более ваших уроков? Вы, конечно, имеете еще четыре билета на этот месяц, но отец мой говорил уже, что находит недобросовестным продолжать брать с вас деньги, разве только если вы желаете посвятить себя более серьезному изучению танцев, а то, что нужно молодому человеку в свете, вы уже имеете.

«И вы, Эмилия, даете мне этот совет избегать вашего дома?» спросил я.

«Да,—сказала она,—но не от себя. Выслушайте меня! Когда третьего дня вы убежали, то я велела разложить для вас карты, и три раза повторился один и тот же ответ, все яснее и яснее. Вы были окружены всякими благами и удовольствиями, друзьями и важными людьми; в деньгах тоже не было недостатка. Дамы держались в некотором отдалении. В особенности моя бедная сестра стояла всегда дальше всех; другая все приближалась к вам, но не становилась с вами рядом, потому что между вами и ею стояло третье лицо. Я должна сознаться, что в лице второй дамы я представляла себя, и после этого признания вы лучше всего поймете мой благожелательный совет. Я отдала свое сердце и руку далекому другу и до сих пор любила его больше всего на свете; но возможно, что ваше присутствие повлияет на меня больше, чем было до сих пор; в какое же положение вы попали бы между двумя сестрами, из которых одну вы сделали бы несчастною своею любовью, а другую—своею холодностью, и все эти мучения из-за ничего и на короткое время! Если бы мы даже не знали, кто вы такой и какие надежды вы можете питать, то карты ясно показали бы нам это. Прощайте!» сказала она и протянула мне руку. Я медлил. «Ну,—сказала она, ведя меня к двери,—«дабы мы действительно последний раз говорили с вами, примите от меня то, в чем я отказала бы вам в ином случае». Она бросилась мне на

шею и очень нежно поцеловала меня. Я обнял ее и прижал к себе.

В это мгновение распахнулась боковая дверь, и вошла старшая сестра в легком, но приличном ночном платье. Она воскликнула: «Ты не одна простишься с ним!» Эмилия выпустила меня, а Люсинда схватила меня, прижалась крепко к моему сердцу, а черными локонами своими — к моим щекам и долго оставалась в этом положении. И вот я находился в тисках между двумя сестрами, как Эмилия только-что предсказала мне. Люсинда выпустила меня и серьезно посмотрела мне в лицо. Я хотел взять ее за руку и сказать ей что-нибудь приветливое, но она отвернулась, прошлась несколько раз большими шагами по комнате и бросилась в угол дивана. Эмилия подошла к ней, но сестра оттолкнула ее, и тут произошла сцена, которую мне тяжело и вспомнить, и хотя она и не имела в себе ничего театрального и была совершенно естественна для живой молодой француженки, но она достойна была бы воспроизведения на сцене хорошею, глубоко чувствующей актрисою.

Люсинда осыпала свою сестру горькими упреками. «Это не первое сердце,—воскликнула она,—которое ты у меня отнимаешь! Точно то же было и с твоим отсутствующим другом, который, наконец, на моих глазах обручился с тобою. Я должна была смотреть на это, я это вынесла; но я знаю, сколько тысяч слез мне это стоило. Теперь ты отняла у меня и этого, не выпуская первого; скольких ты умеешь привязать к себе одновременно! Я откровенна и добродушна; каждый вскоре думает, что узнал меня и может пренебречь мною; а ты тиха и скрытна, и люди думают, что в тебе таятся чудеса. Но в тебе ничего нет, кроме холодного, себялюбивого сердца, которое умеет все принести себе в жертву; но этого никто никогда не узнает, потому что оно глубоко спрятано в твоей груди, как не узнает он и моего горячего, верного сердца, откровенного, как мое лицо!»

Эмилия молчала и села около сестры, которая все более разгорячалась в своих речах и распространилась о некоторых частностях, которые мне, собственно, не годилось слышать. Эмилия же, чтобы успокоить свою сестру, подала мне из-за нее знак, чтобы я уходил; но так как ревность и подозрение смотрят тысячью глаз, то Люсинда, повидимому, это заметила. Она встала и, казалось, замышляла что-то. Наконец она сказала: «Я знаю, что я потеряла вас; я не имею к вам больше никаких притязаний. Но и тебе он не достанется, сестра!» С этими словами она схватила меня за голову, запустив обе руки в мои волосы, прижала свое лицо к моему и несколько

раз поцеловала меня в губы. «Ну, теперь,—воскликнула она,—бойся моего проклятия! Несчастье за несчастьем навсегда пусть обрушится на ту, которая в первый раз после меня поцелует эти губы! Осмельсь только затеять с ним шашни вновь! Я знаю, что небо на этот раз меня услышит! А теперь, милостивый государь, бегите, бегите поскорее!»

Я полетел вниз по лестнице с твердым намерением никогда более не входить в этот дом [231]).

КНИГА ДЕСЯТАЯ

Немецкие поэты, составляя нечто в роде гильдии, не пользовались никакими преимуществами в мире бюргеров. У них не было никакого прочного положения, они не составляли сословия и пользовались особым уважением лишь при особо благоприятном стечении обстоятельств, и зависело только от случая, на пользу или к стыду человека послужит прирожденный талант. Бедный смертный, чувствуя свои дарования и способности, должен был влачить жалкую жизнь и расточать дар, во всяком случае полученный от муз, под гнетом минутных потребностей. Стихотворение на случай — первый и самый истинный род поэзии — было презираемо до такой степени, что нация и до сих пор не может понять его высокого достоинства; и поэт, если он не шел дорогой Гюнтера, занимал в свете самое жалкое подчиненное положение, как шут или скоморох, так что и на театральной сцене, и в действительной жизни он представлял фигуру, с которой можно обращаться, как кому вздумается.

Но если муза оказывала свою благосклонность людям влиятельным, то благодаря этому они приобретали блеск, который отражался и на их музе. Ловкие и опытные дворяне, в роде Гагедорна [232]), видные граждане, как Брокес [233]), настоящие ученые, как Галлер, являлись передовыми людьми нации, подобно самым знатным и уважаемым людям. Особенно же были уважаемы такие люди, которые вместе с этим приятным талантом отличались еще в качестве неутомимых, честных деловых людей. Поэтому то Уц [234]), Рабенер, Вейссе и пользовались совершенно особым уважением, ибо в их лице ценилось соединение самых разнородных, редко вместе встречающихся качеств.

Но суждено было настать времени, когда поэтический гений сознал себя, создал себе особое положение и сумел положить основание своему независимому достоинству. Всё соединилось в лице Клопштока, чтобы основать подобную эпоху. Он был как со стороны своих чувствований, так и со стороны нравственной—чистый юноша. Серьезно и основательно воспитанный,

он с юных лет придавал большое значение себе и всему, что он делал; обдуманно измеряя наперед шаги своей жизни, он, в предчувствии всех своих духовных сил, обратился к высшей мыслимой теме. Мессия, имя, обозначающее бесконечные качества, должен был быть снова возвеличен им; искупитель должен был явиться героем, которого он задумал провести через земную пошлость и страдания к величайшему небесному триумфу. К участию было привлечено все, что было божественного, ангельского и человеческого в молодой душе. Клопшток, воспитанный на библии и питаемый ее силою, живет с прародителями, пророками и предтечами, как с современниками; но все они призваны из разных столетий лишь с целью составить светлый круг около того, на унижение которого они с изумлением смотрят и в возвеличении которого они должны со славою принять участие. Наконец, после мрачных и страшных часов, вечный судия откроет свое лицо, снова признает своего сына, как такого же бога, а этот последний снова приведет к нему отпавших от него людей и даже отпавшего духа. Ожившие небеса оглашаются тысячами ангельских голосов вокруг престола, и сияние любви заливает весь мир, который еще недавно сосредоточивал свои взоры на месте страшной жертвы. Небесный мир, который Клопшток ощущал при концепции и выполнении этой поэмы, сообщается и до сих пор каждому, кто читает первые десять песен, заглушая в себе требования, от которых при большем духовном развитии трудно отказаться.

Достоинство предмета возвысило в поэте чувство его собственной личности. Что он сам когда-нибудь присоединится к этим хорам, что богочеловек отличит его, лицом к лицу, отблагодарит его за его старания, как здесь, уже на земле, достаточно любовно благодарило его чистою слезою каждое чувствительное сердце, об этом он думал, надеялся на это, как только может думать и надеяться праведная душа. Таким образом Клопшток приобрел полное право смотреть на себя, как на священную личность, и во всех своих действиях соблюдал самую тщательную чистоту. Еще в старости он чрезвычайно тревожился тем, что его первая любовь была посвящена девушке, которая, выйдя замуж за другого, оставила его в неизвестности [235]), действительно ли она любила его, и была ли она его достойной. Образ мыслей, привязавший его к Мете, эта глубокая тихая любовь, короткое и святое супружество, отказ пережившего супруга от второго брака—все это носит такой характер, что наверное останется незабытым в кругу блаженных.

Это полное чести отношение к самому себе было возвышено еще тем, что Клопшток долгое время жил в благомыслящей Дании [236]) в доме одного крупного и, с человеческой точки зрения,

превосходного сановника [237]). Здесь, в высшем кругу, который был, правда, замкнут, но в то же время обращал внимание на внешние обычаи и на свет, направление его определилось еще более. Его спокойная осанка, размеренная речь, лаконизм, даже тогда, когда он говорил публично и решительно, — все это придавало ему в течение всей его жизни известную дипломатическую, министерскую наружность, которая как-будто противоречила деликатному настроению его природы, хотя то и другое происходило из одного источника. Его первые произведения дают чистое отражение и образец всего этого и потому должны были приобрести невероятное влияние. Но чтобы он лично содействовал стремлениям других людей в их жизни и сочинениях,— об этом никто не говорил, как об одном из его несомненных качеств.

Но именно такое содействие молодым людям в их литературной деятельности, желание подвинуть подающих надежды лиц, которым не благоприятствовало счастье, и облегчить их путь— прославило одного немецкого мужа, который по отношению к его собственному достоинству может быть поставлен на втором месте, а в смысле своего живого влияния—на первом. Каждый поймет, что я здесь говорю о Глейме [238]). Занимая невидное, но доходное место, живя в хорошо расположенном, не очень большом местечке, оживленном военною, гражданскою и литературною деятельностью, откуда проистекали доходы большого и богатого учреждения, при чем часть их поступала в пользу этого места, он чувствовал в себе живое, продуктивное стремление, которое, однако, при всей своей силе, его не удовлетворяло; поэтому он отдался другому, может быть еще более могущественному стремлению—дать возможность другим произвести что-либо. В течение всей его долгой жизни обе эти деятельности непрерывно переплетались. Поэзия и материальная помощь поэтам были для него такими же потребностями, как и дыхание; помогая нуждающимся талантам всякого рода выбираться из затруднений и спасая таким образом честь литературы, он приобрел столько друзей, должников и зависящих от него людей, что ему охотно прощали расплывчатость его поэзии, ибо не могли вознаградить его за его щедрые благодеяния ничем, кроме терпимости к его стихотворениям.

То высокое мнение, которое могли составить о себе оба эти мужа и которое давало возможность и другим считать себя за нечто, произвело в публичной жизни и втайне весьма большое и прекрасное действие. Но как ни почетно это сознание, оно принесло и некоторый вред для окружающих и для своего времени. Если мы безусловно должны назвать обоих этих людей, по их духовному влиянию, великими, то по отношению к свет-

ской жизни они вовсе не были крупны, а с точки зрения практической, по внешним своим отношениям, ничтожны. День велик, а за ним еще приходит ночь; нельзя все время сочинять, действовать и раздавать; они не могли наполнить своего времени, как наполняют его светские люди, богатые и знатные. Поэтому они придавали своему специальному положению слишком высокое значение, своей ежедневной деятельности такую важность, какую они могли лишь признать в отношении один другого; они чрезмерно восхищались своими шутками, которые, будучи на минуту хороши, впоследствии теряли всякое значение. Они принимали от других хвалу и почитание по своим заслугам, они платили тем же, соблюдая меру, но все же слишком щедро; и так как они чувствовали, что их благосклонность стоит многого, то они с удовольствием выражали ее по нескольку раз, не жалея при этом ни бумаги, ни чернил. Так возникла та переписка [239]), бессодержательности коей дивится современный мир, которому нельзя поставить в вину, если он не может понять, как выдающиеся люди могли забавляться обменом таких ничтожностей, и если он громко высказывает желание, чтобы такие вещи больше не печатались. Но пусть эти немногие томы стоят вместе с другими на книжной полке и служат поучением, что и выдающийся человек живет изо дня в день и пользуется лишь скудным развлечением, если он слишком заключается сам в себя и пренебрегает участием во внешнем мире, где он единственно может найти пищу для своего роста, а вместе с тем и мерило его.

Деятельность этих мужей находилась в полном расцвете, когда и мы, молодые люди, начали шевелиться в своем кругу, и я был уже, вместе с молодыми друзьями, на пути к такому взаимному угождению, снисхождению, возвышению и помощи. В моей сфере все, что я производил, всегда одобрялось. Женщины, друзья, покровители всегда любят, если мы предпринимаем или сочиняем что-либо из любви к ним; из таких услуг, в конце концов, возникает выражение пустого взаимного расположения, среди фраз которого легко теряется характер, если он от времени до времени не закаляется для чего-нибудь более дельного.

Таким образом я могу считать за счастье, что вследствие одного неожиданного знакомства все, что могло основываться во мне на самодовольстве, самолюбовании, гордости и высокомерии и действовать на меня в этом направлении, подверглось очень тяжкому испытанию, единственному в своем роде; испытание это совершенно не соответствовало духу времени и тем действительнее и чувствительнее оно было.

Самым решительным событием, которому суждено было иметь важнейшие последствия для меня, было мое знакомство и основан-

ное на нем сближение с Гердером [240]). Он сопровождал в путешествии принца Гольштейн-Эйтинского, страдавшего душевным расстройством, и приехал с ним в Страсбург. Наше общество, узнав о его прибытии, очень желало познакомиться с ним, и я имел счастье достигнуть этого совершенно неожиданно и случайно. Я пошел в гостиницу «Духа», чтобы навестить какого-то важного приезжего. Внизу, на лестнице, я встретил человека, который собирался подняться наверх и которого я готов был принять за духовное лицо. Его напудренные волосы завиты были в круглый локон; на нем было также характерное черное платье и длинный черный шелковый плащ, конец которого он собрал и засунул в карман. Замечательная, в общем галантная и приятная фигура, о которой я уже слышал, не оставила во мне сомнения, что это и есть знаменитый гость, и мое обращение к нему должно было сейчас же убедить его, что я его знаю. Он спросил мое имя, которое не могло иметь для него никакого значения; моя откровенность, повидимому, понравилась ему, и он отвечал на все весьма приветливо; поднимаясь вместе со мною по лестнице, он охотно вел со мною живой разговор. Я не помню теперь, кого мы тогда посетили; словом, прощаясь, я попросил у Гердера позволения навестить его, на что он любезно согласился. Я не преминул несколько раз воспользоваться этим благоприятным случаем и все более привязывался к Гердеру. В его обращении было нечто мягкое, уютное и приличное, без светской любезности. У него было круглое лицо, большой лоб, несколько притупленный нос, немного вздутые, но индивидуально очень приятные губы. Под черными бровями светилась пара черных, как уголь, глаз, производивших впечатление, хотя один из них был красен и был обыкновенно воспален. Ставя мне разнообразные вопросы, он старался ближе познакомиться со мною и моими обстоятельствами, и его привлекательность действовала на меня все больше. Я был вообще очень доверчив по природе, а перед ним в особенности у меня не было тайн. Но через короткое время обнаружилась и отталкивающая сторона его характера, причинившая мне изрядное неудовольствие. Я рассказывал ему многое о моих юношеских занятиях и увлечениях, между прочим о моей коллекции печатей, которую я составил, главным образом, благодаря помощи одного знакомого, ведшего обширную корреспонденцию. Я расположил их по государственному календарю, при чем имел случай познакомиться со всеми владетельными особами, большими и малыми державами и правительствами, вплоть до первого дворянства; эти геральдические знаки часто весьма кстати приходили мне на память, в особенности во время коронационных торжеств. Я говорил об этих вещах с некоторым удовольствием, но он был другого

мнения, не находил в этом никакого интереса и даже сумел сделать все это в моих глазах смешным, чуть не противным [241]).

Этот его дух противоречия заставил меня вытерпеть еще многое, потому что Гердер решился—частью с целью отделиться от принца, частью из за глазной болезни—остаться подольше в Страсбурге. Эта болезнь — одна из самых тяжелых и неприятных, ибо может быть излечена только путем болезненной, весьма тягостной и ненадежной операции. Именно, слезный мешок у него снизу зарос, так что содержащаяся в нем жидкость не могла стекать через нос, тем более, что и в соседней кости не было отверстия, через которое могло бы естественно происходить это выделение. Поэтому надо было срезать дно слезного мешка и пробуравить кость, а потом провести через слезную точку, через вскрытый мешечек и соединяющийся с ними новый канал конский волос и ежедневно двигать его туда и сюда. Все это можно осуществить только тогда, если и снаружи будет сделан надрез в этой области [242]).

Гердер, расставшись с принцем, переселился в отдельную квартиру; он решил поручить операцию над собою Лобштейну. Здесь мне очень пригодились те упражнения, которые имели целью притупить мою чувствительность; я мог присутствовать при операции и во многих отношениях помочь и услужить этому достойному человеку. Я имел все основания подивиться его замечательной стойкости и терпению; ни при многочисленных хирургических ранениях, ни при частых болезненных перевязках он не обнаружил ни малейшего раздражения и из всех нас казался наименее страдающим; зато, правда, в остальное время нам приходилось многое выносить от переменчивости его настроения. Я говорю «нам», потому что кроме меня около него был большею частью еще один симпатичный русский, по имени Неглов [243]). Он был раньше знаком с Гердером в Риге и, хотя человек не молодой, намерен был усовершенствоваться в хирургии под руководством Лобштейна. Гердер умел быть чрезвычайно милым и увлекательным, но столь же легко проявлял и раздражительную сторону своего характера. Это притяжение и отталкивание естественно, конечно, по природе всем людям, одним больше, другим меньше, одним с более медленными, другим с более быстрыми чередованиями; лишь немногие могут при этом действительно проявить свои особенности, большая же часть подавляет их лишь кажущимся образом. Что касается Гердера, то преобладание в нем противоречивого, резкого, едкого настроения должно было быть, конечно, приписано его болезни и проистекающим из нее страданиям. Такие случаи часто встречаются в жизни; люди не обращают достаточно внимания на моральное влияние болезненного состояния и потому часто

несправедливо судят о многих характерах; всех людей считают здоровыми и требуют от них, чтобы они вели себя соответственным образом.

Во все время этого лечения я посещал Гердера ежедневно утром и вечером. Иногда я проводил у него целые дни и скоро тем более привык к его брани и порицаниям, чем более научался ценить его прекрасные и высокие качества, его обширные знания, его глубокие взгляды. Влияние этого добродушного брюзги было велико и значительно. Он был на пять лет старше меня, что́ в молодые годы составляет большую разницу. Так как я признавал его за то, чем он был, так как я старался ценить то, что́ он уже совершил, то он должен был приобрести большое превосходство надо мною. Но не могу сказать, чтобы такое положение было мне приятно. Старшие, с которыми я до сих пор был знаком, старались развить меня, щадя, а может быть и балуя излишнею уступчивостью; от Гердера же никогда нельзя было ожидать уступки, что бы вы ни делали. Итак, с одной стороны моя глубокая любовь и уважение к нему, а с другой—неудовольствие, которое он во мне возбуждал, постоянно боролись одно с другим, и во мне возник внутренний раздор, первый в своем роде, который я испытал в жизни. Так как его разговоры были всегда серьезны, спрашивал ли он, отвечал ли и говорил вообще о чем-нибудь, то он должен был ежедневно, даже ежечасно развивать во мне новые взгляды.

В Лейпциге я вел довольно тесную, замкнутую жизнь, и мои общие знания по немецкой литературе не могли расшириться также во время моего франкфуртского пребывания; мистически-религиозные и химические занятия даже отвлекали меня в темные области, и мне большею частью осталось чуждым то, что в течение нескольких лет произошло в широком литературном мире. И вот через Гердера я сразу познакомился со всеми новыми стремлениями и направлениями. Он сам уже прославился и своими «Фрагментом», «Критическими лесами» и другими сочинениями [244]) стал непосредственно на ряду с самыми выдающимися людьми, которые давно уже привлекали к себе внимание отечества. Какое движение должно было происходить в таком уме, каким брожением была охвачена такая натура — этого нельзя ни обнять, ни рассказать. Но очевидно велика была заключенная в нем сила, если вспомнить, через сколько лет впоследствии чувствовалось его влияние, а также сколько он влиял и делал [245]).

Через короткое время нашей совместной жизни он открылся мне, что намерен принять участие в соискании премии, которая была назначена в Берлине за лучшее сочинение о происхождении языков [246]). Его работа была уже близка к окончанию,

и так как он писал весьма разборчиво, то вскоре он мог давать мне по тетрадям удобочитаемый материал. Я никогда не размышлял о подобных предметах, ибо слишком тесно был связан с текущею действительностью, чтобы думать о начале и конце. Кроме того, вопрос этот казался мне до некоторой степени праздным; если бог создал человека человеком, то он мог также сообщить ему речь, как и вертикальную походку; человек должен был заметить, что горлом он может петь, а с помощью языка, неба и губ модифицировать эти звуки. Если человек был божественного происхождения, то и сама речь была того же происхождения, и если человек, рассматриваемый среди природы, есть существо естественное, то и речь также естественна. Эти две вещи я никогда не мог разделить, как душу и тело. Зюссмильх [247]), при своем грубом реализме настроенный несколько фантастически, высказался в пользу божественного происхождения, предположив, что бог играл роль учителя у первого человека. Сочинение Гердера вело к доказательству, что человек, как таковой, может и должен собственными силами дойти до речи. Я прочел это сочинение с большим удовольствием и с пользою; но я еще не был развит настолько, ни в смысле знаний, ни в мыслительном отношении, чтобы составить себе суждение об этом. Поэтому я высказал автору свое одобрение, присоединив лишь немногие замечания, являвшиеся следствием моего образа мыслей. Но одно сошло на другое: он все равно бранился, было ли одобрение условно, или безусловно. Толстый хирург [248]) был не так терпелив, как я; он юмористически отклонил знакомство с этим сочинением на премию, сказав, что он не так организован, чтобы размышлять о подобных отвлеченных материях. Он более побуждал нас к ломбру, в который мы обыкновенно вместе играли по вечерам.

Несмотря на такое неприятное и болезненное лечение, наш Гердер не терял своей живости, но она становилась все менее и менее приятной. Он не мог написать письма, не мог попросить чего-нибудь, не приправив этого какой-либо насмешкой. Так, например, однажды он написал мне:

«Если ты Брутовы письма найдешь в Цицероновых письмах [249]),
Тех утешителях школ, что на гладко обструганных полках
Пышностью тешат твой взор, — тешат внешностью больше, чем сутью, —
Будь ты потомок богов *), или готов **), иль попросту грязи ***), —
Гёте, пришли их ко мне».

*) Göttern.
**) Goten.
***) Kote.

Было, конечно, не очень деликатно шутить таким образом над моей фамилией. Собственное имя человека нельзя приравнять к плащу, который просто наброшен на него и за который всегда можно дергать: оно соответствует хорошо облегающему платью или обрастающей его коже, которую нельзя скоблить и резать, не раня его самого.

Но содержавшийся в письме упрек был основателен. Я взял вымененных у Лангера авторов и еще разные красивые издания из библиотеки моего отца с собой в Страсбург и выставил их на опрятной этажерке с благим намерением пользоваться ими. Но откуда было взять времени, которое раздроблялось у меня на тысячу занятий? Гердер, очень внимательно относившийся к книгам, потому что ежеминутно нуждался в них, при первом же своем посещении заметил мое прекрасное собрание книг, но заметил и то, что я совершенно ими не пользовался; поэтому он, как величайший враг всего показного и всякого хвастовства, не упускал случая уязвить меня.

Мне вспоминается еще одно насмешливое стихотворение, которое он прислал ко мне вечером, после того как я много рассказывал ему о дрезденской галерее. Правда, я не проник еще в высший смысл итальянской школы, но мне очень понравился Доминико Фети [250]) — отличный художник, хотя и юморист, — следовательно, художник не первого ранга. Картины его были написаны на духовные темы. Он брал притчи нового завета и изображал их весьма своеобразно со вкусом и веселостью, вводя их таким образом в совершенно обыденную жизнь. Столь же остроумные, сколько наивные подробности его композиции и свобода его кисти произвели на меня живое впечатление. Гердер следующим образом осмеял этот мой детский художественный энтузиазм:

«Люблю картинки эти.
Особенно один художник мил:
По имени он Доминико Фети.
Библейские он притчи искажает
И в сказки для глупцов преображает.
Люблю картинки эти,
Как глупо их он сочинил».

Я мог бы привести еще несколько подобных шуток, невинных или странных, веселых или едких. Они не сердили меня, но были мне не особенно приятны. Но так как я привык высоко ценить все, что относилось к моему образованию, и уже неоднократно отказывался от своих мнений и склонностей, то я скоро примирился с этим и старался, насколько было возможно с моей тогдашней точки зрения, отличить справедливое

порицание от несправедливого. Поэтому не проходило дня, который бы не был для меня чрезвычайно плодотворен и поучителен.

Я познакомился с поэзией совершенно с другой стороны, в другом смысле, чем до сих пор, и притом в таком, который меня весьма интересовал. Еврейская поэзия, о которой Гердер [251]) очень остроумно писал после своего предшественника Лоута, народная поэзия, предания которой он побуждал нас разыскивать в Эльзасе [252]), древнейшие источники поэзии—все это свидетельствовало, что поэзия вообще есть дар, свойственный всему миру и всем народам, а не частная наследственная собственность некоторых утонченно образованных людей. Я с жадностью глотал все это, и чем усерднее я воспринимал, тем щедрее были дары Гердера, и мы с ним проводили интереснейшие часы. Я старался продолжать также свои естественно-исторические занятия, и так как всегда можно найти достаточно времени, если употреблять его хорошо, то иногда мне удавалось исполнять два и три рода занятий. Что касается богатого содержания этих немногих недель нашей совместной жизни, то я могу сказать, что все, совершенное впоследствии Гердером, было тогда уже намечено в зародыше, и благодаря этому я очутился в счастливом положении, получив возможность пополнить, возвысить, расширить все, о чем я до сих пор думал. Будь Гердер более методичен, то он был бы для меня драгоценнейшим руководителем в более важном направлении моего образования; но он был больше склонен исследовать и заинтересовывать, чем руководить и наставлять. Он впервые познакомил меня с сочинениями Гаманна [253]), которые он высоко ценил, но вместо того, чтобы объяснить мне их и сделать мне понятными склонности и направление этого необыкновенного ума, он обыкновенно лишь забавлялся тем, какие причудливые вещи я выделывал, стремясь добраться до понимания этих «сивиллиных» страниц [254]). Я все-таки чувствовал, что в сочинениях Гаманна мне что-то нравится, и я предавался этому удовольствию, не сознавая, откуда оно происходит и куда ведет.

Лечение затянулось на слишком долгое время; Лобштейн начал колебаться и повторяться, так что этой истории не предвиделось конца, и Пеглов тайно сознался мне, что едва ли можно надеяться на благополучный исход: такой мрачный оборот приняло положение. Гердер стал выражать нетерпение и неудовольствие; ему не удавалось продолжать попрежнему свою деятельность и тем более приходилось ограничивать ее, что неудачи хирургического вмешательства приписывались излишнему умственному труду и его непрерывному живому, даже веселому общению со мной. Как бы то ни было, после стольких мук и

страданий, искусственный слезный канал все не образовывался, и желаемое сообщение не устанавливалось. Чтобы болезнь не ухудшилась, пришлось дать ране зарости. Если я дивился стойкости Гердера при операции, сопряженной с такой болью, то его меланхолическое, даже гневное примирение с мыслью, что ему придется всю жизнь терпеть подобный недостаток, имело в себе что-то возвышенное, вследствие чего он все более приобретал уважение тех, которые знали и любили его. Это несчастие, искажавшее его интересное лицо, должно было быть ему тем досаднее, что он познакомился в Дармштадте с очень милою девицею и приобрел ее благосклонность. Главным образом из-за этого он и решился подвергнуться лечению, чтобы предстать на обратном пути более веселым, свободным и красивым перед тою, с кем он наполовину уже обручился, и чтобы тем вернее и нерушимее сочетаться с нею. Однако, он поспешил как можно скорее уехать из Страсбурга, и так как его пребывание здесь было столь же дорого, сколько и неприятно, то я достал для него взаймы некоторую сумму денег, которую он обещал возместить к определенному сроку.

Время проходило, а деньги не прибывали. Мой кредитор, правда, не беспокоил меня, но все же несколько недель я находился в неловком положении. Наконец, пришло письмо с деньгами, но и здесь Гердер остался верен себе: вместо благодарности или извинения письмо его содержало лишь сплошь разные насмешки в ломаных народных стихах, которые другого сбили бы с толку или оттолкнули. Но я промолчал, так как составил себе столь высокое понятие о достоинстве этого человека, что этим представлением было поглощено все противное, что могло бы ему вредить.

Но не надо никогда говорить о своих или чужих недостатках и менее всего — публично, если не имеется в виду что-нибудь полезное; поэтому я присоединю здесь несколько соответствующих замечаний.

Благодарность и неблагодарность принадлежат к числу явлений, ежеминутно встречаются в нравственном мире, так что люди никогда не могут вести вполне спокойную жизнь.

Я обыкновенно провожу различие между отсутствием благодарности, неблагодарностью и отвращением к благодарности. Первое прирождено человеку, создано вместе с ним; оно возникает из счастливого легкомысленного забвения как того, что приятно, так и того, что ненавистно, и только это и делает возможным продолжать жизнь. Человек нуждается в таком бесконечном множестве внешних приспособлений и подсоблений для сколько-нибудь сносного существования, что если бы он пожелал постоянно воздавать благодарность солнцу и земле,

богу и природе, предкам и родителям, друзьям и приятелям, то у него не осталось бы ни времени, ни чувства для восприятия новых благодеяний и наслаждений ими. Но если простой человек слишком отдастся во власть этого легкомыслия, то все более и более начнет преобладать холодное равнодушие, и, наконец, он начинает смотреть на благодетеля, как на некоего чудака, ко вреду которого можно будет и предпринять что-нибудь в случае надобности. Это уже можно назвать неблагодарностью, которая происходит от грубости и в которую необразованная натура непременно впадет. Отвращение же к благодарности, ответ на благодеяние досадою или раздражительностью, встречается весьма редко и бывает только у выдающихся людей, таких, которые, будучи рождены с большими способностями и чувствуя в себе таковые, с юности должны пробиваться шаг за шагом и со всех сторон вынуждены принимать помощь и содействие: последнее нередко отравляется и делается противным вследствие тупости благодетелей, так как то, что они принимают, есть земное, а то, что дают, имеет высший характер и об истинной компенсации здесь нечего и думать. Лессинг, обладая в лучшие свои годы ясным сознанием практической стороны, высказался однажды на этот счет грубовато, но весело. Гердер же постоянно отравлял лучшие дни себе и другим, так как чувство досады, естественно овладевавшее им в молодости, он не умел впоследствии умерить духовною силою.

Это требование, конечно, можно поставить себе, так как свет природы, постоянно освещающий человеку его внутреннее состояние, и здесь дружески приходит на помощь способности человека к развитию; и вообще во многих относящихся к развитию случаях не следует огорчаться недостатками и искать отдаленных средств к искоренению их, когда от некоторых недостатков можно отделаться очень легко, играючи. Так, например, мы можем развить в себе благодарность, как простую привычку, которая будет живо поддерживаться, даже сделается некоторой потребностью.

В автобиографическом очерке позволительно, конечно, говорить о себе. Я от природы так неблагодарен, как только может быть неблагодарен человек, и при забвении полученного мною добра чувство минутного несоответствия легко могло привести меня к неблагодарности. Чтобы сопротивляться этому, я прежде всего приучил себя вспоминать, как я получил все, чем я обладаю, в виде ли подарка, обменом или покупкой, или каким-либо иным образом. Я приучил себя, показывая свои коллекции, упоминать о лицах, через посредство которых я получил отдельные предметы, даже отдавать должное случаю, по-

воду, самому отдаленному указанию или содействию, благодаря которому я получил вещи, сделавшиеся для меня дорогими и ценными. То, что нас окружает, получает благодаря этому жизнь: мы видим все в духовной, любвеобильной генетической связи; воспоминанием о предшествующих обстоятельствах современное состояние вещей возвышается и обогащается; авторы даров повторно восстают в воображении, с их образами соединяется приятное воспоминание, оно делает неблагодарность невозможною, а отплату при случае легкою и желательною; вместе с тем оно приводит нас к рассуждению о том, что не составляет чувственного обладания, и мы охотно вспоминаем о том, откуда происходят наши высшие блага.

Прежде чем я расстанусь с описанием этого моего столь важного по своим последствиям сближения с Гердером, я должен прибавить еще кое-что. Не было ничего естественнее, как то, что я постепенно стал по отношению к Гердеру все более и более скупым в сообщении того, что относилось к моему развитию, в особенности же тех вещей, которые серьезно занимали меня в данную минуту; он испортил мне наслаждение многим, что я прежде любил, и в особенности бранил меня за любовь к Овидиевым «Метаморфозам». Как ни защищал я своего любимца, как ни утверждал, что для юношеской фантазии ничто не может быть приятнее, как пребывание в тех светлых и дивных областях с богами и полубогами и быть свидетелем их деяний и страстей; и как ни приводил я подробно упомянутое выше суждение серьезного человека, подтверждавшееся моим личным опытом,—все это не послужило ни к чему. Гердер говорил, что в этих стихотворениях нет никакой настоящей, непосредственной правды, что в них нет ни Греции, ни Италии, ни первобытного, ни культурного мира, что все это только подражание тому, что было прежде, манерное изображение, какого лишь можно ожидать от человека, пресыщенного культурой. А когда я, наконец, решился утверждать, что произведения выдающегося человека также составляют природу и что у всех народов древних и новых поэт всегда был поэтом, то за это мне сильно досталось и мне пришлось вытерпеть многое, так что и мой Овидий мне чуть не опротивел из-за этого. Никакая любовь, никакая привязанность не достаточно сильна, чтобы долго устоять против осуждения выдающегося человека, к которому мы питаем доверие. Всегда остается какое-то тяжелое чувство, и если нельзя любить безусловно, то трудно любить вообще.

Всего тщательнее скрывал я от него свой интерес к некоторым темам, которые глубоко таились во мне и мало-помалу готовились выразиться в поэтических образах. То были

«Гец фон Берлихинген» [255]) и «Фауст». Жизнеописание первого душевно потрясло меня. Фигура сурового, но благомыслящего человека, умевшего постоять за себя в дикое анархическое время, привлекала к себе мое глубочайшее сочувствие. Многозначительная кукольная комедия о «Фаусте» звучала и откликалась во мне на множество ладов. И я также странствовал по всем областям знания и достаточно рано увидел тщету его. И я также делал в жизни своей всевозможные опыты и возвращался каждый раз все более неудовлетворенным и измученным. Я носил в себе эти темы, как и многие другие, и забавлялся ими в часы уединения, ничего, однако, не записывая. Более же всего скрывал я от Гердера свою мистико-каббалистическую химию и все, что к ней относилось, хотя втайне все еще очень охотно занимался ею, стараясь развить ее в бо́льшей последовательности, чем мне ее передали. Из моих поэтических работ я показал ему, кажется, «Совиновников» [256]), но не помню, чтобы он сделал на этот счет какие-нибудь замечания или выразил свое одобрение.

Но при всем этом он оставался тем, чем он был; все, что от него исходило, производило если не отрадное, то серьезное воздействие на меня; даже его почерк имел магическую силу надо мною. Я не помню, чтобы я разорвал или бросил какое-нибудь из его писем или хотя бы конверт; однако, при частых переменах места и времени, у меня не сохранилось ни одного документа из этих чудесных и счастливых дней, полных надежд.

Что привлекательная сила Гердера сказалась не только на мне, но и на других, об этом я не стал бы упоминать, если бы не хотел указать, что она особенно коснулась Юнга, по прозванию Штиллинга. Искренние, честные стремления этого человека должны были в величайшей степени интересовать каждого, имеющего душу, а его восприимчивость—побуждать к откровенности каждого, который имел сообщить что-либо. Гердер, кроме того, относился к нему снисходительнее, чем к другим, потому что его противодействие, повидимому, было соразмерно производимому на него действию. Когда Юнг не соглашался, то это было так благожелательно, когда он настаивал, то это было столь кротко и серьезно, что ни один разумный человек не мог отнестись к нему сурово, и никто из благомыслящих людей не стал бы издеваться или подшучивать над ним. Юнг также был настолько увлечен Гердером, что чувствовал себя укрепившимся и подвинутым вперед во всей своей деятельности, и даже его привязанность ко мне как-будто в той же мере ослабела. Но мы все-таки остались добрыми приятелями, вели себя по отношению друг к другу попрежнему и охотно оказывали друг другу взаимные услуги [257]).

Оставим теперь комнату больного друга и общие соображения, которые свидетельствуют скорее о болезни, чем о здоровии духа; отправимся на вольный воздух, на высокий и широкий балкон собора, как-будто до сих пор еще не миновало то время, когда мы, молодая компания, уходили туда на вечер, чтобы с наполненными бокалами приветствовать заходящее солнце. Здесь все разговоры сводились к созерцанию целого; испытывалась острота зрения, и каждый старался увидеть, даже ясно различить самые отдаленные предметы. Мы прибегали к помощи огромной зрительной трубы, и один приятель за другим указывал на самые любимые и дорогие для него места. У меня тоже было уже такое местечко, которое хотя и не выступало чем-нибудь особенным в ландшафте, но своим милым очарованием привлекало меня более, чем всё прочее. В таких случаях мое воображение возбуждалось рассказами, а иной раз намечалось маленькое путешествие, в которое мы нередко сейчас же и пускались. Из этих путешествий я подробно расскажу только об одном, потому что оно было для меня во многих отношениях богато последствиями.

С двумя достойными друзьями и сотрапезниками, Энгельбахом и Вейландом [258]), уроженцами нижнего Эльзаса, я отправился верхом в Цаберн [259]). Погода была прекрасная, и маленькое приветливое местечко это прелестно улыбалось нам навстречу. Вид епископского дворца возбудил наше восхищение; обширность новых конюшен, величина и великолепие зданий свидетельствовали о богатстве владельца. Великолепие лестницы поразило нас; в комнаты и залы мы вступили с благоговением; со всем этим составляла контраст только особа кардинала — маленького сморщенного человечка, которого мы видели обедающим. Вид сада великолепен; канал, длиною в три четверти часа пути, направляющийся прямо, как стрела, к середине дворца, сообщает высокое представление об уме и силах прежних владельцев. Затем мы гуляли в разных направлениях, наслаждаясь отдельными частями этого живописного целого, лежащего в конце прекрасной эльзасской равнины у подножия Вогезов.

Налюбовавшись этим духовным форпостом королевского могущества и его областью, мы рано на следующее утро проехали к сооружению, которое самым достойным образом открывает доступ к могущественному королевству. Озаряемый солнцем, восходил перед нами знаменитый Цабернский подъем [260]) — сооружение, потребовавшее невообразимой работы. Змеевидно извиваясь, вырубленное в грозных утесах, поднимается шоссе такой ширины, что три кареты могут ехать рядом; оно восходит в гору так постепенно, что подъем почти не чувствуется. Твердость

и гладкость дороги, выложенные плитами возвышения с обеих сторон для пешеходов, каменные желоба для стока горных вод — все это устроено так чисто, искусно и прочно, что приятно смотреть. По этому шоссе мы постепенно приходим к Пфальбургу, новейшей крепости. Крепость эта стоит на небольшом возвышении; здание ее изящно выстроено на черноватых скалах из того же камня; вымазанные белою известкой промежутки между камнями обозначают величину их и дают видимое свидетельство о чистоте работы. Самое местечко мы нашли правильно расположенным, как и прилично для крепости, построенным из камня; церковь была изящна. Прохаживаясь по улицам (это было воскресенье, девять часов утра), мы услышали музыку; в гостинице уже усердно вальсировали, и так как жители не переставали веселиться, несмотря на большую дороговизну и угрожающий голод, то и наше молодое веселье ничуть не было смущено, когда булочник отказался отпустить нам хлеба на прогулку и указал на гостиницу, где мы могли насытиться на месте.

С удовольствием поехали мы по тому же шоссе назад, чтобы вторично полюбоваться этим архитектурным чудом и еще раз насладиться отрадным видом на Эльзас. Скоро мы достигли Буксвейера [261]), где наш друг Вейланд приготовил нам хороший прием. Обстановка маленького городка весьма соответствовала нашему свежему юношескому настроению; семейные отношения здесь ближе нам и более ощутительны; домашняя жизнь, вращающаяся в своей неторопливой деятельности между спокойными должностными занятиями, городскими ремеслами, полевым и садовым хозяйством, как бы приглашает принять в ней дружеское участие; общественность здесь необходима, и приезжий чувствует себя весьма приятно в маленьких кружках, если его только как-нибудь не коснутся неприятности между местными жителями, которые особенно чувствительны в подобных местах. Этот городок был главным местом графства Ганау-Лихтенбергского, принадлежащего ландграфу Дармштадтскому под французским владычеством. Пребывавшее там управление и палата делали местечко важным средоточием прекрасного и завидного княжеского владения. Мало обратив внимания на неровные улицы, неправильный стиль построек местечка, мы, проехав через него, осмотрели старый замок и прекрасно расположенные на холме сады. Несколько рощиц для гулянья, питомник для ручных и диких фазанов и остатки других подобных построек показывали, как весела была когда-то эта маленькая резиденция.

Но все эти впечатления превзойдены были видом, открывшимся с близлежащего Башберга [262]) на страну, представлявшую

истинный рай. Эта возвышенность, состоявшая вся из скопления различных раковин, в первый раз обратила мое внимание на подобные документы первобытного мира; я никогда еще не видал такого скопления их в одном месте. Но жадные к зрелищу взоры вскоре обратились исключительно на окрестности. Мы стоим на крайнем выступе по направлению к стране; к северу расстилается плодоносная равнина с разбросанными по ней небольшими лесочками, ограниченная суровыми горами, которые к западу простираются до Цаберна, где ясно можно рассмотреть епископский дворец и расположенное в часовом расстоянии от него аббатство св. Иоанна. Оттуда взор наш следит за горною цепью Вогезов, все более и более исчезающей к югу. Обращаясь к северо-востоку, мы видим на утесе замок Лихтенберг, а к юго-востоку расстилается перед взором бесконечная равнина Эльзаса, все более и более затуманивающиеся ландшафты которые ускользают, наконец, от зрения, при чем швабские горы [263]), как тени, сливаются на горизонте.

Уже во время моих немногих еще странствований по свету я убедился, как важно во время путешествий осведомляться о течении вод, спрашивая даже о самом маленьком ручье, куда он течет. Благодаря этому мы получаем общий взгляд на речной бассейн, в котором мы находимся, получаем представление о взаимоотношении высот и низменностей и посредством этой путеводной нити, помогающей и взору и памяти, легче всего выпутываемся из геологической и политической смеси стран. Этим обзором я торжественно простился с дорогим Эльзасом, так как на следующее утро мы намерены были ехать в Лотарингию.

Вечер прошел в уютной беседе, при чем мы старались утешиться в невеселой действительности воспоминаниями о лучших былых временах. Более всего благословлялось при этом, как и во всей этой маленькой стране, имя последнего графа Рейнгарда Ганауского [264]), большой ум и деловитость которого проявлялись во всей его деятельности и от жизни которого до сих пор сохранилось несколько прекрасных памятников. Преимущество таких людей состоит в том, что они являются благодетелями вдвойне—для настоящего, которое они осчастливливают, и для будущего, в котором они питают, поддерживают чувство и мужество.

Когда мы направились к северо-западу в горы и проезжали мимо Люцельштейна — старого горного замка в очень холмистой местности — и спускались в область Заара и Мозеля, небо начало хмуриться, как-будто хотело сделать еще более ощутительным для нас характер суровой западной страны. Долина Заара, где мы встретили прежде всего маленькое местечко Бокенгейм, а

напротив хорошо построенный Нейзаарверден с увеселительным замком, сопровождается с обеих сторон горами, которые могли бы иметь печальный характер, если бы от подошвы их до Зааральбы и далее не простирались на необозримое пространство луга и поляны, выстилая низменность, называемую Гонау. Здесь взор привлекают большие здания бывшего конского завода герцогов лотарингских; в настоящее время они превращены в фермы, к чему, по своему положению, они, конечно, весьма пригодны. Через Зааргемюнд мы прибыли в Заарбрюк; эта маленькая резиденция составляет светлый пункт в лесистой и скалистой стране. Город, маленький и холмистый, но хорошо украшенный последними герцогами, производит сразу приятное впечатление, потому что все дома его окрашены в серовато-белый цвет и различная высота их доставляет разнообразное зрелище. Посредине, на красивой площади, окруженной солидными зданиями, стоит лютеранская церковь, построенная в малом, но соответствующем целому, масштабе. Передняя сторона замка находится на одном уровне с городом, а задняя — на скате крутого утеса. Этот последний не только вырублен террасами, чтобы удобно было спускаться в долину, но внизу даже устроено продолговато-четыреугольное место для сада, для чего с одной стороны отвели реку, а с другой—обломали утес, после чего это пространство было заполнено землею и засажено. Время этого предприятия совпало с эпохою, когда при устройстве садов советовались с архитекторами, как теперь обращаются к помощи ландшафтных живописцев. Все устройство замка, все его драгоценности и украшения, его богатство и изящество свидетельствовали о жизнерадостном владельце, каким и был покойный герцог; нынешнего владельца в данное время здесь не было. Президент фон-Гюндероде принял нас чрезвычайно любезно и угощал нас три дня лучше, чем мы могли бы ожидать. Я воспользовался несколькими новыми знакомствами, чтобы расширить свои знания в разных направлениях. Полная наслаждений жизнь покойного герцога дала достаточно материала для разговора, так же, как и различные учреждения, заведенные им, чтобы использовать выгоды, представляемые его страною. Здесь именно был я посвящен в интерес горных стран, и во мне впервые была пробуждена охота к экономическим и техническим вопросам, которые занимали меня в большую часть моей жизни. Мы узнали о богатых Дутвейльских каменноугольных копях, о железных и квасцовых фабриках, даже о какой-то горящей горе, и приготовились осмотреть это чудо поближе [265]).

Далее мы направились по лесистым горам, которые должны казаться дикими и мрачными приезжему из великолепной плодоносной страны и которые могут привлечь нас лишь внутренним

содержанием своих недр. Быстро мы познакомились последовательно с двумя машинными производствами, одним простым и одним сложным, ковкой кос и вытягиванием проволоки. Если уже в первом случае приятно видеть, как можно заменить простую ручную работу, то во втором—нельзя достаточно надивиться машине, которая действует в высшем органическом смысле, почти неотделимом от разума и сознания. На квасцовой фабрике мы точно осведомились о способе добывания и очистки этого столь необходимого материала, а когда мы увидели большие кучи белого, жирного, рыхлого, землистого вещества и спросили о его назначении, то рабочие, улыбаясь, ответили нам, что это пена, которая при кипячении квасцов всплывает наверх и которую господин Штауф приказывает собирать, надеясь извлечь пользу и из нее. «Господин Штауф еще жив?»— спросил с удивлением мой спутник. Ответ был утвердительный, и нам сказали, что на нашем пути мы проедем недалеко от его уединенного жилища.

Мы пошли далее вверх по направлению желобов, по которым стекает квасцовая вода, и мимо главной штольни, которую здесь называют местною ямою, откуда добывается дутвейльский каменный уголь. Этот уголь имеет, когда он высохнет, синеватый цвет закаленной стали, и поверхность его прекрасно иризирует при каждом повороте. Но мрачная глубина штолен тем более привлекала нас, что их содержимое щедро было рассыпано перед нами. Затем мы пришли к открытым ямам, где выщелачивались обожженные квасцовые сланцы, и вскоре, хотя мы и были подготовлены, нас изумило странное явление.

Мы вошли в щель и очутились в области горящей горы. Сильный серный запах охватил нас; одна сторона ущелья была почти раскалена, покрыта красным, обожженным добела камнем; из трещин просачивался густой пар, и жар почвы чувствовался через толстые подошвы. Эта случайность (так как было неизвестно, отчего загорелось это пространство) доставляет квасцовому производству ту выгоду, что сланцы, из которых состоит поверхность горы, являются уже совершенно обожженными, и остается только хорошенько выщелочить их. Вся щель в горе оттого и образовалась, что обожженные сланцы постепенно выбирались и обрабатывались. Мы выкарабкались из этой глубины и были на вершине горы. Место по выходе из ломки было окружено прекрасным буковым лесом, простиравшимся с обеих сторон. Некоторые деревья уже засохли, другие увядали, а поблизости стояли свежие деревья, не чувствуя жара, который угрожающе приближался к их корням.

На этой площадке дымилось несколько отверстий; другие отверстия уже выпустили все свои пары, и так этот огонь тлел

уже десять лет в старых выработанных штольнях и шахтах, которыми подрыта гора. Он, может быть, распространился через расселины и на свежие залежи угля, ибо на несколько сот шагов далее в лесу нашли как-будто надежные признаки хорошего каменного угля, но едва начались работы, как навстречу рабочим повалил сильный дым и разогнал их. Отверстие опять забросали; но мы нашли это место еще дымящимся, когда проходили мимо него на пути к резиденции нашего отшельника-химика. Жилище его лежит посреди лесов и гор; долины образуют там разнообразные и красивые изгибы, почва вокруг черна и обуглена, и залежи угля нередко выходят на поверхность. Угольный философ, «Philosophus per ignem» (как говаривали раньше), не мог бы найти более подходящего местообитания.

Мы подошли к небольшому дому, недурно устроенному для жилья, и нашли там господина Штауфа, который тотчас узнал моего приятеля и встретил его жалобами на новое правительство. Правда, из его речей мы могли заметить, что квасцовое производство, как и другие учреждения, основанные с благими намерениями, не оправдывает своих расходов, вследствие разных внешних, а может быть и внутренних обстоятельств, и т. п. Он принадлежал к химикам того времени, когда, хорошо сознавая важность различного применения естественных продуктов, люди терялись в странных рассуждениях о разных мелочах и неважных вещах, не умея достаточно искусно выработать то, из чего действительно можно было бы извлечь экономическую и меркантильную выгоду. Таким образом польза, которой он ожидал от вышеупомянутой пены, относилась еще только к далекому будущему; так он показал нам лишь кусок нашатыря, полученный им из горящей горы.

С большою охотою и радуясь тому, что нашел людей, с которыми он может поделиться своими жалобами, этот тощий отживший человечек поплелся на гору; на одной ноге у него был башмак, а на другой—туфля, чулки его постоянно спускались, и он тщетно старался их натянуть. Он привел нас к месту—смолокурному шалашу, построенному им самим и начинавшему, к его большому сожалению, разваливаться. Здесь находился ряд сообщающихся печей, где каменный уголь освобождался от серы и делался годным для железного производства; но в то же время было желательно воспользоваться и маслом, и смолою, не потерять даром даже сажи; и таким образом из-за множества намерений ничего не получалось. При жизни покойного герцога дело велось из любительства, с расчетом на благоприятный случай; в настоящее же время требовалась непосредственная польза, которой не было видно.

Оставив нашего адепта в его уединении, мы поспешили, так как было уже время позднее, к Фридрихстальскому стеклянному заводу, где мы мимоходом ознакомились с одним из важнейших и удивительнейших родов промышленной деятельности человеческого искусства.

Но едва ли не более, чем все эти серьезные новости, нас, молодых людей, интересовали некоторые веселые приключения, а при наступлении темноты близ Нейкирха мы встретили неожиданный фейерверк. Подобно тому, как несколько ночей тому назад, на берегах Заары, среди скал и кустов, нас окружили светящиеся рои жучков-светлячков, так теперь извергающие искры заводские трубы встретили нас своею огненною игрою. Поздно ночью мы посетили расположенные в глубине долины плавильни и насладились странною полутьмою этих дощатых сараев, скудно освещаемых лишь через маленькие отверстия пылающих печей. Шум воды и приводимых ею в движение мехов, страшное шипение и свист потока воздуха, который, врываясь в расплавленную массу металла, свирепо оглушает и ошеломляет вас своим шумом, наконец прогнали нас, и мы направились в Нейкирх, построенный на горе.

Но, несмотря на все беспокойство и разнообразие этого дня, я и здесь не мог еще найти покоя. Я предоставил своего друга блаженному сну, а сам пошел к охотничьему замку, расположенному выше. Оттуда открывается широкий вид на горы и леса, очертание коих можно различить лишь на ясном ночном небе, а боковые стороны и долины были неуловимы для моего взора. Хорошо сохранившееся здание было не только уединенно, но и пусто: в нем не было ни кастеляна, ни хотя бы одного егеря. Я сидел перед большими стеклянными дверьми на ступенях, которые идут вдоль всей террасы. Здесь, посреди тор, над лесистою мрачною землею, которая казалась еще мрачнее против светлого горизонта летней ночи, со сверкающим звездами небесным сводом надо мною, долго сидел я один на этом покинутом месте и, казалось, никогда еще не чувствовал себя таким одиноким. Как приятно поразил меня поэтому принесшийся издали звук двух охотничьих рогов, который сразу оживил спокойную атмосферу, как бальзамический аромат. Тут во мне проснулся образ милого существа, который отступил на задний план перед пестрыми явлениями этих путевых дней; он выступал все более и более и побудил меня встать с места и возвратиться в гостиницу, где я уже заметил приготовления к нашему отъезду рано утром.

Обратный путь мы не так использовали, как путь туда. Мы поспешно проехали через Цвейбрюк, который в качестве красивой и замечательной резиденции заслуживал бы

некоторого внимания с нашей стороны. Мы бросили взгляды на большой, простой замок, на обширные эспланады, правильно обсаженные липовыми деревьями и хорошо устроенные для дрессировки беговых лошадей, на бюргерские дома, построенные герцогом, чтобы показать их во всей красе. Все это, равно как одежда и манеры жителей, особенно женщин и девушек, указывало на отдаленные связи и наглядно свидетельствовало о влиянии Парижа, от которого давно уже не могли освободиться все зарейнские области.

Мы посетили также расположенный перед городом герцогский погреб, весьма обширный, снабженный новыми и художественными бочками. Едучи дальше, мы попали в страну, подобную Заарбрюкенской: среди диких, суровых гор здесь были разбросаны немногие деревни; здесь можно совсем отвыкнуть от зрелища хлебных полей. Вдоль берега Горбаха мы поднялись к Бичу, лежащему в важном пункте водораздела, где одна часть вод обращается к Зааре, а другая—к Рейну; этим последним вскоре нам пришлось более и более следовать. Но мы не могли отказать себе в посещении городка Бича, весьма живописно расположенного вокруг горы, а также расположенной наверху крепости. Последняя частью построена на утесе, частью вырублена в нем; в особенности замечательны подземные места: здесь имеется не только достаточно пространства для помещения множества людей и скота, но есть даже большая сводчатая зала для военных упражнений, мельница, часовня и разные другие подземные учреждения, которые могли бы потребоваться, если бы на поверхности стало неспокойно.

Спускаясь вниз вдоль ручьев, мы поехали теперь через Медвежью долину (Беренталь). Густые леса по обеим сторонам ее стояли неиспользованными; тысячами гниют здесь стволы за стволами, и молодая поросль в бесчисленном множестве произрастает на полусгнивших предках. Здесь в разговорах наших спутников-пешеходов опять стало раздаваться имя Дитриха [266]), которое мы часто слышали уже в этих лесистых областях, произносимое с большим уважением. Деловитость и ум этого человека, его богатство и распоряжение им—не уступали одно другому; он с полным правом мог пользоваться своими приобретениями, которые он умножал, и плодами своих заслуг, всегда им упрочаемых. Чем более я видел свет, тем более радовался не только вообще знаменитым именам, но и тем, которые упоминаются с любовью и уважением в отдельных странах; так и здесь после некоторых расспросов я легко узнал, что фон Дитрих ранее других сумел успешно воспользоваться горными богатствами, железом, углем и лесом и постепенным трудом достиг все возрастающего благосостояния.

Новым доказательством этого послужил Нидербронн, куда мы приехали. Дитрих купил это маленькое местечко у графа фон Лейнингена и других владельцев, чтобы устроить в этой местности большие железные заводы. Здесь среди купален, основанных еще римлянами, обвеял меня дух древности, почтенные обломки которой в виде остатков барельефов и надписей, капителей и стволов колонн причудливо выглядывали мне навстречу из крестьянских дворов, среди разного хозяйственного мусора и утвари [267]).

С таким же уважением прочел я, когда мы поднялись на соседний Вазенбург, на большой утесистой массе, образующей основание одной из его сторон, хорошо сохранившуюся надпись, выражающую благодарственный обет Меркурию. Самая крепость стоит на последней горе от Бича по направлению к Эльзасу. Это развалины немецкого замка, построенного на римских остатках. С башни я еще раз обозрел весь Эльзас, и вершина собора ясно обозначала место Страсбурга. Затем распространялся большой Гагенауский лес, за которым ясно виднелись башни этого города. Меня потянуло туда. Мы поехали через Рейсгофен, где фон Дитрих выстроил внушительный замок. Полюбовавшись с холмов Нидермодерна на прелестное течение речки Модера у Гагенауского леса, я оставил своего друга при посещении ничтожной каменоугольной копи, которая не могла итти в сравнение с более серьезными Дутвейльскими копями, и поехал через Гагенау, по дорогам, указываемым мне любовью, в мой любимый Зезенгейм [268]).

Все эти виды дикой горной страны и затем опять веселой, плодоносной, цветущей равнины не могли приковать к себе моего внутреннего взора, который был направлен на милый, привлекательный предмет. И на этот раз обратный путь показался мне еще прелестнее, чем путь вперед, потому что он снова приближал меня к девушке, которой я был предан всей душой и которая столько же заслуживала уважения, сколько и любви. Но прежде, чем я введу моих друзей в ее сельское жилище, да будет мне позволено упомянуть об одном обстоятельстве, которое много содействовало оживлению и возвышению нежности и довольства, которые она мне внушала.

Как сильно я отстал от новейшей литературы, легко можно заключить из образа жизни, который я вел во Франкфурте, и из занятий, которым я посвятил себя; мое пребывание в Страсбурге также не могло подвинуть меня в этом отношении. Но вот приехал Гердер и вместе со своими большими знаниями привез также разные пособия, а кроме того и разные новейшие сочинения. Среди них он назвал нам «Сельского священника в Векфильде», как превосходное произведение, с немец-

ким переводом которого он намерен познакомить нас в собственном чтении [269]).

Его способ чтения вслух был совершенно своеобразен: о нем может составить себе представление тот, кто слышал его проповеди. Все, а также и этот роман, он читал серьезно и просто; будучи далек от всякого драматико-мимического изложения, он избегал даже того разнообразия, которое при эпическом изложении не только позволительно, но и требуется, как, например, небольшое изменение тона, когда говорят разные лица, благодаря чему выдвигаются слова отдельных персонажей и действующие лица отделяются от рассказчика. Не будучи монотонным, Гердер читал все по порядку в одном и том же тоне, как-будто ничто не происходило в настоящее время, а все — только исторически, как-будто тени этих поэтических характеров не действовали живо перед ним, а лишь мягко скользили мимо. И все-таки этот способ чтения в его устах имел бесконечную прелесть; ибо так как он глубочайшим образом понимал все это и умел высоко ценить разнообразие такого произведения, то все достоинства последнего выступали во всей своей чистоте и тем более ясно, что слушатель не отвлекался резко выраженными частностями и не отрывался от чувства, внушаемого целым.

Протестантский сельский священник — может быть, самый лучший предмет для современной идиллии; он является, как Мельхиседек, жрецом и королем в одном лице. По своим занятиям и семейной обстановкой он большею частью тесно связан с самым невинным состоянием, какое мыслимо на земле,— с состоянием земледельца; он — отец, хозяин дома, селянин, словом, вполне член общины. На этом прекрасном, чистом земном основании покоится его высшее призвание; ему поручено вводить людей в жизнь, заботиться об их духовном воспитании, благословлять их во все главные эпохи их жизни, поучать их, укреплять, утешать, а когда нет достаточного утешения для настоящего времени, вызывать и обещать надежду на более счастливое будущее. Представьте себе такого человека с чисто человеческими взглядами, достаточно сильного, чтобы не отступать от них ни при каких обстоятельствах, и уже потому стоящего выше толпы, от которой нельзя ожидать такой чистоты и твердости; дайте ему нужные для его сана знания, светлую, равномерную и в то же время увлекательную деятельность — потому что она не пропускает ни малейшего случая сделать добро — и мы его снабдим всем, чем нужно. Но в то же время прибавьте еще необходимую ограниченность—так, чтобы он мог не только оставаться в маленьком кругу, но при случае переходить и в круги еще меньшие;

сообщите ему добродушие, незлобивость, стойкость и другие похвальные качества, проистекающие из такого характера, а сверх всего этого еще светлую уступчивость и улыбающуюся терпимость к своим и чужим недостаткам, — и вы получите приблизительный портрет нашего славного Векфильдского священника.

Изображение этого характера в течение его жизни сквозь радости и печали, постоянное возрастание интереса фабулы, благодаря сочетанию вполне естественного со странным и редким — все это делает этот роман одним из лучших, какие были когда-либо написаны. Кроме того, он имеет еще то большое преимущество, что это роман вполне нравственный и в чистейшем смысле слова христианский; он подтверждает награждение доброй воли, соблюдения правоты и безусловной веры в бога и удостоверяет в конечном торжестве добра над злом, — и все это без всякого ханжества или педантизма. От того и другого автор был предохранен своим высоким умом, который повсюду сказывается в его иронии, вследствие чего небольшое сочинение это представляется нам столь же мудрым, сколько милым. Автор, доктор Гольдсмит, — без сомнения, большой знаток нравственного мира, его достоинств и недостатков, но в то же время он должен с благодарностью признать, что он англичанин, и высоко оценить те преимущества, которые доставляет ему его страна и нация. Семья, которую он изображает, стоит на одной из низших ступеней гражданского комфорта и все-таки соприкасается с высшим кругом; ее тесный круг, суживающийся еще более вследствие естественного и гражданского хода вещей, захватывает и большой свет; этот маленький челн плывет по богато движущимся волнам английской жизни и в радости или в горе он может ожидать вреда или помощи от громадного флота, несущегося на парусах по этому морю.

Я могу предположить, что мои читатели знают и помнят это произведение; тот, кто впервые слышит о нем, а равно и тот, кому теперь захочется перечитать его, будут мне благодарны. Для первого я лишь мимоходом замечу, что жена сельского священника—добрая работящая женщина, которая заботится о том, чтобы у нее и у членов ее семьи всегда все было, но в то же время несколько много воображает о себе и своих близких. Из двух ее дочерей, Оливия красива и более обращает внимание на внешность, а София привлекательна и более глубока; не могу не назвать также трудолюбивого, несколько сурового сына Моисея, соревнующего отцу.

Если Гердера при его чтении можно было упрекнуть в какомнибудь недостатке, то это в нетерпении; он не ожидал, пока слушатели узнают некоторую часть фабулы и усвоят ее, чтобы

правильно чувствовать и соответствующим образом мыслить; чрезмерно спеша, он хотел видеть впечатления и все-таки сердился, если они выражались. Он порицал чрезмерность чувства, которое все более и более охватывало меня. Я чувствовал, как человек, как молодой человек; для меня все это было живо, истинно, ясно, как день; он, обращая внимание лишь на содержание и форму, видел, конечно, что я увлечен самою темою, и не мог допустить этого. Еще хуже были встречены им не особенно тонкие рассуждения Пеглова. Особенно же рассердился он на недостаток у нас остроумия, когда мы не приняли в расчет частого пользования контрастами, к которому прибегает автор, и были тронуты и увлечены этим приемом, не замечая частого повторения этой уловки. Он не простил нам и того, что в самом начале романа, где Берчелл, переходя при своем рассказе из третьего лица в первое, чуть не выдает себя, мы не заметили, или, по крайней мере, не заподозрили, что он сам и есть тот лорд, о котором говорит; а когда мы под конец детски обрадовались обнаружению истины и превращению жалкого, бедного странника в богатого, могущественного господина, он громко напомнил нам то место, на которое мы, по замыслу автора, не обратили внимания, и прочел нам изрядную проповедь о нашей тупости. Из этого видно, что он смотрел на роман только как на произведение искусства и требовал от нас того же, а мы еще находились на той ступени развития, когда позволительно поддаваться влиянию произведений искусства, как чему-либо созданному самой природой.

Но нападки Гердера нисколько меня не смутили; ведь молодые люди, к счастию или к несчастию, имеют свойство, если что-нибудь на них подействует, сами перерабатывать в себе это действие, из чего возникает много и хорошего, и дурного. Упомянутое произведение произвело на меня большое впечатление, в котором я сам не мог дать себе отчета, но в сущности я чувствовал себя в согласии с тем ироническим складом мыслей, который становится выше вещей, выше счастия и несчастия, добра и зла, жизни и смерти, и таким образом достиг обладания истинно поэтическим миром. Конечно, это могло быть сознано мною лишь впоследствии, но, как бы то ни было, оно и теперь сильно подействовало на меня; но я никак не ожидал, что очень скоро перенесусь из этого вымышленного мира в подобный же мир действительности.

Мой сотрапезник Вейланд, будучи уроженцем Эльзаса, разнообразил время от времени свою тихую, прилежную жизнь посещениями своих друзей и родственников в стране; при этом он оказывал мне на моих маленьких экскурсиях многие услуги, знакомя меня с разными местностями и семействами частью

лично, частью посредством рекомендаций. Он нераз говорил мне об одном сельском священнике, который живет близ Друзенгейма, на расстоянии шести часов от Страсбурга, в хорошем пасторском доме, с разумною женою и двумя очень милыми дочерьми. При этом он всегда очень хвалил гостеприимство и привлекательность этого дома. Этого было слишком достаточно, чтобы заинтересовать молодого всадника, который привык уже проводить все свободные дни и часы на коне и на вольном воздухе. Итак, мы решились предпринять эту поездку, при чем мой друг должен был обещать мне, что при моем представлении не скажет обо мне ничего ни хорошего, ни дурного и вообще будет обращаться со мною равнодушно, даже позволит мне явиться одетым если не плохо, то несколько бедно и небрежно. Он согласился и ожидал от этого чего-нибудь забавного и для себя.

Серьезным людям можно простить их каприз, состоящий в том, что они иногда скрывают свои внешние преимущества, чтобы предоставить более свободно действовать своему внутреннему, человеческому содержанию; поэтому инкогнито королей и возникающие отсюда приключения всегда содержат в себе нечто приятное; являются переодетые божества, которые вдвойне воздают за все добро, оказываемое их личности, и умеют или легко отнестись к неприятностям, или избавиться от них. Что Юпитер удачно посетил Филемона и Бавкиду [270]), а Генрих Четвертый на охоте инкогнито зашел к своим крестьянам—это в природе вещей и очень нравится; но если молодому человеку, не имеющему ни значения, ни имени, приходит в голову доставить себе развлечение посредством инкогнито, многие сочтут это, пожалуй, за непростительное высокомерие. Но так как здесь речь идет не о том, насколько похвальны или достойны порицания намерения и поступки, а о том, какую форму они могут принимать, то на этот раз, ради интереса нашего рассказа, мы простим юноше его самомнение, тем более, что, как я должен здесь упомянуть, страсть к переодеванию была с молодых лет внушена мне даже моим серьезным отцом.

И на этот раз я если не обезобразил себя, то, по крайней мере, так причудливо изменил свою внешность, частью посредством своих собственных старых, частью взятых взаймы частей одежды и посредством прически, что мой приятель во время дороги не мог удержаться от смеха, в особенности, когда я очень удачно стал подражать осанке и движениям таких фигур на коне, прозванных «латинскими» ездоками [271]). Прекрасное шоссе, великолепная погода и близость Рейна привели нас в наилучшее расположение духа. В Друзенгейме [272]) мы на минутку задержались, он, чтобы принарядиться, а я для того, чтобы вспомнить свою роль,

из которой я боялся случайно выйти. Местность имеет здесь характер совершенно открытой эльзасской равнины. Мы поехали по прелестной дорожке через луга, прибыли скоро в Зезенгейм, оставили своих лошадей в гостинице и не торопясь пошли к пасторскому дому. «Ты не смотри,—сказал Вейланд, показывая мне издали на этот дом,—что он похож на старый и плохой крестьянский дом: тем больше молодости внутри». Мы вошли во двор; всё в общем мне очень понравилось: это было именно то, что называют живописным и что так волшебно привлекало меня в нидерландской живописи. Здесь было ясно видно влияние времени на все человеческие дела. Дом, сарай и конюшня находились в таком состоянии упадка, когда люди не знают, поддерживать ли старое, или строить новое, и в нерешимости упускают одно, не будучи в состоянии начать другое.

В деревне [273]) и во дворе все было тихо и пусто. Мы нашли в доме одного отца—маленького, сдержанного, но приветливого человечка: вся семья была в поле. Он приветствовал нас и предложил угощение, от которого мы отказались. Мой приятель пошел искать девушек, и я остался один с хозяином [274]). «Вы, может быть, удивляетесь,—сказал он,—что в богатой деревне и при доходном месте мы так плохо помещены; но это происходит от нерешимости. Община и даже высшие власти давно уже мне обещали построить новый дом; много чертежей уже сделано, рассмотрено, изменено, ни один окончательно не отвергнут, и ни один не приведен в исполнение. Это длится уже столько лет, что я совершенно теряю терпение». Я ответил ему приличными случаю словами, чтобы поддержать его надежду и ободрить его, посоветовав ему быть настойчивее. Он продолжал доверчиво изображать лиц, от которых зависели эти вещи, и хотя он не был особенным мастером в изображении характеров, однако я легко мог понять, отчего все дело застряло. В доверчивости старика было что-то своеобразное, он говорил, как-будто был знаком со мною десять лет, при чем во взгляде его не было ничего дающего повод заключить об особой внимательности ко мне.

Наконец вошел мой приятель с хозяйкою дома. Последняя посмотрела на меня, повидимому, совсем другими глазами. У нее было правильное лицо с умным выражением; в молодости она была, вероятно, красива. Ее фигура была высокая и худощавая, но не более, чем соответствует таким годам; сзади она имела еще вполне приятный вид. Затем быстро вбежала старшая дочь; как и оба прочие, она спросила, где Фридерика. Отец сказал, что не видал ее с тех пор, как все трое ушли. Дочь опять выбежала в дверь, чтобы поискать сестру; мать подала нам кое-какое угощение, и Вейланд продолжал с обоими супругами разговор, относившийся сплошь к определенным лицам и собы-

тиям, как обыкновенно бывает, когда знакомые сходятся после некоторого времени разлуки, осведомляются о членах своего круга и взаимно сообщают друг другу новости. Я прислушивался и убедился, чего именно я могу ожидать от этого круга.

Старшая дочь снова вошла поспешно в комнату, обеспокоенная тем, что не нашла сестры. За нее тревожились, бранили ее за ту или другую дурную привычку; только отец говорил совершенно спокойно: «Оставьте ее,—она придет». В это мгновение она действительно показалась в дверях, и тут на этом сельском небе точно взошла прелестнейшая звездочка. Обе сестры были одеты по-немецки, как тогда еще называли этот наряд, и этот почти уже вытесненный национальный костюм [275]) особенно шел к Фридерике. Короткая белая круглая юбочка с оборкой лишь настолько доходила до низу, что видны были по щиколотку прелестнейшие ножки; узкий белый лиф и черный тафтяной передник—все это делало ее чем-то средним между крестьянкой и городской барышней. Стройная и легкая, она ходила, точно не нося на себе ничего, и шейка ее казалась слишком нежною для грациозной головки с толстыми белокурыми косами. Ясные голубые глаза ее смотрели бодро вокруг, а хорошенький вздернутый носик так свободно поворачивался во все стороны, как-будто на свете не могло быть никаких тревог. На руке у нее висела соломенная шляпа. Таким образом я имел удовольствие с первого же взгляда увидеть и узнать ее во всей ее грации и миловидности.

Я начал понемногу разыгрывать свою роль, отчасти стыдясь, что мистифицирую таких добрых людей, которых имел достаточно времени наблюдать. Девушки продолжали начатый разговор живо и с юмором. Одного за другим перебирали они всех соседей, и предо мной предстал такой род дядей и теток, двоюродных братьев и сестер, приезжающих, уезжающих, кумовьев и гостей, что мне казалось, будто я живу в самом населенном из миров. Все члены семейства поговорили со мною несколько слов; мать, приходя и уходя, каждый раз смотрела на меня; но Фридерика первая вступила со мною в разговор и, заметив, что я взял и рассматриваю разбросанные вокруг нас ноты, спросила, играю ли я. Получив утвердительный ответ, она попросила меня сыграть что-нибудь; но отец не допустил меня до этого, сказав, что следует сперва сыграть гостю какую-нибудь пьеску или спеть песенку.

Она сыграла несколько пьес довольно бойко, в том роде, как мы обыкновенно слышим их у сельских жителей, притом на таком фортепиано, что школьный учитель давно должен был бы настроить его, если бы имел время. Затем она начала петь песенку, что-то нежно-печальное [276]); но это ей не удалось. Она

встала и сказала с улыбкой или, скорее, с постоянным выражением светлой радости на лице: «Если я плохо пою, то не могу винить в этом фортепиано или школьного учителя; выйдемте лучше на воздух,—я спою вам свои эльзасские и швейцарские песенки: те будут звучать получше».

За ужином я все время был занят мыслью, которая пришла мне уже раньше, теперь же овладела мною до того, что я стал задумчив и безмолвен, хотя живость старшей сестры и грация младшей достаточно часто отвлекали меня от моих размышлений. Нельзя было выразить моего удивления тому, что я находился как бы в среде живого Векфильдского семейства. Отца, правда, нельзя было сравнить с тем замечательным человеком, но где же и найти равного ему! Зато все достоинство, свойственное супругу в романе, было здесь представлено в лице матери. На нее нельзя было взглянуть без уважения и некоторой робости; в ней видны были следы хорошего воспитания, и поведение ее было спокойно, свободно, весело и приветливо.

Старшая дочь не отличалась прославленною красотою Оливии, но была хорошо сложена, жива и, пожалуй, порывиста; она была очень деятельна и во всем была правою рукою матери. Поставить Фридерику на место Софии Примроз было нетрудно, потому что о Софии говорится мало; сказано только, что она мила,—это вполне подходило и для Фридерики. Как вообще одинаковые занятия, одинаковые условия повсюду, где они повторяются, вызывают сходные, если не тождественные, действия,—так и здесь говорилось и даже происходило многое, что происходило и в семье Векфильдского священника. Но когда, наконец, в комнату вбежал давно уже упоминавшийся в разговоре и нетерпеливо ожидаемый отцом младший сын [277]) и смело подсел к нам, мало обратив внимания на гостей,—то я едва удержался от восклицания: «Моисей, и ты здесь!»

Разговор за столом еще расширил картину этого сельского и семейного круга,—говорили о разных забавных происшествиях, случившихся то здесь, то там. Фридерика, сидевшая около меня, воспользовалась случаем, чтобы описать мне различные местности, которые стоит посетить. Так как одна историйка всегда вызывает другую, то и мне нетрудно было вмешаться в разговор и рассказать о подобных же случаях, и так как при этом мы не жалели хорошего местного вина, то я подвергался опасности забыть свою роль, вследствие чего мой приятель, более осторожный, чем я, воспользовался предлогом лунной ночи и пригласил нас на прогулку, которая и была одобрена. Он взял под руку старшую сестру, я—младшую, и мы пошли по широким полям, более чувствуя небо над собою, чем расстилавшуюся вокруг нас землю. Впрочем, разговор Фридерики не имел в себе

ничего мечтательно-лунного: ясность, с которою она говорила, превращала ночь в день, и в ее словах ничто не выражало и не вызывало особого чувства; только выражения ее имели большее, чем до сих пор, отношение ко мне: свое положение, местность и знакомых она описывала с той стороны, с которой мне предстояло с ними познакомиться. Она закончила выражением надежды, что я не составлю исключения и буду впредь посещать их, как это охотно делал каждый гость, останавливавшийся у них.

Мне было очень приятно молча выслушивать ее описание того маленького мира, в котором она жила, и людей, которых она особенно уважала. Она дала мне таким образом ясное и симпатичное представление о своих обстоятельствах, которое очень странно подействовало на меня; во-первых, мне стало глубоко досадно, что я не знал ее ранее, а во-вторых я почувствовал истинно мучительную зависть ко всем, кто имел счастье до сих пор быть близким к ней. Я тотчас же стал внимательно следить, как-будто имел право на это, за всеми ее описаниями мужчин, были ли это соседи, родственники или кумовья; но как я мог открыть что-нибудь при полном незнакомстве со всеми этими отношениями? Она становилась все словоохотливее, а я — все тише. Так хорошо было слушать ее, и когда я только слышал ее голос, а ее лицо, как и весь остальной мир, скрывалось в сумерках, то мне казалось, будто я смотрю в ее сердце, которое должно было быть совершенно чисто, открываясь передо мною в непринужденной болтовне.

Когда мой спутник вместе со мной пришел в отведенную мне комнату, то он тотчас же с самодовольством рассыпался в приятных шутках, ставя себе в заслугу, что так поразил меня сходством этой семьи с семейством Примроз. Я согласился и благодарил его. «Действительно,—воскликнул он,—вся сказка здесь налицо. Обе эти семьи очень похожи одна на другую, и господин замаскированный может с честью взять на себя роль лорда Берчелла; а так как в обыденной жизни злодеи не так нужны, как в романах, то я на этот раз возьму на себя роль племянника и проведу ее лучше, чем он». Я, однако, немедленно прекратил этот разговор, как ни приятен он был, и прежде всего просил его серьезно ответить, не выдал ли он меня. Он уверял, что нет, и я должен был ему поверить. Правда, по его словам, они расспрашивали о веселом сотрапезнике, который обедает с ним в Страсбурге в одном пансионе и о котором рассказывают разные сумасбродные истории. Затем я перешел к другим вопросам: любила ли она, любить ли, обручена ли. На все он отвечал отрицательно. «Право,—сказал я,—такая природная веселость для меня непонятна. Если бы она любила, потеряла

любовь и полюбила снова, или если бы она была невеста, тогда это было бы понятнее».

Так мы болтали до глубокой ночи, и с расветом я уже опять был на ногах. Желание вновь увидеть ее было неодолимо; но, одеваясь, я пришел в ужас от проклятого гардероба, который я так нелепо выискал для себя. Чем долее я одевался, тем невзрачнее я себе казался, потому что все и было расчитано на этот эффект. С волосами я кое-как справился; но когда я, наконец, напялил на себя взятый напрокат поношенный старый сюртук с короткими рукавами, имевший самый отвратительный вид, то, слегка лишь взглянув на себя в маленькое зеркало, я пришел в решительное отчаяние,—одна часть костюма была смешнее другой.

Во время этого моего одевания мой приятель проснулся и в довольном сознании спокойной совести, с чувством надежды на веселый день, выглядывал из-под штофного шелкового одеяла. Я уже посматривал с завистью на его хорошее платье, висевшее на стуле и, будь он моего роста, я унес бы это платье у него из-под носа, переоделся бы где-нибудь, оставив ему свою проклятую оболочку, а сам поспешил бы в сад. У него было достаточно добродушия, чтобы надеть мое платье, и сказка рано утром получила бы счастливую развязку. Но об этом нечего было и думать, равно как и о каком-либо удобном посредничестве. Явиться Фридерике опять в виде прилежного и ловкого, но бедного студента богословия, за которого меня выдавал мой друг, явиться ей в этом виде после того, как она вчера вечером так ласково говорила со мною, переодетым другим, было для меня совершенно невозможно. С досадою стоял я в размышлении и напрягал свою изобретательность, но ничего не мог придумать. Когда же мой приятель, приятно потягиваясь, посмотрел на меня и разразился громким смехом со словами: «Нет, право, ты чертовски смешон», я возразил с гневом: «Я знаю, что делать; прощай и извинись за меня». «Ты с ума сошел!» вскричал он, вскочил с постели и хотел удержать меня. Но я уже выбежал в дверь, сбежал по лестнице и побежал через дом и двор в гостиницу; быстро была оседлана моя лошадь, и в бешеной досаде я поскакал в Друзенгейм, через это местечко и дальше.

Когда я почувствовал себя в безопасности, я поехал медленно и только теперь ощутил, как мне не хочется уезжать. Но я покорился своей судьбе, спокойно вспомнил вчерашнюю вечернюю прогулку и питал в глубине души надежду скоро снова увидеть Фридерику. Но это тихое чувство вскоре снова превратилось в нетерпение; я решился поскорее поехать в город, переодеться и взять хорошую новую лошадь; тогда—как рисовало мне мое страстное воображение—я мог бы, пожалуй, еще до

обеда или, вернее, к послеобеденному времени поспеть обратно и испросить извинение.

Я хотел уже пришпорить свою лошадь, чтобы исполнить это намерение, как мне мелькнула новая и, как мне казалось, очень счастливая мысль. Еще вчера в Друзенгеймской гостинице я заметил очень опрятно одетого хозяйского сына [278]), который и сегодня рано утром, занятый хозяйственными работами, приветствовал меня со своего двора. Он был моего роста и несколько похож на меня. Задумано—сделано. Повернув лошадь, я быстро прискакал в Друзенгейм, поставил свою лошадь в стойло и прямо обратился к парню с предложением уступить мне на время свое платье, потому что я хочу устроить веселую штуку в Зезенгейме. Мне не пришлось долго уговаривать его; он с радостью принял предложение, одобрив мое намерение позабавить девиц; по его словам, они были такие славные и добрые, особенно мамзель Рикхен, да и родители любили шутки и веселье. Он внимательно посмотрел на меня и, принимая, вероятно, меня по моей одежде за бедняка, сказал: «Если вы хотите понравиться, то переодеться вам не лишне».

Переодевание мое быстро пошло вперед; собственно, ему не следовало бы доверять мне свое праздничное платье в обмен на мое; но парень был доверчив, к тому же в конюшне оставалась моя лошадь. Скоро весь мой наряд был готов, я важно выпятил грудь, и мой приятель с удовольствием смотрел на свой двойник.

«Чорт возьми, братец,—сказал он, протягивая мне руку, которую я с удовольствием пожал:—не слишком же ухаживай за моей девушкой, а то она совсем увлечется тобой».

Волосы мои теперь вполне отросли, и я мог причесаться на его лад; посмотрев на него несколько раз, я нашел подходящим для большей забавы, в подражание его более густым бровям, подвести себе жженою пробкою брови, соединив их над переносьем, чтобы усугубить мое загадочное предприятие еще и внешнею загадочностью.

Когда он подал мне свою шляпу с лентами, я спросил: «Нет ли у вас каких-нибудь поручений на пасторский двор, чтобы мне естественнее было явиться туда?». «Можно,—отвечал он,—но тогда вам придется подождать два часа. У нас есть родильница; я хотел отнести пирог пасторше: я могу передать его вам. Спесь придется в карман спрятать ради забавы». Я решил подождать, но эти два часа показались мне бесконечно длинными, и я изнывал от нетерпения, когда прошел и третий час, а пирог все еще не выходил из печи. Наконец я получил его совершенно горячим и при ясном солнечном сиянии поспешил с вверенною мне вещью, сопровождаемый еще на не-

которое расстояние моим двойником, который обещал прийти к вечеру и принести мне платье; последнее, однако, я живо отклонил, обещав ему, что сам ему доставлю его костюм.

Я недалеко прошел со своею ношей, аккуратно завернутою в чистую салфетку, когда заметил издали, что мой приятель идет мне навстречу с обеими девушками. Сердце у меня сжалось, как ему не следовало бы сжиматься под этой курткой. Я остановился, перевел дух и старался обдумать, что мне следует делать. Тут только я заметил, что местность была для меня благоприятна; они шли по другой стороне ручья, который вместе с полосою луга, где он протекал, разделял на некоторое расстояние обе дорожки. Поровнявшись со мною, Фридерика, которая меня уже давно заметила, воскликнула: «Жорж, что ты несешь?». Я был настолько благоразумен, что прикрыл лицо снятою шляпою и высоко поднял салфетку с пирогом. «Крестильный пирог!—воскликнула она.—Как поживает твоя сестра?». «Недурно», отвечал я, стараясь говорить хотя бы и не по-эльзасски, но искаженным языком. «Снеси его к нам домой,—сказала старшая сестра,—и если не застанешь матери, то отдай его служанке; да подожди нас; мы скоро вернемся, слышишь». Я поспешил своей дорогой с радостным чувством надежды, что все обойдется хорошо, как хорошо и началось, и вскоре достиг пасторского дома. Я не застал никого ни в доме, ни в кухне: хозяина, который, может быть, занимался в кабинете, я не хотел беспокоить; таким образом я сел на скамейку у двери, положив пирог рядом с собою, и прикрыл шляпою лицо.

Не помню, испытал ли я когда-нибудь более приятное ощущение. Сидеть здесь, на пороге, через который я еще недавно выбежал в отчаянии; сознавать, что я уже опять видел ее, опять слышал ее голос, вскоре после того как в своей досаде я воображал предстоящую долгую разлуку; каждую минуту ожидать ее, ожидать развязки, перед которой у меня билось сердце, и притом в этом двусмысленном случае—развязки без посрамления; ознаменовать начало знакомства веселою выходкою, забавнее всех тех, над которыми мы смеялись вчера. Любовь и нужда—лучшие учителя; в данном случае они действовали вместе, и ученик не был недостоин их.

Но вот вышла служанка из амбара. «Ну что, пироги удались?—крикнула она мне.—Как сестра?». «Все хорошо», отвечал я, не взглянув на нее и указал на пирог. Она взяла салфетку и проворчала: «Что с тобой сегодня опять? Уж не Бербхен ли опять стала заглядывать на другого? Не нам же платиться за нее. Хорош будет ваш брак, если дело так пойдет и дальше».

Так как она говорила довольно громко, то пастор подошел к окну и спросил, в чем дело. Она показала ему на меня; я встал и повернулся к нему, все еще прикрывая, однако, лицо шляпою. Он сказал мне несколько ласковых слов и велел остаться; я пошел в сад и только что хотел войти, как меня окликнула хозяйка, входившая во двор. Так как солнце светило мне прямо в лицо, то я опять воспользовался выгодою, которую доставляла мне шляпа, и поклонился, расшаркавшись. Она пошла в дом, сказав мне, чтобы я не уходил, не поев чего-нибудь. Я стал ходить по саду; все покамест шло хорошо, и я затаил дыхание при мысли, что теперь скоро должны прийти молодые люди. Но неожиданно мать подошла ко мне и хотела что-то спросить; при этом она взглянула мне в лицо, которое я уже не мог спрятать, и слово застряло у нее на языке. «Я ищу Жоржа,—сказала она, помолчав,—но кого же я вижу! Это вы, молодой господин? Сколько же у вас лиц?» «Серьезно только одно,—отвечал я,—а для шуток —сколько угодно». «Я вам не испорчу вашей шутки,—улыбнулась она;—подите назад из сада на лужок до полудня, а потом возвратитесь, и я уже устрою вам шутку». Я повиновался, но когда прошел через изгороди деревенских садов и собирался выйти на луга, то на дорожке как-раз показалось несколько крестьян, которые смутили меня. Я поэтому повернул в лесок на ближайшем холмике, чтобы скрыться там до назначенного времени. Но как я был удивлен, когда вошел туда! Я увидел чистенькую площадку со скамейками, с каждой из которых открывался красивый вид на окрестности. Здесь была видна деревня с церковною башнею, там Друзенгейм и позади его лесистые острова Рейна, напротив — Вогезские горы и, наконец, страсбургский собор. Эти живо освещенные небом картины были заключены в рамки из кустов, и ничто не могло быть отраднее и приятнее. Я сел на одну из скамеек и заметил на самом толстом дереве маленькую продолговатую дощечку с надписью: «Покой Фридерики». Мне не приходило в голову, что я, может быть, пришел нарушить этот покой. В зарождающейся страсти то и хорошо, что она не сознает своего возникновения и не может иметь помышления о своем конце; чувствуя себя радостною и светлою, она не может предвидеть, что, пожалуй, принесет и несчастье.

Едва я успел осмотреться и погрузиться в сладкие грезы, как услышал, что кто-то идет: это была сама Фридерика. «Жорж, что ты здесь делаешь?» крикнула она издали. «Это не Жорж,—отвечал я, побежав ей навстречу,—это другой, который тысячу раз просит у вас прощения». Она посмотрела на меня с удивлением, потом собралась с силами, глубоко вздохнула и сказала: «Противный, как вы меня испугали!» «Первая

маска заставила меня надеть вторую,—воскликнул я,—первая была бы непростительна, если бы я сколько-нибудь знал, к кому я еду; этой маске вы наверное простите, потому что она имеет вид человека, которого вы встречаете ласково». Ее побледневшие щеки окрасились прелестнейшим розовым румянцем. «С вами поступят, по крайней мере, не хуже, чем с Жоржем. Но сядемте. Я должна признаться, что вся дрожу от страха». Я подсел к ней, сильно взволнованный. «Мы знаем от вашего приятеля всё, что случилось вплоть до сегодняшнего утра,—сказала она,—расскажите теперь остальное». Я не заставил просить себя два раза и описал ей свой ужас перед моею вчерашнею фигурою, а также мое бегство из дома в таком комическом виде, что она от сердца разразилась прелестным смехом; затем я рассказал и прочее, хотя и в скромных выражениях, но с достаточным волнением, так что рассказ мой мог бы считаться, пожалуй, за любовное объяснение в исторической форме. Мою радость снова видеть ее я торжественно выразил, наконец, поцеловав ей руку, которую она не отняла. Если вчера вечером при прогулке она взяла на себя труд говорить, то теперь я щедро возместил этот долг со своей стороны. Удовольствие, что я снова ее вижу и могу высказать ей всё, о чем умолчал вчера, было столь велико, что я не замечал своей болтливости, тогда как она была задумчава и молчалива. Она несколько раз глубоко вздыхала, и я снова и снова просил у нее прощения за причиненный ей испуг. Сколько времени мы так сидели — я не знаю; но вдруг мы услышали зов: «Рикхен, Рикхен». Это был голос ее сестры. «Вот будет прекрасная история,—сказала милая девушка, снова совершенно развеселившись,—и зачинщиком буду на этот раз я, — прибавила она, нагнувшись несколько вперед и заслоняя меня:—отвернитесь, чтобы она не сразу вас узнала». Сестра вышла на площадку, но не одна, а с Вейландом, и оба, увидев нас, остановились, как окаменелые.

Когда мы видим, как вдруг из крыши спокойного дома с силою вырывается пламя, или встречаемся с чудовищем, уродливый вид которого одновременно возмущает и пугает нас, то ужас наш бывает не больше того, как если мы неожиданно видим своими глазами нечто казавшееся нам морально невозможным. «Что это значит?—вскричала сестра с поспешностью испуга.—Что это такое? Ты с Жоржем! Рука об руку. Как объяснить это?» «Милая сестра,—возразила серьезно Фридерика:—этот бедняга просит у меня прощения кое в чем; он должен извиниться и перед тобою, но ты должна простить ему наперед». «Я ничего, ничего не понимаю», сказала сестра, качая головою и смотря на Вейланда, который по своему обыкнове-

нию стоял спокойно и смотрел на эту сцену, ничего не говоря. Фредерика встала и повлекла меня за собою.

«Нечего медлить,—воскликнула она,—просите пардон и получите его». «Ну да,—сказал я, довольно близко подойдя к старшей сестре:—пардон мне необходим». Она отшатнулась, громко вскрикнула и вся залилась румянцем; затем она бросилась на траву, громко расхохоталась и не могла остановиться. Вейланд тоже одобрительно рассмеялся и прибавил: «Ты чудесный малый». При этом он потряс мою руку. Обыкновенно он был не щедр на ласки, но в его рукопожатии было что-то сердечное и ободряющее, впрочем он и на это был скуповат.

Отдохнув немного и придя в себя, мы пошли обратно в деревню. По дороге я узнал, как произошла эта удивительная встреча. Фридерика удалилась с их прогулки, чтобы несколько отдохнуть перед обедом на своем любимом местечке, и когда другие двое вернулись домой, то мать послала их за Фридерикой, потому что обед был готов.

Старшая сестра была чрезвычайно весела: узнав, что мать уже открыла тайну, она воскликнула: «Теперь остается провести еще отца, брата, работника и служанку». Когда мы подошли уже к садовой решетке, Фридерика с моим приятелем пошла вперед в дом. Служанка была занята в огороде, и Оливия (так я буду звать старшую сестру) крикнула ей: «Подожди, я тебе что-то скажу». Она оставила меня на месте и пошла к девушке. Я видел, что они о чем-то серьезно говорили. Оливия говорила ей, что Жорж поссорился с Бербой и хочет жениться на ней — служанке. Деревенская красавица опустила глазки и стояла так, пока я не подошел к ней совсем близко. Увидев вдруг чужое лицо, она громко вскрикнула и пустилась бежать. Оливия велела мне догнать ее и удержать, чтобы она не вошла в дом и не наделала шума, а сама пошла посмотреть, что поделывает отец. По дороге Оливия встретила работника, который ухаживал за служанкой, а я тем временем догнал девушку и удержал ее. «Подумай-ка, какое счастье,—вскричала Оливия.—Дело с Бербой расстроилось, и Жорж женится на Лизе». «Я давно уже так думал», отвечал добряк и остановился в досаде.

Я объяснил девушке, что мы хотим только подшутить над отцом. Мы погнались за парнем, который повернул назад и хотел удалиться; но девушка позвала его, и он, узнав в чем дело, также был очень смешон. Мы все вместе вошли в дом. Стол был накрыт, и отец был уже в комнате. Оливия, став впереди меня, взошла на порог и сказала: «Отец, согласен ли ты, чтобы Жорж сегодня обедал с нами? Только позволь ему остаться в шляпе». «Пожалуй,—отвечал старик, — только к

чему это необыкновенное требование? Что он—ушибся, что ли?» Она вывела меня вперед, как я был, в шляпе. «Нет,—сказала она, вводя меня в комнату,—но у него под шляпой целый выводок птиц; если они вылетят, то наделают дьявольской тревоги—это все бедовые птицы». Старик не рассердился на эту шутку, хотя не знал, к чему она. Вдруг она сняла с меня шляпу, раскланялась и потребовала, чтобы я сделал то же. Старик посмотрел на меня, узнал меня, но сохранил свое пасторское спокойствие. «Ай, ай, господин кандидат,—сказал он, погрозив мне пальцем,—вы быстро пересели в другое седло, и я в одну ночь потерял помощника, который еще вчера так услужливо обещал мне иногда произносить за меня еженедельную проповедь».

Затем он рассмеялся от сердца, поздоровался со мною, и мы уселись за стол. Моисей пришел гораздо позже; как избалованный младший член семьи, он привык пропускать обеденный колокол. Кроме того, он мало обращал внимания на общество, даже когда отвечал. Чтобы вернее обмануть его, меня посадили не между сестрами, а на конце стола, где иногда сидел Жорж. Войдя позади меня в дверь, он хлопнул меня по плечу и сказал: «Доброго аппетита, Жорж». «Спасибо, юнкер», отвечал я. Чужой голос, чужое лицо испугали его. «Что ты скажешь,—воскликнула Оливия:—разве он не похож на своего брата?» «Да, сзади, как все люди», отвечал Моисей, который быстро овладел собою. Он более не смотрел на меня и занимался только тем, что усердно поедал пропущенные им блюда. Затем он по временам вставал, когда хотел, и ходил зачем-то в сад и во двор. После обеда вошел настоящий Жорж и еще более оживил сцену. Его хотели поддеть с точки зрения ревности и внушить ему, что он в моем лице создал себе соперника; но он был, при всей своей скромности, достаточно ловок и сумел в довольно смутных словах так перепутать себя, свою невесту, своего двойника и обеих барышень, что в конце концов нельзя было разобрать, о ком идет речь. Ему дали стакан вина и кусок его собственного пирога, который он и съел с удовольствием в полном покое.

После обеда зашла речь о прогулке, совершать которую в крестьянском платье мне было, однако, неудобно. Девушки, еще утром узнав, кто убежал от них так поспешно, вспомнили, что в шкафу висит очень хорошая бекеша одного родственника, в которой он ходит на охоту, когда бывает здесь. Но я отклонил это разными шутками, в глубине души из суетного чувства, не желая портить фигурою родственника хорошее впечатление, произведенное мною в виде крестьянина. Отец удалился, чтобы соснуть после обеда; мать была занята хозяйством,

как всегда. Мой приятель предложил мне рассказать им что-нибудь, на что я сейчас же согласился. Мы отправились в просторную беседку, и я рассказал им сказку, которую впоследствии записал под заглавием «Новая Мелузина» [279]). Она относится к «Новому Парису», приблизительно, как юноша к отроку, и я привел бы ее здесь, если бы не боялся повредить причудливою игрою фантазии той сельской действительности и простоте, которая так отрадно нас здесь окружала. Словом, мне удалось достигнуть того, что вознаграждает автора и рассказчика подобных произведений,—возбудить любопытство слушателей, навести их на преждевременное размышление о непроницаемых загадках, обмануть их ожидания, сбить с толку, заменяя странное еще более странным, возбудить сострадание и страх, внушить им заботу, растрогать и, наконец, обратив кажущуюся серьезность в остроумную и веселую шутку, удовлетворить душу, воображению оставить материал для новых картин, а уму—для дальнейшего размышления.

Если в будущем кто-нибудь прочтет эту сказку в печати и усомнится, чтобы она могла произвести подобное действие, то пусть он подумает, что человек, собственно, призван лишь к тому, чтобы действовать в настоящем. Письмо, это—злоупотребление языком; чтение про себя—печальный суррогат речи. Человек оказывает все доступное ему влияние на другого человека своей личностью; молодость сильнее всего влияет на молодость; и таким образом возникают самые чистые влияния. Именно они-то и оживляют мир и не дают ему вымереть морально и физически. Я унаследовал от своего отца известную наставительную словоохотливость, а от матери—дар весело и с силою изображать все, что может создать и охватить сила воображения, умение освежать известные уже сказки, придумывать и рассказывать новые, придумывать даже во время рассказа. Благодаря отцовскому наследию я часто становился неудобен в обществе, ибо кому охота выслушивать чужие мнения и взгляды, особенно от юноши, суждения которого, при его неопытности, всегда являются несовершенными. Мать же моя, напротив, превосходно одарила меня для повествования в обществе. Самая пустая сказка имеет уже большую привлекательность для воображения, и самое незначительное содержание с благодарностью воспринимается умом.

Такими рассказами, которые мне ничего не стоили, я приобретал любовь детей, возбуждал и забавлял молодежь и привлекал к себе внимание старших лиц. Только в обществе, каким оно обыкновенно является теперь, я вскоре должен был бросить подобные занятия, вследствие чего потерял много наслаждений жизни и свободных требований духа; однако оба эти

родительские дара сопровождают меня всю жизнь в соединении с третьим—с потребностью выражаться образами и сравнениями. В виду этих свойств, которые глубокомысленный и остроумный доктор Галль [280]) признал во мне на основании своего учения, он уверял, что я, собственно, рожден быть народным оратором. Я немало был испуган этим откровением, потому что если оно действительно было основательно, то, не имея никаких речей к моему народу, я должен был бы считать все прочее, что мог предпринять, плодом ошибочного призвания.

Перевел с немецкого
Н. А. Холодковский.

ПРИМЕЧАНИЯ К «ПОЭЗИИ И ПРАВДЕ» ГЁТЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ. КНИГА ШЕСТАЯ

В книге шестой излагается история 1765 года вплоть до отъезда Гёте в Лейпцигский университет.

К странице 7.

1) Личность этого гувернера и друга до сих пор осталась невыясненной. Но зато найден ряд документов, доказывающих, что Гёте пользовался значительно большей свободой в эти печальные для него месяцы, чем можно было бы предположить на основании его автобиографии.

2) Отношение Гёте к Гретхен были очень чистыми, и он сам говорит о братской любви к ней.

К странице 8.

3) См. предыдущую книгу.

К странице 10.

4) Дариес—эклектик и противник Вольфа, автор «Метафизики», вышедшей в 1766 году в Иене.

5) «Маленький Брукер» — извлечение из большого семитомного сочинения того же автора «Вопросы по истории философии».

6) Философ стоической школы, родившийся в 50 году после р. Х.

К странице 11.

7) Это был большой лес на левом берегу Майна. Тацит — римский историк, описавший впервые нравы германцев. Среди родных лесов Гёте впервые стал рисовать с натуры,— занятие, чрезвычайно любимое им до глубокой старости.

К странице 14.

8) Описываемая здесь экскурсия охватывала живописнейшие места в окрестностях Рейна.

К странице 16.

9) О сестре своей Корнелии Гёте повествует еще далее в 18-й книге «Поэзии и правды». Трудно угадать, о каком романе, изображающем характер его сестры, говорит здесь Гёте. Что касается романов Ричардсона, то здесь приходится, главным образом, иметь в виду «Клариссу». («The history of Clarissa Harlowe in a series of letters. 1748. 8 vols).

К странице 18.

10) Весь этот эпизод нужно отнести к более позднему времени. Друг Корнелии был англичанин, некто Карл Лэбтон. Она познакомилась с ним осенью 1768 года.

11) Также к более позднему времени должны быть отнесены и те приятные прогулки, в которых принимала участие его сестра Корнелия. Повидимому, они совершались лишь по возвращении Гёте из Лейпцига. В 1765 году Корнелии было всего 14 лет, и едва ли она могла, при строгости, царившей в доме Гёте, принимать участие в таких пикниках и развлечениях.

К странице 19.

12) Оратором был некто Бернгард Креспель, молодой человек, незадолго до того возвратившийся из Парижа.

К странице 22.

13) Горн впоследствии учился вместе с Гёте в Лейпцигском университете. Это был человек очень веселого нрава и весьма разнообразных талантов. Он был также поэтом и пробовал свои силы в комикогероическом эпосе, по всей вероятности затрогивавшем местные происшествия.

К странице 23.

14) Знаменитая поэма англичанина Попа была переведена на немецкий язык женой немецкого историка литературы Готтшеда и породила целый ряд подражаний. О Цахариэ см. ниже. Поэма Леве написана в 1765 г.

К странице 24.

15) О маленьком Гоппе упоминается в примечаниях к первой части «Поэзии и правды».

16) «Исагоге» Гесснера служила введением в классическую филологию.

17) Моргоф, ученый XVII столетия, проложил своим «Полигистором» путь к изучению истории литературы.

18) Из философского словаря великого скептика Бэйля Гёте впервые почерпнул сведения о философии Спинозы, имевшей такое глубокое влияние на него.

К странице 25.

19) Лучшие немецкие поэты XVIII столетия.

20) Гёте уделял в это время гораздо больше сил поэтическому творчеству, чем это можно заключить на основании его автобиографии. К 1765 году относится его прекрасная ода о «Сошествии Христа во ад», созданием которой он обязан влиянию госпожи фон-Клеттенберг, подруги его матери. Кроме того, в автобиографических заметках Гёте мы находим упоминание о нескольких до нас не дошедших драматических опытах, задуманных под впечатлением первого знакомства с французским театром. Фраза Гёте «я отбросил мысль об юридических занятиях» вполне подтверждается также и письмом его из Лейпцига, адресованным Ризе, а также и стихами автобиографического содержания, относящимися к последним годам его пребывания во Франкфурте. Гёте поддерживал с Ризе оживленную переписку за все время своего пребывания в Лейпциге.

К странице 26.

21) Иоганн Август Эрнести (1707—1781) — выдающийся немецкий филолог, учитель Лессинга.

К странице 29.

22) Лейпциг во времена пребывания Гёте имел приблизительно такое же число жителей, как и Франкфурт. Так же, как и родной город Гёте,

Лейпциг носил наполовину средневековый характер, был окружен стеной и рвом. Старинное зданне, носившее название «Фейеркугель» (то-есть «огненный шар»), находилось между старым и новым рынком. Гёте снимал здесь у одной старушки, вдовы лейпцигского купца, две комнаты в первом этаже. Соседом Гёте был некто Лимпрехт, бедный богослов, получавший стипендию от одного из лейпцигских профессоров. Впоследствии Гёте, уже после переезда в Страсбург, также оказывал ему некоторую материальную поддержку.

23) Первые лекции в Лейпцигском университете Гёте слушал 21 октября, как сообщает он в письме к Ризе. То были лекции Эрнести и Беме. Беме занимал кафедру истории и был учеником Маскова, автора первой научной критической истории Германии.

24) Христиан Геллерт (1715 — 1769) — немецкий поэт-автор популярных басен и назидательных рассказов, а также духовных од. Он был с 1751 года профессором изящной словесности в Лейпциге. Кроме лекций Геллерт руководил еще практическими занятиями, заключавшимися «в немецких и латинских упражнениях по выработке разума и стиля».

К странице 30.

25) Автор библиографической работы о немецкой литературе (1752).

К странице 31.

26) Эти мысли Гёте развивает также в знаменитой сцене Мефистофеля и ученика в «Фаусте».

27) Кроме лекций по юриспруденции, философии и истории Гёте слушал еще лекции по физике и особенно по интересовавшей его области электричества у профессора Винклера. О последнем он упоминает в своем «Учении о цветах».

К странице 33.

28) Для истории немецкого языка оказалось чрезвычайно важным то обстоятельство, что Гёте в юношеском возрасте попал в Лейпциг, который в этот период являлся главным немецким литературным центром. Без стройной школы, пройденной у Геллерта, язык Гёте не приобрел бы характера общеобязательности для всей Германии.

29) Гейлер фон-Кейзерсберг—проповедник XV столетия, отличавшийся чрезвычайно остроумным способом выражения.

К странице 34.

30) Фридрих Вильгельм Цахариэ (1726 — 1777) — автор комического эпоса «Хвастун», осмеивавшего нравы немецкого студенчества XVIII столетия.

К странице 36.

31) «Поэты по моде» Вейссе — 1751 год — являются литературной сатирой на Готтшеда (о котором см. ниже).

32) Морус был тогда профессором греческого и латинского языков.

К странице 37.

33) Эрнести — профессор ораторского искусства — считался одним из лучших филологов своего времени. Он читал свои лекции, как и большинство других профессоров, на латинском языке.

К странице 38.

34) В письме к своей сестре Корнелии от 27 сентября 1766 года Гёте заявляет, что он навсегда отказался от мысли сделаться поэтом. «Вал-

тазар, Изабелла, Руфь, Селима и пр. могли искупить свои юношеские грехи лишь на костре. Туда же отправил я и Иосифа за его вечные молитвословия». Таким образом во время лейпцигского аутодафе на кухонном очаге погиб ряд драматических набросков, знакомство с которыми могло бы оказать величайшую услугу современному исследователю творчества юного Гёте.

КНИГА СЕДЬМАЯ

Эта книга касается главным образом первых поэтических работ самого Гёте. Излагаются события за 1766 и 1767 год. В биографической схеме, набросанной Гёте, он упоминает лишь о тех своих поэтических опытах, которым придавал серьезное художественное значение.

К странице 39.

35) Главным историко-литературным источником для Гёте служили сочинение Эйхгорна «История литературы от ее начатков до настоящего времени» и «Руководство к истории литературы» Вахлера (4 тома 1804).

К странице 40.

36) Иоганн Христоф Лисков (1700--1760), немецкий сатирик, отличавшийся резкостью своих нападок, но вместе с тем и широтой своих философских взглядов.

37) Готлиб Вильгельм Рабенер (1714 — 1771). Характеристика Гёте дает исчерпывающее представление о его литературном значении.

К странице 42.

38) «Критическое искусство поэзии» Готтшеда вышло в 1730 г. под следующим заглавием: «Опыт критического искусства поэзии для немцев, в коем, во-первых, показываются всеобщие правила поэзии, а затем рассматриваются особые виды стихотворений, а также приводятся необходимые примеры, повсюду же доказывается, что истинная сущность поэзии есть подражание природе. Вместо введения здесь переведено поэтическое искусство Горация на немецкие стихи». Это заглавие вполне определяет содержание книги, не лишенной и поныне известного интереса, благодаря хорошему подбору примеров из произведений немецких поэтов XVII столетия.

39) Под «швейцарцами» Гёте разумел кружок цюрихских писателей, образовавших, под главенством Якова Бодмера, в начале XVIII столетия общество для изучения немецкого языка и литературы. Этот кружок повел страстную борьбу против лейпцигского «литературного тирана» Готтшеда, пытавшегося установить неограниченное господство французских литературно-эстетических правил.

40) Иоганн Яков Брейтингер (1701—1776) — швейцарский богослов и литературный критик. Совместно с Бодмером он издал следующее сочинение: «Критическое искусство поэзии, в котором исследуется поэтическая живопись в отношении ее изобретательности с многочисленными примерами. Предисловие Иоганна Якова Бодмера». В этом сочинении Брейтингер всесторонне исследует вопрос о значении живописного начала в поэзии и устанавливает положение, что поэзия есть по существу своему искусство живописующее. Разбору басен Эзопа Брейтингер уделяет в этом своем исследовании свыше ста страниц.

К странице 43.

41) Магнус Готфрид Лихтвер (1719—1783)—переводчик Эзоповых басен и один из лучших немецких баснописцев.

42) Иоганн Яков Бодмер (1698 — 1783), швейцарский литературный критик и переводчик «Потерянного рая» Мильтона, издал совместно с Брейтингером ряд критических работ, касавшихся, главным образом, вопросов литературной эстетики. Его полемика против Готтшеда знаменует собою начало нового движения в немецкой литературе.

43) Стихотворение Кенига (1688 — 1744), необычайно многословное и лишенное каких бы то ни было поэтических достоинств.

К странице 44.

44) Иоганн Христиан Гюнтер (1695—1723)—один из замечательнейших немецких поэтов начала XVIII столетия, оцененный впервые Гёте. Гюнтер погиб от пьянства. Инцидентом, на который намекает Гёте, было появление Гюнтера в пьяном виде при дворе Августа II. Его соперник фон-Кениг, автор упомянутого выше стихотворения «Веселый лагерь при Мюльберге», или «Август в лагере», гораздо более соответствовал требованиям, предъявляемым к стихотворцу, нанятому специально для льстивых придворных поэм.

К странице 45.

45) Иоганн Георг Шлоссер, впоследствии зять Гёте, был с 1762 года адвокатом во Франкфурте.

46) Герцог Фридрих Евгений Вюртембергский командовал драгунским полком в Трептове (Померания). Не он, а брат его Людвиг состоял в переписке с Руссо и получил в ответ цитируемую Гёте фразу. Внучкой Фридриха Евгения была принцесса София Доротея, впоследствии жена Павла I. Воспитателем к ней приглашен был Шлоссер. Шлоссер, однако ж, оказался неподходящим для этой должности и через год возвратился обратно во Франкфурт, где продолжал заниматься адвокатурой.

47) Шлоссер во время своего пребывания в Лейпциге жил у виноторговца Шенкопфа, у которого обычно останавливались приезжие из Франкфурта. С семьей Шенкопфа Шлоссер познакомил и Гёте, что имело, как мы увидим далее, некоторое значение в его биографии.

К странице 46.

48) «Анти-Поп, или опыт о естественном человеке вместе с прозаическим переводом опыта о человеке Попа» вышел только в 1776 году.

49) Иоганн Христоф Брейткопф — основатель большой издательской фирмы.

50) Имя Готтшеда часто повторяется на страницах седьмой книги «Поэзии и правды» Гёте, что дает нам основание несколько подробнее остановиться на его роли в немецкой литературе XVIII столетия. Иоганн Христоф Готтшед (1700 — 1766) был человеком выдающейся энергии и поставил себе целью произвести реформу немецкого языка и литературы, а также создать немецкий театр. Однако, при всех своих национальных устремлениях, Готтшед считал правила, установленные Буало, незыблемой основой литературной эстетики и всячески пропагандировал французскую литературную эстетику. В 1730 году он издал наиболее важную свою работу—«Опыт критического искусства поэзии для немцев», создавшую ему большую популярность. За этим «Опытом» последовали: «Начало немецкого словесного искусства» в 1748 году, «Немецкая сцена, согласно правилам и примерам древних» 1742 — 1745, «Материалы для критической истории ораторского искусства» 1732 — 1744, «Необходимый запас для истории немецкого драматического искусства» 1757. Гёте дает окарикатуренный портрет Готтшеда. Такие же карикатурные наброски Готтшеда он делает в шуточных стихотво-

рениях, описывающих его профессорские лекции. (Письма к Ризе с 30 октября по 6 ноября 1765 года). В данном случае Гёте явился выразителем взглядов молодого поколения, относившегося весьма скептически к литературному авторитету Готтшеда.

К странице 47.

51) Это были уроженцы города Риги: братья Ольдерогге, курляндец Ливен, сын русского генерала, и некто Бергман, богослов, с которым Гёте впоследствии имел дуэль. Эта дуэль произошла по следующему поводу. Гёте, выходя из театра, в сознании своего превосходства старого студента над новичками, бросил пренебрежительное замечание по адресу своего молодого коллеги. Последний потребовал удовлетворения, и во время дуэли ранил Гёте в плечо.

52) Сын главного проповедника Германа был на шесть лет старше Гёте и готовился в это время к докторскому экзамену.

53) Иоганн Веньямин Пфейль был автором довольно популярного в свое время романа «Граф фон-По», Кребель — издателем обширного руководства для путешественников по Европе.

54) Фальстаф — хвастливый герой шекспировской комедии.

55) В семье Шенкопф Гёте начал столоваться летом 1766 года.

К странице 48.

56) «Минна фон-Барнгельм», комедия, «Эмилия Галотти», трагедия, — два важнейших драматических произведения Лессинга.

57) Христиан Мартин Виланд (1733—1813)—один из крупнейших немецких поэтов XVIII столетия. В раннем периоде своего литературного творчества он следовал образцу Клопштока, вдохновляясь религиозными темами. В начале 60-х годов он, однакож, изменил свое направление и как-раз во время пребывания Гёте в Лейпциге выпустил роман «Дон Сильвио», написанный в подражание Дон-Кихоту, вслед за ним весьма вольные по своему содержанию комические рассказы, а затем в 1766 году «Историю Агафона», которую Лессинг считает одним из лучших произведений XVIII столетия по классической законченности. Героико-комическое стихотворение «Идрис» впоследствии было сожжено в Геттингене за безнравственное якобы содержание. «Музарион» открывает собою цикл новых произведений Виланда, содержавших его философию грации.

58) Герстенберг (1737—1723)—немецкий писатель эпохи «бурь и натиска», прославившийся своей трагедией «Уголино» на известный эпизод из Данте. В начале 60-х годов Герстенберг выпустил сборник стихотворений в античном роде.

59) Людвиг Вильгельм Глейм (1719—1803)—автор «Военных и победных песен прусского гренадера», завоевавших ему большую популярность. Стихотворения эти воспевают эпизоды Семилетней войны и отличаются большой правдивостью и теплотой выражения.

60) Карл Вильгельм Рамлер (1725—1798) — поэт, по преимуществу описывавший подвиги Фридриха Великого.

К странице 49.

61) Художник — учитель рисования Гёте.

62) Фаниас Тимон — выразитель радостного миросозерцания Виланда в его торжественной игре «Музарион».

К странице 50.

63) Саломон Гесснер (1730 — 1783) — немецкий автор идиллий, приобретший всеевропейскую известность и особенно ценимый во Франции.

64) «Ноахида» Бодмера вышла в 1765 году.

65) Выражение «анакреонтическое пустозвонство» направлено здесь против Глейма, которого современники называли немецким Горацием.

66) «Виргилии и Мильтоны» — Клопшток и Бодмер.

К странице 51.

67) Под школьной философией Гёте разумеет философию Вольфа, вытесненную впоследствии Мендельсоном. Против «здравого смысла», пропагандистом которого являлся Николаи в своей «Библиотеке», Гёте выступал неоднократно, стараясь указать ему подобающее место.

68) Библию Гёте, при всей своей вражде к догматизму, ставил очень высоко. Его художественные произведения и письма свидетельствуют о превосходном знакомстве с библейским текстом. «Библия»,—пишет Гёте в своих афоризмах,—«вечная книга, ибо, пока существует мир, никто не скажет: я понимаю ее в целом и знаю в деталях. Мы же скажем более скромно: это глубоко нами чтимая книга в целом и в отдельности».

К странице 52.

69) Михаэлис — выдающийся богослов в Геттингене, составитель арабско-еврейской грамматики и автор тринадцатитомного введения в ветхий завет.

К странице 53.

70) «Почтенный Бенгель» — глава южно-немецкого пиетизма, борец против религиозной ортодоксии.

71) Крузиус был первым ученым последователем пиетизма, занимавшим во времена Гёте кафедру богословия в Лейпцигском университете.

72) Эрнести и его школа являются основателями филологического исследования библии.

73) Иерузалем, Цолликофер и Спальдинг — популярные проповедники второй половины XVIII столетия.

74) Тиссо—уроженец французской Швейцарии, опубликовал ряд сочинений по медицине и общественной гигиене, получивших большое распространение в XVIII веке.

75) А. Галлер (1708—1777) — швейцарский физиолог и поэт.

76) Унцер — врач в Гамбурге, редактор медицинского журнала.

77) Циммерман — весьма известный в свое время врач в Ганновере.

К странице 54.

78) О младшем из братьев Мозеров упоминалось уже в примечаниях к первой части.

79) Пюттер — государствовед, опубликовавший в 1753 году краткий очерк германского государственного устройства. Пюттер считался одним из главных авторитетов немецкой юриспруденции XVIII столетия.

80) Моисей Мендельсон (1729—1786) — знаменитый немецкий философ, друг Лессинга. Х. Гарве (1742—1798)—профессор в Бреславле, автор сочинения по эстетике и педагогике.

81) При составлении своей автобиографии Гёте внимательно пересмотрел упомянутые здесь журналы. Его скептическое отношение к «Литературным письмам» (1759—1785, 24 выпуска) объясняется отчасти тем, что с седьмого выпуска Лессинг, бывший их деятельным сотрудником, прекратил свое участие в этих письмах.

82) Эвальд фон-Клейст (1715 — 1759) — (не смешивать с драматургом Генрихом Клейстом) — автор прекрасных лирических стихотворений. Его стихотворения отличались обилием поэтических образов.

К странице 55.

83) Сады, окружавшие Лейпциг и когда-то придававшие этому городу романтический характер.

84) Аннета (Кетхен) фон Шенкопф (1746 — 1810). Имя этой девушки упоминается здесь впервые без указания ее фамилии.

85) Любовью к ней вдохновлен был ряд стихотворений Гёте в период 1767—1769.

86) Плейсе — небольшая река, протекающая близ Лейпцига.

К странице 56.

87) «Военные песни» Глейма Гёте всегда ставил очень высоко и находил, что военная лирика Наполеоновской эпохи не может быть сравнена с этим образцом поэзии XVIII столетия.

88) Фридрих Великий высказался весьма резко о драме «Гец фон Берлихинген» Гёте, что, однако ж, ничуть не помешало последнему проявить полную объективность в оценке литературных симпатий Фридриха Великого.

К странице 57.

89) «Минна фон Барнгельм», комедия Лессинга, вышла в свет отдельной книгой весной 1767 года и 18-го ноября того же года была исполнена впервые в лейпцигском театре. Пьеса шла также и в любительской постановке, при чем Гёте исполнял роль вахтмистра.

К странице 58.

90) Из числа этих мелких стихотворений в форме песен Гёте опубликовал лишь немногие в сборнике с мелодиями Б. Т. Брейткопфа.

91) В 1894 году была найдена рукописная тетрадь песен Гёте, посвященная Аннете (см. прим. 85). Находка эта проливает новый свет на лейпцигский период в поэтическом творчестве Гёте.

92) Увлечение ею у Гёте продолжалось два года, до возвращения его во Франкфурт. Катарина Шенкопф вышла впоследствии замуж за некоего доктора Канне, которого Гёте сам ввел в дом ее родителей. В семье Шенкопф юный Гёте нашел радушный прием и тот домашний уют, которого ему недоставало в Лейпциге.

К странице 59.

93) Песни поэта Цахариэ сопровождались мелодиями, им же сочиненными. Они появились в 1760 году, в виде отдельного сборника.

94) Одноактная комедия молодого берлинского писателя Христиана Крюгера (1722—1750), весьма популярная в свое время.

95) О ревнивых выходках Гёте неоднократно упоминает в своих письмах, впрочем, несколько в преувеличенном виде, чтобы придать, как он сам признавался, своей страсти к Аннете более поэтический характер.

96) «Лучшие годы» (1768—1769).

97) «Другая парочка» — Констанция Брейткопф и Горн, уже упомянутый нами друг Гёте.

98) Пастораль «Каприз влюбленного» написана в 1767 — 8 году.

К странице 60.

99) «Совиновники» были закончены в 1769 году во Франкфурте. В этой пьесе чувствуется явное влияние Лессинга.

100) Кроме названных пьес, в письмах Гёте упоминается еще о начатой трагедии «Валтазар» и неоконченном переводе «Лжецов» Корнеля.

К странице 61.

101) Среди этих студенческих проказ особенно часто практиковались всяческие маскарадные переодевания. Продолжением этих лейпцигских «сюит» являлись веселые маскарады в Веймаре.

102) Комедии Бомарше «Женитьба Фигаро» и «Севильский цирюльник» имели успех, однако ж не вследствие примененных в них переодеваний, а благодаря своим чрезвычайно резким нападкам на дореволюционный порядок во Франции.

103) Опера франко-итальянского композитора Керубини (1800). Либретто этой оперы построено на рассказе о бегстве графа Армана, которому угрожала гильотина, из Парижа в бочке водовоза.

К странице 62.

104) Госпожа Беме, жена профессора, принимавшая такое близкое участие в судьбе юного студента, скончалась 17 февраля 1767 года.

К странице 67.

105) Лекции Геллерта получили всемирную известность. Он умер в 1769 году, не закончив подготовку к печати своих лекций по моральной философии.

К странице 69.

106) Бериш скончался как-раз в тот год, когда Гёте приступил к составлению своей автобиографии. Его письма вновь попали к Гёте лишь в 1817 году, то-есть после окончания «Поэзии и правды». Письма эти вместе с письмами к сестре составляют главнейший источник для жизнеописания Гёте в лейпцигскую пору. О Берише и его забавных выдумках Гёте часто вспоминал в беседах с Экерманом.

К странице 70.

107) Этот сборник был найден в 1894 году и ныне опубликован в 37-м томе веймарского полного собрания сочинений Гёте.

К странице 72.

108) Иоганна Иоста Текстора, женившегося 17 февраля 1766 года. Текстор был видным адвокатом во Франкфурте.

К странице 73.

109) Оды Рамлера были полны патриотического пафоса. Но именно их патетический тон и вызвал целый ряд пародий. Тем более ироническое отношение к себе вызывали оды Клодиуса, слабого подражателя Рамлера.

110) Кроме од, Клодиус (1738—1784) был известен также рядом драматических произведений, из коих пьеса «Медон», или «Месть мудреца», появилась в 1767 году.

К странице 74.

111) Кронегк (1731—1759), поэт середины XVIII столетия, и Рост (1717—1765), берлинский журналист, выступали с нападками на Готтшедта.

К странице 76.

112) Число офицеров, «уволенных в отпуск» после Семилетней войны, было очень велико, и тип отставного офицера становится очень частым в литературных произведениях того времени.

КНИГА ВОСЬМАЯ

Книга восьмая содержит изложение событий за 1768 и 1769 год.

К странице 78.

113) Гёте учился у Эзера (см. выше) около двух лет, развивая свой природный талант к рисованию. Отзывы современников рисуют Эзера как человека даровитого, но лишенного выдержки и едва ли обладавшего законченной техникой. Благодаря Эзеру Гёте познакомился с учением о красоте Винкельмана, который может быть назван одновременно и учеником, и учителем Эзера. Письма Гёте к Эзеру из Франкфурта были полны глубокой благодарности за то, что последний развил не только руку, но и душу молодого Гёте. Особенно важным для дальнейшего развития Гёте оказалось, что Эзер был горячим сторонником эстетических воззрений Винкельмана, возымевших столь большое значение (смотри ниже) для его собственного художественного мировоззрения.

К странице 79.

114) Гейзер — гравер на меди, зять Эзера.

К странице 80.

115) Этот театр открыт был 6 октября 1766 года. Гёте написал по поводу этого открытия небольшую статью, которую сначала предполагал включить в текст «Поэзии и правды», но впоследствии оставил ненапечатанной. В нашем сочинении статья эта включена в дополнительный биографический материал «Поэзии и правды».

116) Описание этого занавеса вполне совпадает с описанием «Открытия нового театра в Лейпциге», 1766. Кроме Софокла и Аристофана, как представителей комического и трагического искусства, на занавесе изображен был целый ряд греческих и римских драматургов и их «немецких и французских подражателей».

117) Гёте не мог читать вслух Эзеру «Музариона» Виланда, так как последний вышел только в 1768 году. Вероятно, Гёте имел в виду исполнение Эзером декораций к постановке различных пьес во вновь открытом театре.

118) О педагогическом таланте Эзера свидетельствует та большая популярность, которую он завоевал себе в качестве директора Лейпцигской художественной академии.

К странице 81.

119) Книга «Жизнь живописцев» д'Аржанвиля была переведена на немецкий язык в 1767—68 годах. Первые две части ее, о которых говорит Гёте, содержали биографии испанских и итальянских живописцев.

К странице 82.

120) Граф Кайлюс, автор иллюстраций к Гомеру и Виргилию, остался в воспоминании потомства благодаря «Лаокоону» Лессинга.

121) Лейпцигский профессор Крист, выдающийся археолог, был учителем Лессинга. По своим воззрениям он близко подходил к Винкельману.

122) Гейнеке — директор дрезденской галереи и художественных кабинетов — выступал, напротив того, с полемикой против Винкельмана, противопоставляя его увлечению античностью красоту старо-немецкого искусства.

123) Липперт, профессор античного искусства, выпустил в 1768 году работу о греческих камеях. Он считался лучшим знатоком древнего искусства в Дрездене. Под его влиянием во второй половине XVIII столетия стали усердно собирать камеи и гипсовые слепки, и Гёте на всю жизнь сохранил интерес к такого рода коллекционерству.

К странице 83.

124) «Лаокоон» Лессинга вышел в свет в 1766 году. Письма Гёте датированные ближайшими двумя годами, свидетельствуют о том, что он внимательно изучил «Лаокоона».

125) Выражение, заимствованное из одного послания Горация.

К странице 84.

126) Трактат Лессинга «Как древние изображали смерть» появился в 1769 году, но уже в одном из примечаний к «Лаокоону» Лессинг затрогивает этот вопрос.

127) «Менехмы» — близнецы в комедии римского писателя Плавта.

128) О времени этой поездки ничего в точности не известно. Повидимому, Гёте предпринял ее на пасху 1768 года.

К странице 85.

129) Абель — ученик Иоганна Себастиана Баха и член дрезденской придворной капеллы. Он был последним виртуозом на гамбе (инструменте из старинного семейства виол, впоследствии вытесненном виолончелью).

К странице 86.

130) Этот дрезденский сапожник, который так заинтересовал Гёте, послужил ему прообразом Ганса Закса для стихотворения «Вечный жид».

К странице 87.

131) Дрезденская галерея находилась тогда в особом помещении у Нового рынка, где оставалась до середины XIX столетия. Внутренняя галерея содержала собрание итальянских картин, в том числе Сикстинскую мадонну, а внешняя — произведения нидерландских художников.

К странице 89.

132) Голландский художник Скалькен (1743—1706).

133) Все пребывание Гёте в Дрездене продолжалось двенадцать дней.

134) Во время осады Дрездена в 1760 году.

К странице 90.

135) Знакомство с семьей Брейткопф Гёте свел уже с первого года своего пребывания в Лейпциге. Он был вхож в дом Иоганна Брейткопфа, изобретателя подвижных нотных типов. Сын Иоганна, Бернгард Теодор, оказался первым композитором, написавшим музыку на гетевские тексты. Сборник Брейткопфа под заглавием «Новые песни с мелодиями Бернгарда Теодора Брейткопфа» вышел в свет изданием отца его в 1770 году. Бернгард Кристоф Брейткопф переселился впоследствии в Петербург, где служил в Сенате и умер в чине статского советника в начале 30 годов XIX столетия. По поручению нынешнего владельца фирмы Брейткопф и Гертель, автор настоящих примечаний наводил справки о деятельности Бернгарда Кристофа в Петербурге и об его службе в Сенате.

К странице 91.

136) Композиции Брейткопфа были первыми музыкальными переложениями стихотворений Гёте, впоследствии сыгравших такую важную роль в истории немецкого романса.

137) Доктор Рейхель пользовался славой искусного врача; он был впоследствии профессором медицинского факультета.

138) Она вышла замуж за Кернера, друга Шиллера, и была матерью поэта Теодора Кернера.

К странице 92.

139) Несколько гравюр Гёте дошли до нас, и две из них, между прочим, воспроизведены среди иллюстрационного материала популярной биографии Гёте Гейнемана.

140) Александр Тиле (1747 — 1803) — дрезденский придворный живописец.

141) Христиан Феликс Вейсе (1726—1804) — переводчик Шекспира во второй половине XVIII столетия — завоевал себе крупное имя, как драматург.

142) Иоганн Адам Гиллер (1728—1804) — весьма популярный композитор, писавший музыку к пьесам Вейсе.

143) Даниил Шибелер (1741—1771) — автор многочисленных либретто и романсов, на которые преимущественно музыку писал Гиллер.

144) Эшенбург, друг Шибелера, впоследствии издатель его стихотворений.

145) Цахариэ (см. выше) находился тогда на вершине своей славы и являлся в глазах современников лучшим поэтом Германии.

146) Лессинг приехал в Лейпциг в мае 1768 года прославленным автором «Лаокоона» и «Минны фон Барнгельм». Гёте легко было бы встретиться с ним у Вейсе, но по непонятным психологическим причинам он старался избегать знакомства с Лессингом, которое могло бы иметь чрезвычайно важное значение для его дальнейшего художественного развития.

К странице 93.

147) Против профессора Христиана Адольфа Клоца (1738 — 1771), в свое время влиятельного критика, но человека невежественного и невысокой нравственности, Лессинг выступил с резкой полемикой.

148) Леопольд Фридрих Франц (1740—1817). Винкельман называл его образцовым принцем и человеком.

149) Этот парк устроен был в Верлице, близ Дессау.

150) Фридрих Эрдмансдорф—строитель дворца и автор проекта дворца и парка в Верлице.

К странице 94.

151) В апреле 1768 года Винкельман уехал из Рима, но посетил только Вену и Мюнхен. 8 июня 1768 года он убит был в Триесте. Гёте почтил его память обширным очерком, законченным в 1805 году.

152) Смотри выше.

153) Болезнь Гёте заключалась в очень тяжелом страдании желудка, которому он подвержен был в течение многих лет.

154) Всю свою жизнь Гёте считал кофе с молоком особенно вредным напитком, повидимому, вследствие постоянной слабости желудка.

155) Этому совету Руссо Гёте, однако ж, продолжал следовать и в первые годы своего пребывания в Веймаре.

К странице 95.

156) Выздоровление Гёте пошло очень медленно, и он сам рассказывает, что в семью Эзера он возвратился точно покойник из могилы. Большую преданность выказал во время этой болезни его сосед по комнате, бедный богослов Лимпрехт, о котором мы уже упоминали. О своей «болезненной раздражительности» Гёте вспоминает впоследствии в письме

к нему: «Когда мне приходит на ум, каким невыносимым человеком я был последнее лето (1768 года), то я только удивляюсь, как меня могли выносить люди, но я заслуживал сожаления, ибо сам тяжело страдал».

157) То были дачи Эзера и книгопродавца Рейха. Последняя находилась на расстоянии часа ходьбы от Лейпцига по тенистой аллее. Эта аллея еще до сих пор носит название «Аллея поэта».

158) Один из приказчиков Рейха впоследствии рассказывал, что Гёте в это время производил на него впечатление «чрезвычайно чванного и надутого молодого человека».

159) Ему Гёте посвятил, между прочим, несколько своих рисунков.

К странице 96.

160) Бременский уроженец Гренинг принадлежал к тому же кругу, что и вышеупомянутый Герман. Одно время он брал вместе с Гёте уроки рисования у Эзера.

161) В семье Брейткопфов Гёте усердно занимался музыкой. Он пел, играл на клавире, на виолончели и на флейте. Последний инструмент был весьма моден в XVIII столетии.

162) Эрнст Теодор Лангер (1744—1820)—заместитель Лессинга на посту библиотекаря в Вольфенбюттеле и постоянный сотрудник «библиотеки» Николаи. Впоследствии он выступил с резкой полемикой против Гёте по поводу эпиграмм на Николаи.

К странице 97.

163) Лангер, однако, выступил впоследствии литературным противником Гёте.

164) Главк, согласно Илиаде (песнь шестая), обменял свои золотые доспехи на стальные Диомеда. Так Гёте взамен дорогого подарка получил весьма скудный духовный эквивалент.

К странице 99.

165) Под перипатетической философией разумелась философия Аристотеля. Здесь это слово применено для обозначения понятия философии вообще.

166) Студенческие беспорядки начались 12 июля 1768 года, во время ректората Беме, не популярного среди лейпцигского студенчества. 11 августа дело дошло даже до кровавого столкновения.

167) Гёте выехал из Лейпцига не в сентябре, а в конце августа 1768 года и прибыл во Франкфурт 1 сентября. Его пребывание во Франкфурте продолжалось до апреля 1770 года, то-есть более полутора лет. Этим восемнадцати месяцам пребывания во Франкфурте в автобиографии уделено всего лишь четырнадцать страниц. Действительно, этот период не богат внешними событиями, но после трехлетней студенческой поры в Лейпциге, с ее обилием внешних впечатлений и внутренних переживаний, теперь для Гёте наступило время духовного вызревания и концентрации.

К странице 100.

168) О Корнелии Гёте мы можем судить на основании ее же собственного дневника и тщательно ею хранившейся переписки. Дневник Корнелии Гёте свидетельствует о той же смеси противоположных черт, о которых говорит в настоящих строках ее брат. Возвращение Гёте как раз совпадает с тем временем, когда Франкфурт только-что покинул молодой англичанин Гарри, к которому Корнелия питала глубокое чувство. Этим и объясняется тяжелое настроение сестры Гёте, с одной стороны, и предпочтение, оказываемое ею английскому языку, с другой.

169) Лютня в XVIII веке была еще любимым инструментом домашней музыки и в этом отношении соперничала с тогда только входившим в моду фортепиано. Настройка лютни отнимала много времени, и один из тогдашних знатоков музыки в шутливой форме говорит о лютнистах, что игрок на лютне, проживший семьдесят лет, наверно 50 лет потратил на настройку своего инструмента.

К странице 101.

170) Сам Гёте жил в полной замкнутости. Прежние его франкфуртские друзья разъехались из его родного города, и самое состояние здоровья юноши, который довольно медленно оправлялся от своей болезни, заставляло его проводить большую часть времени дома. К тому же результат поездки в Лейпциг, откуда он возвратился домой, не сдав никаких экзаменов, не мог представляться отцу его удачным.

171) Фрейлейн Сусаннна Катарина фон Клеттенберг, двоюродная тетка Гёте, была душой небольшого мистически настроенного кружка. Этот кружок разделял мировоззрение немецкого пиетизма, образуя своего рода религиозное братство. В «Признаниях прекрасной души» некоторые члены кружка выведены под вымышленными именами. Через Мозера, участника братства, с последним пришли в соприкосновение философ Гамман и Лафатер.

172) См. также вступление к книге седьмой.

К странице 102.

173) Граф Николай Цинцендорф (1700—1760) — основатель братства гернгутеров.

174) «Врач и хирург», о котором говорит здесь Гёте, также упоминается в «Признаниях прекрасной души». Судя по описанию Гёте, это был, по всей вероятности, семидесятилетний франкфуртский хирург, доктор Бургграве.

К странице 103.

175) Упоминаемое здесь сочинение Веллинга вышло в свет в 1735 г. Интересно отметить, что эта книга одновременно ссылается и на библию, и на древних философов.

176) Теофраст Парацельс (1493—1541) — швейцарский врач и оккультист. Из сочинения Парацельса о «Природе вещей» Гёте мог почерпнуть сведения о получении «человека в реторте», гомункула — для второй части «Фауста».

177) Базилиус Валентинус—алхимик XV столетия.

178) Иоганн Баптист Гельмонт (1577—1644) — последователь Парацельса, ученый, открывший газы.

179) Георг Старкей—автор трактатов о приготовлении золота, умерший в 1665 году.

К странице 104.

180) Сочинение Герверда фон Форхенбрунна (1723). Название это заимствовано из восьмой песни Илиады.

181) Этот способ лечения, сильно отдающий алхимией, однако ж, был еще в полном ходу в XVIII столетии. Но вместе с тем для лечения Гёте применялись и современные средства в виде приемов хины.

182) Госпожа фон Клеттенберг.

183) Средние соли — соединение кислых и щелочных солей.

К странице 105.

184) Девственная земля — чистый песок.

185) Изучение алхимии имело важное значение в качестве подготовительного материала для будущего «Фауста».

186) Учебник химии Бургава служил единственным руководством для медиков тогдашней Германии. Учебник этот изложен был в виде отдельных афоризмов.

К странице 106.

187) До настоящего времени дошли, однако, не все из этих юношеских писем Гёте.

К странице 107.

188) Рисование было любимым занятием Гёте, которое он никогда не оставлял в своей жизни. По сообщению сестры Корнелии, он в эти годы своего пребывания во Франкфурте занимался рисованием очаровательных головок, которые затем дарил ей. Своей лейпцигской подруге, Кетхен Шенкопф, он обещал разрисовать косынку и веер.

189) Иоанн Людвиг Моргенштерн (1738 — 1819). Этот художник прибыл во Франкфурт, однако ж, в 1770 году. Указания Гёте в данном случае не совсем точны и относятся к его второму возвращению во Франкфурт.

К странице 109.

190) Перед отъездом из Франфурта Гёте вновь устроил грандиозное аутодафе своих поэтических работ. Жертвой этого аутодафе сделались ряд драматических набросков и стихотворения, переложенные Брейткопфом на музыку. Среди драматических отрывков, преданных им огню, находился небольшой фарс «Лейпцигская комедия», в котором Гёте изобразил свое пребывание в этом городе.

К странице 110.

191) «Герметические» сочинения (они были названы так по имени Гермеса Трисмегиста — греческое имя египетского бога Тота) представляют собою магические трактаты II в. по р. Х. на арабском и латинском языках.

К странице 112.

192) В этих признаниях, едва ли принадлежащих юному Гёте, причудливым образом сочетаются идеи греческих неоплатоников с учениями алхимиков.

КНИГА ДЕВЯТАЯ

В книге этой излагается история первого года пребывания Гёте в Страсбурге и описывается, главным образом, круг студентов, близкий Гёте.

К странице 113.

193) Это «замечательное место» взято из статьи геттингенского профессора Гейне (Heyne) в книге Линднера «Поучительное развлечение в овидиевых метаморфозах».

К странице 115.

194) Гёте прибыл в Страсбург 1 апреля 1770 г.

195) Из письма Гёте к одному из его лейпцигских друзей явствует, что после пребывания в Страсбурге он предполагал для окончания своего образования отправиться в Париж. Гёте выехал из Франкфурта в последних числах марта с лейпцигским своим другом Горном, который проводил его до Оффенбаха или Майнца.

196) В той же гостинице через некоторое время поселился и Гердер.

К странице 116.

197) Знакомством с этим страсбургским купцом Гёте обязан был рекомендательному письму от госпожи Клеттенберг, разделявшей те же пиетистические воззрения. Подобно своему новому знакомому, и Гёте в это время «не отделялся от церкви».

198) По фамилии Лаут.

199) Мейер был студентом-медиком старших семестров; впоследствии он переселился в Англию.

К странице 117.

200) Иоганн Даниель Зальцман был несколько моложе, чем указывает Гёте,—ему было тогда 48 лет. Он занимал должность секретаря сиротского суда.

К странице 118.

201) Этим репетитором, по всей вероятности, был некто Энгельбах, уже сдавший юридические испытания. Главной целью пребывания Гёте в Страсбурге была сдача государственных экзаменов и защита докторской диссертации, чего он не успел сделать вследствие болезни в Лейпциге. Уже через три недели после своего приезда в Страсбург он поспешил сдать первый экзамен.

202) «Большинство моих сотрапезников были медики». Среди них молодой студент Юнг-Штиллинг, чрезвычайно заинтересовавший, как мы увидим дальше, поэта.

К странице 119.

203) Яков Рейнгольд Шпильман - старший (1722 — 1783) — профессор химии и ботаники, автор многочисленных трудов по ботанике.

204) Иоганн Фридрих Лобштейн (1736 — 1784), один из самых замечательных анатомов своего времени, считался главным светилом медицинского факультета. Гёте слушал в течение зимнего семестра 1770 года лекции его в анатомическом театре. Свои впечатления, полученные на этих лекциях, Гёте использовал для описания в «Годах учения Вильгельма Мейстера».

205) Мария Антуанетта была 19 апреля 1770 года заочно помолвлена с дофином Франции. 7 мая состоялся ее въезд в Страсбург. Драгоценные обои, о которых рассказывает Гёте, были вытканы по рисункам Рафаэля и изображали деяния четырех апостолов.

206) Ей тогда было всего пятнадцать лет.

К странице 120.

207) Медея, вероломно покинутая Язоном, убила его невесту Креузу, подарив ей самовоспламеняющуюся одежду.

К странице 121.

208) Вернее принцесса, так как Мария Антуанетта тогда еще не была королевой.

209) Несчастье, о котором здесь говорит Гёте, произошло 31 мая 1770 года и повлекло за собою свыше пятисот жертв.

К странице 125.

210) Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг (1740 — 1817), уроженец Эльберфельда, мистик, врач, филантроп и политико-эконом, прославился своей автобиографией. В этой автобиографии имеется также и описание гётевского кружка в Страсбурге. Автобиография Юнг-Штиллинга повлияла также на «Поэзию и правду» Гёте.

К странице 126.

211) Особенно у госпожи фон-Клеттенберг.

К странице 127.

212) Иоганн Христиан Лерзе (1749—1800)—студент богословия; согласно характеристике Юнга, это был один из лучших людей в гётевском кругу и любимец самого Гёте. Лерзе был человеком очень благородного характера и, при всей своей скромности, обладал едким сатирическим умом. По окончании Страсбургского университета он занял место инспектора военной школы в Кольмаре. В шестидесятых годах, среди книг, принадлежавших некоему Клейну в Страсбурге, был найден экземпляр шекспировского «Отелло» геттингенского издания 1766 года, который в свое время Гёте подарил Лерзе. Надпись на обложке этого издания гласила: «Моему достойному Шекспира другу Лерзе на вечную память. Гёте». А внизу рукой Лерзе подписано: «Да будет навеки мое сердце твоим». Это посвящение Гёте часто ошибочно относилось к Ленцу, на что указал Дюнцер.

К странице 128.

213) Воздушный шар, названный так по имени своего изобретателя Жака Этьена Монгольфье. Братья Монгольфье сделали в 1783 году первый опыт пускания воздушного шара, который чрезвычайно заинтересовал Гёте.

К странице 129.

214) Зимою 1770 и 1771 года Гёте посещал лекции и клинические занятия доктора Эрмана, декана медицинского факультета.

К странице 130.

215) Легко представить себе то неудовольствие, которое царило тогда в Эльзасе. Это был период полного вырождения французской королевской власти в последние годы царствования Людовика XV. К тому же эти два года были неурожайными годами. Население Эльзаса возлагало свои надежды на молодого дофина, надежды, которым, как известно, не суждено было осуществиться.

216) Гайо не был интендантом, как ошибочно указывает Гёте, а претором, то-есть высшим гражданским чиновником, преимущественно с политическими функциями.

217) Блондель—прославленный французский архитектор, автор многочисленных сочинений о новом зодчестве.

К странице 131.

218) Эта коллегия принадлежала иезуитам вплоть до 1764 года, когда их изгнали из Эльзаса.

219) Клинглин, австриец по происхождению, был претором Страсбурга во времена Людовика XV. Он потерял расположение короля и в 1752 году был заключен в тюрьму в Безансоне, где и умер, при таинственных обстоятельствах, в 1755 году.

220) Кого разумел Гёте под именем кавалера ордена св. Людовика, до сих пор не удалось установить. По крайней мере, в воспоминаниях Шиллинга ничего не упоминается об участии такого лица в кругу сотрапезников Гёте.

К странице 132.

221) Бюзель — мелкая эльзасская монета в 12 су.

К странице 134.

222) Ментор — воспитатель Телемаха.

К странице 137.

223) Для этого описания Гёте использовал свою юношескую статью 1772 года «О немецком зодчестве», как о том и упоминается в тексте автобиографии. На ту же тему и под таким же заглавием написана им и вторая статья в 1832 году.

224) Готический стиль —французского происхождения, а не немецкого, как ошибочно полагает Гёте,—считался безвкусным, варварским.

225) Эрвин Штейбах был с 1277 года зодчим страсбургского собора. Он построил лицевую часть фасада, которая закончена была лишь в середине XIV столетия.

226) «Почившему Духу»—надпись, часто встречающаяся на поздних гробницах позднего римского времени.

К странице 139.

227) Сульпиций Буассэрэ (1783—1834) совместно с своим братом Мельхиором имели большие заслуги в деле собирания и охраны памятников старо-немецких мастеров.

228) Гёте имеет в виду работу Буассэрэ «Виды, планы, отдельные части кельнского собора» (1822).

К странице 140.

229) Старинный английский танец.

230) Музыкальная пьеса танцовального характера с аккомпаниментом из ломаных октав.

К странице 146.

231) Повидимому, это небольшая новелла, искусно вплетенная им в автобиографию, основана на личном переживании Гёте. Подобный же эпизод упоминается и в «Вертере».

КНИГА ДЕСЯТАЯ

Книга десятая является одной из важнейших частей «Поэзии и правды». Она охватывает события от начала сентября 1770 года до июля 1771 года. За это время Гёте познакомился в Страсбурге с Гердером, а в маленьком местечке Зезенгейм, близ Страсбурга, с прелестной Фредерикой Брион, сыгравшей такую значительную роль в его интимной жизни этого периода. Описание этих важных эпизодов биографии Гёте считается наиболее замечательными в художественном отношении страницами «Поэзии и правды».

К странице 147.

232) Фридрих фон-Гагедорн (1754 — 1754)—поэт, создатель популярных застольных песен.

233) Бертольд Брокес (1680 — 1747)—немецкий религиозный лирик.

К странице 148.

234) Иоганн Петер Уц (1720 — 1796) — лирический поэт, автор стихотворений в анакреонтическом роде.

235) Мария София Шмидт, воспетая в стихотворениях Клопштока под именем Фанни. Она впоследствии вышла замуж за эйзенахского купца.

236) Пребывание Клопштока в Дании продолжалось двадцать лет, с 1751—1771 год.

К странице 149.

237) «Крупный сановник», о котором говорит Гёте,—граф Бернсторф. Он устроил приглашение Клопштока в Копенгаген, когда же Бернсторф вышел в отставку, Клопшток переехал в Гамбург. Здесь он женился, несмотря на высказанное им предубеждение против второго брака, на своей давнишней подруге Иоганне фон-Винтем.

238) Иоганн Вильгельм Людвиг Глейм (1719 — 1803) занимал место каноника и одновременно секретаря соборного капитула в Гальберштадте, где его и посетил Гете в октябре 1783 г. Подробно об этом Гёте рассказывает в своих «Анналах» за 1805 год.

К странице 150.

239) Переписка между Глеймом, Вильгельмом Гейнзе и Иоганном фон-Мюллером. Цюрих 1804 — 1806, три тома.

К странице 151.

240) Гердер прибыл в Страсбург в сентябре 1770 года. Он был на пять лет старше Гёте и к этому времени уже пользовался большой известностью как литературный критик

К странице 152.

241) Описанная здесь встреча с Гердером произошла в конце сентября того же года.

242) Гердер уже давно должен был подвергнуться названной операции, но она откладывалась по разным причинам. Будучи помолвлен с Каролиной Флаксланд, уроженкой Эльзаса, Гердер воспользовался своим пребыванием в Страсбурге, чтобы окончательно избавиться от своего физического недостатка, обезображивавшего его лицо, так как Страсбург в то время славился своими замечательными хирургами.

243) Этот «симпатичный русский» Пеглов, штаб-лекарь одного из русских полков, учился на медицинском факультете в Страсбурге. Но Гёте ошибочно утверждает, что Пеглов был знаком с Гердером еще в Риге. Прежний рижский знакомый Гердера был некто Бегров, контролер рижской таможни.

К странице 153.

244) Гёте имеет в виду следующие сочинения Гердера: «О новой немецкой литературе»; «Первое собрание фрагментов, приложение к письмам, касающимся новейшей литературы», Рига 1767; «Критические леса, или рассуждения, касающиеся науки и искусства прекрасного».

245) Гердер мало упоминает о Гёте в своих письмах того времени. Лишь впоследствии, в марте 1772 года, он дает следующую характеристику юного Гёте в письме к невесте своей Каролине Флаксланд: «Гёте подлинно хороший человек, но немного легкомыслен и непостоянен, за что я постоянно осыпал его упреками. Временами он был единственным человеком, который посещал меня во время моего страсбургского пленения и которого я охотно видел у себя. Могу сказать без особого хвастовства, что внушил ему ряд добрых мыслей».

246) Полное заглавие трактата Гердера: «О происхождении языка, трактат, получивший в 1770 году премию от Берлинской Академии Наук. Издано по повелению Академии. Берлин, 1772».

К странице 154.

247) Иоганн Петер Зюсмильх опубликовал в 1766 году сочинение под заглавием: «Доказательство того, что человеческий язык божественного происхождения».

248) Этот толстый хирург был не кто иной, как вышеназванный русский—Даниил Пеглов.

249) Письма Брута к Цицерону, повидимому, служили Гердеру материалом для его драмы «Брут».

К странице 155.

250) Картины Доменико Фети (1589 — 1624), прекрасного мастера болонской школы, хранились в Дрездене. Гердер не знал дрезденской галереи, но зато хорошо знаком был с художественными сокровищами Голландии и Франции и не хотел даже допускать мысли о том, чтобы кто-нибудь мог хвалить других художников, кроме излюбленных им.

К странице 156.

251) Лоут выпустил в 1753 году на латинском языке книгу о священной поэзии евреев.

252) В письме к Гердеру осенью 1771 года Гёте сообщает: «Я привез с собою из поездки по Эльзасу двенадцать песен, которые я записал со слов местных старух».

253) Иоганн Георг Гаманн (1730—1788), писатель прозванный «северным магом», в своих сочинениях выступал противником «просветительного» направления и господства разума.

254) Эти страницы названы Гёте так вследствие очень темного и загадочного стиля Гаманна. О том же гласит одна из эпиграмм Гете.

К странице 160.

255) Жизнеописание Геца фон-Берлихингена было издано Вероном Штейгервальдом в 1731 году в Нюрнберге. С этим жизнеописанием Гёте познакомился еще до приезда в Страсбург, во время своего пребывания во Франкфурте в 1769 году.

256) Рукопись «Совиновников» Гёте привез с собой в Страсбург.

257) Это замечание Гёте подтверждается также и показанием самого Юнг-Штиллинга. Штиллинг был горячим поклонником Гердера и преклонялся, как он сам говорил, только перед двумя людьми в мире: Гердером и Гёте.

К странице 161.

258) Это путешествие в обществе двух страсбургских друзей — Энгельбаха и Вейланда, студентов тамошнего университета, — было предпринято Гёте в июне 1771 года.

259) Городок Цаберн, основанный римлянами и воспетый Шиллером, был резиденцией страсбургского епископа, кардинала Рогана (1734 — 1803). Кардинал Роган получил всемирную известность вследствие скандальной истории с ожерельем, разыгравшейся накануне Великой французской революции.

260) Цабернский подъем,—шоссе шириной в 12 метров, идущее через холмы, окружающие город, было сооружено при Людовике XV французским инженером Режимортом и считалось чудом дорожного искусства.

К странице 162.

261) Оба спутника Гёте были родом из Буксвейлера.

262) Вернее «Бастберг», гора, играющая большую роль в эльзасских преданиях.

К странице 163.

263) То-есть Шварцвальд.

264) Рейнгард III (1665 — 1736).

К странице 164.

265) Далее дорога, начиная от Зарбрюка, шла по местности, где имелось много горнопромышленных предприятий, чрезвычайно интересовавших Гёте.

К странице 168.

266) Фамилия Дитрих была одна из наиболее уважаемых в Эльзасе. Знаменитый сын того Дитриха, о котором упоминает Гёте, Фридрих Дитрих, был первым мером Страсбурга.

К странице 169.

267) Здесь в конце XVI столетия было найдено большое количество римских барельефов, монет и утвари. Здесь же Гёте задумал свое стихотворение «Путник», написанное несколько лет спустя.

268) На самом же деле Гёте побывал в первый раз в Зезенгейме лишь несколько месяцев спустя, в октябре 1770 года. На этот раз он возвратился в Страсбург для сдачи экзаменов, которые закончил 27 сентября 1770 года.

К странице 170.

269) Английского писателя Оливера Голдсмита (1728 — 1774). Немецкий перевод этого произведения вышел в 1767 году.

К странице 173.

270) Филемон и Бавкида—гостеприимные старики, которых посетил Юпитер.

271) Латинский ездок — путешествующий студент.

272) Деревня в пяти километрах от Зезенгейма.

К странице 174.

273) Зезенгейм была большая деревня в пяти милях на северо-восток от Страсбурга.

274) Пастор Яков Брион (1717 — 1787) был уроженцем Страсбурга, где он и окончил университет. Это был чрезвычайно любезный, гостеприимный добряк 53 лет. Его семья состояла из жены, сорокашестилетней женщины, и пятерых детей, из коих Фридерике, третьей дочери четы Брион, было ко времени знакомства с Гёте 18 лет.

К странице 175.

275) Немецкий национальный костюм подвергался запрещению со стороны французских властей.

276) Гёте привез впоследствии с собой во Франкфурт ряд незамысловатых эльзасских песен, с которыми он познакомился в Зезенгейме.

К странице 176.

277) Младший сын семьи, Христиан (1763 — 1817), также изучал впоследствии богословие и был так же, как и отец его, пастором в Эльзасе.

К странице 197.

278) Сын хозяина друзенгеймской гостиницы, Георг Клейн, умер лесничим в Друзенгейме.

К странице 185.

279) Сказка о «Новой Мелузине» появилась в печати в «Альманахе для дам» издания Котта. Затем она включена была в третью книгу «Годов скитаний Вильгельма Мейстера». Основной мотив народной сказки при этом был сохранен и в новой редакции «Мелузины».

К странице 186.

280) Франц Иосиф Галль (1758 — 1828) — знаменитый френолог, пытавшийся объяснить духовные способности человека на основании строения его черепных костей. Гёте слушал его лекции в Галле осенью 1805 года и чрезвычайно заинтересовался его системой.

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Книга шестая	7
« седьмая	39
« восьмая	78
« девятая	113
« десятая	147
Примечания	187

„ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“

ВЫШЛИ ИЗ ПЕЧАТИ:

НОВОСТИ ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

Г. Д'АННУНЦИО	— „Ноктюрн“, ц. 1 р.
П. БЕНУА	— „Атлантида“, роман, ц. 40 к.
„	— „Дорога гигантов“, роман, ц. 75 к.
А. БЕРО	— „Страдания толстяка“, роман.
С. БРЖОЗОВСКИЙ	— „Зарево“, роман из эпохи народовольцев, ц. 1 р. 25 к.
Г. ВЕРФЕЛЬ	— „Человек из зеркала“, пьеса, ц. 60 к.
К. ГАМСУН	— „Соки земли“, роман, ц. 65 к.
Г. ГАУПТМАН	— „Зимняя баллада“, пьеса, ц. 33 к.
П. ГЗЕЛЛЬ	— Беседы А. Франса, ц. 70 к.
О. ГЕНРИ	— Рассказы, ц. 1 р.
„	— „Короли и капуста“, роман, ц. 90 к.
Г. ГОЛЬСТ	— Лирические драмы, ц. 45 к.
С. ЛАГЕРЛЕВ	— „Гномы и люди“, рассказы, ц. 35 к.
Р. МАРАН	— „Батуала“, африканский роман, ц. 45 к.
К. МЕЙРИНК	— „Голем“, роман, ц. 70 к.
М. МАРКС	— „Женщина“, роман, ц. 50 к.
М. МАТЕРЛИНК	— „Белая невеста“, пьеса, ц. 40 к.
Д. МЭЙЗФИЛД	— „Пьесы“.
ПАПАЛАГИ	— Повесть.
Ж. РОМЭН	— „Доногоо-Тонка“, кинематографический роман, ц. 25 к.
Р. РОЛЛАН	— „Кола Бреньон“, роман, ц. 70 к.
„	— „Пьер и Люс“, роман, ц. 35 к.
„	— „Клерамбо“, роман, ц. 1 р.
„	— „Аннет и Сильвия“, роман, ц. 55 к.
ДЖ. СИНГ	— „Герой“, пьеса, ц. 55 к.
Э. СИНКЛЭР	— „Сто процентов“, роман, ц. 75 к.
Г. УЭЛЛС	— „Неугасимый огонь“, роман, ц. 40 к.
Ф. УНРУ	— „Род“, „Площадь“, пьесы, ц. 1 р. 10 к.
А. ФРАНС	— „Жизнь в цвету“, роман, ц. 80 к.
Л. ФРАНК	— „Человек добр“, роман, ц. 65 к.
К. ШТЕРНГЕЙМ	— „Четыре новеллы“.
К. ЭДШМИД	— „Шесть притоков“, новеллы, ц. 60 к.
„	— „Тимур“, рассказы.
ЭКСПРЕССИОНИЗМ	— Сборник статей, с иллюстрациями, ц. 1 р. 40 к.

ЦЕНЫ ОБОЗНАЧЕНЫ В ЧЕРВОНЦАХ ПО КУРСУ ГОСБАНКА.